

ИГОРЬ ШЕСТКОВ ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ



International

Literary

е ч и з е б н ы

Игорь  
ШЕСТКОВ  
ЗАПИСКИ  
СЛЕДОВАТЕЛЯ

Избранные рассказы

**БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»**  
**ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА**



**ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР  
ОЛЕГА ФЕДОРОВА**



**Игорь  
ШЕСТКОВ**

**ЗАПИСКИ  
СЛЕДОВАТЕЛЯ**

*Избранные рассказы*

**Друкарський двір  
Олега Федорова  
Київ, 2024**

УДК. 821.161.8'19-2  
Ш-34

СЕРІЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»  
Заснована в 2023 році

*Исправленное и дополненное издание*

**Шестков И.**

Ш-34 Записки следователя/Игорь Шестков — Друкарський двір Олега Федорова 2024 — 448 с.

**ISBN 978-617-8252-79-3**

Игорь Шестков (Igor Heinrich Schestkow)

Родился (1956) и вырос в Москве. Окончил мехмат МГУ. Работал в НИИ. В восьмидесятих годах участвовал в выставках неофициального искусства в галерее Горкома графиков на Малой Грузинской улице в Москве. В 1990 году эмигрировал в Германию. Берлинец. Автор психоделических и сюрреалистических рассказов, повестей и эссе об искусстве и литературе. В книгу «Записки следователя» вошли избранные рассказы.

**УДК 821.161.8'19-2**

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)  
ISBN 978-617-8252-79-3

© Шестков И., 2024  
© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

## В ГОРОДЕ К.

В детстве мучил меня кошмар.

Будто бегу я в незнакомом городе, ищу мой московский дом и не могу найти. Дома на улице стоят плечом к плечу, как солдаты, между ними нет проходов.

Я бегу.

Бегу.

Улица как коридор. Туннель. Телом из него не выйти. Дождь моросит. Неба не видно — серые облака висят низко.

Душно.

Крутые, покрытые черной черепицей крыши лоснятся от влаги. Останавливаюсь, чтобы перевести дух. Смотрю по сторонам. В домах разбиты двери, выбиты стекла. Внутри — тьма, запустение. Оттуда доносятся странные шорохи и скрипы.

Страшно.

Невдалеке — мост над неширокой речкой. Вода бурая.

Вдоль реки вытянулись фабричные корпуса. Смутно видна высокая труба и кирпичная башня с циферблатом без стрелок. Пахнет противно — угольной пылью, стальной стружкой, машинным маслом.

По берегам реки — больные деревья. Листья на них серые, маленькие, сморщенные. Асфальт на улице растрескался, в лужах коричневая жижа с бензиновыми разводами. Ни машин, ни людей не видно.

Кошмар этот мучил меня несколько раз. Каждый раз, просыпаясь, я хватался крепче за мой обыденный московский мир и мрачное видение исчезало.

В 1990-м году я попал против моей воли в немецкий город К.

Вышел из здания вокзала, прошелся туда-сюда, огляделся и узнал тот самый коричнево-серый город из моего детского кошмара. Боги судьбы перепутали сны, ошиблись. И решили исправить ошибку — отправили меня в проклятый город. Сопrotивляться не было сил.

Ну да, конечно, на улицах реального города все было не совсем так, как во сне — тут ездили автомобили, сновали люди. В центре синел на солнце большой пруд, окруженный плакучими ивами и платанами, на окраинах города зеленели теннисные парки. Но многое в деталях повторяло мой сон — вонючая бурая речка протекала недалеко от моего дома, зловеющая башня с циферблатом без стрелок торчала невдалеке, огромная фабричная труба господствовала в небе.

Боже мой! Это мой город, и мне придется в нем жить...

Легко сказать — жить. А что делать, если твое существование съезжилось, а внутреннее время — остановилось. И пространство сворачивается за твоей спиной. Вроде бы ты тут, а на самом деле тебя нет, ты не существуешь. Ты в коконе времени.

Тело стареет, жизнь проходит, а ты не изменяешься, опыта не прибавляется. Косность материи не спасает, ее тяжелый поток не несет тебя в своем чреве. Занесло дурака в параллельный мир и демоны ада гогочут, наблюдая твои кривляния.

...

Ужас жизни не в том, что любая фантазия может стать твоей тюрьмой, неожиданно материализовавшись, а в том, что эта материализация может оказаться половинчатой, мнимой. Взлетев, страшно не упасть, а навсегда застрять в воздухе.

Многие подумают — так тебе и надо! Не надо было покидать родной очаг, свой народ, свой город. Сменил шило на мыло! Москву на город К.

И сама брошенная родина отзывается равнодушием, в котором слышна угроза — предатель, беглец! Приютившая тебя страна тоже не отстаёт — проклятые иностранцы! Паразиты! Выслать!

И даже искреннее сочувствие и помощь новых друзей имеют легкий, но неистребимый привкус презрения к беженцу, чужаку, пришедшему по чужое добро.

— Зачем ты сюда приехал? — орет это презрение.

— Зачем ты вообще живешь, падаль? — шипит родина.

— Вон! — вопит Германия.

— Подохнешь как пес! — отзывается Россия.

Этот шип и этот ор, этот свист валькирий и лай Цербера не так уж страшны — так манифестирует себя твоя вожденная свобода, это свидетельство освобождения от фантомов государства, культуры, национальности, религии. Приветствие серафимов, посылаемое осмелившемуся сковырнуть осточертевшую скорлупу советчины и нагишом броситься в Стикс.



## БЕШЕНЫЙ ВОЛК

Случилась это в начале шестидесятых. Я отдыхал с бабушкой в Доме отдыха на Клязьме. Мне было восемь лет. Каждый вечер нам показывали кино. А перед кино, как тогда было принято, журнал. Обычно — «Новости дня». Это было скучно, но успокаивало. Партия и правительство заботились о народе. Народ отвечал безграничной преданностью партии. Урожай собрали вовремя. Стали выплавить больше всех в мире. Балет Большого театра выступил с успехом в Лондоне и Рязани. Но в тот раз журнал заменили актуальным агитационным фильмом. Как было написано в титрах — «снятым в целях предотвращения укусов населения бешеными животными». Фильм был сделан в традициях экспрессионистического немого кино. В начале показали лес. Без звука. Черно-белый. Ветки деревьев беззвучно качались. По высокой траве на поляне ходили волны ветра. Потом торжественный голос возвестил: Лес европейской части нашей страны таит в себе опасность. Все чаще встречаются в нем зараженные бациллой бешенства животные. Бешеные лисы. Бешеные хорьки. Бешеные волки. Будьте бдительны! В случае укушения немедленно обращайтесь к врачу!

На экране появляется волк. Он стоит рядом с кустами. Камера показывает волка издали, потом начинает укрупнять план — морда волка медленно растет. Волк смотрит вниз. Косящие его глаза полны муки и безумия. Из пасти идет пена.

Потом на экране больничная палата. Бесконечный ряд кроватей с больными. Вот и больной мальчик. Его лицо искажено страхом. Диктор говорит сурово: Его укусил бешеный волк! Он не обратился к врачу. А вакцина от бешенства действует только в день укуса. Ребенок умрет!

Это значит, никакая сила не в состоянии его спасти. Ни партия, ни правительство. Ни сталь не поможет, ни балет. Мальчику придется превращаться в такого же страшного, косо в землю смотрящего зверя. Бояться воды и света. Кусаться, бесноваться и умереть в одиночестве в лесу. Его труп будут грызть маленькие гадкие животные. Остатки сожрут муравьи.

Я почувствовал, как по моей спине забегали муравьи. Меня бросило в жар, я пролепетал что-то сидящей рядом бабушке, встал и вышел из темного кинозала. Бабушка догнала меня. Взяла за руку и проводила в нашу комнатку с двумя кроватями и тумбочкой. Я разделся и лег. Мне было страшно.

Всю ночь меня трясло. Болело горло. Поднялась температура. Бабушка сидела рядом. Приходил врач. Говорил что-то успокоительное. На лоб мне положили холодный компресс, который сейчас же стал теплым и противным. Ноги мне растирали водкой. Все это не помогало.

Перед глазами у меня стоял страшный лес. Огромные деревья беззвучно шевелили ветками. По траве проходили как конвульсии волны ветра. На опушке леса стоял бешеный волк и косо глядел вниз. Безумный мальчик беззвучно неся по черно-белому лесу — он не хотел умирать.

## АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Было это там же, на Клязьме. Мне уже исполнилось шестнадцать лет, и я стыдился того, что я в Доме отдыха не один, а с старой больной бабушкой.

Я только недавно приехал с побережья Черного моря. С меня еще не сошел оливково-шоколадный загар. Сравнивая свою руку с руками сверстников, я убеждался в превосходстве черноморского загара над подмосковным, багровым.

Чувство отчаянной радости бытия переполняло меня. Я все время смеялся. Часто прыгал и скакал без цели. Курил. Вызывающе смотрел не только на сверстниц, но и на казавшихся мне непоправимо пожилыми двадцати двух, двадцати трехлетних девушек. Выходя из воды после купания, напрягал мышцы спины, чтобы подчеркнуть треугольность ее формы.

Среди отдыхающих Дома отдыха попадались странные люди. Одного из них, невзрачного мужчину средних лет, звали Чижов или Чижиков. Он был, как рассказывали, «в те времена» главным прокурором Украины. Говорили, что этот «зверь» отправил на тот свет несметное количество людей. «В те времена» означало — во времена сталинщины. В начале семидесятых имя Сталина еще произносили шепотом. Или вообще не произносили. Говорили: Усатый, Вождь, Друг детей. Или — во времена культа личности. А кого культ — не поясняли.

Я заметил, что этот Чижов явно ищет возможности поговорить. Мне это хоть и не было приятно (что со стариками разговаривать?), но все-таки немного льстило. Как ни как — а «бывший главный прокурор Украины». В советские времена слово «главный» обладало магической силой и пахло томительно сладко. Властью. Влиянием. Деньгами.

Однажды он заговорил со мной. Было это на пляже. Сказал — как ты хорошо плаваешь, какой красивый стиль.

Мне понравилось, что он заметил мой кроль. Я тоже считал его очень красивым. Что-то ответил, мы немного потрепались. Приятно было, что взрослый говорит со мной просто, как с равным, без нравоучений или претензий. Он обращался ко мне на ты. Я с ним — на вы. На следующий день мы уже здоровались как старые приятели. Еще через день он предложил пройтись с ним вместе «к охотникам». Это означало — пройти до отдаленного охотничьего домика по асфальтированной дороге, а обратно — по лесу и берегу водохранилища. Обычно эта прогулка занимала часа три.

Я согласился, хотя что-то меня настораживало. Внутренний голос подсказывал мне — что-то этому Чижиху от меня надо. Может быть и скверное. Как-то он странно дергался, разговаривая. Лицо шершавое, глаз не видно, брови как кусты. Руки — большие, сильные, часто сжимались в кулаки. Нервные руки. Роста он был небольшого. Невзрачен, но эта его невзрачность, как я заметил, маскировала непонятное мне стремление. К чему? Я не понимал.

Бабушке я не сказал, куда иду и с кем. Она мне доверяла, потому что знала — несмотря на мою молодость и глупость я был московским человеком, был готов к отпору всяческих посягательств. Кроме того я был и трусоват.

Мы вышли после обеда. Жарко. Я — в шортах и майке. Под шортами плавки, на случай если захочется искупаться. Мой спутник — в казенных брюках, в ковбойке с длинными рукавами, на спине он нес увесистый рюкзак. А в нем — две бутылки портвейна, стаканы, надувной матрас, хлеб, банка килек и одеяло.

...

Мы шли по асфальтированной дороге, болтали о незначительных вещах. В числе прочего, Чижов спросил меня, не ходили ли мальчики моего класса вместе в баню. Я ответил — нет. На это он заохал и сказал, что это так замечательно — париться вместе... И для тела полезно и потом здорово.

Мне всегда были отвратительны общественные бани. Совместный помыв уничтожает неприкосновенность личности. Как неприятны случайные прикосновения чужих скользких тел! Черные ногти и изъеденные грибами пальцы ног банных посетителей всегда приводили меня в отчаянье. Мне казалось, что боги или природа допустили ошибку в конструировании... Бесформенные, похожие на чурку тела, гигантские отвислые животы, волосатые спины, изношенные гениталии — все это внушает страх и свидетельствует о трудной, механической жизни их обладателей. И сколько ни потей, ни мойся, сколько друг друга березовым веником ни хлещи, а ни здоровей, ни красивей не станешь. После русской бани распаренные красномордые мужчины обычно накачиваются пивом с водкой... Гадко.

По дороге мы болтали. Дошли до охотничьего домика. Повернули назад. Углубились в лес. Шли по лесу минут десять. Вышли на небольшую поляну с шелковистой высокой травой. Тут Чижов захотел сделать привал. Он вынул из рюкзака матрас, предложил мне его надуть, а сам пошел за дровами для костра. Скоро и костер горел и матрас был надут и одеяло на него брошено. Чижов достал портвейн. Налил в стаканы. Сказал: Ну, будем здоровы!

Выпил свой портвейн залпом. Я тоже попытался выпить залпом стакан пахнущей помоями жидкости, но подавился и закашлялся. Пришлось пить маленькими глотками.

Закусили хлебом и кильками. После второго стакана я опьянел. Меня развезло, я потихоньку отключился. Не совсем, конечно. Помню смутно, как Чижов что-то мне шептал на ухо, смеялся. Протягивал мне третий стакан. Уговаривал выпить. Я стакан от себя отталкивал. Потом его шершавое лицо вдруг приблизилось к моему лицу. Он поцеловал меня. Я пытался отстраниться. Он обнял меня, крепко сжал. Отпустил. Стал раздевать. Я был пассивен. Ничего не понимал. Весь мир крутился вокруг моего носа. В глазах стояло бурое море. Мне казалось, что я, как бутылка, полон портвейна. Казалось, что Чижов пытается меня выпить.

— Не пей, — убеждал я. — Не пей!

— Выпью, выпью, — отзывался Чижов.

Потом мы стали бороться. Чижов навалился на меня. Обхватил и стал крутить. Я вяло пытался ему противодействовать. Руки меня не слушались. Ударил его ногой в голый живот. Моя пятка скользнула по коже как по салу. Чижов придавил меня и опять появилось чувство, что он пытается высосать меня. Как ракушку.

Не знаю, долго ли все это продолжалось. Мне казалось — вечность. Когда я, наконец, пришел в себя, то не сразу понял, что лежу на надувном матрасе. Под гадким колючим одеялом. Голый и пьяный. Но дееспособный. Чижов стоял метрах в пяти и мочился на березу. Он тоже был голый, маленький и страшный. Повернул голову, посмотрел в мою сторону. Засмеялся гадко. И я узнал в Чижове волка. Он смотрел вниз, во всей фигуре было что-то болезненное, безумное.

Тут, наконец, до меня дошло. Дошло, зачем он хвалил мое плавание, зачем прогулка и портвейн. Меня охватила ярость.

Я крикнул: Отъебись от меня, пидор поганый!

Он отозвался: Не теряй стиля, Димочка. Я таких как ты валенком хлебал, на карандаш насаживал! Интеллигентники!

— Засунь свои валенки и карандаши себе в задницу!

— Ты лучше полижи мой аленький цветочек!

Сказав это, он показал мне свой черно-красный зад, растянув своими большими руками ягодицы. Потом встал на четвереньки, и начал так, на четырех конечностях, бегать вокруг костра. Пришел в экстаз. Рот его был полуоткрыт, в углах рта выступила пена.

На ходу он долдонил про себя: Маменькины сынки, дрянь, сосунки... Сколько я вас покрошил... Аа, Аа, Аа... Говноеды!

Мне хотелось встать, ударить его изо всех сил ногой и убежать. Но я его боялся. Боялся, что он догонит, прыгнет, вопьется мне когтями в спину и укусит как волк, перегрызет шейный позвонок.

Я нашел глазами мои плавки, валявшиеся рядом с матрасом, и попытался достать их рукой. Чижов заметил это, зарычал и вцепился мне зубами в руку. Укусил. Потом отпустил ру-

ку, схватил зубами, как пес, плавки и унес. Бросил их в сторону, мотнув головой. Завыл. Пятясь и вихляя задом, пополз назад ко мне. На расстоянии вытянутой руки остановился. Опять растянул руками ягодицы. Я против воли посмотрел на его дырку. Она была раскрыта и подрагивала. Волчий анус. Аленький цветочек.

Потом он упал в изнеможении на траву. Стал по ней кататься и дергаться как паралитик.

Я нашел в себе силы встать. Надел шорты, майку, кеды. Чижов тем временем переполз на матрас. Укрылся одеялом. Допил прямо из горлышка вторую бутылку портвейна. И сразу захрапел.

Я ушел от него. Вышел на берег водохранилища. Разделся и прыгнул в зеленоватую воду. Прополоскал горло, натер себя мягкой глиной, вымылся. И наплавался вволю.

В воде полегчало. Я вышел на берег, оделся на мокрое тело и побежал в Дом отдыха. Бабушки в комнате не было. Пошел в столовую. За нашим столом уже сидела бабушка, ее подруга Раиса Романовна и ее муж, профессор химик. Они разговаривали о новом романе Фолкнера. Официантки разносили чай и свежее испеченные ватрушки.

## ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

В начале восьмидесятых я работал в НИИ Механики в Москве. Вместе со мной там трудился аспирант А., симпатичный парень из провинции. Он часто рассказывал про своего отца, командира вертолетного подразделения на афганской войне.

Аспирант корпел три года и в конце с успехом защитил диссертацию. После защиты тогда еще устраивали банкеты. На банкет прибыл отец аспиранта, подполковник, моложавый пятидесятилетний человек. Он пришел не в форме, а в импортном вельветовом пиджаке и американских джинсах — до советского вторжения Афганистан был чем-то вроде перевалочного пункта для многих западных товаров и доблестные войны советской армии, особенно офицеры, крепко там прибрахлились. Подполковник вел себя на банкете поначалу скромно, потом стал вальяжнее, сделал несколько комплиментов нашим лабораторским дамам. Плясал и пел. А к концу банкета нарезался всерьез, погрузился и стал агрессивен. Так часто бывает с русскими людьми — пьяные вначале плачут, потом бьют, потом дерутся. Или тоже, но в обратном порядке. Подполковник не дрался, но говорил задиристо.

Он кричал: Вы тут танцуете, а я людей убивал. Понимаете, я людей убивал! Вот этими руками. Афганов. Вы тут науки занимаетесь. А я военный. Я верен партии и народу, а вы все удрать хотите. Я исполняю этот, как его, блин, ну... интернациональный долг. Я людей убиваю!

— Меня жена бросила, — сказал он напоследок совсем тихо. И заплакал.

К нему подошли, пытались его успокоить. Аспирант сгорал от стыда. Потом махнул на все рукой и сел рядом с отцом. Вскоре подполковник плакать перестал. Сидел, молчал и тупо глядел перед собой. Сын его утешал. Я подошел к ним. Подполковник опять начал говорить.



— Эх, ребятки. Расскажу вам одну историю. Короткую. Было это под Кандагаром. Нам дали приказ очистить деревню, потому что там боевики якобы засели. Ну эти, афганы, духи. Командиру легко в Кабуле. Они там сидят, водку пьют и приказы раздают. Очистить деревню. Это значит прилететь туда на вертолетах. А потом — что? Начнешь высаживать солдат — сразу получишь или гранату или очередь из пулемета. Значит, солдат не высаживаешь, а только сверху бомбишь. Так они все в норах попрятались. Умные. В норах и жратва и оружие. А сверху только ихние бабы да детишки бегают. Ты отбомбишься, улетишь. А завтра за границей везде фотографии — мертвые женщины и дети. Советские их убили. А душманы дальше воюют. На конвои нападают. Из Кабула директива приходит — не бомбить, а высаживаться и очищать. Ну, тут мое дело солдат доставить и смыться побыстрее. А к вечеру — забрать кого можно. Обычно я сам в операциях не участвую. Только планирую, контролирую, рапортую. А тут приказ — самому возглавить операцию... Звоню генералу Л., мы с ним вместе в академии учились. Леша, говорю, я ведь вертолетчик, а не пехота. Ты что, охуел? Посылай Маринина, а я буду только ишаком.

— Нет, говорит, товарищ майор, вы ответственный за операцию.

Сволочь! Потом, на базе, после карт, ржал как конь. Что мол, как мы тебя в бутылку загнали!

Ну это потом. А мне в деревню лететь надо. Там воевать. А до деревни десять ущелий, воздушные потоки там, турбулентность, машины будет мотать, солдаты блевать будут.

Ладно, полетели. Потряслись. Поблевали. Высадил я солдат рядом с деревушкой. Сам тоже вышел. Обстрела не было. Не было вообще никого. В одну хибару ворвались, в другую. Нет никого. Значит, жди засады или другого подвоха какого. Деревня, вроде как в долине. Вокруг только камни, то ли степь то ли пустыня. И пещеры. Что они тут жрут? Как живут? И главное, что мы тут забыли? Ладно, думать не положено! Тебе доведено и делай, что приказано!

Ну вот, ходят, значит, солдаты с огнеметами, хибары обыскивают и зажигают. Что еще делать-то? Оружия мы не нашли. Зато барахлишко кое-какое прихватили. Откуда что берется? Известно откуда — опиум там разводят, но об этом говорить запрещено. Молчок.

Ну вот, хожу по деревне, топчу пыль. Прикидываю, что в рапорте писать буду. Попросил у солдата огнемет. Захотелось попробовать, никогда сам до того не жег. Отличная машина. Металл прожигает. Вдруг вижу — тень мелькнула на улице. Как чиркнула. Я стою с огнеметом, жду. Напрягся. Потом еще раз — тень у каменной стены. Ну, думаю, сейчас из всех углов повыскачат и нас порешат. Потом смотрю, прямо на середине улицы стоит кто-то, не солдат, не афган, а вроде собака. Пригляделся — волк, волчара огромная. Смотрит косо, вниз. На морде — пена. Бешеный значит. Ну тут я огнеметом и дал по нему. Он взметнулся вверх. Как ангел огненный. А потом упал и сгорел. Мы потом с солдатом разглядывали — только пепел серый остался. Ну, кино.

Мы улетели. После узнали, что жители бешеного волка испугались и в горах отсиживались. Это им жизнь и спасло. Ведь обычно их всех наши солдаты огнеметами сжигали. И женщин и детей. Что на них пули то тратить. Все одно — афганы.

И ведь что смешно, мне за эту операцию подполковника дали. За волка. Я в рапорте много чего порасписал. Ну что ребята. Давай выпьем, у меня сын — кандидат, а я вам все байки рассказываю.

Банкет закончился благополучно. Кое-кто немного перепил, а так, ничего, все были довольны.

## ГОРЯЩАЯ БУМАГА

Я люблю запах горячей бумаги.

Бабушка Аля работала в конструкторском бюро при обсерватории. Приносила домой бракованные линзы, давала мне, и я прожигал ими бумагу. Зимой московское солнце слабое — белая писчая бумага не загоралась, зато покрытая черным шрифтом газета быстро выпускала струйку серого дыма и на месте маленького солнышка образовывалась дырочка, траурные края которой пламенели и расширялись. А летом удавалось зажечь и красивую финскую бумагу, лежавшую на письменном столе. Эту бумагу доставал дед, а использовали ее мои ученые родители для чистовых экземпляров научных работ.

Сгорела как бумага жизнь моей семьи. Сгорела в огне времени и даже пепла от нее не осталось. Забыты никому не нужные научные статьи. Исчез письменный стол. После смерти отца, мама вышла замуж за отчима. Дед помог нам купить маленькую кооперативную квартиру. Мы переехали. А большую квартиру в Доме преподавателей, в которой я научился прожигать бумагу, разменяли, в ней уже сорок лет живут чужие люди.

Бабушка Аля умерла через два года после моего отъезда за границу, дедушка Миша пережил ее на два года. Бабушка умерла от старости не дожив месяца до восьмидесятилетия, мучившая ее тридцать лет астма в конце жизни отступила, и смерть взяла ее без боя, во сне. Позже мать говорила мне, что бабушка ушла из жизни добровольно, от тоски по мне.

Ее тело нашла утром домработница, бабушка лежала в спальне, в которой провела четверть века, на своей кровати. На тумбочке лежала пустая упаковка сильного снотворного.

Недавно приснился мне про бабушку сон. Будто еду я в автобусе по Ломоносовскому проспекту. Проезжаю мимо Дома преподавателей. Во сне дом — в несколько раз больше, чем в

действительности — нечто громадное, кристаллическое, темное. Вижу освещенное золотистым светом окно на восьмом этаже. Знаю, в доме никто не живет, люди давно покинули его. Время идет медленно в этом сне. Все мрачно и темно. Вдоль улицы стоят тусклые желтые фонари. Вокруг — силуэты громадных черных зданий, смутно напоминающих Красные дома за кинотеатром Прогресс. В автобусе — стоит почему-то телефонная будка. В ней старомодный телефонный аппарат. Набираю номер бабушкиной квартиры. Зову бабушку. Бабушка отвечает: А, это ты, сынок. Я так устала, у меня приступ, ты слышишь как хрипят мои бронхи? Это злая колдунья Дардуна — она сидит в моем горле и душит меня. Знаешь, все было бы иначе, если бы Гера вернулся тогда. Все было бы так хорошо. Где дедушка? Он обещал сегодня прийти пораньше. Но его все нет. Я лежу одна целую вечность.

Я говорю: Зайду к тебе.

Кричу водителю: Остановите автобус, выпустите меня!

Но невидимый водитель не слышит меня, автобус едет дальше. В окнах ничего не видно, ни домов, ни фонарей, ни асфальта. Только темное марево.

...

Дедушка Миша умер в дурдоме. Туда его поместила моя тетка Раиса. Якобы после того, как дед ударил ее палкой по лицу. Может быть, Раисе просто неохота было тащить на себе одряхлевшего отца. За границей ее ждала хорошо оплачиваемая работа. Вот она и сдала деда в дурдом. А до этого избил его пожилую любовницу, с которой он собирался в Израиль ехать, в гости к брату. Деду она сказала, что отправляет его в «летний санаторий», чтобы он подписал соответствующие бумаги. Мне тетка написала, что дед умер от кровоизлияния в мозг. Еще она написала, что дед не верил в то, что бабушки нет, и звал меня.

Сколько вечеров мы провели вместе! Сколько раз предоставлялась возможность поговорить — но ни разу дед не использовал ее. Приходил с работы усталый и раздраженный. Взрывался и визжал, если я начинал говорить о политике. Деда не особенно трогали мои мнения. Его раздражала неизбеж-

ность моего и бабушкиного присутствия в его квартире. Моего — временного и бабушкиного — пожизненного. Что он хотел? Чтобы капризная больная старуха исчезла из его жизни и ее место заняла здоровая молодая баба с огромной грудью? И да и нет. На поверхностном уровне сознания — да. После девятичасового стресса дед хотел встретить дома уютную, вульгарную бабу, с которой можно после секса и выпивки вместе посмотреть футбол и новости по телевизору без иронических замечаний. С которой можно расслабиться. На более глубоком уровне сознания — нет. Там, в глубине души, все еще жил воспитанник Анненшуле из бедной, незадолго до революции перебравшейся в Петроград провинциальной еврейской семьи. Неопрятный, невоспитанный, с грязными ногтями и плохо пахнущими носками, политически активный мальчик, влюбленный по горло в хрупкую музыкальную девочку из богатой еврейской семьи.

...

На семьдесят четвертом году жизни у деда начались сильные боли в животе. Вначале он никому об этом не говорил, терпел, злился и рычал на всех, надеялся, что пройдет само. Через полгода боль стала невыносимой. Дед пошел к врачу в Академическую больницу. Ему сделали неприятный анализ — слазили шлангом в зад, осмотрели кишку.

— Вот он! — закричала врачаха.

— Кто? — спросил дед.

— Полип, — ответила врач, прекрасно зная, что это рак. Деда положили в больницу. Он томился в зловещей больничной атмосфере — ему давали обезболивающее и разрешали свободно выходить. Дед бродил часами в парке близлежащего Дворца пионеров, готовился. Один раз я посетил его. В палате мне сказали, что дед гуляет. Я вышел из здания, огляделся, деда не было видно. На газоне перед входом в больницу три вороны клевали голубя. Один глаз ему уже выклевали, из открытого черепа сочилась кровь. Вороны клевали не торопясь, старались попасть в дырку на голове. Голубь пятился от них — ни летать ни ходить он уже не мог. Вороны давали ему отползти, но потом опять настигали и клевали, клевали, кле-

вали. Я подумал, что судьба могла бы, по крайней мере, избавить человека от таких картинок. Отогнал ворон. Но прикончить голубя у меня не хватило мужества. Пошел искать деда. Издалека видел, как вороны, сделав несколько величественных кругов в высоте, приземлились на газоне рядом с голубем и опять начали клевать. Деда прооперировали. Операция длилась пять часов — и была успешной. Дед прожил еще одиннадцать лет. Рак больше его не беспокоил.

В ту самую ноябрьскую ночь, когда дед умер, мне приснился сон. Мне снилось, что я стою на «кругу», большой цветочной клумбе между Домом преподавателей и мертвым, без машин и людей Ломоносовским проспектом. На кругу нет цветов, все заросло бурьяном. Ветер воет. А в середине круга — топчется мой дедушка, потерянный и растрепанный как король Лир. В левой руке у деда — белая бумажка. Дед улыбается. Подхожу к нему, беру его за руку. Говорю ему что-то, но дед явно не слышит меня. Смеется, как смеются безумные, показывает беззубый рот. Вырываю из руки деда бумажку — по виду это чек из магазина. На ней напечатано: Предъявитель сего — слеп.

Смотрю деду в глаза — дедушка действительно слепой, из-под его век сочится бесцветная жидкость.

Тогда, лежа на старой чужой кровати, я заплакал от тоски по нему, по бабушке, по навсегда исчезнувшей Москве моего детства. Но еще через несколько дней меня посетил совсем другой сон и тоже с дедушкой, от которого я долго не мог опомниться. В этом сне похожий на деда старик ласкал меня как женщину и рассказывал пакостные истории. Проснулся я в страшном возбуждении. Сперма брызнула мне на живот. Я вытер ее белой майкой, присланной мамой из Америки. Было темно в узкой, похожей на гроб, неотопливаемой комнате огромной квартиры, которую я после отъезда дочек и жены занимал один. Я встал и подошел к окну. Было шесть часов утра. Еще не рассвело, но во дворе уже началось движение — работники расположенных там мастерских парковали свои машины. Вокруг меня простирался безрадостный индустриальный ландшафт. Полумертвый город К. показывал мне свой гнусный оскал.

## ТРИ СМЕРТИ

Между нашим двором и Ленинским проспектом стоял гигантский «Дом с зоомагазином». Об этом доме дети рассказывали страшные вещи — там живет Калина, он пытает детей, засовывает под ногти раскаленные до красна иголки. Мой просвещенный друг Васька авторитетно утверждал: Калина рвет девкам целку, а мальчикам вбивает в попу кол.

Что такое Калина, я не понимал. Мне представлялся одетый в черное высокий худой маньяк, который схватит своей жилистой рукой за руку, обернет черным пальто и утащит в темную квартиру в Доме с зоомагазином. Там сидят такие же как он страшные черные люди, пьяные и шипящие от злобы на нас, хорошо одетых детей из Дома преподавателей, они будут пытать, мучить до смерти. Не только я, все дети нашего двора боялись Калину. Стоило только громко крикнуть: Калина! И все играющие во дворе дети тотчас убегали в свои подъезды, поднимались на два-три этажа и занимали позиции у окон. Пытались разглядеть оттуда Калину. Но Калина не появлялся.

И вот, однажды, пропали два мальчика из нашего дома. Лет шести-семи. Их долго искали, но не нашли. Все дети были напуганы, возбуждены и почему-то радостны. Разумеется только и разговоров было, что про Калину. Рассказывали, что — мальчики эти «жиды», что — Калина ловит жидов, чтобы их «выморить». Один мой семилетний приятель говорил важно, повторяя услышанное дома: Давно пора очистить Москву от жидов!

Кто такие «жиды» я не знал и решил спросить об этом бабушку. Бабушка рассказала, что это бранное слово, обозначающее — «евреи». На мой вопрос, кто такие евреи, бабушка ответила, что это такая национальность и потом почему-то добавила, чтобы я не боялся. Что такое «национальность», я спрашивать не стал.

— Я твоего отца во время войны крестила в Томске, — рассказывала бабушка. — Поп тамошний крестил. За кастрюлю супа. Его и меня. Боялись погромов, думали, что немцы будут везде. Поэтому мы — христиане, православные. Но ты обо всем этом лучше никому не говори.

Я и не собирался говорить, потому что почувствовал в тоне бабушкиной речи, редкие для нее, фальшь и замешательство. Долго размышлял над ее словами и пришел к выводу, что мы тоже евреи, жида и стало быть Калина хочет нас выморить и, поскольку я был единственным ребенком в семье, опасность грозит мне одному. Вспомнилось, как мальчишки из открытых окон соседней школы кричали мне вслед: Жид, жид, жирный жид идет!

А я не знал, кого они дразнят. Вспомнилось и круглое, с двумя бородавками на подбородке лицо учительницы второго класса в английской школе номер четыре Александры Ивановны, лицо, вытянувшееся несмотря на свою округлость, когда на вопрос: Эпштейн, какой ты национальности? — Я ответил: Я русский.

— Нет! — прошипела Александра Ивановна. — Ты еврей.

Пропавших мальчиков нашли только через несколько месяцев. Их трупы лежали в заброшенной канализационной шахте. На них не было следов насилия, скорее всего они сами влезли в шахту. Закрыли за собой чугунную крышку, чтобы никто не видел их проделок, спустились по ржавой лестнице, которая под их тяжестью переломилась, и не смогли подняться. Их криков никто не слышал.

Правду про Калину я узнал значительно позже. Мой одноклассник Лебедев, работавший в московском уголовном розыске, нашел в архиве дело о семье Калининых, устроившей в Доме с зоомагазином «малину» для уголовников. О мучении детей или преследовании евреев информации в деле не было.

...

Мой отец утонул в реке Тимптон, притоке Алдана, впадающего в великую сибирскую реку Лену. От меня какое-то время это скрывали, но потом рассказали.



Черное горе. Черное и холодное как вода горной реки. В резиновой лодке был папа и его сотрудник Петр. Лодка налетела на подводный камень и перевернулась. Петру повезло — он оказался около лодки, ухватился за нее и выплыл. Папу отнесло от лодки. Роковую роль в его смерти сыграли резиновые сапоги — они набрались ледяной воды и мешали плыть. Папа кричал: Петя, я тону.

Этот предсмертный крик до сих пор звучит в моих ушах. Я вижу белого отца в черной воде. Вода крутит его, несет, бьет головой о камень. Бесчувственный и ооченевший, он уносится в водяной колодец — в подземную реку, где и исчезает навсегда.

Матери сказали позже, что отец не имел права плыть на резиновой лодке по неисследованной реке, что если бы он остался жив, его отдали бы под суд за то, что он неоправданно рисковал своей и чужой жизнью. Так всегда в России — ты всегда сам во всем виноват и от неминуемой расплаты могут спастись только мертвые.

...

Смерть отца была для меня в каком-то смысле облегченной. Его тело так и не нашли. Отсутствовал труп, отсутствовала и могила. Не было тягостных и ненужных похорон. Поэтому это трагическое событие оставило после себя непроходящую боль, но не ужас. Ужас я впервые испытал, когда увидел труп молодой учительницы нашей школы.

Наша пионерская дружина носила имя замученной фашистами партизанки Зои Космодемьянской. Немцы били девушку ремнями и палками, прижигали ей лицо спичками, заставляли стоять босой на снегу. Затем повесили ее в присутствии всех жителей деревни Петрищево. В новогоднюю ночь солдаты искололи труп Зои штыками. Несмотря на пытки, Зоя не выдала планов командования Красной Армии. Историю эту нам рассказывали на бесчисленных линейках учителя и пионервожатые. Слушать ее мы должны были стоя, не двигаясь. Для моторных детей это было невыносимое мучение. Тело изнывало, начинало болеть, душа мучилась — перед глазами маячила несчастная повешенная партизанка с обнаженной

грудью, исколотой штыками. Зверство фашистов с помощью долбящего голоса пионервожатой, похожей на старую девочку, передавалось на нас. Мы чувствовали, как наши тела колот штыки оккупантов. Язык вылезал изо рта, хотелось по-маленькому. Нас призывали проявить бдительность, выстоять, не страшась происков врагов. В такие моменты спасал черный юмор.

— Висит груша, нельзя скушать, — шептал, показывая рукой на изображение повешенной Космодемьянской, мой приятель Пузанов. Высовывал язык, закатывал глаза, театрально дрожал. Дети начинали потихоньку смеяться, кое-кто трясся от нервного хохота. Дело могло бы кончиться взрывом, но тут вожатые включали запись прогрессивного певца Дина Рида и все начинали петь.

Однажды по школе пронесся слух: Училка умерла!

Вот это да. Значит у кажущейся бесконечной вереницы дней есть конец. Молодая умерла! Значит умирают не только старые, которым и жить надоело, значит может умереть мама, значит могу умереть и я. И не утонуть, не сгореть, не в автокатастрофе, а просто в больнице. Пролетело и еще одно неприятное словечко — «рак». Боже, что же это за рак, который грызет внутренности человека, откуда он взялся, зачем он?

Прощаться привезли!

Прощаться. А ведь мы эту чужую учительницу и не видели никогда. Жалко, что умерла она, а не Александра Ивановна.

Строиться! Это здорово. Значит уроков сегодня не будет. Не будет больше мучительных монологов Александры Ивановны, не будет борьбы за дисциплину, придинок, угроз, проработок, не будет мучительного школьного дня. Весь класс идет прощаться с телом, которое выставлено в актовом зале. А после прощания — домой!

На двух учительских столах стоял простой гроб, обложенный искусственными цветами. В зале было тихо. Пахло жутко — какими-то медикаментами, духами и тем самым, что остается от человека, когда душа оставляет тело. Дети и учителя подходили к гробу, смотрели в лицо умершей и уходили.

Некоторые учителя целовали мертвую в лоб. Одна женщина (кажется, это была уборщица) даже перекрестилась — в те годы это могло стоить места.

Мы долго ждали. Наконец пришла и моя очередь. Я подошел к гробу. Ноги почему-то стали ватные. Руки вспотели. Вдруг я понял, как трудно оторвать глаза от пола и посмотреть на умершую. Пришлось обхитрить самого себя — посмотреть вначале в окно, на тусклое московское небо, перерезанное ветками деревьев, потом на Пузанова, который по видимому не терялся — он показал мне язык и сделал губами знак — поцелуй, мол, мертвую, тебя вырвет. От закрытого веснушками курносого лица Пузанова я перекинул взгляд на дешевую бахрому, потом на заострившийся нос лежавшей, на не очень плотно закрытые глаза. Не усилившийся невыносимый запах и не плохо гримированный страшный образ долго мучившейся перед смертью покойной поразили меня — меня поразил цвет ее кожи. Она не выглядела как кожа человека — это была не то бумага, не то пергамент. Кожа ящерицы, изъеденная внутри тела сидящими раками. Я едва нашел в себе силы отойти от гроба. Александра Ивановна взяла меня под руку и помогла пройти к классу.

## ПАЛЬЦЕВ

Я даже имени его не знал. Фамилия его была — Пальцев. Кличка, естественно — Палец. С ударением во всех падежах на последнем слог.

Учителя говорили: Пальцев, к доске!

Или: Пальцев, не ковыряй в носу! Пальцев, сядь нормально и слушай!

Но никогда его имени не называли. Хотя многих других школьников — и любимчиков и хулиганов звали по имени — они, мол, всем известны. Имена любимчиков произносились ласково, интимно, имена прогульщиков, хулиганов — с интонацией дикторов центрального телевидения, когда они кого-нибудь клеймят, например, израильскую военщину или режим Смита. А Пальцев был вне добра и зла. Он был Пальцев. Чудик. Не от мира сего. Придурок!

Хотя дураком он не был и все это прекрасно знали. В редкие минуты присутствия на земле был он сосредоточен, задачи по арифметике решал быстро, только всегда не так, как требовали учителя. Иногда они его даже не понимали, слишком нестандартно было мышление этого пятиклассника. Но обычно дух его витал в небесах, а брэнное тело ковыряло в носу, сидело не нормально, учителей не слушало и подчас само, без помощи соседей, падало на пол.

Одноклассники жестоко травили «Пальца». Травля началась до уроков, шла весь школьный день и продолжалась нередко и после занятий. Называлось это на классном жаргоне «травить Пальца до смерти». Как только его тощая фигура появлялась в дверном проеме нашего класса, полагалось громко крикнуть: Палец пришел! Трави Пальца!

После этого надо было ухитриться вырвать у него ранец и начать дразнить, а когда он подбежит, чтобы вырвать ранец

из рук обидчика, бросить ранец другому, сопровождая это комментариями вроде: Палец, ну что ты травмишься? Никто у тебя ранец не собирается отнимать, ну, подойди, возьми ранец, возьми! А, не можешь? Тебе мама на завтрак что положила? Бутерброд? На скушай! Что, съел? Трави Пальца до смерти! До смерти трави!

Пальцев знал, что его ожидает в классе. Знал, что у него вырвут ранец. Спротивлялся. Упорно, безнадежно. Подбегал к обидчику, пытался схватить ранец за лямки, схватив, тянул к себе. Но как-то робко, заторможенно. То ли в руках у него была слабина, оставшаяся от перенесенного в детстве полиомиелита, то ли он боялся по-настоящему агрессивно отвечать на травлю. Единственное возможное средство против травли — взять себя в руки, не бегать собачкой от одного к другому, не выть, просто сесть за парту и подождать, пока все уляжется, было почему-то ему недоступно.

Все его движения были странно замедленными. Именно эта замедленность всего его существа больше всего раздражало его одноклассников. Инстинкт заставлял их травить чужака, чье присутствие нарушало психическую и пространственно-временную стабильность их ординарного мира.

Ранец летал как бабочка от одного школьника к другому. Пальцев тяжело бежал за ним. Пыхтел. Пытался догнать ускользающее мгновенье. Ускорялся. Может быть мы хотели от него этого ускорения? Или превращения его в одного из нас — все мы были моторными психопатами. А он был каким-то Буддой.

Иногда он явственно — застревал в чем-то для нас невидимом, погружался в себя и забывал и о ранце и о травле. В такие мгновения он шептал, делал руками странные движения, как бы писал на доске, отвечал кому-то. В этом случае полагалось «оживить» Пальца, т.е. ткнуть его пару раз ранцем в лицо. Желательно пряжками в нос. Чтобы он очнулся и дальше травился.

После «оживления» Пальцев разъярялся и бросался на обидчика, подняв обе руки вверх, как распятый апостол Андрей. Но не бил. Никогда и никого. Вообще ни к кому не прика-

сался. Прикосновения были для него табу. Как будто он боялся повредить пыльцу на чьих-то невидимых крылышках. Одноклассники это знали и травили его без опасений, что он в один прекрасный момент распахнется и ударит кого-нибудь кирпичом по голове. Травля продолжалась обычно до того момента, пока в классе не появлялся учитель. Пальцева оставляли в покое до перемены. Хотя иногда его «дергали» и на уроках. После звонка травля начиналась с начала.

Травили Пальцева все мальчики нашего класса — и хорошие ученики и плохие, и хулиганы и «школьники примерного поведения», травил и я. Травля слабого давала своеобразную психологическую фору. Не меня ведь травят! А Пальца. Он не такой как все, значит его надо травить. Его все травят. И я травлю. Я участвую в том, что делают все. Я часть. А Палец — сам по себе. Пусть за это и получает. Его не жалко.

Для трех моих одноклассников травля Пальцева стала главным содержанием школьного дня. Одним из них был хорошист Лусев, вторым — хулиган и троечник Ашкенази, третьим — двоечник Петя Тужин по кличке Петух. Лусев был лицемер, законченный мерзавец, садист. С учителями — сдержан, умен. С сильными учениками — прост, с средними и слабыми — высокомерен. Сквозь Ашкенази, казалось, дул криминальный ветер. Он не был садистом, как Лусев, просто у него не было никаких других жизненных мотиваций кроме злых. Лусев и Ашкенази соперничали. Травить «чудика» было гораздо проще, чем выяснять друг с другом отношения — их силы были примерно равны. Петух сам был «слабаком» и травил Пальцева, потому что боялся, что одноклассники начнут травить его самого.

Мои одноклассницы в травле Пальцева не участвовали — они были заняты выяснением отношений между собой. У них тоже была жертвочка — Юля Бернадская, прозванная «Ссычкой» за случившуюся с ней еще в первом классе на уроке неприятность. Это была чрезвычайно застенчивая девочка из семьи инженера. Один раз я видел ее отца на классном собрании, куда ученики должны были явиться с родителями. Ма-

ленький еврей, худой, запуганный. Он все время потирал красные потные руки, ерзал на стуле, когда речь шла о его дочери (училась она посредственно), видно было, что он боится нашу классную руководительницу — дородную учительницу истории Клавдию Дмитриевну.

Девочки Юлю не травили, а умеренно третировали. Кидали в нее бумажки, говорили о ней как о последней дуре, неряхе, уродине, иногда, желая унижить, называли в лицо Ссычковой. Но часто оставляли в покое. Мальчики Бернадскую до поры до времени просто не замечали. Все изменилось, когда у нее стали расти груди.

Лусев заметил это первый.

— Димыч, — сказал он мне на перемене. — Посмотри на Юльку! Вот это буфера! Знаешь, что еврейки всегда теплые? У евреек всегда течет!

Я не знал, что сказать. Не понимал, что значит «теплые», что — «течет». Но почувствовал, что Лусев сказал гнусность.

— Ты, Лусев, у тебя самого не течет?

— Течет, течет, еще как течет.

Проговорив это, он удалился. На конфликт не пошел.

Вот сволочь, подумал я. Надо будет найти повод и дать ему в морду.

Когда Юля проходила мимо, я незаметно взглянул на нее и сразу заметил, что Лусев был прав. Под школьной формой колыхались два увесистых холмика. Это взволновало меня. Захотелось положить на холмики руки и сжать их пальцами. По животу прошла судорога. Я невольно закрыл глаза. Проглотил слюну. Юля заметила мои гримасы, грустно посмотрела в мою сторону и быстро пошла дальше. На ее бледном лице не появилось даже следа женского удовлетворения — знаю, мол, что ты хочешь! Только печаль и страх новых осложнений и унижений.

...

В тот день Пальцева травили особенно жестоко. Он травился, мычал, размахивал как Дон Кихот длинными руками. Перед звонком Лусев демонстративно вытряс на пол содержимое его ранца. Ашкенази ударил выпавшие учебники но-

гой. Учебники разлетелись по классу как птицы. Одна книга разорвалась пополам. Петух схватил сверток с завтраком Пальцева, развернул его и принялся, по-клоунски ухмыляясь, есть бутерброд. Я заметил, что Юля Бернадская не смотрела на травлю, как другие, а отвела глаза.

На перемене о Пальцеве забыли. Может быть забава надоела или что-то отвлекло. Школьный мир волновался как шарик ртути на руке — малейшее движение приводило к фатальным изменениям.

Первый урок тянулся бесконечно долго. Учительница биологии рассказывала о размножении кольчатых червей. Потом была арифметика. Любимыми педагогическими высказываниями нашего учителя Федора Федоровича были: «Проще пареной репы» и «Как об стенку горох».

Он говорил: Тужин, сложить одну вторую с одной третьей не можешь, а ведь это проще пареной репы! Но тебе ведь и объяснять бесполезно — как об стену горох!

Я представлял себе огромную вареную репу. Репа лежит на столе, от нее идет пар. Федор Федорович режет ее ножиком. Внутри репа гладкая и действительно очень простая.

— Проще пареной репы! — говорит Федор Федорович. Рядом с репой лежит открытый мешок сухого разноцветного гороха. Федор Федорович запускает в него волосатую руку и достает горсть. Потом бросает горох яростно в стену. Горох отскакивает от стены и с противным шелестом рассыпается по полу.

— Как об стену горох! — подтверждает учитель горестно.

После третьего урока была большая перемена — двадцать минут. Можно было расслабиться. Даже тайком из школы выйти и сбегать к универмагу «Москва», купить пирожок с мясом или с повидлом. К универмагу я не побежал, решил просто постоять в зале у окна.

Стою, смотрю. Отдыхаю.

Подходит ко мне Петух и говорит: Димыч, пошли в тупик, там ребята Юльку зажали — за сиськи лапают. Пошли, пока не убежала!

Сказал и смылся.



Я пошел вверх по одной из школьных лестниц. На последнем, пятом этаже школы располагался актовый зал. Когда его двери были закрыты, перед ними образовывался «тупик», о котором говорил Петух. Тупик ограничивали — стена, огромные двери в актовый зал и стальная решетчатая дверь на чердачную лестницу. Учителя и школьники младших классов туда не заходили, старшеклассники предпочитали курить на улице или в туалете. Тупик был свободной зоной для нас, пятиклассников. Там сводили счеты, играли на деньги в «трясучку», изредка торговали сигаретами или почтовыми марками. Девочки туда не ходили. Боялись. Не знаю, как удалось Лусеву заманить туда Юлю. В том, что это была его идея, я не сомневался. Ашкенази был зол, но прост. Петух — просто дурак.

Поднимаясь по лестнице с четвертого на пятый этаж, я прислушивался — сверху не доносилось ни звука. Не наврал ли Петух?

Достиг, наконец, тупика. Петух не наврал. Юля стояла, привязанная за руки к решетке. Измочаленная школьная блуза была стянута на лицо — своих мучителей она не видела. Старый белый бюстгальтер мотался на шее. Лапали трое — Лусев, Ашкенази и Петух. Молча хватали за груди. Схватив, отпускали. Потом опять хватали. Схватить было не легко, потому что Юля брыкалась и выкручивалась, несмотря на связанные руки. Пыталась ударить коленом в пах. Я видел, как Лусев схватил Юлю за сосок. Крутанул его, как выключатель. Юля глухо застонала. Лусев схватил ее и за другой сосок. Тут Ашкенази отодрал его руки от Юли и схватил груди сам. Потянул их на себя.

Меня охватило бешеное желание. И, одновременно, — отчаянье и ужас.

Как шальной подскочил к Юле, отпихнул остальных и схватил ее за груди. Сжал в ладонях. Мне представилось, что ее груди состоят из мягкой резины, сваренной из молока. Внутри них нащупывались как бы нежные яблочки. Их хотелось взять в рот и надкусить. Я неловко поцеловал Юлю в сосок. Меня ударил электрический ток. Такого блаженства я еще

не испытывал. Я чувствовал себя одновременно и садистом Лусевым и хулиганом Ашкенази, дураком Петухом и несчастной Ссычкой. Господом Богом в экстазе вечного оргазма и Сатаной в содрогании вечной муки.

Тут Юля попала мне коленом в пах. Я выпустил ее, согнулся и отошел в сторону. Ее сейчас же облепили другие. Неожиданно в тупике появился Палец.

— Вы что, что тут делаете? — воскликнул он скрипучим высоким голосом и добавил. — Гады!

— Отвали, Палец! Твоя очередь еще придет.

— Ах, гады!

Сказав это, Палец бросился на лапающих, забыв, вероятно, в пароксизме гнева о табу на прикосновения. Он вел себя так, как будто кто-то вложил в него уверенность и силу.

Отбросил Петуха в сторону. Петух стукнулся головой о кирпичную стену. Схватил квадратного атлета Ашкенази, отодрал его от Юли, заломил ему назад руку и дал крепкого пинка в зад. Тот не ожидал от Пальцева такой прыти. Упал в углу тупика. Подвернул ногу. Завопил.

Лусев всего этого не замечал. Он лапал как одержимый. Палец налетел и на него, оттащил от девочки. Они сцепились. Упали. Покатились. Тут поднялся Ашкенази и ударил Пальцева ногой в бок — по почкам. Полез к Юле.

В этот момент решалась моя судьба. У меня не было времени трусить. Или надо было встать на сторону Ашкенази и Лусева или заступаться за Пальцева и Бернадскую.

Я бросился на Ашкенази. Получил удар под дых. Это называлось у него — «в душу». Задохнулся. Потом — по ребрам («в торец»). Переборов боль, увернулся от третьего удара и схватил Ашкенази — стальным зажимом за шею. Начал жать. Он не сдавался. Прохрипел: Отпусти, убью!

Я сжал еще крепче. Он закатил глаза. Тут я, наконец, услышал страшный крик Клавдии Дмитриевны. Она кричала мне в ухо: Отпусти его, ты его задушишь!

Отпустил. Ашкенази был без сознания. На его лице застыла презрительная улыбка. Очнулся он минут через пять.

Я огляделся. Вокруг сновали учителя. Юлю развязали, увели. Петух убежал, по-видимому еще до прихода учителей. Пальцев и Лусев еще дрались. Лусев бил Пальцева кулаком в живот, тот кусал Лусева в плечо и царапал ему щеки. Их растащили.

Потом нас повели к директору, по кличке «Керогаз». Туда же привели и испуганного Петуха. Керогаз наорал на всех, вызвал в школу родителей.

На следующий день родители Юли забрали ее из нашей школы. Впоследствии ее семья была одной из первых, покинувших СССР в 1969-м году. Юля закончила школу в Израиле и университет в Торонто. Стала врачом. Ашкенази из школы исключили. По совокупности заслуг. Он перешел в другую школу, но до аттестата не доучился, попал в колонию для несовершеннолетних преступников. Петуха тоже исключили за неисправленные двойки по английскому и арифметике в году. Пальцев покинул нашу школу перед седьмым классом — перешел в соседнюю математическую. То же сделал и я. Лусев выкрутился. Он благополучно доучился до аттестата и стал после окончания юридического факультета МГУ следователем уголовного розыска.

...

В математической школе Пальцева не травили — кроме него там было много и других чудиков. Мы познакомились. Я узнал, что его зовут Володей. Что он интересуется астрономией и индийской философией. Что он прочитал книгу Зельдовича «Высшая математика для начинающих» и части «Махабхараты». В подходящий момент я попытался расспросить его о старой истории. Спросил его, как он узнал тогда, что Юлю мучают, почему не побоялся прийти на помощь, почему терпел, когда его травили?

Он ответил вопросом на вопрос: А почему ты меня травил?

— Потому что был дурак.

— А ты уверен, что перестал быть дураком?

— Нет, но кое-чему меня эта история научила.

— Ну вот, тебя — эта история, а меня научили астралы.

— Что ты плетешь? Расскажи подробнее.

— Это началось после моего сотрясения мозга. Меня сбил велосипедист на Ленинском. Сбил и удрал. А я на земле лежал. Когда я в больнице очнулся и глаза открыл, то понял, что я не на земле, а где-то там, далеко, на восьмой планете в системе Сириуса. Что тут на земле — только мое тело. Да и то не всегда. Описать это словами я не могу. Окружающий меня мир стал не таким, каким он был до моего падения. Сквозь него просвечивал ландшафт другой планеты, было видно новое небо. Кроме того, они показывали мне прошлое.

— Кто они?

— Астралы.

— Ну ты даешь! Кто же это такие, астралы?

— Хозяева времени. По моему миру они как тени летают. Они время разжимают, как гармошку, или, наоборот, сжимают. Например, видел я Лусева не только такого, каким он в классе был. Видел его дома, видел как его отец тиранил, как он от этого страдал и к этой тирании приспособливался. Менялся. Он, даже когда гадом стал, мать от отца защищал. Заботился о ней. И во время травли, когда я руки подымал, чтобы его ударить, астралы мне как раз эти сцены показывали, как он мать защищает или как он маленький плачет, когда его, шестилетнего, отец порет. И я не мог его тронуть. А с Ашкенази — еще хуже. Его не только били, но с раннего детства пьяные ворюги насильовали. У него отца не было, а мать пила и с блатными водилась. А Петуха в его собственном дворе на Шаболовке травили хуже, чем меня в классе. Никто этого не знает, а я это видел.

— А ты меня не дуришь, Палец? Сириус. Астралы. Тебя ведь проверить — проще пареной репы. Если астралы тебе меня тоже показывают... то... то скажи, что я сегодня на завтрак ел?

— Ничего не ел, ты проснулся, оделся и сразу в школу побежал.

Мне стало не по себе. Я действительно не завтракал. Неужели он не погибает? Что бы его еще такое спросить?

— Еще один вопрос. С кем я вчера встречался?

— С Инкой. На Динамо. Ты матери сказал, что на плавание пойдешь, а сам с Инкой поехал.

— Черт! А как тогда с Юлькой было? Тебе что же, и будущее показывают? — спросил я, удивляясь собственному безумию.

Пальцев замялся.

— С будущим сложнее. Это — как они захотят. Ясно не вижу. Как силуэт или дух... иногда вижу. И тогда, что с Юлей будет... увидел когда меня травили, а она глаза отводила. Ей потом Лусев сказал, что я в тупике стою и вою. Она туда меня выручать пошла.

Так все получалось красиво, что я дальше его расспрашивать не стал. Потом подумал и спросил все-таки: Так ты, что же, и сейчас там, на Сириусе?

— Ну да.

— И астралов видишь?

— Вижу.

— И что они тебе показывают? Из будущего?

— Размыто как-то все. Кажется, Берлин.

— До него, брат, дальше, чем до Сириуса!

— Как сказать.

Мы распрощались. И с тех пор обменивались только приветствиями или ничего не значащими фразами. Если я видел, что Пальцев на меня смотрит — невольно старался поскорее спрятаться.

Добавить к моему рассказу почти нечего. Окончив школу, Пальцев поступил на геологический. Еще студентом полюбил «Севера». Ездил в экспедиции. Забичевал и остался в Сибири. В университет так и не вернулся. До сих пор не знаю, дурачил он меня или нет.

*(2003-2004)*

## ВАКХАНАЛИЯ

Когда мне было четырнадцать лет, я понял, что со мной что-то происходит. Сны меня замучили. Не сны, а сон. Он снился мне каждую ночь. Будто лежу я в огромном стеклянном цилиндре. Цилиндр широкий, вроде как труба. Верхний его конец в небесах, на Млечном пути, а нижний — в раскаленном центре земли. И весь он полон голыми женщинами, как консервная банка кильками. Но только вместо постного — там благоуханное розовое масло. Голые женщины и я с ними. Прикосновения их тел мне сказочно приятны. Женщины ласкают меня, мой язык шарит по укромным уголкам их тел, которые мне во сне представлялись очень нереалистично — как в японских мультфильмах. Просыпался я в страшном возбуждении. Как себя успокоить, не знал. Надо было вставать и в школу тащиться.

После школы я шел в близлежащий бассейн. Там тренировался — вначале в зале, потом и в воде. После плавания мылся под душем. Включал воду погорячее, закрывал глаза и балдел. Вспоминал свой сон.

Однажды я так замечтался, что не заметил, как все другие мальчики ушли одеваться в раздевалку. Все, кроме одного. Это был знакомый парень — Анисьев. Он стоял в отдаленной от меня душевой кабинке и совершал ритмичные движения рукой. Когда я подошел к нему, он повернулся ко мне и неожиданно спокойно спросил: Тебе чего надо?

Я сказал: Это что, приятно что ли?

— Ну и дурак ты. Не приятно, а офигенно!

Слово «офигенно» он произнес так, как будто в нем не одна, а десять букв — «е». Буква «о» перешла в громкий стон и мне на живот полетели белые капли. Я встал под соседний душ, смыл капли и сказал: Но ведь это запрещено.

— Ничего не запрещено. Мне сосед, иностранец, показал. Год назад. А ты не пробовал?

— Пробовал, пробовал.

Это была неправда — я не «пробовал».

— Ну, дурак... Пробовал и не понравилось?

Пора было кончать разговор. Пока мой авторитет не испарился.

Я сказал: Иди ты...

И ушел в раздевалку.

Перед сном я «попробовал», но у меня ничего не получилось. К тому же мать пришла и прилегла рядом со мной. И тотчас заснула. Я ворочался, не мог заснуть. Тело матери было горячим, как грелка. Я разбудил ее, сказал: Ма, ты горячая.

Мать что-то проворчала и ушла в свою комнату. А я заснул.

Дальше — хуже. Мой сон начал пробиваться в реальность. Реальность нехотя, но отступала. Я все еще не знал, что со мной. Никто из взрослых не приходил мне на помощь. Мать пыталась мне что-то объяснить, но из ее объяснений ничего хорошего не вышло.

Она говорила мне: Сынок, в твоём возрасте в организме происходят серьезные изменения. Ты должен это понимать и не обращать внимания. Тренируйся больше в бассейне, больше читай и учись. И главное, спи с руками поверх одеяла.

Вот и вся наука. А у меня уже сексуальные галлюцинации начались. Сажу я, например, за письменным столом. И гляжу на шкаф. Его поверхность покрыта тысячами маленьких паутинок, образующих затейливые картинки. Абстрактные. Но я в них вижу голых женщин из своего сна. Их тела вертятся, переплетаются, закручиваются в спирали. Они тянут ко мне руки, вызывают тихими томными голосами.

Или — листаю я книгу чешских путешественников, которые проехали половину Африки, одну из немногих советских книг, в которой можно было увидеть нагое человеческое тело. Стоит мне на картинку посмотреть — она оживает. Чернокожие девушки начинают двигаться, они подмигивают мне, делают руками знаки — иди, иди к нам, танцуй с нами! Раздева-

ются. Я делаюсь маленьким и захожу в картинку. Приближаюсь к ним. Они вплетают меня как цветок в букет из своих тел...

Любопытно, что с живыми людьми у меня не было подобных эксцессов. Да, конечно, случайное прикосновение груди или бедер моих одноклассниц отзывалось во мне электрическим разрядом, но сами одноклассницы и более взрослые девушки не вызывали у меня эротических галлюцинаций. Возможно, мне мешала их реальность. Их плоть. Невозможность манипуляций с ними.

Тогда же я сам, без подсказки взрослых, открыл для себя искусство. Его эротическую сторону. Дрожащими руками листал я бабушкин альбом «Дрезденская галерея». На белой странице книги лежала нежнейшая, светящаяся «Венера» Джорджоне. На коленях стояла только распущенными волосами и куском полотна укрытая «Святая Агнесса» Рибейры, нагло расставив ноги, лежала, доминируя своим кубическим задом, «Девушка» Трюбнера.

Многие не эротические картины возбуждали меня даже больше, чем голые тела. Например, застрявшие в воздухе фигуры левой половины картины Боттичелли «Из жизни святого Зиновия». Я глядел на них и мое тело тоже «застревало», но не в воздухе и не в пространстве, а во времени. Загоралось огнем боттичеллевского колорита. Меня влекло внутрь картины, туда, в ее таинственные — входы, в окна другого мира. В ее преобразующую бытие и тело, и душу волшебную камеру, в которой исполняются потаенные желания.

Мое скромное грехопадение произошло, увы, не с человеком, а с изображением. Не в музее, а дома. С репродукцией картины Пушкинского музея «Вакханалия».

Пространство этой картины заполнено не воздухом, а зеленоватым свечением, дионисическим нектаром. Тут пахнет вином, потом, женским молоком.

Посмотрев на «Вакханалию» я превратился в одного из сосущих молоко козлоногих мальчиков. Ощутил сладость во рту и приятное жжение внизу живота. Вспомнил урок в душевой бассейна. Через минуту все было кончено. Книгу пришлось оттирать тряпкой.



С тех пор жизнь моя изменилась. Или — раздвоилась. Превратилась в два сообщающихся сосуда. В одном сосуде была эротика, в другом — все остальное. Это «остальное» волновало меня не слишком сильно, его задачей было постав- лять образы и ситуации для второй, главной половины.

— Тамара, — сказал отчим матери. — Ты же видишь, он нас готов спустить в сортир!

Эти слова я услышал случайно и подумал с ужасом: Он прав, я их действительно в сортир готов спустить, потому что они мне мешают. Мешают своими упреками, придирками, бесконечными нравоучениями.

Я воспринимал жизнь, как конвейер образов и ситуаций, которые мои гормоны превращали в эротические, возбуждающие картины. Не только шкаф своей поверхностью, но и сама жизнь своей цветной лентой наполняла соблазнитель- ными кошмарами мой «Декамерон».

Иногда видения мои имели сюрреалистический вид. Иду я, например, по Ленинскому проспекту. Смотрю на дома, на людей, на машины. И вдруг вижу — из всех окон смотрят на меня обнаженные синие женщины. Грациозно, через плечо. Очень классично. И соблазнительно. И все деревья на аллее оживают как дриады, синеют и тоже превращаются в синих красавиц. И из окон машин выглядывают синие женские лица. Огромное белое облако медленно синеет и меняет очертания. Появляется голова, руки, ноги. И вот, над проспектом уже ви- сит гигантская синяя фигура. А под ней красный транспарант: Партия — наш рулевой. И портрет Ильича.

Еще интенсивнее были мои эротико-архитектурные ви- дения. Все дома представлялись мне как великаны. Они стоят и смотрят. Давят мощью своих коленей и спин. Они раздраже- ны и напряжены, эти колоссы. И сексуально озабочены. Страшно медлительны. Главное здание Московского универ- ситета на Ленинских горах — их предводитель. Предводитель московского войска.

Этот составленный из прямоугольников гигантский фал- лос воткнул в глинистую почву Ленинских гор страшный дя- дя Сталин. По пояс. С тех пор он стоит и смотрит на Москву с

высоты. Очертания его широких плечей украдены архитектором в Нью-Йорке. На сплющенной цилиндрической голове — шпилевидная дурацкая шапка. Вместо члена — гигантский куб с колоннами «Главный вход». Его тело разбито на зоны. В них муравьи учат муравьев.

После грехопадения физическое мое состояние улучшилось, но начались страдания другого рода. Меня мучило то, что я был сам себе муж или сам себе жена. Меня терзала не столько нечистая совесть, сколько сексуальное одиночество. Меня влекло к девушкам, но я не знал, что делать, что говорить. И стеснялся зверски.

Я решил, если не получится «по-хорошему», пойти к проституткам. По-хорошему не получалось. Не только потому, что я не знал, как подступиться, а потому, что подступаться было не к кому. Нравы и обычаи советского государства или, по крайней мере, среды, к которой я принадлежал, не позволяли какой-либо женщине или девушке «спутаться» с пацаном.

Из сэкономленных полтинников, которые мама давала мне на обед в школьном буфете, составила наконец гигантская для меня сумма в двадцать рублей.

Куда идти, где искать «блядей»? Как купить презерватив?

Я направился за информацией в параллельный класс — к Анисьеву. Анисьев был второгодником, ему было почти шестнадцать, и он представлялся мне знатоком амурных дел.

Вдоволь поиздевавшись над молокососом, Анисьев нехотя сообщил — девки в Москве есть только на Соколе. Стоят у метро в ряд. Выбирай любую.

— А сколько это стоит? — спросил я, не зная точно, что «это».

— От рубля до трешки.

Зря значит, я столько денег накопил.

— А где гондон купить?

— В аптеке.

Пошел я в аптеку.

— А не рано вам, молодой человек? — ехидно заметила аптекарша, заворачивая в бумажку два презерватива. Бумажка жгла мне руку. Спрятал ее поскорее в карман. И удрал.

Вечером наврал что-то для оправдания завтрашнего отсутствия дома. И на следующий день поехал. На метро. На Сокол.

По дороге думал: Хорошо, что ехать целый час, надо успокоиться и взять себя в руки.

Это оказалось труднее, чем я полагал. Люди стали другими. Многие вопросительно и насмешливо смотрели на меня. Казалось, они хотят спросить: А вы куда едете? На Сокол? А не рано вам, молодой человек?

На мне горела шапка. Жгла совесть. Гадкий внутренний голос кричал: Ни на что не годен, мудака!

Внешний мир вторил: А не рано ли тебе покупать женщин? Это ведь не пирожки с капустой. А презервативом умеешь пользоваться? Ничего у тебя не выйдет!

И сам я говорил себе: Ну ладно, приедешь ты на Сокол. Найдешь какую-нибудь. А куда ты с ней пойдешь? На дворе осень. Дождь. Лужи. Эх ты, дубина!

...

Приехал. Выхожу на площадь. Народу вокруг! У парапета стоят женщины. Серые. Те? Черт их знает. Просмотрел их глазами. Вроде те. Подошел к одной и сказал: Пойдем со мной.

Она пошла. Но тут же разъяснила ситуацию: Ты не подумай, что я какая больная. Три рубля. И резинка. Пойдем в один дом. Близко. Иди за мной. И перестань дрожать. Никто тебя не съест. Потом посмотрела на меня, хмыкнула и спросила: В первый раз что ли?

— В первый раз.

Мы пошли. Она шла впереди. Я трусил за ней. Улица прыгала у меня под ногами. Ноги не шли. Внизу живота сосало. Ей ведь не меньше двадцати! И грубая. Голос низкий, каркающий. И сзади на ворону похожа. И нос длинный, как у вороны клюв. И с прыщиком.

Подошли к дому. Прошли в подъезд. Поднялись на лифте на восьмой этаж. Прошли еще пролет. Вышли на чердак. Там было тепло. Поблескивала серебряная изоляционная бумага на трубах. Валялись провода, стояла старая изломанная ме-

бель. Велосипед без колес, детская коляска, холодильник. Прошли метров двадцать — в захлавленном углу нашли железную кровать. На ней лежала куча тряпья.

Девушка сказала: Ну вот и квартера. Ну, чего стоишь как пень. Снимай штаны. Я не могу тут весь день с тобой возиться. В первый раз, в первый класс...

Я чувствовал себя сломанной механической куклой. С трудом снял куртку. Медленно расстегнул штаны и спустил на колени черные трусы. Девушка скинула пальто, сняла зеленую кофточку. Расстегнула не очень чистый розовый лифчик. Я увидел ее небольшие груди. Левая была заметно меньше правой. На коже остались следы от резинки. Как будто проехал маленький трактор.

Спросил: Как тебя зовут?

— А тебе не все равно? Любой зовут. Да ты, я вижу, и не хочешь ничего.

Она была права. Ничего я не хотел. Желание исчезло. Исчезли и сообщающиеся сосуды. Жизнь упростилась. И страх прошел. Хотелось уйти. Девушка положила руку на мой живот.

Я сказал: Не делай ничего. Я пойду.

Она разозлилась: Плати деньги и вали. Ребенок, бля!

Я вынул из кармана мои двадцать рублей и подал ей. Считать и думать не мог. Она взяла деньги. Отсчитала три рубля, остальное подала мне назад.

И тут мы услышали уверенный хриплый голос из другого угла чердака: Деньги лежи на кровать.

Из темноты вышли два типа и подошли к нам. Оба худые, за тридцать, в наколках, пьяные или начифиренные. У одного в руке нож. Он подошел к девушке и прохрипел: Уу, сука... давай деньги!

Взял у нее кошелек и положил себе в карман. Забрал и мои полтинники. Потом взял девушку за волосы и сильно дернул. Вниз. Она вскрикнула и упала на колени.

— Расстегни штаны и соси, сука! — приказал он.

В это время второй подошел ко мне.

— Давай часы!

Я снял часы и подал ему. Одной рукой он принял часы, а другой как-то странно размахнулся и огрел меня чем-то железным. У меня от боли перехватило дыхание. Я сел на пол. Увидел в его руке велосипедную цепь. Подумал: Если он меня ей по голове ударит, то убьет.

Но убивать меня видимо не входило в его планы. Он связал мне руки и привязал к какой-то трубе. Расстегнул ширинку и встал рядом с товарищем. Девушке пришлось обслуживать двоих. Они сопровождали происходящее комментариями, которые мне не хочется вспоминать.

Сердце мое было в пятках. Я предвидел, что, получив желаемое, мерзавцы не оставят нас в покое, а захотят помучить. А потом...

В голову неожиданно пришли слова: Пресвятая Богородица, помилуй меня грешного, спаси и сохрани!

Я повторял их снова и снова. Молитву эту я слышал от бабушки. Легче мне не стало — сердце трепыхалось, по спине струился пот.

Я видел все. Видел, как один тип срывал с девушки оставшуюся одежду. Потом заламывал ей руки. Другой бил ее ногой. Потом ремнем. По груди, по спине. Слышал, как она кричала.

Один тип с наколками сказал что-то другому, показал на меня. Тот подошел ко мне и ударил кулаком по лицу. Потом еще раз. Во рту у меня стало тепло и солоно. Потом оба ушли.

Девушка с трудом встала, оделась и развязала меня. Я поднялся. Выплюнул кровь. Челюсть болела. В верхнем ряду зубов образовалось прореха. Девушке тоже досталось крепко — нос ей сломали, один глаз заплыл, она охала, хромала, левую руку прижимала к груди. Мы не говорили между собой. Вышли из дома и пошли в разные стороны.

## В БОЛЬНИЦЕ

Заболел у меня живот. И раньше бывало, конечно. Пережор. Перепой. Или несвежая сайра.

Как-то не так заболел. Как будто железный шкаф проглотил. И давит шкаф изнутри твердыми углами. Там, где давит — горячо. Не шкаф, а печка.

Обидно болеть в субботу. Свободный день на такую дрянь тратить. Лето. Подружки ждут. Листики на московских деревьях еще не побурели, а у тебя шкаф в животе. И предчувствие неприятное. На сей раз не отделаешься. Глубоко копнуло. Страшно? В восемнадцать лет все страшно. Потому что тело гудит как орган и все его клеточки кричат тебе — живи, танцуй, радуйся! Так хорошо, как сейчас, никогда больше не будет.

Позвонил отцу на работу. Секретарша долго не соединяла. Занятость демонстрировала.

— Пап, у меня живот болит. Сил нет. Не знаю, что делать...

— Матери звонил?

— Нет.

— Правильно, зачем ее тревожить. До районной поликлиники дойдешь?

— Нет, не дойду, как встану — сгибает. Скорую вызывать?

— Погоди со скорой. Я тебе сейчас Игоря пришлю. Выходи минут через пять. Отвезет тебя в нашу ведомственную. К Луизе Исааковне иди, кабинет 118, она посмотрит тебя, направит куда надо... Я пошел, у меня редакционное совещание начинается.

Шкаф еще горячее стал. Ох, ненавижу я врачей. Ладно. Может и помогут. Люди в белых халатах... Чтобы их так скрючило! Боже, как больно. А если лифт застрянет? Восьмой этаж. Тогда мне хана.

Вышел, согнувшись, из подъезда. Игорь уже ждал. Заднее сиденье у казенной Волги широкое. Можно прилечь. Какие у шоферов шеи толстые. Бычьи. Бык. Даже морду не повернул. На мое «здрассте» не ответил.

В поликлинике все у меня перед глазами взад-вперед поехало. Поскользнулся, но не упал. Сел на стул. Какая-то тетка в белом халате подошла, спросила: Вам куда? Вы кто? Это стул только для персонала, на нем сидеть воспрещается. Вы к кому пришли?

— Я никто, человек просто... Я к Луизе... пришел. Отчество библейское. Забыл... Я, видите ли, шкаф проглотил... жжет собака! Во, вспомнил... К Исааковне. Был, знаете ли, у Авраама сынишка, его родной папаша заколоть хотел... Всесожжение устроить... А Бог ему баранчика подсунул, да... Под нож.

Тут подошла еще одна тетка в белом халате. Я расслышал: Бредит он что ли? Может выпивший? Не похоже... Одет чисто. Что с ним Луиза Исааковна делать будет? Или какой шишки сынок. Нанюхался чего-нибудь... Ты проверь у него вены.

Через несколько минут я сидел в кабинете Луизы Исааковны. Воняло нашатырным спиртом. У меня брали кровь. Проколотая маленькой пикой подушечка безымянного пальца нестерпимо зудела. Из нее сосредоточено высасывала кровь медсестра. Потом выплевывала ее из стеклянной трубочки в пробирку...

Пришел хирург. Большой, умный дядя с усами. Он сказал — похоже, гнойный аппендицит у парня, на стол его надо, пока перитонит не начался. А потом с Луизой шептался.

— Не наш пациент... В Кремлевку ведь так просто не пошлешь. Я не знаю, как в таких случаях поступают... Что, дикость? У нас все дикость. Я на себя ответственность не возьму... Вызывай скорую из Градской... Пусть забирают...

Затем, помню, Луиза меня допрашивала: Антон, тебе восемнадцать исполнилось? Ты где прописан? Ты студент? У тебя паспорт с собой?

Я не понимал, что она имеет в виду. Меня жег шкаф. Я корчился, сгибался...

— Восемнадцать чего? Прописан, переписан, записан... Не выскочу. Паспорт? Это что, такая книжечка с фотографией? Или это маленький шкафчик, в котором человек заперт? Сидит там и воет. У него животик болит... Нету с собой паспорта... Только я сам... Студент. Сам с собой. Вызовите доктора...

Потом у меня провалилось все перед глазами. Боль от иголки, беспокойно, как птичка, ищущей вену на сгибе руки, я не почувствовал.

Ленинский проспект. Сирена — сумасшедшая улитка в ухо орет... Кого это везут? Ха-ха-ха! Меня! Странно, боли вроде и нет больше. А шкаф? А шкаф теперь я сам. Нет у меня ни ног, ни рук... Зато есть полки и углы... Откройте меня, потушите пожар!

Из приемного покоя сразу в операционную отправили. Брили прямо на столе. Медбрат брил. Спокойно, ловко. Приговаривал: Бреем, бреем трубочиста, чисто, чисто, чисто...

Я пытался его поправить: Моем, моем...

А медбрат превратился почему-то в огромную звезду. Она вспыхнула прямо перед глазами, залила все светом и теплом... А на мой живот кто-то выплеснул ведро горячей воды. Женщина в белой маске сказала: Потерпи, Антоша, надо кишку вытянуть... Можешь покричать.

И стала она из меня шкаф вынимать. А он выходить не хотел. Тянула-тянула.

А потом маска показала мне длинного белого скрюченного червяка.

— Вот он, весь в гнойных бляшках... Полюбуйся. Вовремя тебя привезли. Через часок лопнул бы отросток. Теперь надо брюшную полость обследовать. Не долго осталось.

Когда меня шили, я слышал хруст. Больно было жутко. Я не кричал, потому что в горле не было воздуха и звуки куда-то делись все. Все, кроме хруста.

Привезли меня в палату. Там был шторм. Железные кровати вздымались как волны — вверх, вниз. Затем пришел добрый медбрат. Он уколол меня в бедро, я заснул. Спал без сновидений. Проснулся вечером. Шкафа в животе не было. Но на его месте поселился оркестр. И играл, играл... А-а-а!



— Это у тебя заморозка отходит, — сказал сосед по палате, длинный, черноволосый, с чёлкой, лет тридцати. — На ночь еще уколец всадят, оклемаешься! Давай пять! Меня зовут Сергей. Ну, Серый. А ты, значит, Антошка. Играешь на гармошке. С язвой я. Две недели уже тут. Процедуры. Пробождения боятся врачи. Тут у нас компания теплая — ты, да я, да Пахомыч. У него грыжа... Ущемленная. Три дня назад оперировали. Послезавтра на выписку. Тоже выл, когда отходило. А теперь как новый. Пахомыч, ты бы на бабу лег? Ты только честно скажи! Куда-куда? Ишь, завернул манду в газету. Вот то-то. Три койки еще пустые. К ночи придут... Свято место пусто не бывает. Сегодня Вера Павловна дежурит. Железная женщина. Ты тоже через ее руки прошел. Да ты не кричи, постонай немного... Тут все свои...

— А как медбрата вызвать?

— Ванятку-то? Позвать что ли? Я схожу.

Медбрат прибыл минут через двадцать. Студент пятого курса Второго меда на практике. Ванятка хоть и выглядел еще как пацан, но уже смотрел на пациентов укоризненно. Точь в точь как его любимый профессор, старый хирург Углов.

Ванятка меня успокаивал: Потерпи еще пару часов, для шва лучше будет, если мы тебя сейчас не будем химией накачивать.

После его ухода Серый пояснил: Ты, Антошка, Ванятку не слушай. Он сейчас твой морфий самому себе в жопу вколет. Все они тут на игле. Погоди, может Вера зайдет, ей скажешь, что невтерпеж...

А я его уже не слушал. Оркестр разыгрался вовсю. Выть было стыдно, хотя и очень хотелось. Свернул край простыни в трубочку, зажал зубами. Отвернулся в стену и плакал потихоньку.

Приходил с кратким визитом отец. Обнял, поцеловал. Отвел в сторону медбрата, дал ему червонец. В полутемной бельевой комнатке нашел нянечку Ильиничну и одарил ее двумя пачками «Золотого ярлыка». Она была так ошарашена вторжением в ее мир роскошного мужчины начальственного типа, что даже не успела отдернуть от рта горлышко бутыл-

ки крепленого, которую распивала в тишине и покое... Поговорил отец и с Верой Павловной, которая не без гордости приняла от него модные тогда маленькие золотые сережки-сердечки и сообщила: У вашего сына все в порядке. Чистая брюшина. Через пять дней выпишем. А о Кремлевке не жалейте. Уход и еда у них там, конечно, лучше нашего. А врачи все блатные. Оперируют раз в три года. Сколько человек сгубили. А тут — целый день в операционной, руки сами режут... Возьмем Антошу под особый контроль. Клюквы протертой ему завтра принесите.

После ухода отца обескураженный Ванятка все-таки сделал мне укол, пробормотав: Ну, отец у тебя крутой, Антон! Веру завел, прибежала взмыленная, как рысь. Шприц, говорит, покипяти хорошенько. И вкати ему, чтоб заснул. Это сын такого человека... За нами дело не постоит... Мы вкатим... Нам деньги редко в руки попадают. Живем на стипендию.

Обитатели больницы встают рано. В шесть утра разбудил меня Серый и сразу затараторил в ухо, как будто шариками из подшипника закидал: Слушай, Антошка, ночью старичка привезли. Я историю болезни видел — онкологический он, безнадежный. Типенко фамилия. Семьдесят четыре года дедушке. Ровесник века! Стонет все время. Обосрался, а выносить некому. Ильинична бухая в бельевой гоношится, Ванятка дрыхнет... И еще двоих вселили. Капитана брюхатого, слепенького и Филиппыча с железным горлом. Доходягу-алконавта. Капитана ночью резали. Осложненный аппендикс. Располосовала ему Вера брюхо, потому что через весь живот лежал. Три часа его мучили. Под местным делали. Еще не очнулся. Слышь, храпит как конь. А Филиппыча завтра на стол положат. Представляешь, у него ночью кровотечение началось, он еле живой, а под мухой. Готовься, скоро обход будет. Вера обходит, прежде чем смену сдать.

Проговорив все это, Серый мгновенно перешел к Пахомычу, который недовольно и тупо смотрел на новоприбывших и пристроился к его большому мохнатому уху.

После обхода подошел ко мне Филиппыч. Маленький, худой как скелет. Лицо и руки у него были морковные. Глаза — цвета пачки Беломора. Заговорил шипящим шепотом: Ты чего тут делаешь, паря?

— Аппендицит у меня вырезали... Лежу... А у тебя, что, правда в глотке трубка? Расскажи.

— История, паря, такая. Все это, ну... Пятидесятилетие Октября справляли. Добавить хотелось, хоть в петлю лезь. А не было. Шарил, шарил. Нашел бутылочку в кухонном шкафу. Думал, жена запрятала. Не разобрал, что это эссенция. Ну вот, паря, налил я, того-этого, в стакан. И залпом. Сразу понял, что беда. Обожгло нутро. Огнем прошило. Ну я, чего терять-то, и второй стакан долбанул. Поставили мне искусственный пищевод. А он вот... Отторгается. Ночью кровь прорвало, думал захлебнусь и помру. Сюда привезли. Откачали. Резать будут. Мне не в первой. Давай со мной на посошок? И достал из больничного халата четвертинку.

Как я узнал позже, уже первый стакан должен был его убить, уксусная эссенция выела пищевод. Второй стакан был самоубийством в квадрате. Но Филиппыч выжил. И жил уже семь лет с трубкой в горле. И пил.

Вера Павловна говорила мне — в туалет сегодня сам иди, не торопись, не тужься. Иди! Сначала сесть надо. Сел. Боялся, что шов раскроется как рыба пасть, и из него внутренности выпадут. Медленно поднялся и пошел в туалет, поддерживая живот. Вот, оказывается, что самое трудное в жизни. Пописать. Нечеловеческие усилия. Три капельки упало. А как насчет того, чтобы на потертое больничное сиденье сесть? Слабо?

Притащился как-то назад, лег. Боль не прошла и оркестр играл. Но не так громко, как раньше. Хуже боли было то, что время перестало идти. Лежишь, лежишь, всю жизнь вспомнишь, всех любимых перецелуешь-переобнимаешь, а время — как было полдесятого, так и осталось... Если бы не сон, зятянулся бы день на вечность.

Приходила мать, заглянули пара приятелей и подружка. Потом мне ставили банки, заставляли вставать, есть — все это

прошло в тумане как дурной фильм. Голова слегка прояснилась только к вечеру. И боль чуток отпустила. Оркестр затих. Глаза сфокусировались, как объективы.

На улице щебетали птицы. Под потолком, у белого светящегося шара, кружились мухи. Жизнь продолжалась.

А в нашей палате было тихо, все замерло, словно на фотографии. Капитан спал. Пахомыч гладил себя обеими руками по животу, кряхтел. Несчастный раковый дедушка тихо постанывал. Серый с интересом читал газету «Труд». Он был похож на сову в черном парике с челкой. Филиппыч — стальное горло, лежал на своей кровати и смотрел на облупленный больничный потолок, шевелил морковными губами, моргал.

...

Дедушка Типенко вдруг дернулся, как будто его молния ударила, затрясся и громко застонал. Схватился за сердце. Капитан зашевелился, попытался лечь на бок, зарычал от боли... Серый отложил Труд в сторону, бодро соскочил с кровати и, радуясь тому, что может кому-то что-то сообщить, побежал звать Ванятку. Пахомыч пробурчал: Ну, будут теперь охи да ахи! Вот, бля, жизнь пошла. Деда в морг надо, а не сюда. А капитана привязать, а то брюхо раскроется. Вот, медицина Страны Советов. Вот она, забота о народе.

Типенко стонал все громче. Неожиданно я понял, что он не стонет, а просит. Умоляет кого-то.

— Сердешная, сердешная, отпусти меня, отпусти... Предомной смерть стоит. Косой сердце режет... Косой. Сердце. Режет... Сердешная.. Сердешная... Отпусти, Броня, дай помереть спокойно...

Речь его прервалась. Мне показалось, что та часть палатного пространства, где лежал Типенко, опустела.

В комнату вбежали медбрат и Серый. Ванятка деловито взял костлявую руку старичка, пощупал пульс, вздохнул, затем закрыл тело одеялом, снял койку, стоящую на колесиках, с тормозов, посмотрел укоризненно на нас, и увез Типенко из палаты. А через некоторое время привез пустую койку назад. На ней лежало свежее серое белье и старое одеяло.

Филиппыч икнул, тяжело закашлялся и прошипел: Царство небесное, вечный покой... В приемном покое вместе ночью были. Говорил. Студенька просил принести. С хреном. Того-этого. Надо покурить пойти. Тяжело, когда человек в сырую землю идет...

Серый проговорил философски: Вот так и кончается все... Зачем живем? Как скот. А потом смерть с косой. И койка обоссанная. В говне умер дедушка. Ему еще повезло. Я тут такое видал за две недели. В соседней палате один от пролежней умирал. Толстый такой. Ревел, ревел, а потом пёрнул как слон и помер.

Пахомыч пробурчал в сердцах: Медицина это? Страна советская, все для людёв? Я вас спрашиваю, все для людёв? Так-то...

...

В ту ночь мне наша палата приснилась. Все спят. А Типенко как будто все еще на своей кровати лежит. Я смотрю во тьму и вижу — встает Типенко на воздух и летит ко мне. Садится у меня в ногах. Достает откуда-то тарелку со студнем и начинает его руками есть. Мне гадко, но я молчу... Доел Типенко студень, пальцы вытер вафельным полотенцем, повернулся ко мне и заговорил страшным загробным голосом, сверкая во тьме перламутровыми бельмами: Студенёк знатный. Холодненький и с хренком. И смальца на ём как песочек лежит. Без хрящей, только дольки мясные собрала Матрена Ивановна. Ножки свиные были как у младенцев пяточки... Ты, сопляк, а я Блокаду пережил, не помер. Ленинградский я, понимаешь. Думаешь, там все как в книжках написано было? Героизм защитников? Хрен им в рыло. Людей мы ели. Студень из трупов варили. Понятно? Иначе никто бы не выжил. Все, кроме холуёв сталинских, эти в три морды жрали. Была у нас соседка, Броня. Безработная. И без пайки. У меня с ней до войны было... Когда жена на службе... Крутили. Туда-сюда. Умерла Броня в феврале сорок второго. Ну так мы дверь к ней и взламывать не стали. У меня ключ был. Перетащили мебели к нам. Порубили на топку. И труп забрали... Я топором её расхрякал. На буржуйке варили. В кастрюле. Несколько кусков мяса я на

рынке на соль и хлеб обменял. Говорил — конина. Потом все забыли. Из головы вон. Жить хотели. А вот как заболел, стала ко мне Броня приходить. Ты, Егорыч, говорит, меня ел, теперь и мне твоего мяса поесть охота... Выела она меня всего. Вот я и помер. Смотри, вон она! Стоит, руки растопырила, сука... Убирайся! Сгинь... Помер я, помер... Чего тебе еще надо?

...

На следующий день выписали Пахомыча. На прощанье медсестра сделала ему укол анальгина. Чтобы дорогу домой лучше перенес. Филиппыча прооперировали и положили в реанимацию. А капитан, наконец, очнулся. Ходил с моей помощью в туалет. После обеда разговорился. Оказалось, он не капитан, а пилот.

— Пилот, пилот я бывший. Гражданской авиации. Вторым пилотом был. На тушке. Потерпели мы аварию под Саратовом. Нашего командира сразу убило. А я до конца штурвал держал. Мне глаза огнем выжгло. С тех пор я слепой крот. Пенсию платят. Чтобы с голоду не подох. Слышь, ребят, а у вас тут бабы нет какой? Мне бы любая подошла. По серьезному то я с распоротым брюхом не смогу. А в рот... Сколько лет мечтаю.

Я смутился, а Серый серьезно задумался, челку поправил и произнес: Медсестры тут гордые. К ним не подкатишься. А вот нянечка, Ильинична, та бы согласилась. И место есть — бельевая. Если ты ей рублик в халат сунешь...

— Суну, суну... А какая она из себя? Полненькая?

— Она красавица, ноги как папиросы, а морда кирпичка просит, — пропел Серый и полетел к Ильиничне, дело улаживать. Я остался в палате один с слепым пилотом. Тому хотелось с кем-нибудь поговорить.

— Ты, как тебя кличут, Антон, что ли. Ты тут?

— Я здесь, я еще часть пространства.

— Ты не мудри, парень... А что, эта Ильинична... Очень страшна?

— Как зад престарелого самурая!

— В возрасте она?

— Ленина видела еще молодым.

— Грязная?

— В меру...

— Я баб пять лет не трогал. Меня жена, как ослеп, сразу бросила. Стюардесса была. Милашка. На заграничные линии ее пригласили... Зачем я ей? Мать меня приютила. Старушка. Потом померла мамочка. Живу один. Тут недалеко, у Калужской заставы. Вначале тяжело было, по небу тосковал, потом освоился. Пью с ребятами пиво у киоска. Они меня домой провожают, даже продуктами делятся... А моя бывшая опять за летчиком замужем. На Кубу летает... Милка так меня любила, где-то триппер подцепила.

Тут в палату вбежал Серый. Его распирали известия.

— У меня две новости. Хорошая и плохая. Вначале плохая. Представляете, наш Пахомыч умер. Дома. Не от грыжи. От анальгина. У него аллергия была на анальгин. Вера знала, Ванятка знал, а новая сестра не знала. Как лучше хотела. А вышло вон как. Задохнулся. Побежал деда Типенко догонять. Будет на ангелов ворчать, старый пердун. А теперь хорошая новость. Ильинична согласна в рот взять! Завтра, в бельевой. Обещала зубы почистить.

## БЕРЛИН — МОСКВА

До отлета три часа. Аэропорт пустой и жуткий. Пассажиров не видно. Только одинокий бородач стоит, опершись о перила, и тоскливо озирается. Все ясно — и этот летит в Шереметьево. И его тоскливое, упорное ожидание — типично русский знак. Россия всегда чего-то ждет, всегда что-то терпит, она лишена настоящего и живет между никак не кончающимся «проклятым прошлым» и никогда не наступающим «светлым будущим».

Объявили регистрацию. Вошел в «предбанник», к девятым воротам. Сел. Сравнительно небольшое помещение предбанника стало наполняться пассажирами. Внимание привлекли несколько «новых русских» с шикарными, но вульгарно одетыми дамами.

У мужчин сквозь показное достоинство проглядывала криминальная нахрапистость. У женщин доминировала томная усталость от богатства и могущества их мужественных покровителей.

Сам не зная зачем, завел идиотский разговор-дискуссию. Спросил рядом сидящего человека средней внешности о том, стало ли лучше в России в последнее время. Тот отвечал невнятно: Ну да, стало лучше. А может и нет. Не знаю я. Вроде лучше...

И замолчал. Зато сидящий спереди, одетый в совершенно дикую дубленку, господин вдруг забормотал простуженным голосом: Что вы спрашиваете? Конечно лучше не стало. Хуже стало. Разворовали Россию. Предали и разворовали. Дерьмократы. Олигархи-евреи. А вы что, не знаете этого? Стонет матушка Русь. Ну ничего, настанет царство правды. Раскулачат гадов.

— Старая песня, — сказал третий, тот самый бородач. — Никто Россию не разворовывал. В ней всегда воровали и бу-



дут воровать. Народ сволочь, что заслужил, то и получил. Все идет как всегда шло. Нельзя за такой короткий период изменить уклад жизни огромной страны. Но, я думаю, все устаканится и будет лучше.

— А что вы думаете о Путине?

Бородач многозначительно посмотрел на меня и сказал: Вы ему альтернативу знаете? Я не знаю. Значит и разговор бесполезен. Надеюсь, у него хватит ума прекратить расхищать российские недра и начать что-то производить.

— Альтернатива — честно выбранный, достойный президент.

— Выбранный? Вы сколько лет на родине не были?

Объявили посадку. Все стали подниматься.

Самолет оказался «маленьким». С одним узким проходом между креслами. Я сел рядом с проходом. И просидел два часа, не вставая, стараясь не реагировать на внешний мир, моля клаустрофобию о пощаде.

Когда приземлялись, сердце стучало как сумасшедший ударник в джазоркестре. Майка промокла. Во рту была горечь. Потом полегчало. На ватных ногах, полуголушенный, с болью в похрустывающих ушах, пошел по узкому коридору к выходу в аэропорт. Мелькнула мысль — может быть сразу улететь назад? Страх замкнутого пространства превратился в страх перед огромной темной страной, из которой я вовремя унес ноги, и в которую меня опять неизвестно зачем занесло.

— Я на родине. На родине. На родине. Дикость какая-то. Зачем я приперся? Захотелось посмотреть на оставленный город? Так нечего удивляться, что чувствуешь себя соляным столбом...

— Вам куда ехать? Вам куда?

Толпа кричащих таксистов встречала новоприбывших. Они боролись за клиентов, орали в лицо, хватили за рукав, тащили к машинам.

— 50 Долларов! И Вы в Москве.

— А за тридцать поедешь? На Юго-Западную.

— Ну, садись.

Еле влез в грязные, помятые Жигули.

Москва поразила ночными огнями. В памяти все еще господствовал темный город конца сентября 1990-о года. Черная ночью, а днем серая столица все еще существовавшего и вовсе не собиравшегося разваливаться Советского Союза. А тут вдруг — море огней. Позже я заметил, что границами этого московского моря служат главные улицы, особенно хорошо освещены те из них, по которым проезжает кортеж президента.

Новые дома выделялись на улицах — как «новые русские» в самолете Берлин-Москва. Огромные, не вписывающиеся во все еще советский архитектурный ландшафт, с подчеркнутой закругленностью линий, они давили своей неуместностью, слепой мощью. У меня они пробудили приятное чувство узнавания хорошо знакомого старого. Архитектура Москвы во все времена отображала идею безвкусного могущества. Таков отчасти и Кремль и сталинские высоты и брежневские жилые районы. Третий Рим пестует свое превосходство перед провинцией, перед всем миром.

Садовое кольцо почти не изменилось. Проспект Вернадского обогатился новыми небоскребами. Вот и мамин дом — тринадцатизэтажная коробка с тремя подъездами. Подошел к подъезду. Путь мне преградила железная дверь с кодовым замком. А код был записан у меня на бумажке. Набрал код, дверь с клацаньем открылась. Прекрасно! Но дальше еще одна железная дверь. И тоже с кодовым замком. И этот код у меня был, но в нем, как позже выяснилось, не хватало одной цифры. Набрал код. Дверь не открывается. Еще раз. Никакого эффекта. Еще раз. Мертвое дело. Что делать? Не знаю. Тут только до меня дошло, что в Москве чудовищно холодно — градусов двадцать ниже нуля. А я торчу в неотапливаемом помещении. Поздно уже — полпервого ночи. Помощь нужна, иначе тут и подохнуть можно. Вышел на улицу. Постучал в стекло зарешеченного низкого окна на первом этаже. Кто-то пошевелил противную серую занавеску. Кто — не ясно. Темное пятно, даже не силуэт. Донеслось: Вам чего?

— Откройте мне пожалуйста дверь! У меня код неправильный, я из заграницы приехал, мерзну. Я сын Тамары, проживающей в этом доме...

— Мы чужим не открываем.

— Я не чужой. Позвоните Тане Полесовой, она меня знает. Она живет на пятом этаже с мужем и ребенком.

— Мы чужим не открываем.

— Я — не чужой...

Так продолжалось минут десять. Потом меня осенило — я спросил: Гамлет, это ты? Ты же знаешь меня, я Игорь.

Ответ был уничтожающим.

— Гамлет тут двадцать лет не живет! Никакого Игоря не знаю и знать не хочу...

Мило. Молчание. Но я по-видимому все-таки нажал на нужную кнопку. Знакомый Гамлета позвонил подруге сестры Тане. Через пять минут любезная Таня открыла железную дверь и впустила меня в подъезд. Дала ключи. Предложила помощь. Сообщила правильный код.

Вошел в кабину лифта. Какая узкая! И внутри так же пахнет не то потом, не то кошками. По дороге лифт трещал и трясся. Казалось, что он задевает боком за стены и может в любое время мертво застрять. Доехал, наконец, до девятого этажа. Выдрался из лифта, как тот булгаковский господин из кадки с керченской сельдью. И попал в клетку. Путь к двери в квартиру преграждала сваренная из мощных стальных прутьев дверь. Открыл и закрыл. Еще квадратный метр пространства перед последней деревянной, покрытой оборванным коричневым дерматином дверью. Три замка. Не дом, а Кощей Бессмертный. У меня в руках — связка с десятью ключами. Математика. Два замка сломаны. Ключ в них можно долго крутить без толку. Третий еще держит. Открылся.

Горе-горюшко!

В отсутствие хозяев в квартире жили чужие люди, но мамина комната была на замке, в ней хранились ее вещи, лежали стопки моих книг, не разворованный и не розданный остаток, привезенный сюда при ликвидации моей московской квартиры, картины и много разного барахла. Комната походила на кладовку.

Лег на мамину кровать и попытался заснуть. Скверно пахнущие, слежавшиеся за годы простыни, кусали тело, было тяжело дышать. В гортани стоял ком. Понял, что заснуть в этом

аду не смогу. Встал, пошел в кухню, нашел какие-то тряпки, замочил их в ванной и начал мыть пол. Сначала в коридоре. Потом в маминной комнате. Работа шла медленно. Пыль лежала жирным двухсантиметровым пластом. И не только на полу, но и на вещах. Из пыли вылетали какие-то мошки. Квартира походила на пустынную планету, на которой начало образовываться что-то биологическое.

Пыль. Почва небытия, давшая однако жизнь мушкам, паучкам, неисчислимым микроорганизмам. Вот оно — будущее. Именно так оно и возникает. Из барахла оставленной жизни. В спальне уехавших хозяев.

...

Мне пятнадцать лет. Моя семья (мама, сестра и отчим) еще живет в маленькой двухкомнатной квартире в доме на Панферова. Но нас уже два месяца ждет прекрасная трехкомнатная квартира, на девятом этаже нового дома, с двумя балконами. У меня будет там своя комната. Четырнадцать квадратных метров! В доме еще не работает лифт. В квартире — только темный лакированный гарнитур. Но не гарнитур влечет меня туда. И не балконы. Меня тянет возможность побыть там с моей девчонкой наедине. Мы учимся в одной школе, Лерка — на класс моложе меня. Девочка разбитная, с гнильцой, полненькая. У меня разрывается ширинка при одной только мысли, что рандеву удастся.

Не сразу, но удалось обхитрить мать и спереть ключ. Договорились. И вот, мы уже идем от метро вниз по проспекту Вернадского. Лерка в дорогой шубке, я — в синей синтетической куртке. Привезенной дедом из Финляндии. Когда меня спрашивали, откуда эта куртка, я обычно отвечал — из Японии. И был очень горд. У Лерки в руках ничего нет. У меня — авоська с вином. Четыре бутылки. И коробка тогда еще доступных шоколадных конфет. Ассорти.

Пришли. Расселись в креслах. Начали пить. Ни стаканов, ни рюмок не было. Пили из горлышка. Белое, розовое, портвейн. Адская смесь. Закусывали конфетами.

Я предложил раздеться. Лерка согласилась. Легли на не застеленный диван. Начались нежности. Четырнадцатилет-

няя Лерка была еще девушка. Я хотел сходу лишить ее невинности, но не знал как подступиться. Неловкое тыкание в ее промежность ни к чему не приводило. Лерка дергалась, крутилась, верещала. В темноте она представлялась мне большой белой свиньей.

До этого момента я никогда не видел вблизи женских половых органов. Было душно, диван колелся. Мы легли вальтом. Лерка взяла мое орудие в руки, явно не зная, что с ним делать. Я ткнулся губами в складки свиной кожи. В нос ударил запах мочи и тухлой рыбы. Стало противно.

Мы сели. Выпили еще. Лерка совсем опьянела и начала нести какой-то вздор. Наше время истекало — в десять Лерка должна была быть дома. Трудно было убедить ее, что необходимо уходить. Еще труднее одеть. Лерка не попадала рукой в рукав шубки. Хохотала, плела какую-то чушь. Вышли в подъезд. Пошли пешком вниз по бесконечным лестницам. Лерку вырвало. Запачкала лестницу, шубу и куртку. Я узнал проклятое ассорти. Вышли на улицу. Тут стало легче дышать. Идти Лерка не могла. Я тащил ее на себе. Через каждые пятьдесят метров по пути в метро мы останавливались. Лерку рвало, я вытирал ей лицо снегом. В метро нам повезло — милиционеры не заметили состояния Лерки. Ехать всего полчаса, но как долго они тянутся, если тошнит.

Довез я Лерку. Доставил до самой квартиры в доме на улице Ферсмана. Позвонил и спрятался. Дверь открыла ее мать, посмотрела на дочь и закричала истошно.

На следующий день мстительная и дотошная мать Лерки, журналистка, пишущая в газете «Труд» фельетоны на тему нравственности советской молодежи, пришла к моей матери — кто-то в редакции помог найти адрес — жаловаться на то, «что ваш сын делает с моей дочерью». Моя мама отвечала неожиданно сдержанно: Для вашей дочери честь — встретиться с моим сыном. Если родится ребенок, я воспитаю.

Но мне устроила вечером головомойку. Вскоре Лерку выгнали из школы — ее застукали голой и пьяной с другим школьником в радиорубке.

## ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Подошел к входу в метро Юго-Западная. Заглянул вниз, в переход. Черное пространство, кишашее людьми. Шею мягко облегла знакомая, пахнущая тошнотой резиновая петля. Начала душить.

— Ну давай! Спускайся. Две остановки всего, что ты трусишь! — Убеждал я сам себя.

Но петля не пускала. Пришлось сделав вид, что все хорошо, отступить. Решил пройтись вдоль киосков, образующих рядом с входом в метро настоящий караван-сарай. На прилавках лежали куртки, пальто, ботинки. Куртки по большей части черные, топорно сделанные, ботинки — грубые, носатые, скуластые. Подумал: Как могла славянская широкомордость повлиять на турецкие модели одежды и обуви? Или все дело в подсознательном выборе? В притяжении стиля или в главном русском чувстве — зверином, кровном чувстве родства-неродства. Вот эти тупорылые ботинки приятны почему-то русскому сердцу, а ты, надутый неврастеник, нет.

Четверть часа гулял между гор турецких шмоток, проклинал клаустрофобию. Наконец петля отпустила. Спустился в подземный переход.

Тут был переполох. Покупатели как черные толстые пчелы роились вокруг цветных товаров, лежащих на лотках. Пахло влажным мехом.

Купил месячный проездной. Показал в проходе дежурщей там тетке. Тетка тут же взорвалась как бомба: Ну что вы вверх ногами показываете?! Такая злоба была в ее голосе, как будто я что-то украл или кого-то убил. За двенадцать лет жизни в Германии я потерял иммунитет — в ответ на хамство хотелось грубо ругаться, ударить тетку ногой.

Спустился в метро. Попал в огромное прямоугольное пространство. Сырое и плохо освещенное. Лампы грязные. Грязный пол. Из тоннеля пахло влажным теплым воздухом. Подошел поезд. Вошел в вагон.

Сел на мягкое сиденье. Передо мной стоял молодой парень в темной куртке и девушка в вязаной шапочке. Парень что-то бубнил в ухо своей спутницы. Смог разобрать только несколько слов: Магазин, братки, крыша, ножи от мясников, всем выпустили кишки... Потом парень утробно загоготал. Загоготала и девушка. Меня передернуло.

Тут строгий женский голос сказал в репродуктор: Осторожно, двери зарываются. Следующая станция метро Проспект Вернадского.

Через пять минут поднялся по эскалатору, вышел на воздух и огляделся. Все было вроде на месте: Круглое здание цирка, шпиль университета, огромные дома на другой стороне проспекта. И в то же время все выглядело не так, как в мое время. Слишком часто я переносился сюда в воображении. Слишком детально восстанавливал этот ландшафт по памяти. Реальность отомстила — ускользнула в небытие, а на своем месте оставила подновленную копию. То, что я видел перед собой, было материализацией чужой истории. Я потерял этот город. Как когда-то город потерял меня.

Опять кольнула мысль — не надо было сюда приезжать. Глупо возвращаться туда, где прошло твое детство — куда умнее было бы оставить драгоценный материал для игр памяти, для ностальгических галлюцинаций.

Пошел в сторону Ленинского проспекта. Просто так, чтобы не стоять на месте. Не знал, куда идти. Не знал, зачем. На душе скребли кошки, я испугался, что не справлюсь с тоской. Вспомнил своего приятеля, развратника и прогульщика Рубика. В школьном литературном кружке читали тогда «Бюрю» Шекспира. Рубик разыгрывал Калибана, дурачился, надувал презервативы и дарил шарики одноклассникам. Говорил многозначительно: Танатос, любезные сударыни, побеждается только Эросом!

Сам Рубик Танатоса победить не смог. Умер в двадцать семь лет. Врезался в бетонный столб на отцовских жигулях.

Царство небесное, пусть земля будет тебе пухом, Рубик...

Надо было заставить себя подумать о чем-нибудь миллом. Представил себе портретную галерею моих дам. Все они смотрели на меня насуплено — не забыли моих проделок. Только одно личико не было искажено гримасой злобы. Это была Олечка, студентка филологического факультета, жившая неподалеку, на Строителей. В любую погоду мы шли в университетский парк, чтобы там обниматься и миловаться. У Олечки были красивые бедра, маленькая грудь и миленькая головка, как бы не человеческая, а принадлежащая какому-то ручному зверьку. На мои длинные словесные тирады Олечка обычно отвечала, вздыхая: Хорошо быть умным! Не понимаю я сложноподчиненных предложений.

И смотрела на меня вопросительно и нежно. Целовались мы часами. Было сладко, но противно — как будто не с человеком целуешься, а с зайчиком. Настоящим сексом мы заняться не могли. Из-за олечкиных, нормальных для советской девушки семидесятых годов, предрассудков. Поэтому после двух-трех часов милования я провожал ее домой, а сам ехал к другой подруге, похотливой и дерзкой студентке текстильного института Мирре, проживающей недалеко от Белорусского вокзала, на улице Правда. Она жила с там мамой и сестрой, но у нее была своя комната и комната эта закрывалась на ключ.

Мы познакомились на вечере Окуджавы. У Мирры была нескладная бабистая фигура, плоская висячая грудь, большие крепкие руки. В нерусском асимметричном лице (на была наполовину армянка, наполовину полька) проглядывала прямая, неприкрытая жеманностью чувственность. Мирра хорошо рисовала, уверенно играла на гитаре, с мужчинами сходилась легко, рыдала, хохотала, была способна и на верность и на обман. Меня сразу повлекло к ней — особенно возбуждали его ее мягкие пухлые губы.

Дальше поцелуев и объятий вначале дело не шло. У Мирры явно был кто-то еще. Так продолжалось недели две. Мне уже начинало все это осточертевать. И вот однажды пошли



мы в кино. Посмотрели фильм Бергмана «Земляничная поляна». Обсудили. Мне очень понравился сын профессора, которого играл Макс фон Сюдов. Меня удивило то, что он стремился стать максимально мертвым. Я хотел быть максимально живым. Это было, однако, для меня чересчур буднично, недостаточно романтично. Душа тосковала по черному плащу и шпаге. Скандинавская установка на смерть открывала возможности для внутреннего кокетничанья с дьяволом, с концом. Давала волшебное зеркальце в лапы обезьяне. Мирру, как художественную натуру, потряс «Бергмановский свет», «органичность светотеневых переходов» и «удивительная сила молчания снов».

Погуляли. Пришли на улицу Правды. Домой нельзя — там гости.

Расставаться надо. А неохота. Зашли в подъезд. Поднялись на лифте на последний этаж. Спустились по лестнице на площадку между последним и предпоследним этажом. Поцеловались.

Мне страшно захотелось Мирру. Так, что я даже задрожал. Мирра поняла это. Присела, расстегнула мне ширинку...

...

Мне было ровно восемнадцать лет, когда он решил больше не онанировать. Из головы не выходила цитата какого-то советского психотерапевта, которую привела врачиха, проводящая что-то вроде принудительной сексинформации в нашей школе — «воздержание полезно для здоровья молодого человека».

Решил и перестал. Уже год длилось мое подвижничество.

Но тут молодой организм потребовал своего. Я даже не успел предупредить свою подругу. У меня сразу начался оргазм. Сперма заполнила ее рот. Поначалу Мирра мужественно пыталась ее глотать. Но жидкости было слишком много. Мирра поперхнулась, закашлялась, инстинктивно вынула член изо рта, продолжая движения рукой. Сперма полилась струйками на грязный кафельный пол.

В этот волнующую минуту на сцене появилась жительница последнего этажа — она спускалась по лестнице в подъ-

ездной полутьме с мусорным ведром в руках. Посмотрев на нас, обознавшись, и явно не поняв, что происходит, она спросила: Маша, это ты? И кто это с тобой?

Машей звали ее собственную дочку. На Мирру появление соседки по подъезду, подружки ее крутой матери, произвело сильное впечатление. Она бросила все и убежала. Я зажмурил глаза. Сперма все еще текла, как из крана. На полу образовалась приличная лужа.

— Машка, стой! Куда понеслась? — закричала соседка.

— А ты чего стоишь тут, урод? — обратилась она ко мне.

Я открыл глаза и перевел дух.

Тут соседка, наконец, разглядела лужу и ее источник.

И завизжала: Срамник! Спрячь свои яйца!

— Ну я Машке дам, паскуде! — восклицала она, поднимаясь к себе. Я это услышал уже в лифте. Хохотал как сумасшедший. Вот тебе и «Земляничная поляна». Простите меня, папа и мама. Воздержание полезно для здоровья! Будем жить, ханурики!

Через полгода Мирра изменила мне в общежитии университета с студентом-негром. Мы расстались.

А с нежной Олечкой я распрощался, только когда встретил свою первую жену. Иногда я спрашиваю самого себя, что бы бы было, если бы я тогда женился на ней, начал делать научную карьеру? На долго бы меня, конечно, не хватило — уютная, похожая на зайчика жена, хорошо готовящая теща, научная рутина — все это быстро бы опротивело и разлетелось бы в прах. Так, как разлетелись оба моих брака и другие попытки долговременных союзов против сумбура и хаоса жизни.

## НА АРБАТЕ

Девять месяцев я работал сторожем в типографии недалеко от Старого Арбата. Несмотря на «перестройку», типография печатала исключительно творения Ленина на различных экзотических языках. Всю эту никому не нужную, но ядовитую продукцию, издавали миллионными тиражами и отправляли в страны, где многие граждане ходили без штанов. Неужели коммуняки действительно верили, что в Новой Гвинее, в Танзании или на Фиджи кто-то будет все это читать? «Как нам реорганизовать Рабкрин?» на суахили — это круто.

Все за малым исключением рабочие типографии (исключением были татары) пили по-черному. Вечерняя смена уходила за полночь домой смертельно пьяная. Только в мое время двое рабочих погибли из-за пьянства. Один крепко выпивший парень вместо того, чтобы идти в метро, прилег отдохнуть на покрытом снегом газоне соседнего бульвара. Ночью милиция нашла его окоченелый труп. Позже я видел его жену — она приходила забрать вещи мужа. Она не была опечалена тем, что муж оставил ее и двух детей. Скорее наоборот — была рада. В ее жизни появился хоть какой-то просвет. Другой пьяный рабочий упал и поранился в страшном черном подвале, где в свинцовой пыли валялись тысячи связок типографских матриц. Его слабые крики не были услышаны из-за шума от типографских машин. На его несчастье никто не зашел в подвал.

Случались и драки между выпившими — с смертоубийством, но не в мое время.

Было и воровство — в тех редких случаях, когда типография печатала что-то по-русски. Старожилы утверждали, что обычно расхищалась десятая часть русскоязычного тиража. За полгода до моего поступления на работу несколько сторожей,

сговорившись с водителем грузовика, украли четыре контейнера «Приключений Тома Сойера». Водитель увез книги, сгрузил в условленном месте где-то под Москвой. Уехал, получив какой-то гонорар. На следующий день сторожа поняли — в типографии скандал. Оказывается они, в спешке не разобравшись, что к чему, украли весь тираж книги, все десять тысяч экземпляров. Книги так и не нашли, хотя было ясно, кто вор. Тираж просто напечатали и переплели еще раз. А сторожей уволили.

Однажды в теплый летний день я пошел побродить по Арбату, поглядеть на картинки художников, матрешки и прочие свидетельства наступившей свободы творчества. Вышел на Арбат. Осмотрелся. Что-то было не так — многие продавцы поспешно паковали свой товар, хотя время было самое торговое — воскресный полдень. Некоторые художники делали тоже самое. Другие — ничего не делали, просто стояли, глазели по сторонам. И публика вела себя также странно — кое-кто явно старался побыстрее покинуть матрешечную улицу, остальные — разгуливали как ни в чем не бывало, рассматривали картины, слушали пение самодеятельных бардов. Потом я понял, что те, которые убегали, знали, какая опасность надвигается на Арбат со стороны Садового кольца, а остальные не знали и не чуяли беды.

В СССР что ни день — то какой-нибудь праздник. Кого-то всегда чествовали. Как я потом узнал, в тот день страна праздновала «День воздушно-десантных войск». В Москву отовсюду съехались бывшие ветераны-десантники, большинство которых прошли только недавно законченную Афганскую войну. Около сорока тысяч человек собралось вместе, чтобы с товарищами попраздновать, то есть, в советском варианте, напиться и похулиганить, пользуясь правом сильного. Многие «афганцы», особенно калеки, чувствовали себя несправедливо обиженными. Когда их посылали убивать или быть убитыми, никто их не спрашивал, хотят ли они этого. А теперь, в перестройку, афганскую войну критиковали в печати, искали ответственных, солдат иногда называли убийцами. Широко обсуждался случай, когда военрук-афганец устроил в

своей школе кровавую баню. Осуществил на практике тайную мечту любого учителя, устроил в школе охоту на собственных учеников. Вооружен он был боевым, нелегально привезенным из Афганистана оружием. Охота продолжалась несколько часов и стоила жизни одиннадцати школьников. Психиатры утверждали позже, что афганец всего лишь повторил дома то, что часто делал во время службы в Афганистане.

Не знаю, что делали эти сорок тысяч бывших воинов до их появления на улице художников, но хорошо помню, что было на Арбате.

С той стороны улицы, которая выходит на Садовое кольцо, слышались истошные крики. Все, естественно, начали туда смотреть. Казалось, что там прыгают какие-то пестрые мячики — вправо-влево, вверх-вниз... Когда до публики наконец дошло, что это прыгает — все побежали с Арбата в сторону Бульварного кольца. Я вошел в один из подъездов ближайшего дома, поднялся на третий этаж и занял позицию у окна на лестничной клетке. Кроме меня там было несколько девушек-продащиц, бородатый сорокалетний художник с рюкзаком, полным картин, и молодой парень, торговец матрешками, трясущийся за свое, оставленное на произвол судьбы, хозяйство. Через несколько долго длящихся секунд подошли наступающие десантники. Из окошка было прекрасно видно, как они громили Арбат. Картины драли на части и бросали, чтобы потом затоптать их ногами. Матрешки и прочую скромную свободную продукцию парни били ногами, как футболисты мяч. Ногами били не успевших убежать художников, продавцов и прохожих. Умело били не сопротивляющихся людей, били лежащих, корчащихся от боли. Передовой бойцовый отряд быстро прошел, за ним следовала огромная толпа пьяных парней в тельняшках. Они жестикулировали, приплясывали, обнимались. Эти тоже били людей, но реже и избирательно. Помнится, один голый до пояса амбал, заорал, указывая пальцем на лежащего бородатого художника: Жид!

И сейчас же к нему подскочили другие парни в тельняшках, схватили художника за-руки-за-ноги и бросили его как тушу в стеклянную витрину книжного магазина. Стекло раз-

билось и он упал вместе с осколками внутрь. Толпа защитников родины восторженно заревела: Ура!! Мочииии!!

Нет, его не убили. Он даже потом сам встал, весь в крови от порезов. Позже его увезла скорая. Он явно не был евреем, просто был лысый и носил шикарную бороду.

Афганцы бесчинствовали на Арбате минут двадцать, потом исчезли, оставив после себя разорение и ужас. Кажется, убит все-таки никто не был, но были раненные. Больше всего пострадали абстрактные картины и уж совсем ни в чем не повинные и вполне националистически настроенные матрешки.

От Арбата афганцы двинулась по Калининскому проспекту к библиотеке им. Ленина, а оттуда к Манежу. Хотели идти на Кремль. Но тут их ждала засада. Милиции удалось зажать погромщиков в узком проезде между Старым университетом и Манежем. Там их разделили на части и избili спецназовцы. Арестовали. Развезли по участкам. Отрезвили. А на следующий день отправили по одному по домам. И не судили никого. Потому что милиция и власти тайно им сочувствовали.

## КРОТ

Я вышел из музея и пошел к стоящему неподалеку храму. В застойное время тут располагался покрытый белой подушкой пара бассейн «Москва». В него нас гоняли от школы плавать то ли в шестом, то ли в седьмом классе. Казалось, что заново выстроенный собор — кристаллизовался не из испарений страшной русской истории, а из этого, волнующегося пара бассейна, вода которого тридцать с лишним лет смывала пот сотен тысяч купающихся безбожников.

В казенной раздевалке бассейна было холодно; потрескавшийся, местами вздувшийся, линолеумный пол карябал голые ступни. Публичная нагота в этом возрасте переносится особенно плохо — между школьниками то и дело начинались потасовки, угрюмые, невеселые столкновения. Одноклассников поддразнивали или травили. Чужакам обещали привести в следующий раз борцов или боксеров и «разобраться». Под душем дети пели, орали, хлопали звонко друг друга по спинам и ягодицам. Кафель в душевой был скользкий, неприятный, как будто заросший серо-фиолетовыми грибками. Всем хотелось поскорее в воду. Чтобы попасть в бассейн, нужно было поднырнуть под деревянный барьер. Не всем это давалось легко. Кого-то во время этой процедуры «топили» — держали за плечи и руки, не давали вынырнуть на другой стороне. Не долго, с полминуты. Жертва выныривала красная, полузадушенная, смертельно испуганная, поклявшаяся самой себе никогда больше не ходить в «Москву».

Купаться в теплой воде, защищенной от двадцатиградусного мороза полуметровым слоем теплого, клубящегося воздуха — странное, особое наслаждение. Мы не плавали, а брызгались, ныряли, бесились. Отталкивались от дна и подскакивали, убеждались, что мы на улице, что на чугунном москов-

ском небосводе горят несколько тусклых звездочек, а вокруг желтоватых лампочек уличных фонарей пульсируют красочные шаровые молнии. Мокрую голову хватал едкий морозец, лоб и уши холодели, в сердце влетал колючий мотылек извечного северного страха — пропасть в ледяной пустыне, но вот, ты уже внизу, в теплом воздухе, а потом и в горячей воде, пахнувшей хлоркой. Уши и лоб согревались мгновенно, хотелось нырнуть и посмотреть на увеличенные водой бедра трепещущих сверстниц. Потрогать их между ног.

...

В девяностых годах на этом гибломокрам месте возник по приказу мэра Лужкова двойник взорванного в сталинские времена храма. Здание это, похожее на гигантскую станцию метро, украшенное безобразными бронзовыми фигурами и невыносимо помпезное внутри, репрезентирует то искусственное, лишенное исторических корней, новообразование, в которое мутировала официальная русская церковь.

Зашел внутрь, хотя отлично знал, что меня там ожидает.

На входе стояли милиционеры и зияла огромная магнитная арка — входящих проверяли на наличие металлических предметов. Страх перед чеченскими мстителями?

Или перед замордованными грузинами?

Перед дагестанцами?

Ингушами?

Или уже перед татарами и башкирами?

Список униженных, завоеванных, изнасилованных и оболваненных Россией народов длинен. И все они когда-нибудь попляшут над ее гробом. Именно тут, на развалинах нового храма. Их гортанное пение слышно уже и теперь сквозь московскую какофонию...

Сквозь новое кремлевское пустозвонство.

Прошел контроль — очутился внутри малахитовой шкапулки. Тут все блестело позолотой, пестрело, переливалось. Стерильная живопись — правильные пионеры-ангелы, похожий на царя, косматый старик в ночной рубашке — Бог, вылизанная, как будто подготовленная к телешоу Мадонна. Орна-



менты варварские. Алтарь — терем-теремок. В нем живет маленький золотой Исусик... Стойкий оловянный солдатик, распятый на крестике...

Россия демонстрировала тут не память о погибших в борьбе с Наполеоном воинов (чему был посвящен храм-оригинал), а богатство сибирских недр и столичную коррупцию (вроде бы даже облицовочный мрамор украли и растащили на дачи сами строители-подрядчики и пришлось облицовывать собор плитами из прессованной мраморной крошки цвета обезжиренного кефира).

Какое отношение этот бетонный, густо повапленный ящик, эта русопятая пеструха имеет к нищему еврейскому проповеднику-ересиарху, распятому римлянами две тысячи лет назад?

Во что люди превратили его учение? В имперскую архитектуру. В мертвые камни. В рисованные ковры. В орнамент. В инструмент для одурачивания масс.

Храм Христа Спасителя выглядел не как главная церковь страны, а скорее как новый, фальшиво-православный дворец съездов и похорон бывшей сановной советской и новопутинской гэбэшного-гламурной сволочи. Фальшак-новодел.

...

Пошел в сторону Манежа — там должна была открыться большая выставка современных художников.

Вокруг Манежа была суета. Бородатые художники вносили с черного хода картины. Они гордо запрокидывали головы, украшенные растрепанными волосами с проседью, смотрели вокруг себя надменно и мрачно — несли заботливо укутанные пузырчатými упаковочными простынями картины так, как будто это подготовленные к погребению покойники.

Вокруг главного входа тусовалось несколько тысяч людей. Образовались несколько жирных очередей. Я ждал, пока рассосется, не понимал, открылась ли выставка, надо ли вставать в очередь, хочу ли я вообще внутрь. Какой-то невзрачный тип неопределенного возраста обратился ко мне: Эй, отец, хочешь не выставку пройти? Давай тридцатник, проведу.

Я дал ему три грязные бумажки с изображением какой-то плотины. Он взял меня под локоть и почти силой протащил сквозь толпу и очереди. На входе он показал проверяющим билеты какой-то документ, а про меня сказал: Этот со мной.

Несколько рядов картин простирались на всю длину здания. Три с половиной сотни художников. Судя по рекламе — лучших российских художников. Раньше все было «советское», теперь все стало «лучшим». Общая картина была такая же пестрая как и в храме Христа, только несколько на другой лад. Я прошелся вдоль одного ряда, потом вдоль другого — ничего интересного не заметил. Все те же приемы, те же давно известные «новшества», та же зависимость от натурализма, та же славянская цветастость, та же набитая рука и затуманенная самовосхвалением голова. Опять фальшак.

Скучно и грустно.

Какой контраст со старыми картинами Пушкинского музея. Какая потеря качества! Потеря простоты, непосредственности. Почему?

Тотальный дизайн ведет тотальную войну против органики, естественности, создает нежизнеспособные фантомы. Машина коммерции навязывает потом их массовой публике, всегда жаждущей новой лжи, новой моды. Все хотят делать — хорошие картины, — хорошие фотографии, все искажают, вылизывают форму вместо того чтобы дать ей развиться самой. Врут. Никто не хочет видеть и знать правду, природу, социум, характер, потому что они — не красивы, потому что их трудно продать. Никто не верит форме и судьбе, все подлаживаются под господствующий стиль. Или бесстилье.

Современные галереи полны бессмысленных картин, которые, чем лживее, чем мертвее, тем больше нравятся такой же лишенной дыхания, полумертвой публике, леззнатокам и придуркам-продавцам.

А критики придумывают заумные концепции, чтобы легче было дурачить жвачную публику.

Вышел из Манежа, пошел в сторону Красной площади.

Как все тут изменилось! Вместо Манежной площади — гигантское подземное сооружение, выпирающее из земли. В чем же смысл его «подземности», если оно все равно уничтожает площадь? Вместо Александровского сада выстроена какая-то невообразимая гадость — с белыми колонками... Дурацкий фонтан с лошадьми.

Вышел на Красную Площадь.

Гротескная, абсурдная картина. Вечер. Холод. Метель. Идти трудно, Красная площадь покрыта, как Антарктида, ледовым панцирем. Никого вокруг нет. Никого. Впереди — круглое — лобное место, за ним смутно сквозь метель видны как бы из цветной резины отлитые купола собора Василия Блаженного. Справа — кремлевская стена-кладбище, мавзоль Ленина. Сталинский бюст-истукан торчит непонятым предупреждением богов. Слева — длинное здание ГУМа и заново выстроенный в старорусском стиле собор. В соборе идет служба. Ее транслируют на безлюдную площадь. И только снег, усатый мраморный покойник у стены и Ленин в мавзолее слышат рычащий из громкоговорителей бас молящегося дьякона.

...

Я родился в послесталинской Москве. Архитектурная среда, окружающая мое раннее детство — это сталинский ампир здания московского Университета, «Дома преподавателей» и «Красных домов». Городская среда моего отрочества — это хрущобы, пятиэтажные здания-прямоугольники, лишенные признаков архитектуры. Со времени студенчества и до отъезда из страны — я жил в новом районе, в улучшенной девятиэтажной хрущобе. Прямоугольники выросли, увеличились коридоры и кухни, улучшилась отсутствующая в пятиэтажках звукоизоляция. Суть однако осталась прежней — голый функционализм, геометрическое и цветное однообразие, бесконечное упрямое клонирование. Дома говорили языком советчины, твердившей — так, так, только так. И никак иначе.

Советчина клонировала не только дома и людей — но и ложки, кастрюли, сковородки, столы, стулья, уличные фонари, ручки, тетради, батареи парового отопления, женские прически, очки, штаны, платье.

Все, что окружало человека, все что производилось, внушалось и вкушалось, весь убогий советский жизненный инвентарь порождал одно желание — дематериализоваться и смыться, укрыться в недоступную для них реальность, «воспарить».

Чтобы самому не стать ложкой или, как нас учили профессора, — «колесиком и винтиком». Социальная жизнь «советской интеллигенции» определялась в той или иной степени этим главным вектором сознания. Всех нас все время отливали по форме, куда-то заталкивали, откуда-то выталкивали. А мы удирали от «них», зарывались в землю, воспаряли и падали. Пьяницы — на пахнущие блевотиной «поля Диониса» или в водочный белый ад, интеллектуалы — в миры Пруста и Кафки, разочарованные в беспомощности культуры интеллектуалы — в духовный Тибет, в небесный Иерусалим. Непрактичные евреи — через узкую щель и после многих лет борьбы — в Иерусалим реальный, населенный злыми арабами, практичные — в Нью Йорк и Бостон в программистские фирмы. А кое-кто воспарял на картину, прятался в роман или садился безнадежно в тюрьму.

Я до самого отъезда об эмиграции не помышлял. Жил после окончания университета в советском государстве и хотел радоваться жизни, заниматься творчеством, создавать что-то, имеющее больший смысл, чем бесполезный труд в научно-исследовательском институте. Все официальные пути были для меня закрыты — советское искусство было хронически больным и вызывало у нормального человека отвращение и ярость. Искусствоведение было насквозь пропитано демагогией и, как и другие гуманитарные науки, контрпродуктивно.

Я должен был выработать соответствующую стратегию, чтобы иметь возможность жить не прикасаясь к советскому радиоактивному навозу, найти или построить в идеалистиче-

ских мирах свою «нишу», научиться заползть в нее, существовать в ней, получать и тратить жизненную энергию. И я, как и многие другие, научился это делать. Мое искусство было воплощением идеи — дематериализации или глобального «антидизайна». В силу такой болезненно идеалистической направленности оно никогда не имело иного смысла, чем развитие сознания. Оно было как бы бестелесным, бесформенным и могло существовать реально только на душевных просторах или в «царстве небесном». Почти все созданное мной в добровольном затворничестве, в кооперативном микрооазисе, редко выходило на свет божий, не получало критики, производилось без обратной связи, без кислорода.

Слепой крот, сидящий глубоко в советской норе, грезил о вечности.

## ЗНАЧОК

Вышел на Смотровую площадку. Посмотрел на Москву. Из-за метели ничего видно не было. Продрог, поплелся к университету. Хотел согреться — попытался войти через Главный вход, но меня не пропустил милиционер. Постоял рядом с колоннами. Потрогал их холодную полированную поверхность. Поглядел на площадь.

Тридцать лет назад в сентябре с этой площади, нас, новопеченных студентов мехмата, посылали не в аудитории «грызть гранит науки», а за сто километров от Москвы, в Можайский район, на картошку. Сейчас на площади не было ничего, кроме сугробов да трех дюжин казенных машин университетского начальства. Тогда тут стояли в ожидании сигнала к отправлению сотни автобусов и рафик, украшенный флагами факультетов. Площадь была полна студентов и провожающих, какой-то партийный тип орал в мегафон: Передовая советская молодежь должна с честью выполнить патриотический долг в битве за урожай...

Его никто не слушал, но никто ему и не мешал. Некоторые студенты сидели на рюкзаках и перекидывались в картишки, остальные стояли рядом с автобусами, курили, болтали. Наконец поступила команда: По машинам!

Погрузились. Тронулись.

Ехали долго и с остановками. Студент Никитин по дороге отстал и приехал в пункт назначения на перекладных только через три дня. Оправдывался он тем, что, мол, пошел посикать, а потом захотел и покакать. Когда вернулся — автобусы уже уехали. На самом деле, он побежал на привале за вином, стоял в сельмаге в очереди, познакомился там с кем-то, выпил на троих, загудел...

Одна пауза затянулась на два часа. Позже стало известно, почему. Оказывается, тогда происходила встреча представителей колхоза с начальством мехмата. Колхозники хотели принять двести студентов — для них было подготовлено теплое жилье в пионерском лагере, их ожидала работа. Факультетское начальство настаивало на том, чтобы все едущие в автобусах четыреста человек получили жилье и работу. Председатель заявил, что у него нет места, что в колхозе пустуют только бывшие коровники, коров в них давно нет, сдохли в эпидемию. Мехмат, однако, уже рапортовал на верх о посылке четырехсот студентов на трудовую вахту. Поэтому ненужных студентов решили поселить в этих коровниках. Привезли откуда-то поломанные грязные раскладушки, положили на них старые матрасы, застелили больничное белье.

Одну половину автобусов направили в пионерлагерь, другую — в коровники. Я конечно оказался в другой половине.

Пол в коровниках вымыли, но все равно пахло коровьим навозом, было холодно. Старые печи растрескались, топить их было опасно для жизни, да и дров не было. Ничего не было. Только две сотни раскладушек с матрасами и серым сырым бельем стояли в два ряда в длинном помещении с крохотными окошками на крыше. Есть нам не дали — негде было готовить да и нечего.

На следующий день студенты сами чинили печи в коровнике и в маленьком сарае рядом — «на кухне». Откуда-то привезли огромные черные от копоти кастрюли и чайники, помятые миски и алюминиевые ложки. Появились и повара. Повара сварганили обед — перловую кашу с мясными консервами. Мой приятель Клейн грустно заметил, что это наверняка мясо тех самых коров, которые тут подошли.

Все это было противно, но терпимо. Нетерпим был единственный туалет для двухсот человек — плохенький сарайчик с двумя «очками». Вонял он так, что Клейн и спустя два часа после его посещения спрашивал с тревогой — не пахнет ли от него говном? Посмотреть в очко я боялся — так страшно смердело, но один раз он все-таки не выдержал, заглянул. В

жуткой коричневой жиже копошились тысячи белых червей. На черных деревянных стенах сидели неизвестные науке апокалиптические звери.

Работы поначалу не было — студенты были предоставлены сами себе. Что мы делали? Пьянствовали и в карты резались. В модную тогда игру — «палку». Играли вчетвером, впятером. В конце каждого кона выигравший бил проигравших картами по ушам. Сколько раз и каким количеством карт — зависело не от игры, а от случая. Проигравший вытягивал из колоды две карты. Например, дама и девятка означали три удара девятью картами. Вытянувший два туза несчастливец получал сорок ударов всей колодой. Били чаще всего не сильно — только для смеха. Жертва должна была громко стонать и зла на экзекутора не держать. Тем более, что палач через несколько минут сам занимал ее место и дрожащей рукой тянул из колоды две роковые карты.

Клейн научил меня бить по ушам снизу (обычно били сверху). Такой удар приводил жертву в трансцендентальное состояние. Тот кайф, который цивилизованный европеец или американец нашего возраста получал от марихуаны, мы славили от удара по уху.

Многие ходили в близлежащую деревню, разведать, как там «насчет клубнички». Маленькая осетинка-врач на вечерней линейке настоятельно отговаривала студентов от амурных приключений. Утверждала, что в окрестных деревнях до восьмидесяти процентов взрослого населения болеет сифилисом. Некоторые этому не поверили. Эти некоторые должны были потом долго и нудно лечиться. И не только от сифилиса, но и от других венерических болезней, которые все вместе на тогдашнем жаргоне назывались — букет.

Ходил в лес. По грибы и просто так. Лесу конца и краю не было. Между лесами располагались огромные поля с картошкой, убирать которую никто не хотел.

— Не мое, колхозное, все равно все сгниет в овощехранилище. Чего его и убирать? — так говорили деревенские мужики. Ждали каких-то чудо-гэдээровских комбайнов. Хотя ждать их было глупо. Комбайны стояли себе спокойно в гараже не-



далеко от коровника. Уже три года. Колхоз купил их после поездки председателя в ГДР. Но без запасных частей. На них денег не хватило. Любой комбайнер знает, что это означает. Через три недели эксплуатации такой комбайн встанет навсегда. Поэтому умные немецкие машины стояли в гараже. Их смазывали, показывали гостям колхоза, а чтобы картошку убирать, вызывали из города студентов-математиков с ведрами и мешками.

Шел я как-то вечером домой в коровник после прогулки по лесу. Вышел из леса на асфальтированную дорогу. Станный звук доносился из тьмы — чав-чав-чав. В ночном лесу много странных звуков. Звук усилился. Остановился. Прислушался.

— Чав-чав-чав...

Попытался разглядеть что-либо в кромешной тьме. Вдруг что-то огромное, страшное, вращающееся появилось на дороге прямо передо мной. У меня ёкнуло сердце — я прыгнул в придорожную канаву. Потом вылез на дорогу и разглядел два удаляющихся зерноуборочных комбайна. Они ехали рядом, занимая обе половины дороги, не включив никакого света, подняв бешено крутящиеся ножи-колеса.

— Ну выпили комбайнеры, ну убили бы, тебе шо, долго жить охота? В прошлом годе Кольке Косому руку оторвали. А три года назад Семёна, что у болота жил, пополам разрезали. А ты жив. Ну и радуйся! — пояснил флегматичный колхозный бригадир в ответ на мою жалобу.

Пришел я тогда в коровник и заметил, что студенты возбуждены. Спросил, в чем дело. Оказалось, за час до моего прихода в коровник ворвался пьяный мужик из деревни. С ружьем. Мужик грозил, что всех москвичей поубивает. Выстрелил. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы Клейна. Мужика обезоружили, побили, приехала милиция.

На следующий день в студентов подло, из-за кустов, бросали камни. Кричали: Убирайтесь, суки!

Один камень пробил кому-то голову. Опять вызывали милицию. Раненного студента отправили в Москву. Подобные инциденты продолжались до самого отъезда.

Через пять дней началась работа. Нудная, грязная. Трактор с прицепленным к нему огромным крючком боронил картофельное поле. После него шли студенты. Выковыривали из земли картофелины, бросали их в ведра. Специальная бригада опорожняла ведра в мешки, мешки тащили к машине, загружали их в кузов. От такой работы болела спина. Ломило суставы. От скверной еды у многих болел живот.

Потом зарядил дождь. Студенты начали простужаться, настроение упало. Жизнь казалась бесконечным картофельным полем, которое надо убирать.

— Работай, работай, только не сдохни как собака, — цитировали студенты друг другу популярный тогда фильм «О, счастливчик». Шутка эта оказалась пророчеством. Одна студентка действительно умерла. Прямо на поле. Начальство объявило: У нее всегда были проблемы с сердцем, условия работы в этой смерти не виноваты.

Труп девушки как-то незаметно увезли, а всем остальным прочли обязательную лекцию по технике безопасности «при полевых работах». Какая-то гадина из университетского начальства хотела застраховаться от судебного преследования.

После работы грязные и потные студенты тупо сидели в коровнике. Душа не было. Это бесило. В деревне не было магазина, а до районного центра было километров тридцать. Студенты покупали у колхозников страшный коричневый саmogон. От него можно было ослепнуть или умереть.

Жратва была ужасная. Все, кроме хлеба, молока и картошки, было несъедобно. Студенты пробовали ведрами и мешками поймать зайца, случайно забредшего на поле. Ловили его человек сто, с окрыляющей мыслью о жарком, но не поймали. Заяц прыгал и петлял как будто издеваясь над неумелыми охотниками. Потом смылся в лесу. Попытались воровать гусей, пасущихся недалеко от коровника. Поймали одну птицу. Ощипали. Зажарили. Съели. Но кто-то донес, за гуся пришлось платить. Денег у студентов не было.

В коровнике жило и несколько взрослых. Главным партийным надсмотрщиком был некто Немецкий, доцент-математик. Жгучий брюнет с въедливыми и скучными гла-

зами. Немецкий был личностью известной. Прославился он, однако, не математическим талантом, а кляузами и доносами. По его инициативе заводились персональные дела. С выговором, с занесением, а то и с отчислением из университета. Немецкий был красноречив и многословен. После работы хотелось лечь. Немецкий заставлял всех стоять на линейках и выслушивать длинные нотации. Студенты решили его проучить. Три раза ссали в его постель, один раз даже насрали под одеяло. Немецкий был, разумеется, в бешенстве. Больше всего его злило, что стукачи среди студентов не хотели выдавать зачинщиков. В конце концов он просто уехал и жизнь стала веселее. Остальные педагоги были помягче и в наши дела не лезли. Я любил давать людям клички. Немецкого за его фамилию и лютость прозвал «доктором Геббельсом». Кличка эта привилась. Даже коллеги Немецкого по кафедре звали его так за глаза.

Геббельс делал параллельно с научной и партийную карьеру. Стал партийным боссом нижнего звена. Надвигался какой-то юбилей университета. К юбилею был изготовлен специальный значок. Значок был трех степеней. Золотой, серебряный и бронзовый. Сделаны все три варианта были из дешевого материала. Но покрытие имитировало драгоценные металлы. Значки должны были вручаться лучшим работникам университета. Вроде как медали. По всем бесконечным подразделениям происходили собрания коллективов, выдвигались и обсуждались кандидатуры. Развивались интриги, составлялись заговоры, писались обоснования, почему такому-то нельзя вручать значок, а такому-то можно и нужно... Были и мордобои.

Бумаги отсылались в партком, который и должен был окончательно решить, кому значок, а кому фигу с маслом. И если значок, то какой. Поручили этот последний дележ возглавить Геббельсу. Нельзя въядливый математикам поручать такие дела — тут нужно вдохновение и отстраненность, а этого всего, также как и чувства юмора, у Геббельса не было. А была только верность собственной карьеры.

Взволнованный Геббельс прибыл на заседание партийной комиссии по распределению значков. Никогда до этого он не был в центре внимания такого большого количества влиятельных людей. Он хотел как лучше. Искренне хотел справедливо распределить значки. Даже идиот знает, что это невозможно. Что бредовая идея может быть только еще более бредово воплощена. Геббельс этого не знал и пытался применять в распределении значков научные критерии. Разработал систему положительных и отрицательных баллов. Которые должен был получить каждый кандидат на значок. Например, если кандидат — профессор, то он получает тридцать баллов, если при этом член партии — то еще тридцать, но если на него наложено в последний год партийное взыскание, то он штрафуетя десятью отрицательными баллами... Геббельс и его команда проделали все это с шестью тысячами кандидатур. С помощью компьютера, конечно. Напечатали списки. Геббельс приволок их на заседание и не без гордости выложил на стол. Больше всех баллов получил ректор университета. Меньше всех — проворовавшаяся мойщица посуды в университетской столовой.

Члены комиссии были неприятно удивлены. Они хотели распределять все тоталитарно-волюнтарно, а этот чертов математик придумал какие-то баллы. Начались прения. Участникам заседания было наплевать на всю математическую дребедень — им нужно было добиться, чтобы их люди получили значки, а не их — не получили. Начались споры и угрозы. Сговоры и измены. Мужчины переходили на крик, женщины — на визг. Старший преподаватель марксистско-ленинской философии Кислица периодически ябедничала комиссии: А она живет с ним!

На это ей отвечали мужчины: А вы, что, завидуете? И гоготали. Все это продолжалось четверо суток. Почти без перерывов.

В конце четвертого дня Геббельс сошел с ума. В клиническом смысле слова. Его к тому времени уже никто не слушал, все спорили, а когда он пытался что-то вставить — только махали на него рукой. Мол, заткнись, математик гребанный.

Геббельс вдруг громко и истошно закричал, подбежал к картонным ящикам, стоящим рядом с большим круглым столом, за которым сидели спорящие, погрузил обе руки в груды золотых значков. Потом бросил их вверх наподобие фейерверка. Безумными глазами смотрел на их полет. После того как значки упали на пол, принялся яростно затаптывать их ногами. При этом повторял: Она живет с ним, она живет с ним...

Его связали. Увезли в дурдом. Оттуда он не вернулся. Умер там от инсульта. Было ему всего тридцать восемь лет. А комиссия, состоящая из старых партийных зубров, заседала еще два дня. И никто не умер.

Где теперь валяются эти значки? Один я купил на память за доллар на Арбате. Спросил у продавца: Это что, медаль или орден?

Тот ответил: Да нет. Это просто значок... к юбилею какому-то выпустили. Дешёвка.

## АЛЕНА

На следующий день меня посетила Алена. Я не хотел ее приезда, не хотел вообще никого видеть из прошлой жизни — мне было трудно справиться с улицами и домами, не то, что с людьми. Ругал себя: Зачем ты сказал ей, что приедешь? Сам позвонил, идиот. Теперь жди ее, принимай, она еще рыдать начнет и укорять, потащит тебя в постель, а тебе не до того, и простыни чистой нет и кровать на ладан дышит...

Приехала. Пришлось идти вниз. Открывать и закрывать бесконечные решетки и железные двери. Пришли наверх. Алена обнимала меня, смеялась и плакала. Я не знал, что сказать. Мы не виделись двенадцать лет.

Посидели в кухне. Я заварил чай, достал хлеб, сыр, купленный уже в Москве зефир в шоколаде, и несколько изящных коробочек конфет из Германии. Поели, попили. Разговор не клеился. Если мужчина не ведет сам диалог с женщиной, то все летит к чертям. Или она начнет что-нибудь неинтересное рассказывать — про свою работу или про детей, или вообще замолчит. Женщину надо ласкать, если не физически, то по крайней мере словами.

Алена решила заняться со мной любовью. Пробормотав что-то томное, прижала мою руку к своей мокрой горячей щеке. Разделись мы без спешки, как и полагается пятидесятилетним (ужас!). Легли. Укрылись какими-то гадкими тряпками — настоящего одеяла я так и не нашел. Обнялись.

Алена дрожала то ли от холода, то ли от возбуждения. Я был пуст. Из последних сил боролся с собой. Не хотел быть пассивным и равнодушным. Пытался уговорить себя. Возбудить. Что-то говорил... Кровать под нами подозрительно потрескивала.

Руки ласкали ее против моей воли. Алена не замечала моего состояния и возбуждалась все сильнее. Страсть слепа и глупа. Навязчива. Я лег на нее и проник. Без желания, по инерции. Надеялся, что удастся достичь оргазма без душевного контакта с лежавшей подо мной женщиной.

Со мной это часто случалось. Во время любви я погружался в виртуальные миры, обладающие гораздо большей силой реальности, чем сама реальность.

Совість твердила: Ты никогда никого не любил по настоящему!

Я пытался обороняться: Не правда. Любил. И очень страстно. И наслаждался любимой. Но свежая страсть проходила, уступала место чему-то другому и любовный акт превращался скорее в совместное музицирование, в дуэт, где главное содержание — не ты и не партнер, а нечто третье — музыка, написанная... кем? Кто этот композитор?

— Ха-ха! — парировала совесть. — Отговорки и увертки. Привык сам себя развращать и даже стыдишься самому себе в этом признаться. Знаем мы и твоего композитора! Он у тебя между ног болтается! Кретин ты высокопарный и животное.

— Ты груба.

— Я — груба? Может быть, напомнить тебе, какие ты фантазии предпочитаешь?

— Лучше заткнись, и так жить тошно.

Любовный акт продолжался. Алена постанывала. Я совершал любовные движения, но был холоден, ни любовь ни возбуждение не приходили на помощь. Передо мной стоял образ Москвы — Медузы Горгоны, я так и не оправился от свидания с родиной, был парализован. Не хотелось обижать своим равнодушием Алену. Она не заслужила этого.

Чем противнее было совокупление, тем быстрее я двигался. Хотя почти ничего не чувствовал. Моя подруга дернулась, задрожала, прервала ритм... Открыла свои прекрасные черные глаза. Бешено сжала меня бедрами, дернула головой. Захрипела.

В этот момент проклятая гэдээровская кровать с невыносимым скрежетом и треском сломалась под ними и мы обрушились в бездну... И приземлились на ее колкие останки.

Удар был силен. У Алены на спине начал наливаться зловещей синевой синяк размером с ладонь. У меня болели колени и локти. Надо было вставать, в комнате было холодно.

Посмеялись, повздохали. Пошли опять в кухню. Опять пили чай. Доели зефир в шоколаде.



## САД НАСЛАЖДЕНИЙ

Ребенка они не хотели и предохранялись как могли. А как предохраняться в стране, где невозможно достать противозачаточные таблетки? Известно, как. Правило простое — туда кончать можно только три дня до менструации и три дня после. А все остальное время нужно прерывать процесс на самом интересном месте. Сегодня и был такой день. Перед менструацией.

Вадим нетерпеливо ждал вечера, потому что знал — уломать Нину заняться любовью днем ему не удастся. Почему они все хотят делать это в темноте? Красивая, молодая женщина... Откуда у нее эта боязнь, робость, комплексы? Вадим не понимал жену. И ревновал. Может быть, у нее только на него такая реакция? Или она во время любви представляет себе на его месте кого-то другого? С ним подобное бывало, хотя и не часто. То, что мы охотно прощаем самим себе, мы никогда не прощаем нашим близким. Мир чувств фатально ассиметричен.

Как всегда в «такие» дни, у Нины был плохое настроение. Она капризничала. Металась по их маленькой квартире на девятом этаже блочного дома на окраине Москвы как львица по клетке. Подходила к окну, смотрела на огромный грязный двор, вздыхала. Потом уходила в ванную, запиралась там и крутилась перед зеркалом. Расчесывала волосы. Она явно не нравилась самой себе. У нее болела голова, ее раздражало нетерпеливое ожидание мужа, его назойливость и похотливость.

Вадим сидел на диване с ногами и листал альбом Босха — «Сад наслаждений». Молчал, потому что чувствовал — любой разговор, даже на самую отвлеченную тему приведет к взрыву, к слезам, а там можно и забыть про любовь. Нина взяла с полки томик стихов ее любимой Цветаевой, села на другом конце дивана и принялась читать. Читала, задумчиво глядела

в потолок, грызла шариковую ручку, саркастически усмехалась. Записывала что-то в специальную тетрадку. Вела себя так, как будто мужа нет в квартире.

Вадим молчал, но терпение его не было безграничным. Отложил книгу в сторону. Тихонько, как змея, подполз к жене. Поцеловал ее коварно в коленку. Обнял. Нина демонстративно отстранилась. Вадим вздохнул и отполз. Она поняла смысл вздоха и подвернула под себя ноги. Руки плотно обвила вокруг себя. Даже дотронуться до интимных частей ее тела стало невозможно. Вадим вздохнул еще раз, отполз еще дальше. Спросил, не хочет ли она принять цитрамон. Жена восприняла этот вопрос как глумление. Поджала губки. Еще одно предложение и начался бы скандал. Не первый и не последний.

Нина хмыкнула, встала. Взяла с собой книгу и ушла в ванную. Чтобы никто не мешал. При социализме горячая вода была бесплатным удовольствием — лей, не хочю. Для тех, кто жил в Москве в отдельных квартирах, конечно. Вадим остался один на диване. Попытался сосредоточиться на «Саде наслаждений». Заснул.

Приснилось ему, что жена согрелась и успокоилась в ванной. Вышла и прилегла к нему. Прижалась голой грудью к его коленям. Жадно схватила губами его член. Вадим застонал от счастья во сне. Вошел в жену сзади. Начал сладко качаться, потом осмелел, обслунявил указательный палец и осторожно всунул его Нине в попку. Она рассмеялась, изогнулась невыносимой дугой и тоже всунула палец ему в анус. Вадим чувствовал пальцем ходящую туда-сюда головку своего члена. Нина массировала его возбужденную простату. Для полноты счастья, он попросил ее что-нибудь рассказать. Она спросила, какой сюжет он хочет услышать. Вадим сказал — про то, как ученик старшего класса развращает первоклассника в кабинке школьного туалета. Нина рассказывала с вдохновением. Говорила она низким, чувственным голосом. Вадим трясся в экстазе. Пускал слюни.

Проснувшись, искал жену. Хотел продолжить любовь. Но продолжать было не с кем. На диване лежал он один, Нина была в ванной.

Вадим постучал. Услышал недовольный писклявый голос Нины: Что тебе надо? Ты же знаешь, что я хочу побыть одной...

Он знал, почему жена подолгу моется, закрывает дверь. В ванной она мастурбировала. Затем ее начинали мучить муки совести. Иногда она легальным сексом с ним нейтрализовывала их. Но еще чаще становилась непреклоннее и равнодушнее. Не могла даже подумать о близости.

— Ниночка, я тоже тут живу, тоже хочу в ванной понежиться... С тобой...

— Подожди, через пять минут я выйду!

— Пусти меня к себе, я одинок, меня никто не любит!

— Перестань кривляться! В двадцать семь лет впадаешь в детство.

— Упрямая фригидная тварь!

— Озабоченный придурок, иди к проституткам! Только потом на сифилис не жалуйся!

Вадим почувствовал, как его пальцы оцепенели. Он задергал ртом. Сжал кулаки. Волна холодного бешенства прокатилась по его телу. От затылка до пяток.

Ничего не получается! Все напрасно! На кой черт я женился? Палец в попу? Да это Нину так испугает, что она со мной вообще спать перестанет. Мальчики в туалете? Если она о них только услышит, сейчас же к своей матери уедет. Будет там расписывать, какой я зверь. И в рот она никогда не брала, брезговала. Даже рукой никогда меня не баловала. Хотел «приличную девочку» из ученой семьи, теперь не ной! Что же делать? Всю жизнь прожить в сексуальном одиночестве? Каждый раз, когда хочется, — просить, просить, унижаться... Черт бы все побрал!

Тут дверь открылась и распаренная Нина, обернутая как мумия тремя белыми полотенцами, гордо продефилировала мимо Вадима в комнату. Обдала его запахом клубничного мыла.

Меня не замечает, я для нее — ненужный предмет, мусор, грязь, — заводил себя Вадим.

Ему захотелось довести жену до визга, а потом взвинтить и самого себя до истерического, но управляемого холодным разумом состояния. Он знал, жгучее наслаждение придет, только если они оба будут в истерике, но Нина не сможет управлять собой, а он сможет. Тогда можно будет поднимать, поднимать до безумных высот напряжение. Искусство управляемой истерики состоит в том, чтобы на самой границе бездны, за миллиметр от непоправимого, остановиться в бешеной гонке и осторожно свести все к шутке, спустить безумие на тормозах. В отношениях с женщинами Вадим всегда был умеренный мучитель. Вне этих отношений он мог припомнить только один пароксизм садизма в своей жизни.

Вадиму было тогда шесть лет, он жил на даче в Сестрорецке, под Ленинградом. Гулял в саду. Вдруг видит — навстречу ему идет котенок. Подошел, о ногу потерся. А Вадим схватил его за хвост и поднял. Котенок зашипел. Попытался вывернуться и оцарапать руку. Но Вадим был ловок. Котенку было больно. Он начал пронзительно мяукать. Вадим уловил в его мяуканье жалобные, плачущие нотки. Бездна и истому страдания. Это возбудило его — он ощутил сладостное томление в паху. Продолжалось это, однако, недолго — Вадим пожалел котенка и отпустил его. Тот удрал. А Вадим не мог понять, что со ним происходит. Обычно он чутко распознавал зло, никогда не одобрял его. А тут...

Нина тем временем опять уютно устроилась на диване и углубилась в свою Цветаеву. Вадим решительно подошел к жене и грубо вырвал книгу из ее рук. Нина остолбенело посмотрела на него. Она была целиком погружена в свои изыскания. Вадим раскрыл книгу, с хрустом вырвал из нее несколько страниц, распахнул окно и швырнул листочки на улицу. Нина от неожиданности растерялась. Решила, что Вадим сошел с ума. Потом все поняла, открыла рот, чтобы крикнуть, но не закричала. Вадиму показалось, что он слышит беззвучный крик, распространяющийся как радиоактивное излучение.

После зловещей паузы Нина решительно встала с дивана, грациозным движением сбросила с себя полотенца, зарычала как львица, схватила папку с работами Вадима, открыла ее, и яростно бросила несколько рисунков в окно. Рисунки полетели вниз, как кленовые листья во время грозы. Рисуя в воздухе японские пагоды.

Вадим от злости поперхнулся, потом заорал: Что ты делаешь, дрянь? Ты же знаешь, что рисунки — не книга, их в магазине не купишь!

— Цветаеву тоже не купишь!

Нина выхватила из папки еще несколько листов, хотела и их выбросить. Вадим вскочил как пружина, бросился на жену, схватил ее за руки, вырвал рисунки. При этом разодрал случайно их пополам.

Нина вцепилась ему в волосы. И дернула, что было сил. Вырвала клочок. Вадим тоже схватил ее за волосы и потянул. Нина вскрикнула, скорчилась от боли. Он обхватил голую жену руками. Она отбивалась как сабинянка. Ревела и плакала. Вадим был сильнее, через несколько минут борьбы они оказались на диване. Вадим сидел на жене, пыхтел, пытался схватить ее руки. Нина старалась ударить его в нос. Не сразу, но попала. Ногой. Это было больно. Вадим разъярился и тоже ударил Нину по носу. Ее маленький красивый носик тут же начал кровоточить. Опух, превратился в уродливый носище.

В этот момент Вадим успокоился. Он добился своего. Нина была в истерике. Громко визжала и царапалась. А он внутри уже был холоден, хотя знал, что может ее убить, если захочет. Это знание придало ему уверенности в себе. Теперь надо было попытаться ее успокоить.

Вадим сказал громко: Я отпущу твои руки, если ты перестанешь царапаться!

Она его не слышала, плакала навзрыд, захлебываясь кровью и соплями. Руками пихалась как кенгуру. Удержать ее было трудно. Вадим боялся, что она серьезно поранит себя или его.

Хорошо рассчитав силу, ударил жену ладонью по щеке. Таким ударом можно было успокоить лошадь. Нина драться тут же перестала. Только тряслась и тихо выла. Вадим слез с нее. Пошел на кухню, принес воды и обтер жене лицо.

Нина пришла постепенно в себя. Повернулась лицом к стене. Всхлипывала. Вадим укрыл жену пледом. Поцеловал в щеку. Сказал: Прости меня, милая, я один во всем виноват.

А внутри — хохотал как демон в преисподней. Она не отвечала.

Вадим сел у Нины в ногах. Полистал альбом. Успокоился. И начал, как всегда, грызть себя. Ни в чем я не виноват, а прошу прощения. И любви не получил и рисунки потерял. И подрались как свиньи. Нинка теперь долго дуться будет. И молчать неделями. Или уедет к теще. О любви можно забыть.

Нина молча встала. Не глядя на мужа, вышла в коридор. Ушла в ванную. Зализала раны. Затем оделась и, ни слова мужу не сказав, уехала. Вадим остался в квартире один.

Ему было грустно. Пиррова победа! Опять одиночество. Без людей — все мертвое. Города, улицы, комнаты, коридоры. Даже книги и стихи. Некому наслаждаться в саду. Некому и восхититься садом. Мертво пространство. А время — бессмысленно.

Вадим захотел отвлечься, порисовать. Подошел к открытому мольберту, потер пальцами засохшую краску, понюхал. Краски пахли рыбьим клеем. Запах краски, а не ее цвет, вдохновлял его на работу. Но в это раз механизм не сработал. Руки все еще дрожали. И голова была другим занята. Прислонил мольберт к стене.

Нашел в кухне вчерашние холодные макароны. Съел их прямо из кастрюли. В животе сразу стало тяжело. Вскипятил воду. Пока чай заваривался, сидел в кухне и тосковал. Потом напился чаю.

Влез в ванную. Пустил горячую воду. Полежал, погрелся. Попытался возбудить себя. Начал сам себе рассказывать о школьниках. Но возбуждение не приходило. Сбился на размышления.

Никогда особа мужского пола не вызывала у тебя сексуального желания. Почему же уже в детстве тебя часто посещали назойливые гомосексуальные фантазии? Что происходит со всеми нами? Почему мы вечно недовольны тем, что есть. Какой дьявол несет нас за границу дозволенного? Что же мы на самом деле такое, черт возьми? Почему в реальной жизни мне дорого здоровье и благополучие любого ребенка, а в кошмарном, полубезумном фантазировании, которому я предавался во время секса с своей последней до женитьбы любовницей, Надькой, маленьких детей сажали на кол, беременных женщин вешали за груди, пороли...

А может быть, мы все такие? — успокаивал он себя. — Все люди. И от дьявольского соблазна спасает не порядочность и не религиозность, а только бездарность, серость. Или страх. Изменить или очистить этот мир нельзя, в него можно только попытаться не входить. Но и это не выход. И чувственный человек висит между бездонной пустотой сверху и такой же снизу. Окруженный демонами.

Через несколько минут Вадим возбуждился. Но не на «школьниках». Представил себе заплаканные глаза жены. Даже не успел пожалеть ее, кончил в воду.

## В ИНСТИТУТЕ

Шел я по коридору в институте. На углу появилась вдруг фигура Никарева. Он увидел меня и яростно замахал руками — иди, мол, скорее сюда! Я не побежал, а спокойно дальше пошел. Никарев ко мне подлетел, запыхавшись, и прошептал страшным прерывающимся голосом: Девин всех к себе требует! Пошли скорей!

И затрусил боком вперед дальше по коридору в сторону кабинета нашего шефа. Никарев горбун. Движения его напоминали походку краба. Он явно трусил. В институте работала аттестационная комиссия, поэтому любые новости и совещания вызывали у сотрудников панические страхи. Через минуту я открыл огромные, черным дерматином обитые двери и вошел в кабинет шефа. На диване и на стульях сидели научные сотрудники. Толя Онегин по кличке Толян, маленький, ловкий, парторг подразделения робототехники. Секретарша Раечка, злобная баба и, как я подозревал — любовница Девина. Шнитман, еврей с ленинским черепом, заискивающий перед Девиным, перед Раечкой, перед всеми, кроме меня. Алик Рошальский и Эдик Курский, два наших теоретика, похожая на свинью Лидия Ивановна, Никарев и Елизавета Юрьевна, наш инженер. Девин стоял у доски.

Я прибыл, как всегда, позже всех. Это в лаборатории расценивалось как дерзость. Почти все на меня осуждающе посмотрели. Но по-разному.

Шнитман глянул пренебрежительно, как на досадную помеху. Он как бы хотел сказать Девину своей гримасой: Опять этот раздолбай Димочка приходит последний. Ему все равно, видите ли! Он позорит наш спаянный коллектив! Извините, Ким Палыч, продолжайте, Ким Палыч!



Раечка посмотрела откровенно злобно и презрительно. Не знаю, чем я заслужил такое отношение — у меня с ней никаких контактов не было. Вошедший за полминуты до меня Никарев посмотрел на меня с нескрываемым злорадством — попался дурак, а ведь я предупреждал. Никарев ревновал, завидовал. Не понимал, что я для него не конкурент, что меня вся эта высокая наука волнует только с одной стороны — как можно ее послать куда подальше и своими делами заняться. Лидия Ивановна глянула на меня строго, раздувая ноздри своего короткого, похожего на свинной пяточок, носа. Алик и Эдик на меня даже не посмотрели, а только стрельнули глазами — и тут же отвели взгляд. Это были хорошие, умные люди, их портил однако страх перед властолюбием Девина. Не то чтобы они заискивали. Их позиция была — наше дело сторона, мы теоретики, не трогайте нас и мы вас не тронем и все, что надо, сделаем. Но если Девин кого-то сек, они отводили глаза. Ни слова, ни полслова поперек начальству. Девин их видел насквозь и, ценя их научную компетентность, презирал как людей. И часто унижал. Мне было за них стыдно.

Толян посмотрел на меня спокойно, но с язвительной улыбкой. Он был человек-загадка. Был предан Девину «до мозга костей», был вульгарен. Ногти грыз. Похабные анекдоты рассказывал. Страдал мигренью. Как парторг, организовывал и проводил партсобрания. В нем не было, однако, того, что объединяло многих других членов партии — желания травить других людей. За это я ему все внутренне прощал — и похабные анекдоты и изгрызенные ногти и собачью преданность Девину.

Елизавета Юрьевна посмотрела на меня с доброй улыбкой и показала глазами: Садитесь скорее, а то Ким Вас укусит!

И тихонько засмеялась, прикрывая рот ладонью. Девин просекал все удивительно быстро, он заметил и мгновенно проанализировал все взгляды, брошенные на меня его сотрудниками и остался всеми кроме Елизаветы Юрьевны доволен. Посмотрел на нее грозно, как Зевс (сам он был маленький, спортивный, прямоугольный, моя мама называла таких начальников — злыми карапузами), гаркнул мне: Садись! — и продолжил речь.

— Повторяю для новоприбывших! Сверху поступила директива — сократить штаты на пятнадцать процентов. Это значит, кто-то будет уволен. Я ничего не решаю — решает аттестационная комиссия. Наше дело — хорошо подготовиться к аттестации. На высоком уровне представить результаты работы лаборатории на ученом совете института. Толян должен доложить о наших результатах на партактиве. Рошальский и Курский должны подготовить обзорный доклад о лаборатории для межрегионального совещания. Шнитман должен... Лидия Ивановна должна...

И так далее и тому подобное. Все должны, должны, должны. Только он сам ничего не должен. Говорил Девин минут двадцать. Чувствовалось, что он наслаждается своей ролью вестника беды.

Я про себя пародировал его речь: Кого-то из вас уволю, мерзавцы! Что, запрыгали, головастики! Мне-то ничего не грозит. Я — заместитель директора. А любого из вас выкинуть — как плюнуть раз. И я один буду решать, кого. Может быть кого-нибудь из технического персонала уволю, может быть, отболтаюсь наверху, и никого не уволят. Все зависит от того, какое у меня будет настроение. Но вы все попляшите, черви! И жопу мою полижите всласть. Ну что ты Димочка на меня так насуплено смотришь? Думаешь тебя волосатая лапа спасет? Жопу лизать не хочешь. Гордый, твою мать! Ничего, мы и не таких гордецов в бараний рог скручивали! Или научись — или с волчьим билетом вон!

Потом все высказывались. Обещали (Рошальский и Курский). Ручались (Никарев и Раечка). Били себя в грудь (Шнитман и Лидия Ивановна). Один Толян говорил трезво и спокойно. Может быть, потому, что знал — его только полгода как выбрали парторгом, значит не уволят. Лизавета Ефимовна и я промолчали. Мы люди маленькие, нас даже если обоих уволить — пятнадцати процентов не наберешь. Потом все разошлись.

— Теперь Ким всех нас истерзает, — шепнула мне Елизавета Юрьевна.

— Надо Шнитману второй язык пришить, пусть двумя полижет, ублажит шефа! — отозвался я тоже тихо и пошел на свое рабочее место.

На следующий день Елизавета Юрьевна пришла на работу с заплаканными глазами. Я дождался, когда мы остались в комнате одни, и спросил, что случилось. Спросил, хотя знал, о чем она будет говорить. Говорила она всегда о своей взрослой дочери. Как она ее внучку мучает. Какие сцены устраивает.

— Вы только подумайте, Соня сажает маленькую Аничку в темную ванную. Мать! И ребенок сидит там полдня и плачет. Аничка в ванне боится. Говорит, там стоит медведь. Большой. Черный. В углу. Хочет ее съесть. Стоит и смотрит стеклянными глазами. На самом деле это вешалка так отсвечивает. Я видела сама. Сколько я Соне ни говорила — как я за порог, Аничка — в ванной. И свет гасит. Соня истеричка. Не приходи ко мне, кричит, не хочу жить, ненавижу жизнь, ненавижу всех вас... И не работает нигде, за все мне одной приходится платить. И пьет каждый день. И дурь всякую курит. Откуда у нее деньги на все это? С парнями молодыми связалась. А если ей что скажешь, визжит. Кричит — уходи из моего дома, что ты приперлась, старая дура. Потом плачет. Мне и ее и Аничку жалко. Муж умер — некому с ней поговорить. Она только отца слушала. А меня еще в детстве не любила. Ну, я сама во всем виновата. Полуторогодовалую в ясли отдала. Там воспитательницы детям пить не давали. Чтобы они в постель не делали. Она там целыми днями плакала. А дома все воду пила. Дура я была, думала эта работа проклятая чего-то стоит, кому-то нужна. Спутники эти, ракеты. Луна. Дрянь это все, Димочка.

— Совершенно с Вами согласен, Елизавета Юрьевна. И спутники и ракеты и роботы и главное — Луна. Все дрянь. А что, если вам попробовать, Аничку к себе взять. Может Соня образумится, на работу пойдет. Хотя приличную работу найти безумно трудно, а на фабрике ей долго не продержаться — там терпение надо...

— Я ей сто раз предлагала. Не соглашается. Визжит. Если у нее Аничку отнять — то она оправдания внутреннего

для своей жизни лишится. Получится — ей надо все иначе устроить, ответственность брать на себя, а она этого не хочет и не может.

— Это всем не легко. Я бы тоже визжал, если бы кому-нибудь было до этого дело.

— Вы — совсем другое дело. Помучаетесь у нас, потом что-нибудь другое найдете, получше. Вот, посмотрите фотографии Анички. Племянник сделал.

Я взял фотографии. С них на меня смотрела шестилетняя еврейская девочка с испуганным лицом.

Тут в комнату вошла Лидия Ивановна. Глянула косо на фотографии. Села, взяла в руки паяльник и начала паять.

Я подумал: Попадет немного, а потом побежит Киму доносить.

Так и случилось. Лидия Ивановна поработала, встала, вышла. А еще через десять минут пришла и провозгласила: Елизавета Юрьевна, Вас Ким Палыч требует. И посмотрела на меня мстительно.

Почему они меня ненавидят? Неужели за то, что толстый? Но она и сама жирная как свинья. А за что ненавидят Елизавету? За то, что она не такая, как они. В ней есть что-то благородное. Она не шавка. Не лает, не лизоблюдничает. Не пьет с ними. Не участвует в их идиотских разговорах, в их интригах, в их бесконечном друг-друга-пожирании.

Елизавета Юрьевна пришла от шефа бледная, с каменным лицом.

Я спросил: Неужели уволил?

— Нет, только мучил, говорил, я на вас плохо влияю. Теперь вас требует, только вы уж будьте спокойны. Он покричит и успокоится.

Я пошел к Киму. По дороге заметил, что Никарев и Шнитман в мою сторону кивают и смеются. Спелись, сволочи. А ведь оба не такие уж плохие ребята. Шнитман регулярно изображал деда Мороза на институтских елках. Никарев мужественно боролся с увечьем. Лакеи! Но научные сотрудники хорошие, исполнительные, и с инициативой. Звезд, правда, с неба не хватают. А у нас только сильные люди могут пробиться.

А они — средние. Ну и лижут. Ладно, это не мое дело! Надоело мне все! Уже два года терплю. Как бы мне не сорваться и у Кима не психануть! Нервы у меня не железные. И работу эту я действительно ненавижу. Так что, все, что он будет говорить — правда.

Вошел в кабинет. Ким посмотрел на меня пристально и кивнул — садись, мол, на диван. А сам стал в стойку у доски, как капитан на мостике. Даже в плечах сделался шире. Ким любил читать нотации и мозги промывать. Хлебом не корми.

Я про себя гадал — сразу прорабатывать будет или начнет про себя рассказывать, про сапоги?

Надо попытаться его не слушать, но как? Он в глаза смотрит, каждую реакцию фиксирует. Единственная его слабость — очень себя любит и переоценивает свое влияние на других. Значит надо верноподданническую рожу скорчить, а самому попытаться о чем-нибудь постороннем думать. О том, что для меня действительно важно. О Брейгеле, о Босхе. Ох, покажет мне сейчас Девин «Триумф смерти»!

Девин начал атаку вопросом: Ты Дима где родился? И сам тут же ответил. В городе, в семье ученых. (Это в те годы почти вменялось в вину.) А я родился — в деревне. Перед войной. В бедности, в грязи. Сапоги у меня с братом одни на двоих были. Отец на войну ушел и не вернулся. Кто на его месте остался? Я и брат. Мы и землю пахали и зерно убирали. И в школе учились. Окончил я школу с медалью. И поступил в сорок девятом на мехмат. После мехмата — в ящик. У меня блата не было. Все пришлось самому пробивать. Головой и задницей. Потому что без железной задницы науки не сделаешь! Я в ящике работал и параллельно диссертацию писал. Ночи не спал. Не доедал. А почему? Потому что науку любил. И Родину. А Родине нужны были ракеты. И стабильные гироскопы. А гироскопы без дисциплины и плана не сделаешь. У нас каждый инженер, если уходил в нужник, на специальную кнопку нажимал на кульмане, а когда приходил, опять нажимал — так шеф всех контролировал и если кто где засидится — голову мыл и рублем наказывал! Титан! Потом академика ему дали. И два ордена Ленина. За ракеты. Всех в руке держал. И все его любили.

Слюнтяйства и лени не терпел — гнал взашей. Знаю, почему ты морщишься — ракеты тебе видите ли не нравятся! Ракеты нам нужны, чтобы нас наши же бывшие соотечественники в порошок не стерли! Думаешь их туда так просто пустили? Нет, дружок. Так просто в рай не пускают. Все они против нас работают. Против тебя и против меня! Уничтожить! Раздавить ходят! Думаешь я просто так евреев в лаборатории терплю? Нет, я их заставляю на нас работать. Нашего робота делать. Чтобы после атомного удара, он по руинам прошел. Чтобы врагов из нор выковыривал!

Хорошо, что в этот момент в дверь постучали. Я чувствовал, что Девин добивает мое желание играть по правилам.

В кабинет всунулась курчавая голова Раечки. Голова спросила томным голосом: Ким Палыч, можно войти? Вам бумаги подписать надо.

— Входи, входи, Раечка.

Сколько в его грубом голосе вдруг нежности появилось!

Пока Ким бумаги подписывал и с Раечкой шептался, я сидел как прилипший на громадном кожаном диване и смотрел в окно. Во мне закипала ненависть, которую я пытался в себе подавить. В окно было видно стеклянную крышу соседнего вивария. Я прислушался — оттуда доносился тихий волчий вой. Подумалось: Может завывать по-волчьи? Зубами заскрежетать на наших врагов? Ким тогда меня отпустит. А может и сам завоет — он из той же породы.

Раечка деловито удалилась с кипой подписанных бумаг. Перед этим, однако, бросила на Девина ласковый взгляд, а на меня посмотрела презрительно.

Ким продолжал: Наша работа премирована ректоратом. Военными одобрена. Лучшие силы мобилизованы. И я не потерплю, что кто-то как-то работу тормозит или саботирует! Мой бывший начальник гнал слюнтеяев. А мы никого не гоним. Каждого пытаемся использовать с его сильной стороны (это он врал и знал, что врет). Вот, тебе скучно паять было — мы тебя программировать посадили, скучно программировать — еще что-нибудь тебе дадим. Почему ты заботы нашей не чувствуешь? Отношения ни с кем хорошие поддерживать

не хочешь. Семьями не дружишь. На компромиссы не идешь. С работы в пять уходишь. Восемь часов это для науки мало. Посмотри на Толяна. Он иногда ночует в лаборатории. С Шнитманом на той неделе дерзко разговаривал. Он тебя помочь попросил, а ты, что ему ответил? Что тебя не затем пять лет на мехмате учили, чтобы ты на станке работал. А кто, по твоему работать должен?

Я ответил: Рабочие, они это умеют, а я только заготовку испорчу и руки пораню.

Девин разозлился: Рабочие? А ты чем лучше их? Думаешь, родился в интеллигентной семье, так теперь всю жизнь белоручкой проживешь? Нет, мы этого не допустим. Мне таких белоручек не надо. Тут вам не пансион для благородных девиц! Лидию Ивановну кто вчера послал? Думаешь она не слышала? Все слышала. Ты сказал вполголоса — пошла ты, дура! А она ко мне прибежала — докладывать. Мне тебя опять защищать пришлось! С Никаревым ты работать отказался — он, видите ли, грубый. Да, грубый, но наш. Понимаешь ты, он наш. Не барчук! А ты, сам не знаю, кто. Серединка на половинку! Время сейчас мягкое. При Царе Горохе ты был бы знаешь где? Вот то-то. С Елизаветой Юрьевной балясы точишь, фотографии разглядываешь, вместо того, чтобы работать. И ее от работы отвлекаешь! Тебе за что деньги платят? За разговоры?

И пошел и поехал.

Минут через пятнадцать мое терпение кончилось. Перед глазами побежали цветные полосы. К горлу подкатила дурнота. Я понял, что пропадаю, что не могу больше сидеть и все это слушать. Что он меня убивает своим голосом, своей качающейся как маятник черной прямоугольной фигурой.

Неожиданно для самого себя я встал. Подошел к Девину. Посмотрел на него. Мне стало страшно, когда я услышал свой голос.

— Ким Палыч, хватит. Не хочу больше это слушать. Вам нужно кого-нибудь уволить — увольте меня. Мне тут тошно! Тошно в твоём гадюшнике! Понимаешь!

Последнее слово я произнес очень громко и грозно. Почувствовал, что за дверью кто-то это услышал и замер. И тут

же я струсил. Но нашел в себе силы твердо посмотреть в глаза оторопевшему завлабу. В его глазах пылал сатанинский огонь. Триумф смерти.

Мосты были сожжены. Теперь надо было стоять на своем. Я вышел из кабинета и пошел по коридору. С трудом нашел путь в нашу лабораторию. Сел за свой стол.

Елизавета Юрьевна спросила меня шепотом: Крепко досталось? Вы воды выпейте, а то так и инфаркт в молодые годы получить можно. Бывший парторг Порзов так умер.

Встала, налила воды в стакан из лабораторного чайника и подала мне. Я воду пить не стал. Меня мутило.

Неожиданно в комнату вбежал Никарев и заорал: Ты чего наделал? Ты что ему сказал? Ты что с ума сошел? Идиот, он же тебя с волчьим билетом выгонит! Тебя же никто на работу не возьмет! Иди, извиняйся, объясняй, иди, пока он в отдел кадров не пошел!

— Не пойду, пусть увольняет. Отстань.

Никарев убежал. Елизавета Юрьевна сказала: Дима, что вы наделали! Он же Вас сожрет!

— Подавится!

— Дай-то Бог!

В комнату вошел Шнитман. На меня он не смотрел, напевал что-то про себя. Шагнул к лабораторному столу, потрогал паяльник, поискал карандаш, нашел, переложил его с одного места на другое, потом подошел ко мне и заговорил доверительно: Дима, ты что? Успокойся, умойся и иди домой. Ким сказал, ты можешь идти. Ты погорячился, со всеми бывает. Прими дома ванну. Книжку почитай. Завтра придешь, извинишься и будем дальше работать. Где ты такую прекрасную работу найдешь? Тут все-таки Академия Наук, не хухры-мухры. Ты же Кима знаешь, он крутой, но только для твоего же блага. Он из тебя человека сделать хочет, а ты хочешь верблюдом остаться.

— Буду лучше верблюдом, чем как ты, жополизом.

Тут Шнитман позеленел и заорал: Я его жопу лижу не для удовольствия! А для жены и для детей! Меня, как брат в Израиль уехал, никто на работу полгода не брал. Даже рабочим.



Мы уже голодали. А Ким взял. А ты, молокосос, жизни настоящей не знаешь! А как петух жареный в жопу клюнет, так ты тоже, по-другому запоешь!

И вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что она чуть из петель не вылетела.

Тут вошла Лидия Ивановна и сразу налетела на меня: Как тебе не стыдно! Тебя страна кормила поила! Ты лентяй и бездельник! Как ты смеешь Киму Палычу хамить!

— Да заткнись ты, дура!

— Всем рты не заткнешь, хам! — проорала Лидия Ивановна, вытерла покрасневшее потное лицо и вышла.

Я чувствовал себя окопавшимся в норе зверем, на которого коварные охотники напускают собак различной породы. Спросил у дрожащей Елизаветы Юрьевны: Как вы думаете, кто следующий? Цепные псы уже были, теперь пойдут декоративные.

Она не ответила. Почти полчаса стояла зловещая тишина. Потом в комнату вошел Алик Рошальский. Заговорил взвешенно: Ты, Дима, отлично знаешь, что Ким тебя уволить не может. Он не хочет скандала. Молодого специалиста уволили! Вначале расхвалили, премию на конкурсе молодых ученых дали, а потом уволили! Лаборатория будет опозорена.

— Плевать я хочу на лабораторию!

— Вот это и плохо. Это эгоизм. Учился ты плохо. Но тебя взяли сюда. Эта честь, которую заслужить надо. А ты такую работу в подарок получил! Лучший коллектив. Передовые технологии. Перед тобой все двери открыты. Через пару лет сделаешь диссертацию. За это надо быть благодарным, а не хамить.

— Ну вот ты и благодари. Благодарю и кланяйся. Мы тут работа смотреть и ходить учим, а сами как слепые скоты на карачках ползаем. Пойми, Алик, я дальше просто не могу! Мне не надо ничего. Не могу я больше на все это смотреть, не могу больше разглагольствования Кима слушать, не нужна мне ваша диссертация...

Алик вздохнул и вышел. Больше никто не приходил.

В пять пятнадцать я попрощался с Елизаветой Юрьевной и покинул здание института.

К сожалению, не навсегда. Я проработал в институте еще восемь лет, но уже в другой лаборатории. Там были люди по-лучше. И главное, шеф не был такой скотиной как Ким. Мой влиятельный дед помог организовать это перемещение. Девин сопротивлялся как мог. Но отступил перед силой. Перед этим еще раз пять пытался меня переубедить. Лыстил, угрожал волчьим билетом, впадал в ярость. Я был спокоен, знал, что он проиграл. Наконец он отстал от меня. Распустил слух, что уволил меня за недееспособность. Я слух не опровергал, тем более, что в нем была доля правды. Единственным человеком из лаборатории Ким Палыча, который со мной здоровался, была Елизавета Юрьевна. Мы изредка болтали с ней в коридоре. Она жаловалась на дочку и коллег. Я рассказывал о новой работе.

...

Примерно через год после моего ухода от Девина, ко мне неожиданно заглянул Толян. Подошел и сказал: Мы тут деньги собираем для семьи. Ты дашь?

Я спросил, надеясь, что не она: Кто умер?

— Елизавета Юрьевна.

— Как она умерла?

— Выбросилась из окна девятого этажа.

— Дочка довела?

— И дочка и мы постарались. Что тут говорить, ты сам все понимаешь.

Я дал ему пять рублей.

## НОВЫЙ ГОД

На Новый год приехали ко мне Леша и Серж. Одному праздновать тоскливо. Ну я и позвал друзей — на мальчишник.

Из выпивки у меня был только спирт с работы. Я развел его холодной водой и залил смесь в бутылку из-под Столичной. Бутылка сразу стала теплая. Я выдавил в нее немного лимонного сока, закупорил и выставил на балкон — пусть охлаждается. Жратвы тоже было не много. Гречку я сварил. И картошку с лучком поджарил. Колбасу достал жирную. Кубиками ее порезал и зажарил с яйцом. Для меня был еще кислый творог. А для гостей — хлеб, масло и сыр..

Леша приволок бутылку белого вина, немного кофе и турку, чтобы его варить. Серж принес две шоколадки. Где он их купил? Не было ведь давно шоколада в продаже. Со-кровища!

За стол сели часов в одиннадцать.

Для начала решили выпить холодного беленького. Проводить уходящий год. Я разложил еду по тарелкам, разлил вино в рюмки и сказал: Выпьем, друзья за уходящий от нас 1983 год. Чтобы он в говне утонул поскорее!

— Кто он? — спросил Серж.

— Во первых год. Во вторых Андропов, — разъяснил Леша.

— Нет, Леша, нет, ты сужаешь! Еще не пьян, а уже сужаешь тему! Хотя в принципе ты прав. Первый в говне должен утонуть год 1983, второй — и, действительно, поскорее, лично генеральный секретарь Юрий Владимирович Андропов, а потом им должны последовать все члены политбюро, ЦК

КПСС и вся Старая площадь вместе с памятником героям Плевны!

— Плевну оставим, а площадь Дзержинского с памятником и главное Лубянку утопить в дерьме! — восторженно добавил Серж.

— И площадь Дзержинского и Железного Феликса и Академию генерального штаба и Академию народного хозяйства!

— И Академию искусств!

— И Академию наук тоже!

— И Московский Университет!

Леша спросил: Ты как хочешь, чтобы шпиль был не виден или чтобы был виден?

— Чтобы ни шпиля, ни герба не было видно. И главное — чтобы мой институт пропал!

— Говори точнее, пропал или в говне утонул?

— Чтобы вначале пропал, а потом в говне утонул. Или наоборот. Главное, чтобы мне второго не надо было бы в него идти и там торчать целый день.

Болтая, мы не заметили, как стрелки на часах подползли к двенадцати. Тут я включил радио Маяк (телевизора у нас не было). Новогоднее поздравление уже зачитали и передавали призывы к советскому народу. А может быть и наоборот, призывы зачитали и передавали поздравление. Не разберешь ни черта в этой фразеологии. Серж заметил только, что «сам» говорить уже не может.

Диктор, казалось, захлебывался от восторга и энтузиазма. Произнес наконец сакраментальную фразу: С Новым годом, товарищи!

Наступила тишина перед боем курантов на Спасской башне Кремля. Жуткая тишина. Как будто все исчезло и вселенная вернулась в стадию до сотворения мира. Но мир тут же возник вновь, не дав насладиться блаженством несуществования.

Ударили куранты. Мы стояли с рюмками в руках, чокнулись под удары, выпили холодного спирта и сели. Я выключил радио. Ну его в баню. Чайковским замучает или какой-нибудь

другой высокопарной галиматьей. Поставили кассету Элтона Джона. Серж где-то достал.

Стали закусывать. Потом пили вино и Лешино кофе. Из Йемена привез знакомый.

Леша рассказывал о том, как у них в институте праздновали Новый год. Как сотрудники перепились и какую при этом несли чушь. Серж мрачно пророчествовал о будущем советской страны. В своих пророчествах он всегда пересаливал, но именно это и было приятно.

Я вставлял иногда несколько слов, но больше молчал. На душе было погано, хотелось вылезти из самого себя, превратиться в бесплотное существо и навсегда покинуть землю. Но покинуть тогда мы ничего не могли. Эмиграция за границу прекратилась, зато Афганская война бушевала с невиданной силой. Призыв на нее висел как Дамоклов меч над каждым из нас. После окончания университета мы были офицерами запаса.

Андроповское государство особо жестоко преследовало диссидентов. Некоторых активных отказников избивали до полусмерти «хулиганы» среди бела дня, на московских улицах. На входах в метро устраивались проверки документов — отлавливали прогульщиков, пугали людей. Некоторым все это, впрочем, нравилось. Сталинисты торжествовали. Думали, что пришло их время.

Работа в институте злила своей бессмысленностью. В семье все шаталось. Жена была все время раздражена. Мы часто скандалили. Дочка часто болела. Картинами своими я был недоволен. Чувствовал, что пишу их зря. Надо было менять жизнь, но я не знал, как.

— И представьте себе, пьяный Масленников заблудился в нашем институте! Это же не джунгли. Упал, а встать не смог. Пополз по коридору по длиннющему. По ковровой дорожке — как самолет по полосе. Долго полз, никого не встретил. Все в своих лабораториях заперлись. Поют, танцуют. Поэтому его никто не нашел и не поднял. И полз он до самого директорского кабинета. Потом мне сам рассказывал. Вот ползу я, говорит, и вижу чьи-то ноги. Ноги идут ко мне. И ботинки на них

импортные, удивительно знакомые. Где, думаю, я видел, такие чудесные ботинки? И тут меня как током ударило — это же директора нашего, Ашотура Ашотуровича ботинки и привез он их из Франции. Я попытался голову поднять — не вышло. Хочу сказать — Ашотур Ашотурович, извините, я немного перебрал. Но ничего не выходит. Язык не ворочается, голос в горле застревает. После двухсот грамм чистого у кого хочешь застрянет. Мычу что-то как дурак. Ашотур взъярился. Шефа вызвал...

Серж спросил: Ну и что, уволили Масленникова?

— Куда? Как его уволишь? А кто в мастерских работать будет? Не уволили, а распекли и отпустили. Начальник мастерских Козодоев сам был пьяный. Я, говорит, за него ручаюсь головой. Все как один на поруки возьмем. А сам от спиртяги надулся как шар красный, шатается. Ашотур поорал и из института ушел. От греха подальше.

Я попросил: Серж, расскажи, что в этом году будет. Сдохнет Андропов или нет?

— Андропов сдохнет. Может быть уже сдох. Его с каких пор по телевизору не показывали? Но это ничего не изменит. Поставят другого маразматика. Завгара брежневского, например. Или еще хуже — Романова. Все понимают — так дальше нельзя, а делать ничего не хотят, потому что своя шкура ближе к телу. Пока все Политбюро не перемрет, ничего не изменится. А если изменится, то, неизвестно еще, будет ли лучше. Без третьей мировой войны власть коммунисты не отдадут. А после атомной войны выживут одни китайцы. Они это знают и войны не боятся. Сяо-Мяо!

Тут Серж показал «китайца», скорчил сладкую рожу и растянул руками глаза.

Зазвонил телефон. Я подошел. Звонила Идка, подруга жены.

— Ребята, берите машину и приезжайте к нам. У нас гостей полно и женщина-сказка тоже тут. Димыч, прихвати спиртяшки, у нас водки мало!

Мы посоветовались. Леша сказал: Я поеду, но домой. Пока метро ходит. Мне ни до женщин, ни до сказок дела нет, а Ви-

талики разговорами замучает. Будет меня жидомасоном называть. Он патриот! А я нехристь.

А Серж загорелся.

— Какая это, — говорит. — Женщина-сказка? Я давно хотел посмотреть на женщину-сказку.

Мы с Сержом решили ехать. Вышли из дома, посадили Лешу в автобус, а сами пошли на перекресток, такси ловить. Или частного. В Москве всегда кто-то на колесах — через пять минут мы уже мчались в подмосковный город физиков. На коленях у меня булькала трехлитровая банка с спиртом.

Приехали. Вылезли. Дом высокий. Идкина квартира на пятнадцатом этаже. Слава Богу — лифт работал. Музыка слышалась еще у лифта. Абба.

Вошли в квартиру. Там было так накурено, что я подумал, что пожар. Банку у меня сейчас же отобрали. Идка повела нас с Сержом смотреть женщину-сказку.

Женщина-сказка танцевала в большой комнате. Ничего сказочного в ней не было. Ну да, блондинка. Высокая. Миленькая. И двигается хорошо. Но рядом с ней нелепо дергается, самодовольно улыбаясь, ее жених, физик. Значит Сержу надеяться не на что. А про меня и говорить нечего — женатик. Серж посмотрел на танцующих, вздохнул и вышел.

А ко мне подошел Виталик (Идкин муж) и сказал: Димыч, пойдем в кухню, выпьем водочки.

— А у вас что, есть что ли? Я спирт пить больше не могу, у меня от него пупок развязывается!

— Припасено в застаканнике.

В кухне никого не было. Виталик налил мне рюмку. Мы чокнулись, выпили. Виталик подошел к окну и показал вниз.

— Смотри, — говорит. — Вон там, на углу черная Волга и топтуны.

— Вас пасут?

— Не нас, а Бартюхова. Он к Сахарову пытался пробиться. Не пустили. Из Горького выпроводили. И топтунов поставили.

— А разве Бартюхов тут?

— И Бартюхов и Бартюшиха. Людка уже косая. А Бартюхов в маленькой комнате политику травит. Наш человек. Пойдем послушаем.

Пришли в маленькую комнату. Там прямо на полу сидело человек десять. Бартюхов вещал: Да, наша страна далека от совершенства, да, в ней правят престарелые кретины, но вы посмотрите на Америку! Демократия, а вся в коррупции погрязла, во всех больших городах — гетто для бедных и цветных, экологическую среду портит больше всех в мире. А диссиденты наши одного хотят — слинять туда поскорее. Когда они уедут, нам еще хуже будет.

Мне его слушать не хотелось. Все, что он мог сказать, я знал и сам. Это знание, однако, не возбуждало и не окрыляло меня, а давило и мучило. Потому что я был трус. И ненавидел «проклятую Россию» за то, что она постоянно демонстрировала мне мою трусость. Заставляла играть по ее правилам. Никогда не оставляла в покое. Была вездесущей. В том числе господствовала и в моем сознании. Это и было самым страшным. Противоестественная связь человека с государством. Не мы жили в государстве. Оно жило в нас. Как доминирующий паразит.

Я сочувствовал диссидентам, но на самопожертвование способен не был. Единственное, что я мог противопоставить всесильной системе, это мое искусство и злой язык. Искусство мое однако никого кроме меня не интересовало. Кухонные разговоры тоже начинали надоедать. Иногда я плакал по ночам от бессилия.

Я ушел к танцующим. Вошел в круг. Начал ритмично извиваться, прыгать и вертеться. Танцевал я долго. Час или два. Иногда с дамой. Иногда один. Ходил на кухню добавлять из Виталикова загашника.

Танцевал и с Людкой — Бартюшихой. Людка, танцую, прижималась ко мне животом. Лезла целоваться. Язык у нее — длиннющий. И работала он им как пропеллером. Пару раз я поцеловал ее. Один раз нас увидел Виталик, сделал удивленное лицо (ты что, спятил, это же Бартюшиха!), погрозил пальцем. А мне уже все было по фигу. Если бы Людка



предложила мне с ней спариться, я бы согласился. Не из-за любви или похоти, а просто потому, что не ценил свою жизнь. Мне было давно ясно — если в этой жизни делать все — как надо, то она еще хуже станет. Значит надо делать как — не надо. Попытаться так увеличить энтропию, чтобы она, паскуда, лопнула.

Ко мне подошла Идка и сказала: Все гулять идут, проветриться, а то от дыма задохнуться можно. Пойдешь?

Я тут же надел пальто, натянул шапку и вышел из квартиры. Долго искал лифт в темном коридоре и не нашел. Через несколько минут меня взяла под руку Идка и ввела в лифт. Вывела из дома. Потом вышли остальные. Кто-то предложил: Пошли на Тихоню! Там церковь красивая.

Ничего глупее предложить было нельзя. Именно поэтому все согласились. Побрели в сторону Тихони. А до Тихони идти километра три. Через зимний лес. Через овраги и поля. Ночью. Слава Богу, снег был неглубокий. Сантиметров пять всего. А то кто-нибудь и замерз бы спяну. Я шел под руку с Идкой, задрал голову, и смотрел вверх. По зимнему ночному небу неслись грязно-желтые облака. Иногда в их прорехах выглядывали звезды. Туда, в эти черные бездонные пространства хотелось улететь. И не возвращаться.

Минут через тридцать мы с Идкой осознали, что потеряли остальных. И поняли, что Тихоню нам не найти. Заблудились. Хотя Идке местность была хорошо знакома. Она знала — тут лес, тут поле, тут небольшой овраг, а за ним должно быть хорошо видно Тихоню. Все было на месте, только Тихони видно не было.

Идка вдруг предложила: Пойдем купаться.

— Ты что совсем сдурела, где тут зимой купаться можно?

— Не сдурела. Вон там, посмотри, стоит шестиэтажное здание. Там лазер газовый. Чтобы его охлаждать, бассейн построен. В нем всегда вода теплая. И летом и зимой. И вода хорошая, чистая.

— Ну ты даешь! А туда как пройти?

— Через забор надо, я знаю место.

— Осилим?

— Попробуем.

Вышли мы к забору. Высотой забор — метра три, наверху колючая проволока.

Идка сказала: Тут где-то прореха была.

Минут двадцать искали прореху. Не нашли. Зато нашли решетчатые ворота. Без колючей проволоки. Я решил ворота перелезть. Полез. Порвал штанину. Поцарапался. При приземлении на другой стороне больно ударился. Но перелез. И был горд. А Идка не полезла. Решила под воротами проползти. Но застряла и в панику ударилась. Завопила. Тут я услышал собачий лай.

Ну, думаю, кранты. Сейчас овчарки нас закусуют. Схватил Идку за руку и дернул изо всех сил. Сдвинулась слегка. С огромным трудом, как репку в сказке, вытянул ее из под ворот. Идка слегка поцарапала щеку, но все остальное было цело. Мы пошли дальше и вскоре действительно подошли к бетонному бассейну, из которого валил пар. Чудо!

Раздевались порознь. Идка крикнула: Ты не смотри!

Очень надо!

Вошли в воду. Вода была теплая, градусов тридцать.

Начали плавать и плескаться. Идка уплыла, а я лег на спину и на облака смотрел.

Потом Идка подплыла ко мне.

Я взял ее на руки, как ребенка. В воде она была очень легкой.

Положила голову мне на плечо. И вдруг заплакала.

Стала мне жаловаться на жизнь, на Виталика.

— Ты не представляешь, как мне трудно с ним. Он же больной. Мрачный. Ему дела до меня нет. Он все о России думает. Монархистом заделался. Уже три месяца «Народную монархию» читает. А меня и Наташку заставляет слушать. Со всем сдурел. От меня все время отходит.

Я пытался ее утешать. У меня это всегда очень красиво выходило. Но неубедительно. Слова ведь скорее раздражают, чем успокаивают. Все равно какие.

И все же Идка плакать перестала. Проникновенно и пьяно посмотрела мне в глаза. Положила мне руку на заты-

лок и притянула мою голову к своей. Последнее, что я видел перед шальным поцелуем, были облака, бегущие по ее черным зрачкам.

Мы вышли из воды. Растерлись как могли собственной одеждой. Потом натянули ее на себя и пошли потихоньку домой. Нашли прореху в стене. Поплелись вдоль заснеженного леса. Мне захотелось по-маленькому. Я сказал Идке, чтобы она шла и не оглядывалась. Догоню, мол, потом.

Помочился в снег. На снегу остался странный узор. Как будто кислотой проело белый пушистый ковер. Застегнулся, дальше пошел, но догонять Идку не стал. Даже из виду ее потерял.

Вышел на пустынную улицу. На ее обочине стояла колоссальная деревянная бобина с кабелем. Рядом с ней были сложены строительные материалы. Подошел и потрогал бобину. А потом попытался ее качнуть. Не вышло. Тяжеленная. При второй попытке удалось ее слегка сдвинуть. А потом и очень медленно выкатить с газона на асфальтированную улицу.

Не знаю почему, но вся моя неудавшаяся жизнь воплотилась в этот момент в этой дурацкой катушке. Мне представилось, что вереница дней, как пестрая змея, на нее намотана.

— Ах ты дура, катись, катись к ебеной матери! — приговаривал я, изо всех сил толкая бобину.

— Давай, давай, милая... Катись, катись, катись к дьяволу! И пропади все пропадом! И Москва и Россия и моя хреновая жизнь!

Бобина катилась вдоль улицы, где-то недалеко от Идкиного дома. Я бежал рядом с ней, толкал, ругался и ронял пьяные слезы на снег.

Вдруг до меня дошло, что на пути бобины что-то стоит. Эта была та самая черная Волга с топтунами.

— Ага! — завопил я. — Попались, гэбисты! Ненавижу вас! Ненавижу советскую власть! Андропов, ты слышишь меня?

Бобина наехала на мирно стоящую Волгу. Наехала и, закружившись, с грохотом упала рядом. Волга почти не пострадала.

Топтунов в машине не было, они ушли в подъезд греться. Мой гнев угас. На улице было светло. Новогодняя ночь прошла.

Я пошел к Идке.

В квартире было уныло, как всегда утром после праздника. Женщина-сказка давно исчезла. Бартюшиха тоже ушла домой. В комнатах спали, только в кухне кто-то еще сидел. Я нашел Сержа, он лежал недалеко от Бартюхова. Спросил его, поедет ли он сейчас или позже. Серж поднял голову, промямлил что-то и затих. Я не стал его мучить, попрощался с Виталиком и Идкой и ушел.

Прошел мимо топтунов. Они стояли рядом с Волгой и трогали царапины на бампере. Один из них недоверчиво и зло посмотрел на меня. Я сделал невинное лицо, пожал плечами и показал глазами на лежащую бобину. Потом пересек по асфальтированной дорожке маленький лесок и вышел на дорогу, ведущую к Москве.

Автобус приехал только через сорок минут.

## ПСОУ

Псоу — это желтое абхазское вино. Очень легкое.

— Не бери этот лимонад, — сказал мне Горгия, — возьми лучше Гурджаани.

— От Гурджаани голова болит, — вмешался Сашенька-Комсорг. — Пойдем в горы к абхазам и купим молодого красного вина. Изабеллу.

— Любое вино — кислятина. Портвеша надо взять и делу конец, — пробурчал Валерка.

Я предложил: Берем сейчас пять Псоу для девочек, десять Гурджаани для нас и специально для Валерки — пять фугасов.

Никто не возражал. Горгия проворчал: Как можно пить этот лимонад, эту сладкую мочу?

Миша Маленький заплатил из общего кошелька. Еще и на пару хачапури с сыром хватило. Разделили по-братски, съели и пошли в лагерь. Несли так: Горгия и Сашенька несли каждый по пять бутылок Гурджаани. Я — Псоу. Валерка — фугасы. А Миша Маленький ничего не нес. Он был аспирантматематик. А математикам бутылки нельзя доверять.

Вино мы брали для вечера. У Ниночки был день рождения. Договорились идти в шалман в первом ущелье. Его хозяин обещал сделать шашлыки.

— Зарежем барашка. Лаваш и помидоры бесплатно дам. Столики поставим на пляже у моря. Будете сидеть как боги! А вино свое несите.

В спортивном лагере был сухой закон. Начальство боялось, что «все перепьются и станут неуправляемы».

Жара в тот июль в Пицунде стояла дикая. Днем и ночью — тридцать шесть градусов. Уже пять дней — ни ветерка. И влажность такая, что развешенное на балконе белье за ночь становилось мокрым. Но нам было все равно. Молодость! Са-

тому старшему из нашей компании, Мише Маленькому было двадцать два. Всем остальным и девятнадцати не было. Жара — так жара. Влажность — так влажность. Гога Жуткий говорил: Люблю, когда тепло!

И спал на пляже. Ноги в воде, голова на суше.

На море стоял мертвый штиль. Купаться днем было противно, такой теплой была вода. Студенты называли ее презрительно — «чернила». Черное море называли — «лужей».

...

Вечером все собрались в шалмане. Как и было обещано, прямо у моря стоял длинный стол. На столе алюминиевые вилки, стаканы, тарелки и два больших блюда с помидорами и лавашем. Мы достали бутылки, расселись. Горгия разлил вино и провозгласил тост за здоровье новорожденной. Посмотрел на Ниночку масляно. Он на всех женщин так смотрел. Чокнулись, выпили, расцеловали Ниночку. Я поцеловал Ниночку, потом Ниночкину подружку Верочку, которую Ниночка звала Лапочкой. Ниночка говорила: У Лапочки очень стройные ножки... На нее все мальчики смотрят.

А потом Таню.

Ждали шашлыка. Наконец он появился. Хозяин шалмана принес в двух руках огромные похожие на шпаги шампур. От больших, зажаренных до красноты, кусков баранины шел ароматный пар. Хозяин снял мясо с шампуров, положил на тарелки. Мы начали есть. Шашлык легко жевался. Помидоры были сладкими. Лаваш макали в помидорный сок, в котором плавали укроп, петрушка и белые колечки лука.

Вначале я пил Гурджаани. Потом крепленое. И только, когда уже был пьяный — Псоу. Это называлось «сделать ассаже».

Хозяин включил магнитофон. Орера. Кикабидзе пел: Я пьян от любви!

Валерка заговорил, обращаясь к девушкам: Не ходите, дети, в Африку гулять... Знайте — на большом дереве, что перед воротами лагеря, сидит Гога Жуткий. С утра сидит. Когда девушка мимо проходит, Гога свистит соловьем. Я, говорит, не Гога, а Соловей-разбойник.

Миша Маленький ничего не понял и спросил: Этот Соловей что, из Африки?

— Нет, он с журналистики.

— А что он на дереве делает?

— Сидит.

— Гога харашо жизнь панимает, — добавил Горгия. — Я би тоже на дерево палез, если б на журналистике учился. Там вед адни девачки... Им гавариш — пады суда, а ани тебе — идыот.

Миша Маленький понес дичь: И я хочу на дерево. К Гоге. В Африку. Вместе будем свистеть... Как соловьи. Димыч, полезем?

— Я не против, только для начала искупаться хочу. И тебе советую.

Скинул одежду и вошел в воду. Несколько шагов было до воды, но я умудрился по дороге два раза споткнуться.

— Димыч нахрюкался, — сказал кто-то.

Остальные тоже полезли «в чернила». Как назло у берега было много медуз.

— Медузы! — закричали Ниночка и Верочка.

Таня вошла в море не спеша, вкрадчиво, как кошечка.

— Вада как в тбилисских банях. А мидузами можно как мылом мыться, — заявил Горгия и поплыл брассом, отфыркиваясь.

Комсорг Сашенька заревел по-медвежьи, попытался руками пробить себе дорогу к чистой воде. Шумел и брызгался.

— В Африке большие злые крокодилы! — провозгласил Валерка, снял свои толстые очки, положил их на одежду и нырнул, попытался проплыть под медузами. Это ему не удалось, он вынырнул метрах в пяти от берега, жадно глотнул воздух широко раскрытым ртом и поплыл, смешно махая руками.

Миша Маленький вообще в воду не полез. Он был щуплый и болезный. Ему везде и всегда было холодно. Даже в кавказскую жару. Он говорил: Мои древние кости согреются только на холме Сион.

За это его иногда звали — «сионист проклятый».

Купались долго. Подныривали под девчонок — пугали. Девушки визжали. Валерка вертелся вокруг Тани. Это мне не нравилось.

Потом вышли из моря, обсушились и опять сели за стол. Я сел рядом с Таней. Обнял ее. Тихонько поцеловал в шею. Она посмотрела на меня нежно. И поцеловала в нос. Засмеялась.

Я сказал: Что-то Валерка все около тебя вертится.

— Не ревнуй, бесполезно.

— На обратном пути отстанем от всех и посидим на скалах?

— Почему бы и нет?

— Ты что сегодня весь день молчишь? Жизнь прекрасна! И я с тобой.

— Ты милый, но мир на тебе не сходится. Димыч, я болею.

— Аааа.

— Да. Да.

— Но в губы-то тебя поцеловать можно?

— В губы можно, а больше ничего нельзя.

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь, дуралей. Я тебя люблю!

— А я — тебя. Жизнь прекрасна!

— Вот заладил.

Сашенька явно перебрал. Громко разглагольствовал: Да, я — комсорг. А вы все — комсомольцы. Кому вся эта мутотень нужна — что, мне? Мне нужна — баба, а не комсомольская организация. А бабы все кто? Комсомолки. А комсорг — кто? Я. Логично? Димыч, ты у нас по девушкам спец, скажи, логично или нет?

— Логично, только ты больше из фугаса не пей, а то тебя нести придется.

— А надо будет — и понесешь. Руки не отсохнут.

— Отсохнут.

Тут в спор вмешался Горгия. Он сказал: Ты, Сашенка, не к Димычу, а ко мне обратись за помощью и советом. Я тебе дэвушку найду. Хочешь бландинку, хочешь бранетку. Их так много везде, дэвушек. И все камсомолки. Очень нэжные. Только не журналистки.



Ниночка обиделась за журналисток. Возразила: Что ты к журналисткам привязался. Они очень умные. Начитанные.

Верочка-Лапочка вторила подруге: И красивые.

Горгия процедил сквозь зубы: Прадажные все...

Пьяный Валерка задолдонил: Они будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите дети в Африку гулять! В Африке гориллы...

Миша Маленький влез с комментарием: В Африку без визы не пускают. А визу хрен кому дадут. Ах, хорошо в стране советской жить!

Сашенька-Комсорг услышал это и взорвался: Сионист проклятый! Ты меня не провоцируй! Думаешь, я не понимаю тебя? Думаешь, я глупее всех? Нетушки. Знаю я вас! Умники! Вам не понравилось, вы — тю и нету вас. А я родился в Можайске. Где одни блатары да дебилы. Я русский человек. И учусь на экономфаке Московского университета! И советскую власть люблю... Была бы ваша власть, вы бы меня сожрали. Всех бы нас сожрали.

Тут он перестал говорить, завсхлипывал. Потом посмотрел на щуплого Мишу и добавил: Ну ладно, Мишан, не сердчай, это я так, заврался слегка... Димыч, налей мне красного!

— Я же говорил, что тебе хватит.

— Ничего не хватит.

Стемнело. Хозяин шалмана зажег две свечи. На них сейчас же прилетели какие-то мушки. Мы пошли в лагерь.

Я шел с Таней в обнимку. Горгия любезничал с Ниночкой и Верочкой. Рассказывал им какие-то байки из своей тбилисской жизни. Сашенька-Комсорг шел один, бормотал про себя. В темноте он был похож на большую белую колонну. А Миша Маленький завел с Валеркой бесконечный спор о том, кто лучше думает — математики или физики (Валерка был с физфака.)

— У математиков мозги закомпостированы, — напал Валерка.

— Зато мы можем логично думать, — парировал Миша.

На середине пути мы с Таней действительно отстали. Нашли ровное место на корявых, поросших водорослями,

скалах. Сели. Смотрели на ночное море, напоминающее огромную чернильницу. В лагерь пришли, когда горизонт был светлый и первые золотисто-розовые лучи Солнца уже осветили вершины гор. Я пошел в наш коттедж, где жил в одной комнате с Валеркой, Мишей, Сашенькой и Горгия. Таня ушла в свою комнату.

— Ниночка и Верочка, — рассказывала она потом. — Дрыхли без задних ног.

И вот что странно — когда мы входили в лагерь, с большого дерева, стоящего недалеко от ворот, доносился свист и слова популярной тогда песенки: А меня укусил гиппопотам, я от него на дерево залез, и вот сижу я здесь, а нога моя там, гиппопотам уходит в лес.

Кто-то пел и свистел. Неужели Гога? Надо будет его завтра спросить, подумал я, засыпая. Но так и не спросил.

«Завтра» наступило неожиданно быстро. Как будто ты положил голову на подушку, а через мгновение — уже надо вставать. Миша Маленький разбудил всех — надо было идти на физзарядку. Я не пошел, зная, что за это может последовать наказание — внеочередной наряд на кухню или что-либо другое в этом роде. Советская система все, что могла, превращала в подобие армии или тюрьмы. Студенческая жизнь в спортлагере не была исключением. Никаких результатов это неослабевающее давление не приносило, зато жизнь отравляло. Возможно это и был главный результат.

Валерка тоже не пошел на зарядку.

Спросил: Димыч, у нас есть еще горячее?

— Достаточно. Два фугаса не початых. Бутылен Гурджаани и пара Псоу.

— Дай мне этого твоего Псоу хлебнуть. Как ты говоришь, сделаем ассаже?

— Ассаже.

Откупорили Псоу и выпили. Вкусно! Настроение сразу улучшилось.

Я сказал: Пойдем в воду, пока не жарко.

— Чернила!

Мы вышли из коттеджа и задним путем вышли на пляж. Там еще не было никого. Вошли в воду. Медузы пропали. Я отплыл метров сто от берега. Начал кувыраться в воде как парашютист в воздухе.

Блаженство! Утро теплое. Небо голубое. Вода сверкает, лучится. Плынешь как в бриллиантах. Пьяный. И наплевать на все. Ты часть волнующейся от счастья голубой вселенной. Плыви, ныряй, вертись! Позволь воде промыть твои поры, охладить гениталии, освежить щеки и плечи.

Тут до меня долетел голос Валерки. Он кричал: Димыч, Димыч, я берега не вижу!

Подплыл к нему. Взял за плечо. Указал направление. Валерка уплыл. Благополучно достиг берега. Плавал он ничего, только видел плохо. Вышел на пляж, надел очки. Помахал мне рукой.

Я опять начал кувыраться — попытался еще раз ощутить экстаз существования. Но блаженство не приходило. Море было только морем. Вода — водой. Чернила в луже.

После завтрака решили пройти по ущелью Бабы Яги.

Горгия отказался. Что я ущелий не видел? А с Бабой Ягой я бы лучше в шалмане пасидел. И кроме того, ко мне сегодня гости приедут.

Сашенька тоже не пошел. Он намылился идти к Володе, отшельнику, уже долгие годы живущему в Абхазии натуральным хозяйством. Ушел сразу после завтрака. Прихватив двадцатилитровую канистру.

Остальные отправились к Бабе Яге. С собой мы взяли только воду в фляжке, да десяток кислых яблок. Шли прямо по речке. Глубиной она была сантиметров десять. Шириной — метра три. Речка текла по дну ущелья, которое становилось тем уже, чем дальше мы уходили от берега моря.

Идти в тени было очень приятно. Пресная розоватая вода освежала босые ноги (кеды и сандалии мы несли на плечах). Шли мы очень медленно, чтобы не пораниться о камешки. Брызгались. Травили анекдоты.

Мишенька рассказал свой коронный анекдот. Помнится, начинался он так — вот, сидят вокруг костра Чапаев, Винни Пух, Брежнев и Хошимин и спорят, кто из них еврей, а кто нет...

Валерка рассказал анекдот про корову на березе.

Ниночка и Верочка обсуждали с Таней свои факультетские сплетни (они учились в одной группе на филфаке). Хихикали. Лапочка возбужденно рассказывала: Ну Турбин и пригласил ее домой. Она решила — это он за ее талант. А он любит узкие бедра.

Я шел и не думал ни о чем. Смотрел на чистую водичку, на забавные цветные камешки. На колючие лианы, тянущиеся по стенам ущелья. Мне было весело. Мысли роились где-то в стороне, как мухи. Голова была блаженно пуста.

Я подошел к Валерке.

Спросил: Слушай, а что там, на дереве, действительно Гога сидит? Вчера ночью там кто-то свистел и песню пел.

Гога был соседом Валерки по общежитию.

— Про гиппопотама?

— Про него.

— Значит, точно он. Иногда целый день поет. Говорит — это мне учиться помогает. Он жуткий, что с него взять?

— А ты что поешь?

— Я ничего не пою. У меня голоса нет, — и тут же запел. — В Африке большие злые крокодилы... будут вас кусать...

— Он про гиппопотама, а ты про крокодилов, все вы шизанутые!

— Это точно.

— Посмотри, или у меня ум за разум заходит или речка глубже стала.

— Ты прав Аркадий!

— Без булды!

— Ну да, вроде глубже. И хрен с ней.

— Если в горах гроза, мы ее тут даже не услышим. А в речке уровень поднимется за полчаса на пять метров! Надо выход из ущелья искать. Пока не поздно.

— А меня еще шизанутым называешь! На пять метров. Ни в жизнь не поверю!

Я знал, что говорил. Попытался уговорить остальных. Все нехотя, но согласились. Вода прибывала. Когда мы, наконец, нашли сухое русло ручья, по которому можно было

вскарабкаться и уйти налево от ущелья, вода была уже по колено. И течение стало быстрее. Я нервничал, начал всех подгонять.

Миша сказал: Димыч, может быть в гору не попрем, а просто по речке назад... а?

— На это у нас нет времени. Почему вы мне не верите? Тут такое через четверть часа начнется! Костей не соберешь!

— В Африке гориллы! (Валерка)

— Димыч всегда все лучше всех знает! (Таня)

— Баба Яга придет, водичка поднимется, а мы как воздушные шарики поплывем. Хи-хи-хи! (Ниночка и Верочка)

— Злые крокодилы! (Валерка)

В этот момент природа пришла мне на помощь.

Вначале истошно закричали девушки. Потом Валерка ргнул. Миша закричал: Бррр!

По речке несло раздувшийся труп собаки. Его поднесло прямо к стройным ножкам Верочки-Лапочки. Она стояла, закрыв лицо руками. Труп ткнулся раскрытой в гримасе смерти пастью прямо в изящное колено. Лапочка вскрикнула, дернулась, оттолкнула труп и неожиданно ловко полезла по руслу ручья в гору, хватаясь за свисающие лианы и корни. Остальные последовали ее примеру.

Минут через десять, потные и грязные, мы вылезли на небольшую террасу, с которой наше ущелье было прекрасно видно. Привели себя в порядок. Обулись. Уселись. Попили воды. Стали яблоки грызть.

Хорошо видны были и горы, возвышающиеся примерно в десяти километрах от нас. И величественные грозовые тучи. Вскоре мы услышали нарастающий шум. По-видимому, где-то прорвало естественную плотину и грязевая волна неслась по ущелью, волоча с собой деревья и камни. Шум постепенно превратился в грохот. Ущелье — в скрежещущий ад. Уровень воды поднялся по крайней мере на три метра. Вода была уже не водой, а текущей землей, тяжёлой и страшной. Стало ясно, если бы она нас накрыла — всем был бы конец. Девушки притихли. Надо было думать, как домой идти. Я знал, как. Но не

хотел разряжать раньше времени атмосферу. Хотел помучить. Скорчил трагическую мину и сказал: Ну все, мы от цивилизации отрезаны!

— Димыч, что ты говоришь? — сказала Ниночка.

— Пугаешь только.

— Нет, отрезаны! И всем капут!

— Ох, не ходите дети в Африку гулять! — прогудел Валерка.

Таня встала, подошла ко мне, обняла и демонстративно поцеловала. Потом промурлыкала: Димыч, мы все тебя любим, твое превосходство признаем и смиренно просим нас простить и вести домой.

— Лицемеры! Собачку видели? Всем капут!

— Сусанин!

Подурачились и стали дальше карабкаться. Вышли на тропинку, ведущую к морю по холмам. И через два часа были дома. Пришли, сполоснулись в лагерном душе, поели в столовой и только тогда заметили, что погода переменялась — дул свежий ветер, Солнца не было видно из-за быстро бегущих по небу облаков, море волновалось, по нему катились полуметровые волны, синева его прерывалась то тут, то там белыми барашками.

...

Сашенька свою программу выполнил на сто процентов. Был у Володи «на ранчо». Купил вино. Пробовал его вместе с Володей. Как гость был допущен до черешневого дерева. Притащил на себе не только полную канистру, но и пластиковое ведро черешни, хотя и был «пьян как обезьяна». Отоспался и был готов для дальнейших подвигов.

— А где мегрельский князь? — спросил я у Сашеньки. Горгия в разговорах с нами часто намекал на свое княжеское происхождение.

— Он арестован и сидит в милиции в Пицунде.

— Да ты что? Как это «арестован»? За что?

— За изнасилование студентки исторического факультета.

— Ты откуда знаешь?

— Меня Фантомас (так за глаза называли начальника лагеря) для переговоров вызывал. Возил в Пицунду. Они там все сидят и гонца с деньгами из Тбилиси ждут.

— Какого гонца, ты что, Комсорг, перепил чачи?

— Иди ты знаешь куда? Горгия скоро приедет и сам расскажет.

— Ну, дела...

Горгия действительно скоро появился, «оскорбленный в лучших чувствах».

— Аскарбили, аскарбили и апарочили! Я ее даже не патрогал! — восклицал он. Я попросил его успокоиться и не вываливать все сейчас, а подождать пока все соберутся.

Собрались. Посовещавшись, решили отойти от лагерного пляжа метров на двести. Так и сделали. Нашли укрытое скалами от ветра место, постелили несколько одеял, развели крохотный костерчик. Топили плавником.

Попросили Горгию рассказать все «с самого начала» и ничего не пропуская.

С ним во время нашего отсутствия произошла типично кавказская история. Привожу его рассказ без грузинского акцента:

— Приехали ко мне гости сегодня из Тбилиси. Знакомые отца. На Волге. Только на один день. Трое. Ты тут знаешь все, говорят, найди нам блондинку. Студентку. И чтобы попышнее. И тут чтобы было и там (Горгия показал на грудь и на зад). И чтоб по-настоящему дала. А мы купим груши и чачу. А я тут знаю одну. Студентка истфака. Марина зовут. Блондинка. И вроде на все готова. Поговорил с ней. Показал ей Волгу. Груши показал. Познакомил с гостями. Отъехали по дороге. Недалеко. Нашли тень. Вышли, разложили ковер. Начали пить и веселиться. Марина опьянела. Одному гостю дала. Он доволен. Другому. Он тоже доволен. Третьему. Я тоже хотел. Но тут... Тут недалеко от нас, в кустах появился... Как его, ну этот, активист. Физкультурник. Алексей Петрович. Стоит и смотрит. А мы все голые. Чего он по горам ходит, людей пугает?

Этот Петрович — доцент на истфаке. Он Марину узнал. И она его узнала. И испугалась, что донесет. Схватила свои вещи и закричала: Меня изнасиловали, меня изнасиловали!

Подбежала к Петровичу. И отправилась вместе с ним — к Фантомасу. Фантомас милицию вызвал. Милиция нас тут же нашла. Отбуксировали Волгу в лагерь, а нас всех забрали и к абхазам в Пицунду отвезли. Сидим мы в милиции. Входит завотделением. Что, говорит, попались... В тюрьму все сядете. Или как джентльмены дело уладим?

Мы говорим, лучше как джентльмены. Я, продолжает, эту дуру припугнул следствием, она согласна пятьсот взять и все забыть. Только доцент ничего знать не хочет. Доцента сами уговаривать будете. А мне и моим людям за хлопоты — четыре тысячи. Сегодня — четыре. А завтра будет — десять. На личными.

Гости звонили в Тбилиси, деньги будут поздно вечером. Все трое еще там сидят, гонца ждут. А меня отпустили, чтобы я с доцентом поговорил. Доцент долго артачился. Потом сказал, буду молчать, но ты меня на неделю в Тбилиси пригласи. Теперь надо будет этого козла у мамы принимать. Вот как было.

Валерка сказал назидательно: Не ходите дети в Африку гулять!

Кто-то спросил: А Марина?

— Ее завтра в Москву отправят.

— А гости?

— Гости пьют в милиции с завотделением. А завтра в Тбилиси уедут. Хватит, погостили!

Я сказал: Самое время Изабеллы попробовать! Только чур — прямо из канистры.

Мне за инициативу и вручили первому канистру. Сашенька ее поддерживал. А я пил. Терпкое вино обдирало горло. Заглянул внутрь канистры. Там было темно, по поверхности вина ходили темно-красные волны.

На двадцатом глотке я отпрянул от канистры. Вино на текло по подбородку на майку. Закружилась голова. Я полез на скалу, проветриться и посмотреть на море.



Море бушевало. В темноте волны представлялись огромными, увенчанными пеной, поднимающимися и опускающимися буграми.

Через несколько минут все ребята были пьяные (девушки пили не много). Мне захотелось погеройствовать.

— Вы как хотите, а я купаться хочу. Кто со мной?

— Ты что, сдурел?

— Ночью, в шторм! Мы тебя и спасти не сможем.

Один Валерка принял вызов.

— Я пойду, но ты должен быть рядом, а то я берег потаю. Очки тут оставлю.

Меня было досадно. Опять не удастся показать Тане, какой я герой. Ведь Валерка рискует в десять раз больше моего.

— Мальчики, вы что, с ума сошли? Валерка, ты что? — воскликнула Таня, когда мы встали. Меня резануло — какую она о нем заботу проявляет!

Мы отошли от скал, вышли туда, где был ровный мелкогалечный пляж и вошли в пенящуюся воду. Секрет купания в шторм прост — надо умело зайти, отплыть подальше, туда, где волны покатые, наплаваться и выйти в редкую минуту сравнительного затишья. Все это мы обсудили с Валеркой до купания. Дождались слабой волны и быстро, прорубив ее головой поплыли от берега. Я плыл рядом с Валеркой и все время подавал голосом сигнал. Все было бы хорошо, если бы Валерка мог также быстро плавать как и я. Но он плыл медленно. И подныривать под волну просто не успевал. Поэтому попадал прямо в пекло — в закручивающийся гребешок. Глотнул соленой воды. Закашлялся. Еще раз глотнул. Захлебнулся. Начал тонуть. Я взял его за локоть и потащил к берегу. По дороге нас два раза било падающими гребешками. Один раз я даже Валерку потерял, но, к счастью, быстро нашел. Выйти тоже удалось сравнительно благополучно — я отделался двумя царапинами. У Валерки царапин было больше. Но он не жаловался. Откашлялся. Царапины затер руками.

— Пришли, герои! — объявила Таня.

— А вот вам штрафную из канистрочки, — провозгласил Сашенька.

Я шепнул Валерке: Знаешь, если бы мы не выплыли, они бы этого даже не заметили.

Он ответил тоже тихо: Это, может быть, и не плохо.

А потом пропел хриплым голосом: Не ходите дети в Африку гулять!

Костер еще горел. Ниночка и Верочка ушли спать. Комсорг дремал. Мишенька солировал. Он говорил с легким еврейским акцентом: Я родился в Кишиневе. Ты, Димыч — москвич. Ты не знаешь, что значит жить в провинции... Мои родители жили как в девятнадцатом веке. Тети, дяди, братья, сестры, кузены, бабушки, дедушки — и все айды. Никто в синагогу не ходит, даже на идише никто не говорит, но все обсуждают, сколько в том и в том еврейской крови. Когда кто уехал и куда. А потом разъехались все. Кто в Израиль, кто в Штаты, кто в Канаду. Папа не поехал — он коммунист, отставник. И Сталина и Хрущева и Брежнева любил. Мама — бухгалтер. В детстве я все время болел. В школе учился плохо. Потом попал в математическую школу. Открыли тогда в Кишиневе. Получил первое место на олимпиаде. Послали на международную. Там я занял третье место. Поэтому меня, еврея, взяли на мехмат. Без экзаменов. А ты, Димыч не еврей?

— Я — на половину.

— То-то я чувствую... Еврей еврея через скалу чувствует.

В Тане вдруг проснулось чувство гражданской ответственности. Волнуясь и сверкая глазами, она воскликнула: Что же по-твоему, евреев на мехмат не берут? Специально на экзаменах режут? И это в нашей советской стране?

Мишенька печально ответил: Да, Танечка, именно так, в нашей советской стране.

— Неправда! Это вражеские голоса слухи распускают! Тебя же приняли. Я еще троих знаю. А ты говоришь — не берут!

Тут проснулся Комсорг. Не поняв спросонья, кого не берут, куда не берут, бухнул: Не берут и правильно делают!

Сказал и опять уснул.

— Ведь они гориллы, злые крокодилы, будут вас кусать, бить и обижать! — пропел Валерка.

— Валерка, не мучай своими кракадилами! — сказал вдруг Горгия. — Грузинов тоже не берут! Паэтому я в ректарате марынуюсь!

— И грузинов берут и всех! — закричала Таня. — Ты на экзаменах провалился!

Горгия парировал: Я на журналистику хател. Не взяли. Не прашел по конкурсу. А ани все прашли!

Тут Горгия сделал жест рукой, означающий — все они, плохие, прошли, а он не прошел.

— Не ходите дети в Африку гулять! — призвал Валерка.

...

На следующий день вечером решили все вместе идти ночью купаться. В десять все были на пляже. Все, кроме Валерки. Он еще утром куда-то делся. Никто его не видел.

Море было спокойно. Ночь — чудо. Мы с Таней оторвались от остальных.

— Димыч, ты все знаешь. Как ты думаешь, мы будем встречаться в Москве? В Москве все не так, как тут, — спросила Таня.

— Не знаю. Думаю — будем. Только вот от меня до тебя ехать далеко... Если я тебя после кино буду провожать, то на метро не успею.

— Ты сегодня какой-то не романтичный. Посмотри на звезды. Расскажи что-нибудь. Почитай стихи.

— Как зеркало своей заповедной тоски, свободный человек, любить ты будешь море... Нет не могу, лучше спою тебе гогину песню про гиппопотама или валеркину про крокодила... Кстати, куда он подевался, ты его не видела?

— Утром еще был. А потом пропал. Может с Гогой на дереве сидит?

— Все может быть.

...

На утро будит меня Комсорг.

— Димыч, вставай, Валерка утонул!

— Как утонул, кто утонул?

— Валерка. Валерка утонул! Просыпайся скорее, мы в Пицунду должны ехать, труп смотреть. Милиционер сказал,

что он плавал и берег из виду потерял. Искал, искал и не нашел. Так и плавал кругами, кричал наверное, пока из сил не выбился. Сердце сдало. Он захлебнулся и утонул. Тело ночью нашли, на мысу у корпусов. А утонул он еще утром. Так что, когда мы ночью купались и ты Таньку щупал, его труп где-то рядом плавал.

Тут только до меня дошло. Сердце болезненно сжалось. Как будто в небе открылась страшная черная дырка. И вся наша жизнь в эту дырку полетела.

Мы ехали на газике по пыльной дороге, потом по асфальту. В голове у меня стучало: Не ходите, дети... Не ходите, дети... В Африку... В Африку... В Африку.

То, что мы увидели на цинковом столе не было похоже на Валерку. Так раздуло утонувшего.

Комсорг сообщил, что Фантомас просил его и меня встретить мать Валерки, прилетающую вечерним рейсом в Адлер. Поездку в Адлер и душераздирающую сцену во время второго опознания трупа я описывать не хочу.

Жить в Пицунде нам оставалось еще неделю. Мы по-прежнему пили из канистры по утрам. Ходили к Володе за вином. Я сидел с Таней на скалах. И так до самого отъезда. Один раз пригласили выпить с нами Гогу Жуткого. Гога хлебнул и запел: Ну а меня укусил гиппопотам...

## СВИДАНИЕ

Она позвонила мне на работу. Вечно ухмыляющийся пожилой толстяк Пронов подал мне трубку, сделал большие глаза и проговорил многозначительно: Тебя просит дама. Но не жена!

Усмехнулся и тяжело посмотрел на Двинскую. Та в ответ хмыкнула, улыбнулась косо, плечами дернула и произнесла язвительно: Димочку опять вызывают к зубному врачу!

А у меня, еще когда телефон зазвонил, екнуло сердце. Она!

Почему мы знаем, кто нам звонит? Тайна! Подумаешь о человеке. И тут же звонок. Или наоборот. Позвонишь, а тебе говорят: Я только что о тебе думала.

Все врут физики. Есть в пространстве неуловимый для приборов эфир, передающий мысли и эмоции живых существ без всякого электромагнетизма. И эфир этот заполняет всю вселенную. Может быть эта та самая невидимая темная материя?

Я взял трубку и, прикрыв микрофон рукой, спросил тихо: Ты?

— Я.

И — молчание. Сжал зубы.

Надо было гончих псов со следа сбить. Заговорил наигранным деловым тоном: Нет, Марья Викторовна, ваша дочь к экзаменам не готова. Я думаю, что надо еще, как минимум, три месяца заниматься. Геометрию подтянуть... да и алгебру тоже.

— Ты, что, что говоришь! О Господи, догадалась. Дура. Ну давай, придумай еще что-нибудь!

— Неравенства? Это тема трудная. Тут за два занятия ничего не сделаешь. Надо месяцок или полтора утюжить...

— Милый, быстрее. Сейчас кто-нибудь войдет. Жду. Соскучилась. На Ленинском. Где всегда. У Спартака. Через час. Ты забыл меня!

— Нет, конечно. Как Вы могли такое подумать? Что вы говорите, Марья Александровна? Завтра контрольная?

— Знаем мы, как ты алгебру подтягиваешь! И как утюжишь — тоже знаем! Даже имя два раза одинаково произнести не удосужился! — прошипела Двинская и посмотрела на меня ревниво.

— Вы правы, конечно надо внеочередное занятие провести. Что? Через час? Не знаю, надо у Леонида Леонидовича спросить. Если он не против, то пожалуйста. Да, в четырнадцать двадцать. На Ленинском. У Спартака.

Теперь шефа надо уломать. Это не трудно. Хотя бывает — разорется по пустяку — не остановишь.

Наш шеф любил шутить. Высказывался иногда очень здраво: После обеда нормальному человеку надо часок поспать, потом сладкий чай... мда... с грибной запеканкой. А тут сидишь, сидишь, как пингвин на яйцах, и ничего не высидишь.

И сам громко смеялся. Нередко уходил с работы еще до обеда. Когда дверь за ним закрывалась, напряжение само собой спадало. Как после команды — вольно. Приятно, когда за тобой не следят! Можно даже наукой заняться. Наши дамы устраивали чаепитие. И болтали иногда до самого конца рабочего дня. Социализм — малина для хороших людей. И концлагерь, если энергичные мерзавцы за дело примутся.

— Леонид Леонидович, мне мать моей ученицы позвонила. Просит внеочередной урок провести. Отпустите пожалуйста на три часа. У меня еще два полных отгула осталось.

— Отгулы... За прогулы. Успокоил. Ха-ха-ха. Ну лети, скворец. Давай ей урок — у Спартака... Да мне и самому пора, надо еще молочка и сырку сынку купить.

Шеф — золото! Хотя и не блещит. Бывший летчик — сталинский сокол. Потом ученый. Лауреат какой-то премии. Завлаб и маразматик. Но с сочувствием к подчиненным. Далеко не худший вариант.

Два года назад он всех удивил — женился в четвертый раз. А уже через месяц у шестидесятисемилетнего завлаба появилось прибавление в семействе. Родился ребенок, сын

Саша. Странно, но на эту пикантную тему сотрудники нашей лаборатории даже не злословили. Жалели старика. Хотя его четвертую жену, бывшую вдвое моложе детей шефа от первого брака, не любили. Звали ее за глаза лимитчицей. Шептали, что она — «молодуха, старика изловила и в подоле ему принесла» ради московской прописки.

Перед тем как уйти, подошел к Двинской, прошептал: У тебя совесть есть? Все уже обговорили тысячу раз. А ты опять за свое! Зачем ты меня при всех позоришь?

— Мне противно, когда ты врешь.

— Я не вру, ты же знаешь, что без уроков я на мои деньги ноги протяну.

— Знаю я твои уроки. Ты их мне достаточно... надавал.

— Могу еще дать. Погоди, квартира освободится. Тогда серьезно поговорим. Или, может быть, у тебя встретимся? С мужем любимым меня познакомишь. С мамой.

Заткнулась. Язвит, шипит как змея, а когда прижмешь ей хвост, теряется, слабеет. За это она мне тогда, четыре года назад и понравилась. И с тех пор тянется эта канитель. Давно уже прекратить пора. Тряпка.

Вышел из института. Решил пешком до Ленинских гор дойти. Вдоль ограды. До самой Смотровой площадки. А оттуда на семерке до Спартака десять минут. Как раз успею.

Плохо, что снег на пешеходной дорожке не чистят. По щиколотку. Залезает в ботсы. Ноги промочу. Завтра будут сопли. Черт с ним. Так приятно по холодку пройтись. Уже одно отсутствие коллег веселит сердце как шампанское. Каждый день одни и те же надоевшие лица. Не институт, а казарма.

И не темно еще — хочется на свет посмотреть. А то — уходишь на работу, света еще нет, приезжаешь домой — уже темно. А в лаборатории и свет в окнах не радует, такая у нас царит казенщина. Огонь присно палящий и тьма не-светимая.

Да и с самим собой поболтать приятно. Хорошо думается на прогулке. Идешь и как будто из окошка поезда на мир смотришь.

Так о чем поговорим? Конечно о ней! С самим собой? С кем же еще об этом говорить? С женой? Даже с матерью нельзя. Начнет сразу шилом колоть.

— Я тебя предупреждала! Женатые все смурные. Если женился, не портить жене жизнь. У тебя ребенок.

А сама этого ребенка видеть не желает!

— Не лезь к чужим бабам в постель!

Да не лезу, рад бы, да не лезу. Где это в Москве можно найти постель? Это вам не Чикаго (там на всех углах постели с чужими женами). Тут Москва. Холод и лед. Даже на лавочку не сядешь — зад примерзнет.

И бабушке тоже нельзя ничего сказать. Сразу начнет подмигивать, намекать. Скажет: Ты внук своего деда. Что вам не сидится? Гвозди в попе мешают.

А потом добавит проникновенно: Я так жалею, что была всю жизнь твоему деду верна. Как меня любили! А я все боялась, все о детях думала. Дура! Но ты, говнюк, жену люби. Она у тебя золотце. Все делает. Умненькая и миленькая. Говорила я тебе, не торопись, теперь — вот он, локоток, близко, а не укусишь...

А дед, так тот вообще разговаривать не станет. Отрубят только: Молод еще жене изменять. Будет тебе лет пятьдесят, тогда посмотрим.

Посмотрим, посмотрим. Пятьдесят лет. Это же уже не человек, а придурочная обезьяна! По моим коллегам видно. Бывший комсомольский вожак Сечев жаловался мне: Знаешь, все эти дела уже в сорок лет прекращаются. Вот так, дружок. Приветик.

Может врал, а может и нет. У него — заведомо все прекратилось. Он целиком в партийную карьеру погрузился. И в покупки товаров. Даже специально поближе к ясеневскому универмагу переселился, чтобы каждый день в него ходить и не пропустить, если что выбросят. После его ухода из лаборатории, мы его письменный стол открыли. И что же? Все ящики были почетными грамотами забиты. Килограмма три одних грамот. И все ему врученные — Сечеву. За то, за се... Его награждали, награждали, а он все эту макулатуру даже с собой



не взял. Мы с Двинской тогда весь хлам собрали и ему на дом почтой отослали. Для хохмы. А на обратном адресе написали — Партком МГУ. То-то он злился!

Отправили Сечева в свое время на Кубу. Науку для Кастро делать и за другими советскими наблюдать. Стучал он там, я думаю, не только руками, но и копытами. Рассказывал мне: Представляешь, там на побережье рыба не пуганая. К ней подплывешь, а она на тебя внимания не обращает. Бил рыбу гарпуном, бил. Каждый день, часа по три. Домой волок пудами. Такая красота! Только девать ее потом некуда. Даже кошки хозяйские ее есть перестали. На помойку выбрасывал. Мы не ели, вдруг ядовитая...

— И не жалко тебе было рыбу?

— Да что же ее жалеть, она же не наша.

— Не советская что ли?

— Что?

Лучшему другу — Леше, начнешь рассказывать, а он дразнится. — Хомячок, хомячок!

Это он так Лану прозвал. За толстые щечки. И второй подбородок. Бывает такое у женщин. На теле жира — ни капли. А лицо — полное. Припухшее. Кожа очень тонкая, чувствительная, жилки видно. Родимые пятна везде. Такие плачут по любому поводу. И смеются часто. Истерички. Зато возбудимые. Но зависимые. Ответить огнем на огонь они могут. А сами — как вода.

А Лешка — циник только на словах. На самом деле он мне сочувствует, просто он мою жену очень любит.

— Ты, Димыч, — говорит. — Жлоб. А Неля — ангел.

Умный! Женился бы сам на ней. Тридцать лет, а живет один.

Знаю, что моя жена ангел. Но иногда хочется от ангела — к хомячку. Шерстку нежную поласкать. У ангела ведь только белые перья. С ним только о божественном говорить можно. К тому же Нелька любит меня обличать. На слове ловить. Воспитывать. А меня от этого тошнит, хотя она всегда права. И лучше я от ее слов не делаюсь. Скорее наоборот. Нелька не ангел — она мой прокурор. А Лана — защитник. Потому что сама грешница.

По-хорошему — ей на меня наплевать. Все равно, с кем любовь крутить. Сегодня я ей на дороге встретился. Завтра кто-то другой появится. Но это мне не важно. Потому что я — такой же. А может... От этого еще сильнее сердце ноет. Преходящее чувство. Стрекозиный короткий век.

Познакомились мы с ней на могиле Пастернака, в Передкино. Романтично! Мне ребята тогда нелегально «Доктора Живаго» скопировали. Увеличили. У посебовского издания шрифт маленький. Глаза болят. Прочитал роман заново. Поразило. Только не любовь, не рассуждения, даже не поэзия. А общая линия. Композиция. Свертывание жизни. Уход в небытие. Оркестрованный как последние симфонии Малера. Темы развиваются и медленно, в игре вариаций, замолкают, умирают. Решил на могилу поэта съездить. Зимой, чтобы не было никого. Приехал, а там — женщина. Стоит у белого камня. Одна. Стройная. Молодая.

— Вас случайно не Лара зовут?

— Почти угадали. Лана.

Пошли с ней вместе к станции. Доехали до Киевского вокзала. Ей надо было в свой институт, на Ленинский. Проводил ее. Начали встречаться. Не часто. Бродили по Замоскворечью. Заходили и в парк Горького, в Донской. Разговаривали. В теплые дни сидели на лавочке. В холодные — шли в кино. Чаше всего в Иллюзион на Котельническую набережную. Там иногда целовались. У нее была семья, муж, ребенок. Разводиться мы не хотели. Оба были эгоистами. Банальная история. Без продолжения. Без апофеоза. Только со слезами. Так уж получается, все понимаешь, всему ясно даешь отчет. Глупостей не делаешь. И все равно — больно.

Бывало, отживешь день. С женой перед сном поиграешь. А потом, когда все уже спят, только метель на улице воеет, лежишь и мечтаешь. И в мечтах отрываешься от тела. Оставляешь его спать в теплой постели, а сам, свободный, как демон, проходишь сквозь стены, покидаешь свою кооперативную конуру и взлетаешь. И летишь, летишь сквозь ночь. Медленно.

Сначала над кольцевой дорогой. А потом и над железной. Под тобой дома, леса, поля заснеженные. Позади Москва —

как светящийся ковер. Наверху — созвездие Ориона. Если захочешь, можно и туда слетать, но что тебе звезды, галактики и прочая пыль по сравнению с нежными глазами твоей любимой? Нет, не туда, а в Переделкино, к старому деревянному дому. В дом, однако, нельзя. Там — чужой мир, там спит Ланин муж и своим храпом отгоняет злых духов.

Превращаюсь в огромную ворону. С зелеными глазами. Подхожу к окну. Заглядываю в спальню. Каркаю. Стучу клювом в стекло. Лана встает с постели. И проходит сквозь стену... ко мне. Навстречу зеленому свету. Две огромные птицы взлетают над переделкиновскими соснами. Летят в свое небесное гнездо.

...

Ну вот и смотровая площадка. Справа трамплин. Слева церковь. Подхожу к гранитному парапету. Москва укутана туманом. Новодевичий монастырь виден хорошо, а Кремль почти не видно. Третий Рим. Первых двух не видал, в третьем — живу. Ну и что? А ничего.

Внизу деревья. Ветки черные, лоснящиеся. Московская графика. Надо идти.

Подошел троллейбус. Люблю семерку за то, что в ней всегда полно свободных мест. Проездной! Сидение холодное, но ехать недалеко. Дворец Пионеров. Гостиница. Ленинский.

Вон она, стоит на другой стороне проспекта. Шубка приличная. Что это у нее в руках? Сверток какой-то.

Выскочил из троллейбуса. Побежал. Спустился в подземный переход. Уу... низкий. Теперь замедлим ход. И примем вальяжный вид. Как сердце стучит!

— Лана, милая!

— Димыч, я тебя заждалась. Пришла на двадцать минут раньше, думала, ты догадаешься и тоже... раньше... придешь. Да не целуй ты, тут наши увидеть могут... Подожди дурачок, пойдем в парк. Да ты что, плачешь, что ли?

— Нет, я не плачу, это снег на глазах... растаял.

— У меня руки замерзли, согрей!

Взял ее руки в свои. Розовые. Холодные. Пальцы длинные. Но некрасивые, к концу как бы расширяются. Ногти бе-

лые, широкие. Вот эта некрасивость и делает ее руки такими родными. Желанными. У Нельки пальцы породистые, арийские, но они не мои.

Прижал Ланины руки к губам. Дышал, грел их и целовал.

Ушли от шумного проспекта. Вошли в парк.

Красиво. Еще зима, но уже веет весной. Деревья смотрят по-другому. Просыпаются. Веточки набухли. Снег отяжелел. Местами провалился. В воздухе повисла еще холодная влага. В небе показалась синева.

— Ты чувствуешь. Новая ясность. Чистота в воздухе. Что-то в природе изменилось. Где-то там, под снегом, в корнях и стволах бродит новая жизнь. Март. В Москве всегда сумасшедший март...

— Ты, Димыч, всю зиму в Москве провел. У нас в деревне уже в конце февраля первая капель была. Я набрала воды с веточек и умылась. Бабушка говорила, кто первой водой умоется, тот счастливым будет.

— А ты, что же, несчастная?

— Нет, я счастливая.

— Что ты еще от жизни ждешь?

— Ждешь всегда того, что еще не было.

— Ничего еще не было, все, все новое... Что это у тебя за сверток?

— Ах, чепуха. Диаграммы какие-то... Не могла же я просто так уйти! Сказала, что пошла в президиум, потом в филиал, там пообедаю и прочее. Наш Эдуард совсем сдурел. То его неделями нет. Мы гуляем. То прибежит, всех разругает, обидит, заставит все заново делать. Ну а потом изысканно прощения просит. Талькиной вчера сказал: Вы, Людмила Николаевна, приходите вечером ко мне домой и комплект постельного белья с собой прихватите!

— Ну, дает. Он бы еще мыло ее попросил с собой взять и презерватив.

— Это он не от хамства. Он просто настолько не от мира сего, что не понимает, что можно говорить влюбленной в него сотруднице, а что нельзя. Талькина два часа плакала и меня терзала. А что я ей могу сказать? Потом она решилась. Взяла

белье и к Эдуарду поехала. А сегодня пришла тихая и загадочная. Все наши отдельские бабы у нее пытались выведать, что было. А она молчит. Только краснеет.

— И тебе не сказала?

— Мне сказала.

— Ну и что он, петухом кричал или икру метал?

— А ты никому не скажешь?

— Помилуй, ну кому же я скажу. Я ведь ни твоего Эдуарда, ни Талькину в глаза не видел. Знать не знаю и знать не хочу... Честное пионерское.

— Без крестов, без ноликов?

— Какие уж тут кресты!

— Не скажешь?

— Не скажу.

Тут Лана понизила голос и что-то мне тихонько прямо в ухо прошептала, а потом отпрянула и рукой сама себе зажала рот. Я расслышал только: И тогда он ее заставил...

— Да что ты говоришь?

— Ты представляешь? А ведь ему за шестьдесят. Членкор. Профессор. У него уже сын доцент.

— Ни черта я не понял.

— Не понял и не надо. Много будешь знать...

Так я и не узнал.

— Мне все это время фильм покоя не дает. Тот, что мы неделю назад смотрели.

— А... Феррери. «Диллинджер мертв».

— Ну да. У него же есть все. Свобода. Богатство. Почему же он психует? Жену убил.

— Ее надо было убить. Она тормоз. Или... символ. Лежит, ноет, в вечном гриппе. В прострации. А тут служанка. У нее воля есть. Интерес. Хотя бы к деньгам.

— Тебе все ля-ля. А меня задело.

— Ничего не ля-ля. Прописная истина — жизнь только тогда приносит радость, когда ты к чему-нибудь стремишься. Только в пути. Работаешь. Борешься. Не важно, за идею или за женщину. А когда ты всего достиг, то все как-то само разрушаться начинает. Тут есть что-то, что нам, людям, лучше не знать... о нас самих. Отрицательный опыт.

— Что-то вроде запрограммированного тупика?

— Да, так можно это назвать... тупик достижения. На нервных людей фатально действует. Например, ты вкладываешь все силы в карьеру, в положение. И добиваешься всего. Но, вот фокус, потом ты сам начинаешь самого себя и все достигнутое разрушать. И приземляешься у разбитого корыта... Потому я карьеру и не делаю... Тошно все заранее знать.

— А почему он горошинки на револьвере нарисовал?

— Это дань дизайну. Безумию тамошнему. Нас коммунизация от этой пошлости спасает. Хотя и у нас ситцы в горошек. Но у нас это убого, а там — богато и со вкусом. Но зловеще.

— А ты бы хотел слинять?

— Не знаю. Не люблю строить планы. Я тоже в прострации... Живу... как в обмороке. Как мы все... Тебя увидел — счастлив. Когда совсем молодой был — хотел пожить в Париже, в Нью-Йорке. А теперь на путешествия больше не тянет.

— А куда тянет?

— Тянет на гречневую кашу с молоком. Шучу, на созвездие Ориона.

— Рассмешил!

— Хотя... на море тоже иногда тянет. На океан. У меня на учебнике астрономии кто-то из бывших владельцев написал: Хочу на Луну! А рядом, другим почерком: Циолковский — мудак!

— Здорово! А ты слышал байки, что Гагарина инопланетяне похитили?

— На кой же он им понадобился? Пить с ним что ли за компанию? Хотя, все бывает, может и инопланетяне. Жалко, что они и Черненко с собой не прихватили!

— Говорят, он уже умер. Только об этом не сообщают.

— Говорят... Может и умер, только, кого же тогда по ящику каждый день показывают? Двойников? Ты знаешь, в телесном бессилии наших старцев есть что-то зловещее. Агония затянулась. На самом деле, эта агония наша. Это мы — бессильны. Это наш, совковый образ. Наш лик. Неужели это будет вечно продолжаться? Тогда нам всем конец. Они нас всех одними бесконечными похоронами до депрессии доведут.

— Не пугай меня, я о политике даже думать не хочу, Димыч. Боюсь.

— Плохо то, что она о нас все время думает... Россия сейчас, как и во времена Грозного — огромный языческий алтарь. Тут приносятся человеческие жертвоприношения. Тут терпят. Все мы подошли к какому-то порогу. Еще шаг — и безумие уже не остановить.

— Перестань, не бреди себя. Лучше поцелуй меня.

Лана целовала нежно, отдавая себя. Мы прижались друг к другу. Так крепко, как могли. Стояли, обнявшись, как живой столб. Одни на липовой аллее. На холоде. На ветру.

Два часа пролетели быстро. Лане нужно было еще появиться в институте.

А меня разрывало. С одной стороны — хотелось поскорее уйти, остаться одному, ехать домой, почувствовать себя в знакомой роли, как ноге — в старом теплом чулке. С другой стороны — не хотелось никуда уезжать. Только стоять, прижавшись к Лане, стать деревом, срастись с ней, переплестись корнями и остаться тут навсегда.

Тебе скоро тридцать. Пора уже и повзрослеть. А тебя носит как шестнадцатилетнего. Втюрился как пацан. Что теперь — убежать? Упасть на холодную землю? Разрыдаться? Или петь, прыгать, танцевать? Может, купить вина, поехать к Леше и напиться у него? Или, еще проще — взять бутылку портвейна и выпить ее на улице. В одиночку. Фу, как глупо. На большее ты не способен?. Купить... Выпить... Рыдать... Русская загадочная душа... Ни на что не годен.

— Я пойду. Мне надо еще по магазинам пройтись, к празднику что-нибудь вкусенького купить. В Переделкино нет ничего в магазине.

— К какому празднику?

— Ты где живешь, милый! На созвездии Ориона? Через два дня восьмое марта!

— Черт бы его взял... Тяжело прощаться.

— Что ты? Не смотри так. Я на следующей неделе обязательно позвоню. Скорее всего в среду.

— Целую неделю ждать. А почему не в понедельник?

— Ты как ребенок. Хочу игрушку и все! В понедельник у нас аврал. Эдуард что-то вроде инвентаризации задумал.

— А во вторник?

— Во вторник я обещала Талькиной с ремонтом помочь. Она совсем извелась.

— В среду, так в среду.

— До свиданья, милый.

Повернулась и ушла. Только хвостиком вильнула.

А мне... куда теперь идти? Тоска заест!

На работу, в стойло? Чтобы там сидеть и демонстрировать. Смотрите, мол, вот он я. Такое же жлобье как вы. Ненавижу все! Домой? Там жена с дочуркой. Меня там совесть замучает. Буду весь вечер грызть самого себя. И с Нелькой поругаюсь.

Тут подошел сто сорок четвертый. Я обрадовался. Вскочил в него, как разбойник в почтовый тарантас. В автобусе было душно. Народу полно. И у всех лица как у распятого. Москва — Голгофа. Будь ты проклята!

Отмахал в давке по Ленинскому до улицы 26 Бакинских Комиссаров. Кто-то мне говорил, что самые хитрые из комиссаров в живых остались. Так всегда, хитрожопые остаются в живых, а честных — к стенке.

Может быть, поэтому наша жизнь идет наперекосяк?

Мы пытаемся выжать из нее капельки счастья, которое не заслужили. Ведь мы все — потомки выживших...

...

Через четыре дня сообщили, что Черненко умер. Началось новое время. С Ланой мы встретились еще два месяца. Потом у нее появился новый ухажер, старший научный сотрудник из ее отдела.

Пронов умер.

Канитель с Двинской тянется до сих пор.



## СЮРПРИЗ

Коридор вроде пуст. Сегодня женскую. Да, эту. Ворсистую. Давно тут лежит. Ждет меня. Надо дырочку заткнуть.

Цап ее за мягкие бока крашеными когтями. И под кофточку.

Это ты, ты сделала меня такой!

В туалете никого, заранее проверено. Только вонь в воздухе как молоток висит. Моча, месячные и духи. Наверно эта гадюка, Скрипкина, душилась... Как может Ашотур Ашотурович такую дрянь в постели терпеть? Секретарша она! Грязная, потная, мстительная тварь. Блондинка пергидролевая...

Дверочку закрыть. Крючок надежный. Не отлетит? Нет. Сиденье скверное. Смотреть тошно — в унитазах не смытое дерьмо. В женском туалете!

Из меня капает кровь. Дырявое брюхо! Вначале новую ватку положим. А старую завернем в газетку и выкинем. В Правдочку. Ручки помоем.

А теперь присядем и посмотрим. Что же там, в сумочке? Кто-кто в теремочке живет? Тяжеленькое что-то. И объемное. Так... застёжечка позолоченная. Шарики на изогнутых лапках. Ну вот, открылся, чертог алмазный. Купюры — в лифчик. Мелочь — в кошелек. А это что же тут такое? А вот мы сейчас...

Господи... Кровь! Кровь! Кровь из чрева Богородицы...

...

Я видел окровавленную женщину. С ног до головы. Или, точнее — с головы до ног, потому что кровь явно лилась сверху вниз, с головы на грудь, на живот, на руки и ноги. Я встретил ее на выходе из ворот нашего института. Она вылетела как испуганная ласточка из гнезда и Наверное натолкнулась

бы на меня и вымазала бы кровищей, если бы я, пораженный ее ужасным видом и сотрясающими ее рыданиями, не отпрянул в последний момент. Я очень ловкий.

Глянув на меня своими безумными глазами, она метнулась в сторону и неправдоподобно быстро убежала в сторону автобусной остановки на Мичуринском проспекте. Мне показалось, что она бежит как пантера, на четырех ногах.

...

Окровавленная женщина не была на самом деле ни окровавлена, ни ранена, ни даже поцарапана, а была жестоко облита красной краской. И облила ее не какая-нибудь завистница и не хулиган, а московская милиция. Печальная и поучительная история!

На втором этаже нашего института располагалась библиотека. Перед входом в нее стоял открытый шкаф с полками для сумок и портфелей, которые в библиотеку заносить запрещалось.

И уже годы... о, это проклятое несовершенство человеческой природы... уже годы кто-то бесстыдно обворовывал посетителей библиотеки. Раз или два в месяц неизвестный вор похищал сумки, портфели и дипломаты, потрошил их где-то в укромном месте, забирал все ценное и ставил на место, в шкаф. Работал аккуратно, отпечатков пальцев не оставлял, украденные вещи потом нигде не объявлялись. Видеокамер тогда еще не было. Поэтому дирекция института обратилась в милицию. Милиция положила в библиотечный шкаф специальную сумку. Слегка ворсистую, зеленовато-коричневую, с разводами и пятнами. На открывшего ее человека из спрятанного в ней под рублями, трешками и мелочью черного резинового пузыря извергалась под сильным давлением струя пенящейся красной несмываемой краски. Поздним вечером посвященная в тайну вахтерша забирала сумку из шкафа, а на следующий день клала ее в него опять. Милиция назвала операцию по поимке библиотечного вора — «Сюрприз».

Женщина-вор, Лидия М-а, которую в ее лаборатории все звали просто Лидочка, украла сумку с сюрпризом не сразу. Может быть, она ей просто не нравилась. Старомодная была сумочка. Импортная. Под питона.

Пять месяцев сюрприз мирно лежал в шкафу, а Лидочка брала другие сумки, портфели, дипломаты. Заносила их в находящийся напротив библиотечного шкафа женский туалет. Запиралась в кабинке и спокойно творила там свое черное дело. Потом, убедившись в том, что в туалете никого нет, вышла из кабинки, осторожно заглядывала в коридор, одним быстрым движением ставила сумку на место и исчезала. Так должно было случиться и в тот, роковой для нее день.

Лидочка открыла сумку-сюрприз в туалете, забрала деньги, потрогала пузырь, механизм сработал, и ей в лицо ударила струя краски. Страх пронизал все ее существо, она попыталась отмыть хотя бы лицо и руки в умывальнике — но не тут то было! В панике, она бросила адскую сумку и как сумасшедшая побежала по коридору к выходу из института. Испугало ее не то, что она — разоблачена как воришка, не то, что ее уволят и возможно посадят, обо всем этом она и не думала, испугало ее то, что ее увидят в таком виде другие сотрудники института. Лидочка была очень застенчива. Некоторые даже считали ее эдакой жеманной неженкой.

Напрасно она боялась — никто ее, бегущую, не видел! Лидочка пролетела, как трепетная лань, весь наш длинный коридор и никого не встретила, никого не было и на парадной лестнице... Даже вахтерши на выходе не было, ушла завтракать или обедать.

Единственным повстречавшимся ей сотрудником института был я. Но я позабыл бы о ней через пять минут. Потому что был обыкновенным московским эгоистом и трусом. За свои неполные двадцать пять лет жизни в Москве я видел так много жуткого, что привык никак не реагировать и по возможности не вмешиваться ни во что. Знал, что зло может мгновенно обернуться против меня. Стоит только на него внимательно посмотреть. А за помощь человеку в беде в Москве можно было заплатить жизнью. Об операции «Сюрприз» я и понятия не имел.

Лидочке почти повезло...

Если бы она не налетела случайно на автобусной остановке на сотрудницу ее лаборатории, свою давнюю подругу Надежду Ларину — никто бы никогда не узнал, кто потрошит портфели и дипломаты из библиотечного шкафа. Но она налетела. Даже слегка замарала краской рукав новой сиреневой кофточки Лариной.

Добросердечная Ларина захотела помочь окровавленной подруге. Предложила отвезти ее в больницу на такси или вызвать скорую из автомата у кинотеатра Литва. Но та от помощи отказалась, пробормотала, рыдая и дрожа: Нет, нет! Кровь, кровь в сумке, дырявое брюхо! — и убежала.

Ларина была так ошеломлена, что решила не ездить в тот день на семинар в академическом институте, на котором обсуждалась интересующая ее тема, а возвратилась в институт, чтобы проверить, все ли в их лаборатории в порядке, и заодно попытаться отмыть от краски пострадавший рукав. Может быть и другие сотрудники ранены? Взрыв на экспериментальной установке? Диверсия? Война?

Убедившись, что все в лаборатории в порядке, Ларина попыталась отстирать рукав. Поняв, что это невозможно, Ларина тяжело вздохнула, завернула кофточку в целлофановый пакет и положила ее в сумку, набросила на плечи элегантный рабочий пиджачок и отправилась в дирекцию, поболтать с секретаршей Скрипкиной, которой немножко льстила из карьерных соображений. Ее жгла и мучила тайна, хотелось с кем-нибудь поделиться. Рассказала Скрипкиной о случившемся на остановке, не называя однако имени окровавленной. Секретарша хоть и была осведомлена о милицейской операции, но не сразу догадалась, что эта, окровавленная, и есть библиотечный вор. А когда догадалась, сделала огромные глаза и посвятила Ларину в подробности «Сюрприза». И выведала таки имя злодейки. Дело пошло своим чередом...

Надо отдать Лариной должное, она не выдала бы Лидочку... если бы у нее самой три месяца назад не была очищена спортивная сумка, неосторожно оставленная в шкафу у библиотеки. Больше всего ее поразило тогда то, что кроме денег,

из ее сумки пропали личные предметы, не имеющие вроде бы никакой материальной ценности — губная помада «Рассвет», треснувшее зеркальце, лак для ногтей, фотография их завлаба с надписью «Дорогой Надюше», выдавшие виды кеды, старенькое полотенце, старомодный купальник и почти пустая пачка заграничных гигиенических тампонов «Люкс», привезенных ей любовником из Португалии. Любовником этим был этот самый завлаб с фотографии, импозантный армянин со звонким в науке именем. В послепутчевые времена его поймали с поличным во время получения взятки в десять тысяч долларов за помощь одному малограмотному таджику в написании докторской диссертации. Но не посадили, потому что и судья в свою очередь получила взятку.

...

Несмотря на свой кошмарный вид, Лидочка поймала тогда на остановке такси и поехала домой. Таксисту сказала, что на нее из-за халатности кладовщицы упали банки с лакокрасочными материалами. Шарахнувшейся от нее на лестничной клетке соседке Мареванне она заявила, что это ее сожитель облил ее красными чернилами, приревновав к знакомому. А сожителю ничтоже сумняшеся наврала, что ее окатила краской эта сука Скрипкина. Из мести. Потому что на нее никто не смотрит, а на меня все институтские мужики пялятся.

Лидочка — как и все вруны — верила в свое вранье. Когда врала, не понимала, что врет, когда воровала, не осознавала, что нарушает закон. Не понимала даже, что кого-то обижает, унижает, лишает чего-то. Как будто в ней был переключатель. В модусе воровства — она воровала, легко и естественно, как дышала, в модусе вранья — так же легко лгала, и только в модусе обычная жизнь Лидочка вечно испытывала затруднения. Какая-то непонятная сила тянула ее непонятно куда, кидала и вертела ее, как бычок в унитазе. Лидочка все время безуспешно пыталась освободиться, убежать то ли от судьбы, то ли от самой себя, а в результате только глубже погружалась в рутину, как в бездонную трясику. Воровство спасало ее от отчаянья. Развлекало. Дома, в одном из отделений большого трехстворчатого шкафа Лидочка хранила свои трофеи. Ре-

гулярно вытирала с них пыль, щупала их, нюхала. Любовалась ими, как Чичиков — содержанием своей заветной шкатулки.

Не будем, дорогой читатель, слишком строги к несчастной Лидочке! Жизнь бессмысленна, жестока и коротка, каждый пытается прожить ее как может. Некоторые любят содержание своих заветных шкафчиков, Бог с ними, с блаженными!

...

Дома Лидочка попыталась отмыться бензином. Удалось это ей только частично. Но через неделю она уже смогла выходить на улицу. Забрала белье из прачечной. Зашла в продуктовый. Забежала в поликлинику и взяла у знакомой врачихи Дмитриевой задним числом бюллетень. Подарила Дмитриевой за услугу лак для ногтей и безразмерные колготки...

Даже устроила небольшой арьергардный скандал с Мареванной из-за игры на баяне и диких криках и визгах до трех часов ночи...

— Что вы каждый день празднуете? — терзала уже не красная, но еще слегка розоватая лицом Лидочка гнусавую, почвенную, с мордой кирпичом старушку Мареванну.

— Наша жизнь всегда веселая, вот мы и шумим, — ответила морда кирпичом и добавила ехидно, — мы не как некоторые, которые в красных чернилах купаются...

...

Из института Лидочку уволили, но уголовного дела завести не стали — ее энергичный начальник, тот самый завлаб-взяточник уговорил директора и майора милиции Струхина, курировавшего операцию «Сюрприз», этого не делать. Очень уж не хотелось завлабу оказаться самому как-то втянутым в эту неприятную историю.

Не досмотрел за подчиненными...

Не проводил воспитательную работу...

Моральный облик советских ученых в лаборатории...

Кроме того, он подозревал, что некоторые его враги не забыли то, что у него и у Лидочки лет восемь назад... еще до Лариной... да лучше и не вспоминать...

Он эту чертову советскую кухню знал насквозь, потому что и сам обвинял других на партсобраниях в подобных грехах. А так, уволили просто, по сокращению штатов, и концы в воде. Милитону Струхину правда пришлось подарить пять бутылок Бехеровки, которую завлаб прихватил во время последней командировки в Прагу и мастерски скрыл от таможни, и тот глушил ее стаканами, жаловался потом жене на головные боли и ругал чехов, вместо того, чтобы добавлять благородный напиток в Столичную маленькими ложечками и пить понемногу, как ему советовал опытный завлаб.

Директору же было обещано, что вместе с завлабом в очередную заграничную командировку поедет референтом его двоюродный племянник, толстый, ленивый и прыщавый молодой ученый сорока двух лет, палец о палец не ударивший в науке, живший бобылем, мечтавший о смазливых малолетках и о канувшей в Лету ветчине, в отпускное время фанатически собиравший коллекцию сердоликов и аметистов на Карадаге. Коллекция эта кстати, ловко и во время проданная какому-то полусумасшедшему новому русскому, любителю пестрых камешков, спасла племянника от голодухи в первой половине девяностых годов.

...

Найти другую работу в каком-либо московском институте Лидочке не удалось. Сожитель ее, младший ее на одиннадцать лет авиационный инженер, ушел от нее через несколько месяцев после истории с сюрпризом к молодой и красивой кришнаитке Люсе. Пришлось выезжать из его комфортабельной кооперативной квартиры в шестнадцатизэтажке на Островитянова и переезжать к старенькой матери, в однокомнатную хрущевку недалеко от метро «Проспект Вернадского».

Во время переезда случилось несчастье — пропали все лидочкины трофеи. Видимо, грузчики украли заветные ящики. В милицию Лидочка естественно о пропаже не заявила...

Полубезумная старушка-мать часто плакала и умоляла дочь оставить ее в покое. Внезапно обострился приобретенный в студенческие годы гастрит, о котором Лидочка уже забыла. Поседела волосы...

На фоне всего этого у Лидочки началось психическое расстройство. Ей мерещились бывшие сослуживцы, которые внезапно, из ничего, появлялись рядом с ней, дули на нее и умоляли ее вернуть им украденное, совали ей в лицо свои сумки и портфели. Несколько раз она, осознавая свое безумие, пыталась объяснить им, что у нее ничего нет, что все украли. Но зловещие призраки только беззвучно хохотали. А Лидочка шептала им исступленно: Отстаньте от меня... Украли все... Нет ничего... Только дырявое брюхо осталось... Отвяжитесь... Кровь, кровь из чрева Богородицы...

...

Через месяц после начала заболевания Лидочка попыталась покончить с собой — перерезала вены на левой руке в ванне и начала неестественно хохотать. Как филин заухала. Мать услышала хохот, увидела кровь и вызвала скорую. Лидочка загремела в психиатрическую клинику, где повела себя неумно. Вместо того, чтобы помалкивать, тихо и покорно выполнять все предписания и приказы врачей и санитаров и выплевывать лекарства, она лекарства глотала, подробно рассказывала психиатрам о своих кошмарах, а на реакцию и действия врачей реагировала истерически. Хохотала и кричала истошно: Дырявое брюхо! Кровь в сумочке! Кровь!

Попытка убежать из клиники не закончилась ничем. Лидочку привязали к кровати. Через четыре месяца она умерла. Залечили.



## АФРИКА

Советский специалист! Красиво звучит?

Говно на лопате!

Император Жан-Бедель Бокасса первый. Четырнадцать лет страной правил. Людоед! Это нормально? Глава государства филейные части школьников поедал. Холодильники специальные в дворцовых подвалах ему немцы смонтировали. Взрослых не ел — брезговал. Хотел телятинки. Неженка! А мы там по хлебу черному скучали. И по простой воде из под крана. Там ведь нет водопровода. Только жижа из бака на крыше течёт. Пить ее нельзя. Мыться можно. Помоешься — а потом противно. А питьевую воду — покупать надо было.

Работали мы в университете по программе ООН. Говорили по-французски, естественно. Там все по-французски шпарят. И французов полно. Есть и португальцы. Ну и всякой швали тоже много. Ливанцы, ливийцы, кубинцы и черные всех сортов от антрацита до бурого угля. Высоченные есть, сара. Есть и маленькие — пигмеи бабинга. В городе их не видно, по лесам ошиваются. А наших туда посылали, потому что Бокасса у Лёни в дружбанах ходил. Мы ведь во все суем нос, если нам по рукам не дают. Я туда из-за квартиры поехал. Мне начальник сказал: Отсидишь три года в Африке, мир посмотришь, валюты привезешь, кооператив построишь и машину купишь. Ты кадр проверенный. Тебе доверим. Только не пей там сильно, крыша поедет. И на черножопых баб не ложись — уважать перестанут. Только этого мне не хватало для полного счастья! У них мандавошки железные и размером с кузнечиков...

Легко сказать — не пей! А что еще делать? Днем — жарища. Ночью прохладно. Но москиты зажирают. Сетки у нас на окнах были с дырками. Залетали, твари. И мушки желтые мучили. Кусали не больно. Но укусы неделями зудели. Распухали. А потом из гнойников червячки вылезали. Здравсте! Неко-

торые часто на природу ездили. Водопады, обезьяны... Слоны где-то бродят... Носороги... Как это в песне — бегемоты и жена французского посла. А я не ездил. Тошно! Я Подмоскovie люблю. Березки и осины. Речки маленькие. Коров. Землянику. А носороги пусть в зоопарке сидят вместе с Бокассой.

Лидка малярию подхватила. Как затрясло ее! А у Витьки понос начался. Прививали, прививали нас в районной поликлинике, кололи, в рот что-то пихали, ничего не помогло. В госпитале французском определили: У ребенка — дизентерия, у жены — малярия.

Хорошо еще не желтая лихорадка! За два года до нас двое русаков тиф получили. Другие с трофическими язвами на родину вернулись, а одна женщина, врачаха, так вообще — слоновость заработала. Это когда ноги толще чем у слона делаются. Паразит в крови живет. И убить его нельзя. Ко мне вот, ничего не пристало. Ни чума, ни холера. А Лидка расквасилась. Разнылась. — Не могу, — кричит. — Пропади все пропадом! Хочу в Москву! И Витеньку с собой возьму. Мальчик с толчка не слезает. Пришлось домой отправлять. Когда прощались, подумал: Может, последний раз ее вижу?

От этой мысли я не расстроился, а наоборот, даже разве-селился. Домой пришел, выпил пивка холодного и спать лёг. А перед сном размечтался. Вот, думаю, брошу тут все, куплю карабин и подамся в Южную Африку, к расистам. Приду и скажу: Примите меня, господа, надсмотрщиком на алмазный рудник. Буду негритосов стеречь, чтобы они свое место знали и камни не тырили. По-русски умею, французский хорошо, английский так себе. Алкоголь употребляю умеренно.

Лидка ко мне больше не приезжала. Так без семьи и жил в загранке. По сыну скучал, а Лидка — что от нее толку? Пролетело времечко наше. На какой помойке прошлое отдыхает?

Говорил мне шеф наш, Тришкин: Не приветствуется... когда без жены. Сверху указание дано. Ты, Кривошеин, не мальчик уже, правило знаешь — облажаешься, в двадцать четыре часа на родину. И под суд. Присмотри себе кого из персонала посольства. Там вроде вакансия открылась. Валя-бухгалтерша. Хоть и стара севрюга, но советская. Инструкцию помнишь? С австралопитеками — никаких близких контактов!

Как же мне хотелось ему тогда в рожу плюнуть! Прямо в пасть, из которой водкой и чесноком несло как дерьмом из унитаза. Вы бы послушали, что он нам на партийных собраниях выдавал! Каким верным интернационалистом-ленинцем представлялся. Я сдержался, не плюнул. Всю жизнь сдерживался.

И с Валькой этой я был знаком. Я бы на нее и срать не сел. Задрипа. Морда в прыщах, голос визгливый и у половины колонии в рот брала. Ничего, думал, как-нибудь продержусь без бабы. Не впервой. Когда служил на точке под Минском, девушек три года не видел. Ну и что? Вся часть дровичла. Прямо на дежурстве. Дело молодое. Был у меня большой шёлковый платок с вышивкой. Медвежонок на пне. Бабуля подарила. Так вот этот медвежонок на себя больше струхнул принял, чем жена французского посла. Я платок не стирал. Сушил только в каптёрке. Вонял он странно. Мертвечиной какой-то и мудами.

...

Жили мы в столице. Банги. Дыра!

Аборигены в цветастых рубашках ходят, мослами играют. Купила мне Лидка такую рубаху. Надел разок. Расхаживал под пальмами как павлин. Улыбался, идиот черепаховый. А вечером — бобо. Начала с меня шкура слезать. Простоквашей лечился. Химия в этих рубашках адская. Неграм все равно — у них кожа как у гиппопотама. А белый человек коростой покрывается.

Река там — Убанги. Жёлтая. Наши острили — сидим в банке на реке Ебанке... Жили на вилле. То ли французы, то ли португальцы для своих построили. На три семьи. С видом на речку. На той стороне — Конго. Там вообще война. Кто красный, кто белый — не разберешь. Повстанцы, блин! Национально-освободительное движение! Кто, кого, от чего освобождает? А к нам река отрубленные головы выбрасывала. Крыся одну голову подобрал, в полицию не понес, высушил. Назвал голову — Патрисом. Лумумба вроде. Показывал своим по пьянке, открывал голове рот и говорил: Патрис, покажи товарищам зубки! Мы смеялись, хотя и коробило.

До работы идти — пятнадцать минут. Прогуливались. Негры перед тобой спину не гнут, но уважают. Ты преподаватель. А на родине ты не человек даже, а младший научный сотрудник.

ник, мнс. Грязь на подошвах. Французы ребята нормальные. А португальцы — те как индюки. И ножи с собой носят. С Бокассой надо было вести себя осторожно. Из его кортежа могли выстрелить. Просто так! Не верите? Жаба, пидор, кортеж императора на казенном пежо обогнал. Бокасса увидел и обозлился. Послал двух мотоциклистов его догонять. Догнали Жабу, остановили, во дворец отвезли, козью морду сделали. Вообще-то негры белого боятся бить. Застрелить — это могут. А руками — робеют. Выучили их французы. Целыми деревнями сжигали, когда тут восстание было. Консул ездил Жабу выручать.

Преподавал я математику. На первом курсе. Алгебра, пределы, производная... Графики строили простенькие. Анализ. Негритосы учились прилежно, не то, что наши. Записывали. Даже домашние задания делали. Только образования им не хватало. Зато дисциплина — во была! В каждой аудитории за последним столом надсмотрщик сидел. Если кто шумел, мог ударить, или, еще хуже, — на императорский шашлык записать. Работать было легко. В день — две пары. Изредка три. А потом что? В — буру играть надоело. Деньги тратить жалко. Платили нам хорошо. ООН — не Московский университет. Но две трети у нас сразу отбирали. Тришкину сдавали. Добровольно. На остаток — не разгуляешься. А что без денег делать-то?

Пили беспросветно... Рыбачили. Зверья тут полно. А мы не охотились. За это нас могли из Африки в два счёта вышвырнуть. Свои же, посольские. Сафари — только для начальства. Им можно. Сынок Подгорного тут бывал, антилоп завалил — целое стадо. Старожилы рассказывали, маршал Гречко приезжал с целой армией. Но не ради носорогов. Этого рыхлого дядю больше плотские утехи интересовали. Бокасса, говорят, ему девственниц со всей страны собирал...

А у нас одно развлечение было — «танцы». Негритоса какого-нибудь зазывали и ему стакан наливали. Через пять минут начиналась потеха. Негр выпьет, зубы скалить начнет, запоем что-нибудь. Потом сядет на пол. А затем, когда водка его проймет, он на полу «танцует». Ноги вверх выкидывает, руками загребает, а рожей в пыль уткнется и как рыба воздух губами хватает. В умат! А мы вокруг сидим, смотрим.

В конце «танца» негрила дергался, задыхался, пену пускал. По полу катался как сумасшедший. Потом головой об стену бился. Драма, прямо. Наши говорили: Во, Отелло, пошел рубить.

Тут у нас происходило соревнование. Кто босой ногой негриле по моське удачней смажет. Я не бил, а другие баловались. Чемпионом у нас Черкашин был. Техника у него была особенная. Он себя последователем Бруса Ли называл. Наш Брус Ли стоял на одной ноге возле негра, а другой ногой аккуратно так работал. Бил точно — большим пальцем в губы или в ноздрю. Попав, отмечал удовлетворенно: Ну, пиздато! Пиздато по брыдлу гунявому попасть. Ах, яйца!

Этот Черкашин и втравил меня в то дело. В лес, говорил, поедем. Парочку ушастых пигмеев добудем. Соревнование устроим. Скальп домой привезешь. Или череп! Из мошонки кошелек сшить можно... Сафари будет! Пиздато! На любого зверя разрешение покупать надо, а пигмеев можно, как кошек, бесплатно убивать. Властями не преследуется. Их тут и за людей не считают. Яйца!

Почему я согласился, не знаю. Со скуки. Думал — пошлют ребята и бросят. Ну, какие мы охотники за черепами? Никто раньше срока в Союз возвращаться не хочет. Деньги все давно рассчитаны. Драпать некуда — вокруг Африка. Дома у всех заложники. Поездим, походим, может, антилопу какую нелегально подстрелим, или кабана, шашлык сделаем. А пигмеи, если не дураки, смоются.

Подготовились мы хорошо. Даже ружья где-то достали. Тут на черном рынке не только ружье, гранатомет купить можно. Женам ребята сказали — на рыбалку едем, к водопадам. Утречком выехали. Вел машину Никулин. Рядом с ним сидел Черкашин. А сзади я и два дружка закадычные — Крысы и Жаба.

Вначале дорога была ничего, асфальт и грунтовка. Ехали и песни горланили. «Солнечный круг», «Чунга-Чанга», «Оранжевое небо». В Москве слушать всю эту муру противно. А в Африке — сами пели. Что еще-то петь? Интернационал?

По дороге жирафов видели. Красивые звери. Черкашин хотел прямо из джипа по ним из ружья долбануть. Отговорили. Жалко животных. Да и куда их потом девать?

Речку на пароме переехали. Потом ударились в лес, медленно-медленно поперли. Вроде как по просеке. Хорошо январь был — сухо. А в дожди тут и на танке не проедешь. Часов шесть маялись. Сами не знали, куда забрались. Может и в Конго. Устали. Решили лагерь разбить. Нашли что-то вроде поляны. Расчистили слегка. Поставили машину у огромного баобаба, в тени. Натянули маленькие палатки. Костер развели. Никулин пень здоровенный притаранил. С боку его запалил, чтобы горело долго. Сели вокруг огня на раскладные стулья. Чаек заварили. Закурили. Тут и за вечерело. Небо было еще светлое, оранжево-серое. А внизу, под кронами — темно. Лес свистел, стрекотал, рычал... Концерт, прямо.

Крыся сказал: Я уже год в Больших Бангах, а в настоящем тропическом лесу — впервые. Жутко тут, ребята, а? Как бы лев какой не притащился. Рычит кто-то в чаще.

Опытный Никулин попытался его успокоить: Ты не ссы, Крыся, в компот, там ягоды! Львов тут нет, они в саванне. Леопарды есть, но они человека боятся. Осторожные твари. Да и сытые они. Пигмеи тут без ружей живут. Никогда не слышал, что пигмея леопард загрыз.

Жаба заметил: Пигмеи их отравленными стрелами... Из трубочки — пух. И леопарддохнет в страшных мучениях. А пигмеи его давай — резать и в кашу.

— Ну, что ты несёшь, Жабенция, пигмеи кашу из слонов и крокодилов лопают! Ну иногда, для разнообразия, мясо бегемота добавляют. И попугаев маринованных на закуску...

— А я слышал, пигмеи жирафью печень сырую жрут. Чтобы хоть немножко вырасти. Гааа!

Черкашин проговорил металлическим тоном: Кончай бужить, братва! Придёт леопард, а мы его по морде чайником!

А потом сладко, голосом доктора Айболита добавил: Завтра начнем охоту. Поищем в чаще маленьких ушастых обезьянок. Угостим их свинцовыми орешками и потянем за уши. Пиздато будет! Яйца.

Сделал каратистскую стойку и наш тяжеленный закопчённый чайник поднял на вытянутой руке. Крякнул воинственно.

Я сказал: Мужики, вы что это... Всерьез? Пигмеев убивать хотите?

Жаба откликнулся: Лёничка зассал. Нет, убивать не будем... Только за лапки подергаем. А ты с Крысей тут в лагере останешься. Провиантом займешься. А мы тебе вечерком пигмейскую головку принесем. На пояс повесишь. От сглаза помогает. Лидке в Москве подаришь, Швейцера хренов!

Крыся заартачился: Не хочу я с Кривошеиным тут сидеть и голов ихних мне не надо, Патрис ревновать будет. А вот на пигмеек посмотреть желаю. Говорят, они ладненькие и податливые. Белых боятся и сейчас же раком становятся...

— Что тебе, Иветты мало, что ли... Не баба, а бык, только с выменем...

— Не понимаешь ты, Жаба, жизни... Я с Иветтой уже десять лет живу. Она женщина значительная, но... Однообразие заколебало. Иветта большая, на ней лежишь, а чтобы лицо увидеть, в бинокль глядеть надо. А пигмеечки маленькие, как детки...

— Свежего мясца тебе захотелось, Крыся, обращайся к Бокассе... Он на это дело мастер.

— Тьфу на тебя, я же не есть хочу, а пощупать... Может быть и целочку найду...

— Вот ты целки и ищи, а мне поохотиться хотца. Чтобы как в кино. Сафари. Уу-аа-уу!!

Жаба поднял руки и изобразил Тарзана.

— А как насчет отравленных стрел, пух... И так далее. Сам сказал «подохнут в страшных мучениях».

Никулин проговорил авторитетно: Стрелы опасность серьезная. Если мужиков-пигмеев заметим, сразу замочим. Чтобы не мешали. Головы отрежем и с собой возьмем. На сувениры. В муравейник положим. Мураши за три дня очистят. Потом можно отполировать и лаком покрыть. А с девками играем вначале...

Я не удержался: А детей, что, живьем засолите, что ли?

— Ты че, Леня, разволновался? У тебя кровяное давление не поднялось? Пигмеи не люди, пойми это, наконец. Обезьяны они. Ты, когда в музее чучело гориллы осматриваешь, что, тоже, рыдать начинаешь? А насчет — засолим, идея не нова. Я такое в Африке уже видел. На рынке продавали — в пятилитровках, то ли засоленных, то ли замаринованных, то ли в формалине. От семимесячных недоносков лет до двух были дети. Негры, естественно...

— Если бы твоего Митьку кто засолил, ты бы так не разлагольствовал...

— Знаешь что, Кривошеин, ты лучше помолчи... Не порти нам охоту. А то договоришься, Швейцер! Говорил я тебе, Брус, не надо Кривошеина с собой тащить! Неврастеник он. К совести будет взывать, душу травить!

Черкашин отозвался, зевая: Не гони пургу, Жаба. У тебя души давно нет. Ты её в карты проиграл. Кривошеин не дятел. Сказано — сделано. Будет Сафари. Добудем скальпы. Все будет пиздато. Яйца.

Тут все к ночлегу готовиться стали. Никулин остался у костра дежурить. Ружье положил на колени. Раскурил трубку. Через три часа его должен был сменить Черкашин, потом заступал я, за мной Жаба и Крыся. Напоследок Никулин сказал Крысе многозначительно: Кто не умеет или боится, стрелять — только в воздух. Я через двадцать секунд буду тут.

Крыся промямлил: За двадцать секунд лев меня не только съест успеет, но и косточки обсосать!

— Опять ты за своё! Не будет тебя, Крысуля, лев жрать. Не жрёт он грызунов!

— А блондинистых лягушек ыз Кыива он жрёт?

Ночью Черкашин разбудил меня. Я долго не мог понять, где я. Думал, — дома, в тещиной квартире на Теплом Стане. Туалет искал. Насилу в себя пришел. И вот, сижу я, в костер смотрю. А в костре картины... То город огненный покажется, то цыганка затанцует. Как от огня глаза отведу, так взгляд поневоле в черный лес устремляется. А там тени мелькают. Огоньки. Или желтые глаза зверя хищного? Взял меня мандраж. Положил я ружье на колени. Снял предохранитель. И заснул.



И снится мне, что я иду в Москве! Где-то около Коньково. Все как положено, слева лес, справа новостройки. Ищу мой дом — девятиэтажку брежневскую. Плутаю, плутаю. Вдруг вижу — сидят на лавочке люди. Подхожу поближе. Это мои африканские приятели сидят — Черкашин, Крыся, Жаба и Никулин. На глазах у них почему-то повязки. Левой рукой каждый ребенка держит. А в правых у всех — конторские ножницы. И этими ножницами они детям пальчики и ручки стригут. Дети бьются, кровь течет. Неловкий Жаба попал ребенку концом ножниц в глаз и режет, режет...

Подбегаю я к ним. Хочу ножницы отобрать и детей отпустить. А они — повязки с глаз сняли, на меня смотрят и гогочут. Показывают мне детей — а это не дети, а картонки для вырезания... Белочка, собачка... И крови больше нет. Вот, морок!

Говорит мне Черкашин: Ну, что Леня, пора на охоту! Заждались нас зверята ушастые.

А Жаба заухал по-совиному: КОАПП! КОАПП!

Никулин провозгласил голосом артиста Погоржельского: Начинаем заседание КОАППА! Сегодня на повестке дня: Красный болотный козел, гигантский лесной кабан, желтоспинный дуйкер, хартбист Лолвелла, белый носорог, эланд лорда Дерби, бонго, синг-синг, бородавочник, бабуин светло-желтый и пигмей лесной обыкновенный... Стрелять рекомендуется в район сердца, чтобы не повредить трофею голову. Цены в таксидермических мастерских растут постоянно... Самым ценным для охотника является наличие у трофея густой гривы.

Я спросил: Здесь что ли, в Москве, охотиться будем? Вон там — Беляево, а здесь — Теплый Стан. Даже шпиль университета видно. Какая тут охота?

А мне отвечают: Ты посмотри вокруг себя повнимательнее! Осмотрелся я, действительно, джунгли везде. Лес дремучий. Лианы висят. Макаки прыгают. Белый носорог пробежал. Мухи Цеце летают. Тяжело пробирается сквозь джунгли израненный работороговцами пятнадцатилетний капитан.

Пошли мы пигмеев искать. В руках у нас ружья. На головах — ковбойские шляпы. На ногах мокасины. Вдруг Никулин останавливается и рукой показывает — замрите, мол! Мы за-

мираем. Видим — впереди речка. Ручеек. А в нем пигмеи копошатся. Рыбу ловят в запруде. Прямо так, руками ловят. Женщины и дети. Голенькие все.

Тут бросил Крыся свое ружье на землю и как лев с места речку прыгнул. Приземлился ловко. Руки растопырил. Схватил какую-то пигмейку. И на ее хватать и к себе прижимать. И другие тоже ружья побросали, разделись и к пигмеям попрыгали. Плещутся, играют. А я на берегу сел. По-турецки.

Сижу и думаю — что будет, если пигмеи-мужчины сейчас с охоты придут? У них же отравленные стрелы... И тут же, как из под земли, появляются шестеро пигмеев. Они идут тихо, легко, цепочкой, и у каждого в руках — трубочка. Смотрят в землю. Поднимаю я ружье, прицеливаюсь в первого и стреляю. Он падает как металлическая мишень в тире. А я кладу остальных, одного за другим.

...

Тут я проснулся. Светло уже. Тихо в лагере. Спят, что ли, еще? Отдернул полог у Никулинской палатки. Заглянул. Нет Никулина. Только трубка холодная на полу лежит. Где же он? Заглянул к Жабе — и его нет. И остальных тоже. Пустые палатки. Начал звать. Заорал как бешеный. Из лесу эхо ответило. Или завыл кто? Может, они на охоту без меня ушли? Без ружей? Вот они все, тут, в железном ящике. Встали и в лес поперли? Чтобы надо мной посмеяться? Может, их звери дикие растерзали? Или повстанцы похитили? Или нас всех, пока мы спали, пигмеи отравленными стрелами отделили? Тогда и меня бы убили. Тут мне страшная мысль в голову пришла — может быть, мертвый я? И все, что перед собой вижу — это загробный мир? Смерть всегда рядом со мной стояла. Как холодный каменный истукан. Холодом этим часто на меня веяло. А тут, вдруг, самое нутро мое страх заморозил.

Тут я змею увидел. Кольцом свилась. На чем это она лежит? На рубашке на Крысиной. Иветта ему неделю назад купила. С муравьедами рубашка. Смеялись все. Говорили — тебе с крысами лучше бы подошла. А сейчас на ней кобра устроилась. Голову подняла, и раскачивается. Полосатая. Чешуя металлом

отливает. Прямо в глаза смотрит. Гипнотизирует. Знаем, читали. Приподнял я медленно ружье, прицелился в капюшон и сданул. Не знаю, что за патрон был в ружье. На слона зарядил Никулин? Ни змеи, ни рубашки не нашел. Как сдуло.

Стал опять орать, друзей звать. Без толку. В лес идти не хотелось. Темно там. Змеи. Пошёл по просеке. Помнил, метрах в четырехстах от лагеря переезжали мы речушку маленькую. Вода даже до полколеса не доставала. Решил до речки дойти, умыться. Шёл, шел... Нет речушки. Что за напасть? Назад потащился. У нашего баобаба меня сюрприз ждал. Не было на поляне ни джипа, ни палаток, ни железного ящика с оружием! Даже уголки от палаток, в землю как колышки вбитые, исчезли.

От этой новой пропажи я не отчаялся, а наоборот — стало мне почему-то легко-легко, как будто вес потерял или ответственность с меня сняли. За жизнь, за тело. И на душе прояснилось, как в небе после грозы. Ни страха, ни беспокойства, ни надежды...

Впал я в иступление, начал дурить. Вокруг баобаба обегал раз двести. Кружился и трясся как хлысты-трясуны. До головокружения и икоты. Прыгал, визжал, пел. Потом замер как ящерица и долго на лес глядел. В темноту всматривался. Может, кто оттуда выйдет? Размышлял о божественном и земном. И вот к какому выводу пришел — зря люди всю жизнь стараются, из кожи вон лезут. Не смотрит никто на нас. И не слушает. Одни мы. Вспомнил я тут свою глупую жизнь и захохотал. Целый час смеялся. Потом долго на Солнце глядел. Сделал открытие — Солнце по небу не плывет, а торчит всегда на одном месте. Только днем оно — сверкающее блюдце, а ночью — черный котел.

К вечеру пить захотелось мучительно. Полез на баобаб, напился черной воды из дупла. Вода была кислая. Нашел место поудобное среди толстых ветвей, прилег. Свистело и стрекотало так, что уши закладывало. Ревели джунгли как ураган. Как лешие бегали по толстым веткам баобаба тени. Трещал огромный ствол. Тихо шуршали лапками бесчисленные муравьи. Земля беззвучно летела в пустоте. Мое сердце не билось.

## СИЛУШИ

Валялся я на пустынном пляже. Конец сентября. Тепло. Блаженство.

Вдруг вижу, бежит ко мне какая-то старая тетка, руками размахивает. Я закрыл глаза, потому что знал: блаженство закончится, как только она откроет рот. Так и было. Тетка поведала плачущим голосом, что сынок ее соседа по палатке полез на скалы, пролез метров пятьдесят вверх, там запаниковал и не может ни спуститься, ни подняться. Что под скалой бегает в истерике его отец и не знает, что делать. Пришлось вставать, надевать сандалии. Тетка привела меня к соседу. Это был мужичок лет сорока пяти. С бородкой. Я сказал ему: Поднимитесь на скалы слева, в обход, там полого. Ждите меня у обрыва!

И побегал в поселок к рыбакам за веревкой. Тяжело бегать по жаре. Километр туда, километр обратно. И вверх. Хорошо еще, рыбаки поверили сразу и дали канат. Канат весил не меньше пуда. Когда бежал назад, спрашивал себя: Подохну я сейчас или когда прибегу?

Прибежал. Не подох. Канат мы обвязали вокруг крепкого дерева и сбросили вниз. Через десять минут мальчишка был в безопасности. А я познакомился с его отцом, Толей Киреевым.

Человек Толя был простой, советский. Закончил девять классов, отслужил, пошел работать на фабрику. Фабрика — коллектив. А в любом коллективе есть комсомольская организация. Толя умудрился до 22 лет не вступить в комсомол. Но тут его уговорили друзья. Для хохмы. Толя вступил. И искренне верил во всю пропагандистскую галиматью.

Шел 1969 год — год конфронтации СССР с Китаем. На фабрике проходило общее комсомольское собрание. На нем громили Мао Цзедуна и его культурную революцию, горячо

обсуждали — события на острове Даманском. Говорили комсомольцы, выступал и почетный гость собрания — секретарь фабричного парткома. Толя внимательно слушал, но не мог понять, в чем же состоит вина председателя Мао. Из путаных речей многочисленных ораторов понять было ничего нельзя. Что на самом деле хочет Мао? Что произошло на Даманском?

В конце собрания — голосование за принятие резолюции. Секретарь парткома спрашивает — кто за? Все за. Кто воздержался — никого. Кто против? Толя поднимает руку. В зале тишина. Секретарь в недоумении. Спрашивает у своих: Это кто такой?

Те отвечают: Это слесарь Киреев, мы его недавно в комсомол приняли. Наивняк жуткий.

Секретарь парткома обратился к Толе: Товарищ Киреев, вам, может быть, что-нибудь неясно? Вы обратитесь, мы поясним.

Толя отвечает: Нам говорили, что Мао — друг СССР, герой, спаситель Китая, мы пели песню «Алеет Восток». А теперь, выходит, Мао плохой. Тут все выступают, агитируют, а в чем Китай виноват, непонятно.

Секретарь парткома такой атаки не ожидал. Сорвался и начал орать: Да ты что, против постановлений партии? Ты — хунвейбин, Киреев! Убирайся в свой засранный Китай, если он тебе так нравится.

Все последующее — из области советского сюрреализма. Секретарь орал еще несколько минут, обещал «прижучить маоистов на фабрике» и ушел. Рабочие смеялись, они были довольны скандалом на скучном и длинном собрании. Резолюцию приняли и куда-то отослали, где ее положили в стол и забыли о ее существовании. Все бы кончилось полюбовно, если бы не характер Толи. Он все понимал прямо и честно. Оскорбления секретаря парткома он воспринял как реальное указание уехать в Китай. Написал заявление в китайское посольство в Москве с просьбой о въездной визе. В заявлении он написал, что уважает председателя Мао и не понимает претензий к нему со стороны СССР.

Письмо Толи конечно до посольства не дошло, а прямоком отправилось на Лубянку. Толю вызвали на допрос. И начали шить ему дело — шпионаж в пользу Китая. И осудили. И посадили. Судья догадался, в чем дело, и не захотел губить наивную душу. Толе дали «только» пять лет. И отослали в Мордовию, где было много политических и религиозников.

Он отсидел срок со смирением и вышел из тюрьмы не уголовником, а баптистским проповедником.

...

Однажды звонит мне Толя и говорит: В деревне Силуши стоит старая деревянная церковь, приезжай, нужна помощь.

Я поехал. Сам не знаю почему. Плевать мне было на Силуши. И ехать было далеко — полтора часа на метро и еще двадцать минут на пригородном автобусе. Но я поехал. Иногда делаешь не то, что хочешь, не то, что надо, а просто черт знает что.

Силушевская церковь была похожа на большой старый деревянный сарай, увенчанный полупровалившейся луковкой без креста. Стояла она в заброшенном углу «малого кладбища» с полкилометра длиной. Ее окружали старые могилы и непроходимый кустарник. Невдалеке протекал канал имени Москвы. На огромном, заросшем бурьяном, поле между церковью и каналом закапывали в сталинские времена умерших на постройке канала заключенных. Местные жители говорили мне, что — там зарыли сотни тысяч человек, кости лежат всюду, прямо под травой. В десяти минутах ходьбы от церкви располагалось — «большое кладбище», в три километра длиной и в полтора шириной. А за ним простиралась, уже совершенно непредставимых размеров свалка. Чудное место!

Познакомился с отцом Ермилием и матушкой Фотиньей. Это были, описанные Гоголем, «старосветские помещики». Отец Ермилий носил совершенно невозможную козлиную бородку. Это был маленький, рыхлый мужчина с детскими ручками и подслеповатыми глазами. Матушка Фотинья, напротив, была дородная, нескладная. Великанша. Она убирала, готовила, всеми командовала, даже руководила церковным хо-

ром, не зная толком нотной грамоты. Наивность и доброта этой парочки не имели пределов. Их обманывали — они всех благословляли и любили, отдавали другим все, что могли отдать. Особенно они любили детей, сами они были бездетны. Когда матушка узнавала, что кто-то их обманул, она плакала, а батюшка уходил в алтарь молиться. Там он ругался на обманщика, а потом укорял себя, каялся перед Богом и молился за обидчика. Мне отец Ермилий, посмотрев на несколько написанных мною икон, сказал: В ваших красках, Вадим, много чувственности, а в иконе нужен духовный колорит. Учитесь, смиряйте сердце.

А матушка добавила: Приезжайте к нам в гости, мы вас супом накормим.

Суп этот матушкин, известный впоследствии многим прихожанам был чем-то чудовищным, малосъедобным. В нем плавали недоваренные грибы, лук, гречневая каша, соленые огурцы, квашенная капуста, картошка и еще что-то мне неизвестное. Как было не помочь таким людям. Я пожертвовал в церковь мою лучшую икону. Таскал бревна, выбрасывал мусор, клал кирпич. А на следующий день приехал опять — строить вместе с Толей совершенно необходимый туалет. И еще через день — его достраивать. Через две недели отец Ермилий заплатил мне 100 рублей. Следующие полтора года, вплоть до моего отъезда из России я помогал в Силушевской церкви. Убирал снег, пилил дрова, топил печь, прислуживал в алтаре, пел в хоре, добывал кирпичи. Иногда мне платили, а иногда и нет. Я не обижался. Мой внутренний мир был настолько абсурден, что некоторая странность мира внешнего только помогала. Судьба бьет не так больно, если ты готов подставлять ей шею. При этом я даже не был православным человеком. Шут знает, кем я был — читал тогда с упоением кришнаитские толкования Бхагавадгиты. Даже молился и приносил жертвы Кришне в неофициальном — храме в частной квартире недалеко от Черемушкинского рынка.

...

Было это поздней осенью, в первую внезапно налетевшую метель. Весь день мы с Толей работали в церкви — на-

стилали полы. Работа это очень приятная, как и почти все работы с деревом. Длиннющие плоские доски нужно было опиливать по размеру и прибивать гвоздями к поперечным бревнам, уложенным на невысоких кирпичных постаментах. Доски были хороши, примыкали друг к другу как приклеенные. Результат труда был перед нами. Еще вчера у церкви не было пола, а теперь — по церкви можно было ходить. И смолой пахло приятно.

Нам никто не мешал, мы не заметили, как прошел день и наступил вечер. Часов в десять мы поняли, что устали. Решили отдохнуть четверть часа и разъезжаться по домам.

Сели на доски. Молчали. Слушали завывание метели с улицы и кряхтенье старого здания. Стены работали, бревна потрескивали. Слышны были и какие-то странные шаги.

Я сказал: Толя, ты слышишь, вроде ходит кто-то. Мыши что ли?

— Слышу. Кто-то ходит.

Мы прислушались. Раздался звук — как будто кто-то, обходя снаружи церковь, царапал палочкой по стене. И опять — шаги.

— Кто здесь? — нервозно спросил Толя.

Нет ответа. Кто-то ходил в алтаре. Ходил легко, не как человек. В алтаре еще не было пола, значит ходили по земле. Мы зажгли пару церковных свечей и пошли посмотреть. Подошли к алтарю. В темноте разглядели два уставившихся на нас зеленых глаза. Кот! Мы обрадовались. Кот, даже черный, не черт и не человек, кот мышей ловит...

Потом Толя ушел, а я остался. Его автобус должен был подойти через пять минут, а мой — только через полчаса. Не хотелось стоять в темноте на дороге. И вот я в церкви один. Вспомнился вовсе не к месту — гоголевский Вий. У стен и по всем углам темно. В темноте кто-то копошится, стонет. Кот бегаёт по алтарю. Стены трещат, метель воеет. А может и не метель, а волки. В десяти километрах от Москвы? Кто его знает. Россия — глушь, исконная мать-земля, мировой пустырь. Тут и черти и ведьмы и волки и кое-кто похуже может встре-



тяться. Может быть, мертвец с кладбища притащился? Или души убитых зеков по окрестностям рыщут, ищут Усатого, чтобы раздробить его кости?

Стал собираться. Переоделся. Потушил лампочку. Спокойно вышел на улицу, повернулся к двери лицом и стал ее запирать — на несколько замков. Возился с ключами, а спиной чувствовал чей-то взгляд. Запер наконец. Не спеша повернулся. И замер. Что я увидел? Сначала — только метель, деревья, кресты и надгробья, полузанесенные снегом. В десяти метрах от церкви стояла игрушечная колокольня, полуметровый треснутый колокол висел на перекладине под небольшой крышей. Под колоколом стояла темная крылатая фигура. Демон!

Стоял без движения и смотрел на меня. Черный, большой. Метель мела как развивающийся саван.

Я смотрел ему в лицо. В пустоту. И видел в ней самого себя. Видел тысячи живущих во мне злых духов. Все они показали мне свои гадкие личины.

Через несколько минут демон повернулся ко мне спиной и пошел в сторону канала. Огромные черные крылья скребли по снегу, бились о ветки кустарника. Он шел не оборачиваясь, странно подсакивая, как хромая птица. Как будто хотел взлететь, но не мог. И скоро пропал в белесой тьме.

А я пошел к остановке. Рассказывал потом жене и друзьям, что видел демона на кладбище, но мне никто не верил. Смеялись, шутили. А батюшке ничего не сказал — подумает еще, что я псих. Через несколько дней я узнал, что в тот вечер в близлежащем селе произошло убийство. Несколько мужиков перепились, устроили драку с поножовщиной. Одного — смертельно ранили. Убийца в иступлении убежал. Милиция искала его, но не могла найти. Он хромал, носил длинное черное пальто. Его взяли через неделю в пивной где-то в Химках.

...

Однажды отца Ермилия пригласили причастить и соборовать умирающую старушку в деревне. Я пошел с ним.

Вошли в дом. Прошли тесные грязные сени, вошли в горницу. Телевизор, диван, пара стульев. А оттуда в спальню. Тут кровать, перины, какие-то тумбочки. Фотографии родственников на стенах. Несколько бумажных иконок в углу. Лампадки.

Знаете, чем пахнет русский деревенский дом? Какой-то невыносимой тухлятиной. А в спальне к этому примешивались запахи лекарств, горящих свечей и ладана. Умирающая хрипит. Вокруг нее сидят женщины в платках. Прочитают.

Отец Ермилий чувствовал себя в такой обстановке как рыба в воде — облачился, подошел к больной, поговорил с ней ласково, разложил на столике свою амуницию, начал читать молитвы. Принимала нас дочь старушки — сама уже немолодая, лет может 60 или чуть поменьше. Деревенские русские женщины рано стареют, жизнь у них собачья, за собой они не следят...

Эта дочь отвела меня на кухню. Посадила за стол, покрытый клетчатой синей клеенкой. За столом уже сидело несколько мужчин. Мне налили полстакана водки. Не пить нельзя, обида. Выпили. Закусили вареной картошкой, черным хлебом, луком и солеными огурцами.

— Подождь парень, — сказал мне дед, муж умирающей старушки. — Сенька-внук сейчас придет, принесет раков. Тогда закусим.

И налил мне еще полстакана. Я выпил. Стало легко. Воница перестала мучить. Мужики были ко мне дружелюбны. Это было приятно, обычно русские люди инстинктивно чувствовали во мне чужака, бывали замкнуты или агрессивны. Разговор шел о рынке, на котором Сенька продавал кроличье мясо. Толковали о ценах, о других продавцах, о ментах, которые «хуже жидов». Я молчал и слушал — мне редко удавалось послушать что советский народ говорит. Жизнь в Москве была жизнью на острове. Настоящая Россия начиналась за окружной дорогой.

Пришел Сенька с раками. Раков пустили «купаться» в ванную. На газовую плиту поставили огромную зеленую каст-

рюлю с водой. Раков полагалось варить живьем и тут же есть. Сенька был уже пьян — отмечал продажу кроликов. Его попросили рассказать, как было на рынке.

— Пришел я, значить, к обеду, чтобы эпидемстанция не приебалась, — рассказывал Сенька. — Разложил товар. Вначале никто кроликов не брал. Я уж думал домой ехать. Потом стали покупать. Один жид лысый подошел. Купил. Потом другой, старый жид с жидовкой подошел. Третий жид, молодой, трех кроликов купил! И потом — одна жидня покупала! Одна жидня! — всхлипывал Сенька, как будто сообщал очень печальную новость.

Тем временем, батюшка закончил соборование и присел за стол. Помолился. Благословил еду. Выпил немного водки.

Стали ловить в ванне раков. Их было жалко. Несколько раков бросили в круто кипящую воду. Там они стали красивыми — покраснели.

Выпили еще. Раков я есть не умел — мяса в них мало, есть надо было руками, а я этого не люблю. Батюшка тоже не ел — по странным соображениям, приводить которые мне не хочется. Надо было бы уйти, но мы не хотели огорчать хозяев. Выпили еще, и тут Сенька потерял голову, осатанел.

— Братцы! — заорал он. Потом, посмотрев на отца Ермилия, добавил: Извините, батюшка. Братцы! Я буду раков живыми есть. Как японцы — едри их мать. Спорим что буду?

Кто-то попытался его урезонить. Но он слушать ничего не хотел и отправился нетвердой походкой в ванную комнату — к ракам.

— Ах, едри его, кусается! — слышалось из ванной. Потом Сенька появился в кухне. В руках он держал большого черного рака, который вяло шевелил клешнями и пускал пузыри.

— Тарелку мне большую! — орал Сенька. Тарелку ему поставили.

— И водки налейте!

Налили. Сенька выпил для храбрости и попытался оторвать раку клешню. Это у него не вышло, рак ухитрился за-

щемить Сеньке палец. Сдавил до крови. Сенька резко отдернул руку — рак упал на пол и неожиданно проворно уполз под шкаф. Оттуда его доставали шваброй. Вымыли в умывальнике и бросили в наказание в кипящую воду. Сенька сосал раненый палец и выл. Потом принес другого рака, оторвал ему клешню. Положил раненого рака в тарелку, из которой тот сейчас же выполз на стол. Его стали ловить. Разбили чашку. Уронили на пол вилку. Сенька разгрыз клешню, добрался до сырого мяса. Начал, демонстративно причмокивая, обсасывать.

— Господи Иисусе! — закричала, вошедшая в кухню дочь старушки. — Сенька, сынок Что ты делаешь? Фу, гадость какая! Постеснялся бы отца святого!

Мы с батюшкой покинули квартиру. А умирающая не умерла. Приходила с дедом на службу и спокойно выстаивала длиннейшие литургии отца Ермилия.

...

Толю Киреева убили в конце перестройки хулиганы. Отец Ермилий и матушка Фотинья умерли в середине девяностых. Сенька стал позже депутатом Государственной Думы.

## УТКОНОС

— Ты что это читаешь? Запрещенную литературу? — спросил, ухмыляясь, профессор Чесноков своего зятя, московского пижона Мишу.

— Это Библия, Иван Сысоевич, — отозвался зять. — В Иерусалиме немцы для наших издали. Родители прислали. Пропустила, почему-то, таможня...

Чесноков взял в руки черную, без опознавательных знаков на приятной ребристой обложке, книгу, полистал крупными пальцами ее неестественно белые, полупрозрачные странички, прочитал несколько строк: Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы... И будут повержены трупы людей, как навоз на поле...

Заявил беспардонно: Ну и дерьмо... Как ты эту ахинею читать можешь? Естественник... Все вы тут гнилые... Москвичи...

Потом открыл лежащую на Мишином письменном столе зеленую папку, вынул из нее листок и воткнулся глазами в первую попавшуюся строчку. Ослабился и задекламирровал.

— Идущая на костяных ходулях тигровая акула догнала поселенца и проткнула его гигантской вязальной спицей... Тысячи человек карабкались по скалам... Достигнув вершины, кланялись пузырячатой жабе в золотой короне и прыгали в раскаленное жерло... Ну и бред! Или вот еще. Из огромного разбитого яйца торчала арфа, на струнах которой сидел полтораметровый паук. Заводные белки водили хоровод вокруг дерева познания добра и зла, на котором металлический дятел долбил длинным клювом мертвую распятую обезьяну. Полуженщины-полурыбы, поблескивая стальной чешуей, кидали в бородатый котел морских ежей... Котел вращал огромными рубиновыми глазами, на веках которых сидели синекрылые стрекозы. Из прорехи в обожженной заднице мага

сыпались позолоченные птицы... Ты для того аспирантуру бросил, чтобы эту галиматью писать, кастрюля бородатая? На это и бумагу жалко...

— Провинциальная дубина! Когда-нибудь попадешь в клешню! — подумал зять профессора. Тяжело выдохнул и ушел в кухню.

Каждый приезд папаша жены был для Миши тяжелым испытанием. Выгнать тестя он не мог — жалел жену, физически неспособную на разрыв с отцом. И бесился.

Профессор приезжал часто. Заходил к военным заказчикам, обегал нужных людей в министерстве, отоваривался в центральных магазинах... Подолгу торчал дома.

О литературе в такие дни можно было больше не думать. Чесноков требовал внимания и заботы, был вездесущ... Заполнял маленькую квартиру своим горячим телом, включал телевизор, давал советы, о которых его никто не просил. Громко разглагольствовал. Особенно любил обличать московское население. Всякий раз издевался над Мишиными потугами писать сюрреалистические романы. Поучал, поучал... Мише казалось, что от тестя исходят волны какой-то особой, свойственной успешным советским людям, высокомерной тупости. Он даже пытался закрываться от них руками. Как его герои от летающих рыб...

...

— Москвичей надо расстрелять! Ожирели! Околеете без покаяния, пижоны-декаденты! — пророчествовал Чесноков, попивая кофе.

— И вашу дочку и еще не родившегося ребенка, тоже?

— Не выворачивай слова, московская штучка! Посуди сам — в нашей области картошку выращивают и собирают, потом грузят в пульмана и везут в Москву. Черноземную, рассыпчатую картошечку, не такую, как у вас тут на поганой глине родится... А у нас и людям и скоту есть нечего. Шоколадная фабрика вот тоже... Работает день и ночь. А нам на зубы ничего не попадает. Аленка, Мишка на севере. Не на севере Мишка, а в Москве. Мясокомбинатов в городе два и в области еще один. Знакомые видели, мяса полно. А в магазинах только се-

рые кости. И то не каждый день. Где, куда — в столицу все свезли. От жира не лопните? Сыра не было в городе с войны. В половине деревень ни чистой воды, ни электричества. Люди не знают, что такое помидор. Ни разу в жизни в туалет нормальный не ходили. Как звери в ямы серут... Парады, мавзолеи, академия наук у них, видите ли. А диссертации слабые ездите к нам в совет защищать, приспособились! Десять-двадцать тысяч расстрелять, остальным повадно не будет. Из пулеметов. Ту-ту-ту!

— Сами расстреливать будете? Или Сикуритату пригласите? Вы бы, Иван Сысоевич, письменно все изложили и в партком вашего института представили. Пусть почитают, что коммунист Чесноков думает. О чем мечтает. Трактат можете озаглавить — как нам обустроить Россию. С Мишками и без.

Галя шепнула на ухо мужу: Что ты лезешь на рожон? Он старый, воспитывать поздно! Заведется, весь вечер будет вещать... Потом ему с сердцем плохо станет...

— Если бы... Скорее мне...

...

Около восьми Галя позвала ужинать.

Профессор спросил нетерпеливо: Коньяк есть?

— Пап, тебе же Арискин не велел!

— Арискин сам пьет как лошадь! Когда Натальи Сидоровны рядом нет...

Галя тихо возразила: Лошади коньяк не пьют... У нас морс есть... Из крыжовенного варенья...

Профессор выпил три рюмки армянского коньку, припасенного Мишей для друзей. Шумно съел большую тарелку жареной картошки и полкастрюли тушеного мяса с грибами. Смачно сгрыз несколько соленых огурцов, которые сам привез в подарок дочери и зятю. Выпил два стакана кофе. Поковырял толстыми ногтями в огромных выступающих вперед зубах, встал из-за стола и ушел к телевизору.

Миша укоризненно посмотрел на жену. Галя начала оправдываться: Что я могу поделать? Не мучай меня! Он мой отец. И не самый худший, между прочим. Целый год деньги

высылал. Когда я маленькая была — ни разу на меня не крикнул. Это он на тебя так реагирует. Чувствует, что ты его презираешь...

— Про Библию сказал, что дерьмо. Черновик мой тут зачитывал... Подражание Дюкасу. Утконос чертов.

— Он деревенскую школу кончил. Рабфаковец. Работал как вол, всего своими руками добился. Мама до сих пор его статьи проверяет. Не читал ничего.

— Как вол... А ты, кстати, знаешь, кто такой вол? Это кастрированный бык. Если неграмотный, пусть не лезет. А то — дерьмо, расстрелять, картошка...

Тут в кухню вошел Чесноков. Дико посмотрел на дочь и зятя. Махнул в сердцах рукой. Налил себе рюмку, выпил и затрепал как Добчинский: Чрезвычайное положение! Ночью в Баку войска ввели! Генерал Лебедь командует. Запрыгают теперь азербайджанцы на раскаленной сковородке! Это ж надо — границу с Ираном раскурочили, полосы ногами затоптали, наших погранцов в шею... Обрадовались свободе, муслимы-пескари... Ну, мы вам всем шучью морду покажем... Пора пример подать. Кавказцы разболтались... Расстрелять тысячу сорок. Танками подавить. Ракетами... Чухонцев пора прошерстить как следует. Половину, как при батьке, в Сибирь, на холодок. Пуцай там подумают о НАТО. Западные хохлы сальные губы раскатали. Шершавого им. Вся нечисть независимости захотела!

Миша попытался уличить профессора в нелогичности.

— Ракетами... Шучью морду... Шершавого... Вы что говорите, Иван Сыроевич? Если они все — нечисть, то зачем их силой в Союзе держать? Пусть их, уходят.

— Молодой еще, базарить. Ты Союз не строил, а ломать хочешь. Тут идея какая у каких людей была! Нынешним не чета. За Сталина умирали, а за твоего Горбачева, кто пойдет умирать?

— Горбачев не мой, он ваш, партийный... Мой — Сахаров. Но вы его не послушали. Уморили... И не надо ни за кого умирать. Пожить бы дали спокойно.

— Сахарова твоего надо было расстрелять. Из пулемета. Картавая вражина.



Мишу все раздражало в профессоре. Отвратительная привычка поводить головой из стороны в сторону. Назидаательно сжатые, узкие, бескровные губы... Металлический, с истерическими модуляциями шепот, переходящий в крик... Огромная бесформенная седая челка, плоские некрасивые уши. Назойливый кислый табачно-алкогольный запах. Голубые глаза с белыми ресницами. Крупный утиный нос.

Профессор выпил еще несколько рюмок, выкурил шесть сигарет и лег, наконец, спать. На раскладушке. В двух метрах от семейной кровати дочери и зятя. Так и не удалось Мише уговорить Галю выселить его на ночь на кухню.

Через минуту Чесноков захрапел. В комнате запахло коньяком и непереваренным тушеным мясом. Львиный рык сменялся шакальими стонами.

Миша обнял Галю и шепнул: Я сейчас встану, пойду на кухню, возьму там самый большой и острый нож и зарезу его!

Его беременная жена шуток не понимала. Заскулила. И выкинула.

...

Миша остался ночевать в больнице, недалеко от палаты жены, на лавочке в коридоре. Дал медсестрам по трешке. Они выдали ему пару паршивеньких одеял и сырую простыню. Надеялся на то, что Галю отпустят утром домой. Всю ночь слышал сквозь сон тихий плач жены... Не подействовало успокоительное.

Всматривался в конец коридора. Там носились тени и отблески, поблескивали стеклянные шкафы с ужасными инструментами. Бились в смертельной схватке призрачные армии. Рогатые рыцари-троллейбусы сражались с бронированными автобусами. Неуклюжие троллейбусы били автобусы штангами-токосъемниками, те отвечали лобовыми ударами насупленных, обитых железом, морд.

Сражающиеся раздражали ушные перепонки адским скрежетом и металлическим лязганьем. Глаза щипало от едких больничных запахов, в рот кто-то положил неприятный железный шарик со старомодной кровати. Шарик вращался, в нем что-то тихо жужжало. К тому же Миша и сам был автобусом, он спешил, боялся опоздать в депо. Жал на педаль. Но, как назло, застрял на середине Ленинского проспекта.

Грязная желтизна московской январской ночи лезла в больничный коридор. Красный щегол клевал прямо в сердце. Кишки грызли крысы.

— Кто тебя тянул за язык? Тебе говорить — что ветру листьями шуршать. А теперь комок. Все, что от ребеночка осталось... Ручку крохотную видно было. Как будто от куколки алебастровой. И кровь на маленьких пальчиках без ногтей. Поцелкай, поцелкай... Хрусть-хрусть. Изменить ничего нельзя. Жизнь — процесс необратимый. Даже у него не получилось. Покатался на ослике, помолился о глиняной чашечке, поплакал и на горку, в облака, в миф сиганул... Потому что назад не принимают. Спасибо, скорая приехала быстро, а то и Галя бы умерла. Побелела вся. И криком изошла. Теперь сын в морге лежит, рядом с огромными волосатыми покойниками. Они пожили свое. Использовали шанс. А он... Плоть от плоти. Почему же тебе все равно? Мы хуже автобусов... Нам не Библия нужна, а бензин и расписание.

Тут в конце коридора появился профессор Чесноков. Вылез из-под старого, затоптанного больничного паркета. Чесноков-больничный не был похож на тестя Миши, он и человеком-то не был, он был троллейбусом тридцать четвертого маршрута. Троллейбус-профессор стряхнул с себя пыль, лихо проехал по коридору, остановился у мишиной лавочки, просигналил и открыл передние автоматические двери. Объявил: До Кравченко едем. Только до Кравченко!

— Мне не надо до Кравченко, хочу дальше. Мне до Ленинских гор, а оттуда по воздуху... Прямо к Ивану. На куполе можно посидеть, ножками поболтать. Над Кремлем. Можно и кучку наложить.

Миша открыл глаза. Перед ним стояла нянечка хирургического отделения. Старая кошка в старомодном чепце. С усами. На ее груди сиял металлический панцирь. В руках она держала корзинку с церковными принадлежностями — подсвечниками, кадиллом, копием, напрестольными крестами, дароносицей и водосвятной чашей. На ногах — черные валенки с галошами. На валенках шариковой ручкой кресты и черепа нарисованы. Нянька бубнила: Ты, милоч, просыпайся, мяу-

мяу, а то опоздаешь на концерт в Грановитой палате. Брежнев на баяне солировать будет. Суслов и Пельше «Аве Мария» исполнят. Нехорошо начальство обижать. Хватятся тебя. А ты все на кораблике катаешься. На мачте кукуешь. С бобрами небесными заигрался.

Нянечка сняла валенок, сдернула носок и начала массировать почерневшие корявые пальцы. Запричитала: Господи, прости... Никто бабушку Грету не приголубит, никто кошечке между пальчиками не пощекочет... Мяу-катау...

Тут троллейбус-профессор на задние колеса встал, воробыиными крылышками захлопал и пропищал: Пощекочет, приголубит! Я тоже на концерт хочу! Я не безбилетник какой-нибудь... Мне мама проездной покупает!

Подпрыгнул на месте и дал задний ход. Летучие мыши вылетели из черных углов и прочертили перед Мишиными глазами черные буквы... Снегири закапали на паркет красным грудным воском. Дрессированная ворона с алмазным ожерельем на шее прокаркала: Ап, ап!

Показались воздушные гимнасты на серебряных пуповинах. Они крутились и переворачивались в воздухе, хлопали друг друга в ладоши. У спящего зачесалось внутри черепа. Потому что там лукошко. А в нем — пять цыплят-молодцов. Кушать просят. Колобок дал им сардинку, а они даже не попробовали...

Космический челнок с невыносимым ревом стартовал прямо с живота... Приземлился на темечке. Вытер потный лоб. И пошел на рынок за петрушкой.

В стеклянном шарике сидели три монаха. Плакали, плакали, потом на флейтах заиграли.

Рыба съела стальную ногу. Халат засалился. А трамвай в речке утонул...

Воздуха, воздуха дайте! Хрр, хрр!

Миша вскочил, схватился за шею и задергался как ужаленный. Глубоко вздохнул. Убедился, что никого рядом не было, — ни нянечки, ни троллейбуса, ни гимнастов. По пустому коридору пробежал усталый дежурный врач.

Заглянул в палату жены. Осторожно, на цыпочках, вошел и положил ладонь Гале на горящий лоб. Погладил. Она открыла опухшие глаза, хотела улыбнуться мужу, но вспомнила про погибшего сыночка и заплакала...

Чесноков решил домой ехать.

— Что там двоим делать? Утро скоро. Надо еще бумаги пересмотреть. Совещание, как никак.

Поймал такси, сел на заднее сиденье и приказал: Дуй в Ясенево. Голубинская 24.

Таксист молча завел мотор.

— С Поспеловым надо кашу доварить. Хитромудрый, может и не утвердить штатное расписание. У него всегда задумки особые. На годы вперед планирует расклады. Пообещать ему премиальные? Тысчонки две? Обидится... Надо настоять на рокировке. А то сожрут отдел. И не подавятся. Завтра надо быть в форме. Позавтракать хорошо. Можно и в ресторане. А дома пусть зятек для больной жены сам готовит. В «Таджикистане» пловом побаловаться или даже в «Пекин» завернуть. Как тогда с Ляпиным, после защиты. Вот уж славно погуляли! До утра с цыганами сидели. Паша Пастин десять бокалов разбил. Гусар-наездник. А цыганочки-русалочки бюстами трясли, мандавошки. Ах, сладость-халва. Артист Сошальский к нам подошел. Разрешите представиться... Барин. Где это мы едем? Вроде уже десять минут как с Ленинского свернули. Профсоюзная... Домов понастроили. Лимиты набрали.

Тут Чесноков опять вспомнил про неподписанные документы, поводитил головой, проглотил горькую слюну, подергал скулами. Спросил шофера резко: Эй, шеф, куда это ты меня завез? Не узнаю. Калужскую проехали?

Шофер пробурчал что-то... В полутьме салона показалось Чеснокову, что у водителя нет волос. Только голый череп. Да еще и не человеческий, а чужой, похожий на панцирь черепахи. И уши огромные, звериные. Профессор оробел и больше на шофера не смотрел. И ничего не спрашивал.

...

— Носила дочка шесть месяцев. Носила, носила... Принесла. Не везет ей. То с этим стариком связалась. Что она в нем

нашла? Почти членкор. Женатый, песок из него, а тоже на молоденькую глаз положил. Хорошо, его жена, не будь душой, прямо в партком обратилась. Советская семья, видите ли, разрушается. А он конечно струхнул, и все на нашу дуру свалил. Дочурку чуть перед дипломом из универа не погнали. Теперь этот Мишка-зятёк. Писатель! Так бы и раздавил его, мерзавца. Аспирантуру бросил, работать не хочет. Писаниной занялся. А за это у нас головы отрывают. Без анестезии. Подведет всех под монастырь. Что-то мне Несмеянов намекал, грозил даже... Космическая тематика... Выбор кадров... С кем породнился. Меня что, кто спрашивал? Иди ты спать в аптеку. Он же десять лет назад еще школьником был... Что же, что родители уехали. Он-то остался.

Чесноков опять посмотрел в окно. Дома, окна, крыши. Вместо неба — зарево какое-то. Показалось профессору, что дорога сильно в гору пошла. И затошнило его почему-то.

— Черррт! Укачало меня что ли? Тормози, водила! Ааа!

Таксист остановил машину. Пробурчал: Выходи, папаша! Заблевал салон, заплати!

Не хотел Чесноков на таксиста смотреть. Но все-таки посмотрел. Чиркнул глазами по месту, где должно было быть лицо. Не было лица у шофера. Серая кость с прилипшими обрывками кожи торчала на месте подбородка. Вместо носа — что-то вроде сушеной груши висело. Глазницы пустые. Из одной змеиная мордочка высунулась. Язычком длинненьким по косточке провела и скрылась. А по бокам черепушки — огромные уши. Свиные!

Чесноков кинул на сиденье пятерку и быстро пошел в сторону. Слышал, как такси за его спиной развернулось и уехало. Обдав его ледяной грязью.

Профессор вытянул голову из воротника и осмотрелся. И ему тотчас же захотелось в родное Поволжье, к жене, в глубокую нору. Потер веки. Откашлялся. Плюнул.

Перед ним простиралось море. Он стоял на самом краю обрыва. Глухо стучали о прибрежные черные скалы темные волны. Среди них болтался как мячик голый труп беременной женщины. Огромное брюхо белело в серой воде. Длинные во-

лосы разбросало во все стороны. На лице застыла зловещая ухмылка. Одной руки у нее не было, только кости из плеча торчали... На правой ноге — красный кожаный сапог до колена.

Матрах в ста от берега разглядел профессор ржавый танкер. Вокруг него чернело нефтяное пятно. В середине его плясал синеватый огонек... Еще дальше болталась в воде накренившаяся подлодка. Из полуоткрытого люка высунулся мертвый матрос.

Неподалеку покачивались полузатонувшие шлюпки, рядом с ними плавали трупы. На головах их сидели чайки, клевали. Неизвестные рыбы пенили воду хвостами.

Еще дальше виднелись глинистые плоские островки... На них торчали какие-то мачты с тележными колесами на концах. На колесах этих что-то белело.

На горизонте вставали водяные горы, разверзались гигантские водовороты, с неба спускались нити смерчей...

Слева на безлесном, запорошенном снегом, берегу стояла церковь с пузатым куполом. Церковь горела. От колокольни поднимался в небо столб дыма, длинные огненные языки вырывались из окон. Рядом с церковью профессор разглядел несколько мечущихся фигурок — люди не тушили горящее здание, они пытались спастись от преследующих их чудовищ, ходящих на каких-то длинных палках.

— Ну теперь точно, приехал! — подумал Чесноков. — Море в Москве. Чудовища. Инфаркт или инсульт?

Профессор услышал колокольный звон. Вспомнил почему-то деревушку, в которой провел голодное военное детство. Разрушенную церковь, расколовшийся на несколько частей колокол. Отца калеку. Рано умершую мать. Пожелтевшую репродукцию «Девушки с яблоками» на грязной стене. Березки...

Повел головой. Смахнул слезу.

Безнадежно посмотрел направо. Тут вдоль берега стояли заводы. Корпуса тянулись до горизонта. Здания были почему-то не кирпичные, а железные, ржавые или алюминиевые. От заводов несло гарью и ядовитой химией. Они скрежетали, стучали, выли. Из многочисленных труб валил темно-фиолетовый дым.

Недалеко от Чеснокова возвышался железный ящик высотой с девятиэтажный дом. Одна из сторон его была полуоткрыта, как фрамуга. Из ящика как из выхода метро лезли неправдоподобно большие рыбы, крабы, креветки, медузы, морские звезды, осьминоги и прочая морская живность, наделенная каким-то злым духом способностью ловко ходить на ходулях и носить холодное оружие. Алебарды, пики, крюки, топоры, шпаги и кинжалы дополняли их острые плавники, зубы, клешни и щупальца.

Чудовища гонялись за людьми, снующими между цехами, трубами и газгольдерами. Несколько монстров двигались в направлении Чеснокова. Впереди шествовал на маленьких костылях четырехметровый фиолетовый ёрш... Он воинственно раздувал жабры и пускал из зубастой пасти белесые слюни.

Разглядев ерша, профессор задрожал, сжал кулаки и побежал в сторону от обрыва.

Хлопнула хлопущка. Квакнула лягушка. Небо свернулось в свиток. Свиток съел крокодил. Кто-то переключил телевизор на другой канал.

...

Чесноков оказался вдруг в хорошо знакомом ему спальном районе.

Вот и отливающие кафельной зеленью плоские коробки. А рядом полукруг из шестнадцатизэтажных красавцев, кооперативов улучшенной планировки... С другой стороны, как и положено, два ряда башен-книг с синими балконами, детские площадки, школы, поликлиника. Чесноков боязливо обернулся. Вместо моря, горячей церкви и страшных заводов он увидел то, что тут и должно было быть — мирный заснеженный лесопарк, три небольших замерзших пруда и все те же, расставленные архитекторами как кубики, раздражающие своим однообразием, дома.

Нашел глазами дочкину девятиэтажку. Двинул домой.

Проход. Арка. Налево. Вход в подъезд. В тот момент, когда ключ Чеснокова поворачивался в подъездном замке, двухметровая клешня тихо подкравшегося сзади гигантского краба

сдавила его грудную клетку. Чесноков натужно взвыл, схватил клешню обеими руками и попытался разжать ее зубы. Услышал треск собственных ломающихся ребер. Захлебываясь кровью, проревел: А, черррт!

Тело профессора морские твари разодрали на части и сожрали еще до того, как в его голове затихла последняя мысль: — Надо позвонить Пospelову, сказать, что не приду на сове...

...

Выписка тянется иногда дольше самой болезни. Уже темно, когда измученные медицинской бюрократией Галя и Миша приехали домой. Удивились тому, что домоседа-профессора не было в квартире.

Мишу охватило мистическое предчувствие счастья. Он нежно поцеловал зареванную жену и спросил: Галчонок, тебе врач не сказал, когда можно приступить к активному воссозданию потерянного?

— Через две недели, если заживет... Миш, я об отце беспокоюсь.

— Нашла о ком печалиться... Сидит наверно с Пospelовым в «Пекине». Купаты доедает.

— А вдруг что-нибудь случилось?

— Случилось, случилось, только не с ним. Позвони матери и ложись, поспи, я супчик сварю с картошкой и луком... Не ресторан, конечно, но лучше чем в больнице.

Миша почистил картошку и лук, поставил кипятиться воду. Доставая из верхнего шкафчика солонку, посмотрел в окно. Там он увидел то, что и ожидал — темное море, труп безрукой беременной, горящую церковь и ораву ясеневских мальчишек, убегающих от идущих на огромных ходулях глубоководных рыб.



## АНАПА

### Пьеса для чтения

Деревяшкин — лейтенант-пограничник  
Мартын — солдат  
Фонвизин, Неподдельский — пенсионеры  
Аркадий Вишняков, Зинуля — студенты  
Фомина, Лукина и Матвеева — уборщицы  
Бумерангов, Лианозов, Химкин и Митя —  
соседи по палате в психдиспансере  
Антар — существо непонятное и многоколое,  
что-то вроде живой колонны  
Сестра

### Картина 1

Деревяшкин и Мартын в будке пограничников рядом с огромным прожектором.

Д е р е в я ш к и н (*говорит по телефону*). Так точно, товарищ комендант. Карлики, но в действительности диверсанты. Понял. Из воздуха появятся. Рогохвосты. Внеземные. Да. Жала, сверла, яйцеклады. Возможны взрезывания с целью изъятия органов. Каких? Понял. Так точно, выполним! Не позволим. Бдительность поднимем. Уставы подтянем. Взбодримся. Гайки закрутим. Да, понял... Пресечем. Вплоть до применения табельного оружия. Дадим отпор марсианской военщине. Да, понял, молчать. И не миндальничать. Есть! (*Кладет трубку.*) Мартын, твою душу-мать, ты куда делся? Тут такие дела творятся, голова кругом идет, а ты пропал. Нет, чтобы позаниматься, уставы подтянуть... Или в прожекторе лампы поменять... Разболтались все...

Незаметно появляется Мартын. Босой, без гимнастерки, загорелый.

М а р т ы н. Я, товарищ лейтенант, купаться ходил. Вода теплая. Освежает. Потом ел. Потом опорожнялся. К службе всегда готов. Хотите, в магазин сбегая... Туда, по слухам, сеledку должны завести. И три семерки.

Д е р е в я ш к и н. Слушай Мартын, не до семерок тут. Мне этот страус австралийский звонил, Буручага. Надо же с такой фамилией человека в комсостав взять! Все они там, в управлении, по фазе сдвинулись. У меня, говорит, сведения имеются, что сегодня в полночь в районе Анапы марсиане высадутся — голубые карлики и скорпионы. Вида жуткого. Сидячебрюхие. Вооружены сверлами и яйцекладами. Кровососы. Со спецзаданием! Мы должны подготовиться и обезвредить. Понял? Появятся из воздуха. В Анапу прибывают с целью просочиться, так сказать, и раствориться среди курортной публики. А потом с подложными документами — в Москву. Кремль взрывать. Но возможен саботаж и в районе... И взрезывания граждан для добычи внутренних органов.

М а р т ы н. Взрезывания? Карлики-диверсанты с яйцекладами? Страна чудес, понимаю. Но такого отродясь не слышал! Представляю заголовки в Правде... Диверсия в детском курорте. Агрессивный блок НАТО при поддержке голубых карликов вырезал почки анапскому обкому...

Д е р е в я ш к и н. Ты не разглагольствуй! И не миндальничай! Приказано, не размышлять... Кто его знает. Тридцать лет назад тут на пляж чудо морское выкинулось — не дельфин, не осьминог, а Левиафан волосатый. Его пограничники пристрелили. А тушу собаки сожрали. Может, это первый марсианин и был. Наше дело — светить прожектором и смотреть, а если что увидел — наряд посылать. Потому как рядом — государственная граница. Купальщиков гонять будем, бабочек ночных попугаем... Тут надо родину от пришельцев защищать... А они всё кадрятся.

М а р т ы н. Так точно, товарищ лейтенант, кадрятся... А родину мы защитим... От карликов и скорпионов. *(Тихо в зал.)* Догоним и еще раз защитим. Сидячебрюхие рогахвосты! Ну, шиза! Спятели военные. Марсиане! Веселый городок Анапа. А

Буручагу давно пора в Австралию выслать... К страусам... Или на Марс... И с ним все погранвойска. Срочно в магазин. Три семерки. Иначе не выстою, упаду и окочурюсь... Тут-то ко мне скорпионы и подползут. С режиками. Проснусь, а ни почек, ни печени, ни хуя. Тра-ля-ля, Мартын Игнатьевич. Ку-ку! В крематорий пожалуйста. Советская армия кремацию оплатит.

## Картина 2

На кухне коммунальной квартиры. Фонвизин, потом Неподдельский.

Ф о н в и з и н (*пьяный*). Вы все тут суки, бляди и говно... А я, между прочим, майор! Служил, служил... Дослужился. Сто десять ре. Это, стало быть, по три рублика шестьдесят шесть копеечек в день. Если в месяце тридцать дней. А если тридцать один, то и того меньше! А квартира? Липездричество, телефон... Которого нету... Нету телефона. И звонить некуда. Детей не завел, друзья все перемерли. Думаете, я конченный человек? Да? Правильно. Я конченный. А вы? Только начинаетесь, что ли? Мы все кончаемся. Кончаемся, кончаемся... А кончить не можем! Вот я, например, служил. Служил родине и устарел... И на сто десять... На домино. Пусть забивает козла, старый хрен... Прошла жизнь. Слышу, слышу, как мыши грызут мои кости... Каждую косточку чувствую... Хрям-хрям... Хрящики разгрызают и обсасывают. Погрызут, обсосут, а потом лапками морду чистят... Грызуны! Грызуны, вы все! С гнилыми зубами. Советская стоматология! (*Открывает беззубый рот.*) Ни одного зуба не осталось — все испортили. Харкотину на вас жалко, а то бы плюнул! (*Пугает зрителей первого ряда.*) Что, товарищи, перебздели? Вот и я бздел всю свою жизнь... И на службе и дома... Жену похоронил двадцать лет назад. По гарнизонам мотались, жилья не было. На гарнитур копили. Потом померла Полина. Двадцать лет без бабы. Гарнитур так и не купили. В коммуналке живу... А вот и дорогой соседка (*тихо*), чтоб ты окошел побыстрее.

Входит Неподдельский, старый, с претензией на интеллигентность.

Неподдельский. Наше вам! Как пошла?

Фонвизин. Ясным соколом. А ты, доцент, опять на кладбище ходил? (*В сторону.*) Чтобы ты в море упал и утоп, что ли!

Неподдельский. Был, был. На старом.

Фонвизин: Какой черт тебя туда носит? Что ты там потерял? Потерпи немного, оба там ляжем. (*Тихо.*) Надеюсь, не рядом...

Неподдельский. Там жена, там товарищи, однополчане...

Фонвизин. Так ты же не воевал! И женат не был...

Неподдельский. Не воевал, не женат, ты откуда знаешь? Я на Дальнем востоке японца сдерживал. А ты в погонах по тылам ошивался...

Фонвизин (*вдохновенно врет*). По тылам... Да я... В СМЕРШЕ служил. У нас везде передовая была. Мне сам Бабич орден вручал... Исай Яковлевич... Я на врагах народа психику попортил! Антисоветский элемент вычищали беспощадно. Предатели везде позасели. Как тогда, так и сейчас... Вот, посмотри на них (*Показывает в зал.*). Все присягу на верность партии и правительству принимали... А если немец придет, опять к Власову побегут... Или к дяде Сэму на харчи. В Вашингтонский обком. Партбилеты — на стол! Над кем смеесть? Хамелеоны.

Неподдельский (*умиротворенно*). Это ты правду сказал, майор. Тут я с тобой согласный. Ненадежный элемент вокруг. Чуть что и партию продадут и родину. Зажрались! Я тут селедочки принес и хлебца... Хлеб теплый еще... Ставь чаёк, погужуем... Мне тут такое рассказали, закачаешься! Слухи по Анапе ползут... Диверсанты сегодня ночью к нам пожалуют... Двадцать лодок по пять бойцов. С книгами, брошюрами и листовками. Разбегутся как крысы по Союзу. Вербовать будут. Ячейки вражеские организовывать. Организация белогвардейская есть — Антарес. Во Франкфурте штабквартира. Недо-

битки там и наши новые. Реваншисты. Ядов привезут — чемоданы. Чтобы активистов травить. Антисоветчины у них — вагоны. Порнографии — штабеля. Недовольство у несознательных подогревать будут. Мне Яша рассказал.

Ф о н в и з и н. А не наврал? Ты же их знаешь... Скользкий народ. Любят каштаны чужими руками из огня таскать... Заведут нас, а сами...

Н е п о д д е л ь с к и й: Яша хоть и еврей, но советской власти преданный. Ему Буручагина баба проболталась. Дело серьезное. Батальон снайперский из Москвы вызван. На пляже прямо и разместят. Белогвардейскую и эмигрантскую сволочь отстреливать будут. Посмотреть охота, ты пойдешь?

Ф о н в и з и н: Что, я? Я конечно. Я первый. Мне и винтовки не надо. Я их голыми руками передую. Контра проклятая... Слушай, доцент, а мне пенсию за подвиги не повысят?

### Картина 3

Вишняков и Зинуля прогуливаются по пляжу.

В и ш н я к о в. Так что Зинулечка, воздухоплавание — это тоже русское изобретение. Был еще в 1731-м году самородок такой, подъячий Крякутной, он — фурвин сделал, надувной баллон, то есть, надул его «дымом поганим и вонючим» и по Рязани летал, за что его хотели — «сжечь или живым в землю закопать»...

З и н у л я. Он рвался в небеса, к звездам. А его — в землю.

В и ш н я к о в. Он смылся тогда из Рязани. А другой русский самородок, Никитка, тот крылья для летания смастерил, да сдуру самому Ивану Грозному решил свое изобретение показать... Есть же смельчаки на свете. Ему голову отрубили, а труп свиньям на съедение бросили. Уважили изобретателя.

З и н у л я. Лебединые крылья души... Как ты думаешь, Аркадий, душа может летать? Я так часто летаю во сне... Лечу, лечу через пространство, как будто сквозь туманность Ан-

дромеды... И не в вакууме, не в пустоте, а в светящемся эфире. В синеве, как в кристалле, умылись, лебединые крылья души... Красиво?

В и ш н я к о в. Супер! Крылья умылись в кристалле! Как утки в озере. Порошок есть такой стиральный, — Кристалл... А так замечательно... Знаешь, что я сегодня краем уха слышал? Будто бы сегодня ночью тут на пляже марсиане высадятся!

З и н у л я. Что ты говоришь, Аркадий! Боже, боже мой! Я знала, я чувствовала... Поверь мне, я сегодня такой странный сон видела. Будто я летаю, летаю... И вдруг со всех сторон налетают на меня осы. Черные страшные осы... Целый рой... Я подумала во сне — это мои тайные желанья... Они жалят и жалят меня в соски... И сосут... А я — та самая ось... Помнишь, у Оси...

Пауза.

В и ш н я к о в. Говорили, марсиане для того присланы, чтобы нам, землянам, тайны мира открыть, вразумить так сказать... Чувшь конечно. Но что-то во всем этом есть... В тупик мы зашли. Буксуем. И поганим все... Ты посмотри — в Черном море рыбы нету... Плавают какие-то желтые безглазые ящерицы... Сам видел... Был на рыбзаводе, хотел бычков взять. А рыбаки мне и говорят — нету бычков. И кефали нет. Только дрянь какая-то попала в сети. Вот, говорят, возьми на память, покажи там в Москве кому-нибудь, пусть придумают чего... Пока мы все не сдохли...

З и н у л я. Как это интересно! Тайны мира! Я думаю, это не марсиане, это элохимы из туманности Андромеды, спиральные, вьющиеся, светоносные существа... Я всегда чувствовала, что они среди нас... Вьются, невидимые... О вы, невидимые люди, очистите наш мир, придите к нам на пир, падите мне на груди...

В и ш н я к о в (*тихо, в зал*). Целую неделю только об этом и мечтаю, но не дает, колбаса копченая, только стихами мучает. Одна надежда на марсиан... (*Громко.*) Эврика, Зинуля! Давай сегодня ночью тут костерок разведем, посмотрим на

небо. Вдруг они и впрямь прилетят... Отсюда далеко видно... Даже если в Джемете приземлятся, увидим. Только бы нас пограничники не застукали...

З и н у л я. Давай, Аркадий... Я напишу им стихи...

#### Картина 4

Фомина, Лукина и Матвеева возвращаются с работы.

Л у к и н а. Да, соседка поведала. Карлики. С жалами, хоботами и когтищами. И с рыбьими хвостами. И скарпиёны ядовитые. С тысячи кораблей, как песок посыпятся... В полночь.

М а т в е е в а. Наказание господне... За грехи за наши смердящие...

Ф о м и н а. А не брехня? Мало ли чего набрешут?

Л у к и н а. Ну вот, опять Фомина не верит! Про Митрохина не верила, что черт, про бабу Челябину не верила, что беременна, про Тихонова, который вилку проглотил, говорила, что не пройдет в горло, а прошла, так что брюхо резать пришлось... Соседка, она хоть и неверующая, но всё-всё знает... Что тебе еще надо, чтобы по радио объявили? Так там про такое не говорят. Там врут, как воду льют.

М а т в е е в а. Наказание... Господи, помилуй нас грешных... Защити в годину лютую...

Ф о м и н а. С кораблей... Как песок. Кто же им даст к границам подойти? Наши солдаты все видят. У них бинокли есть... Всю ночь в прожектор светят. На самолетах летают. Сюда мышь не проскочит. А ты говоришь, карлики-скарпиёны.

Л у к и н а. Говорю карлики, значит карлики. С хоботами. Страшные уроды — мамоны, сорочины, маланцы-обрезанцы, сатанилы и вельзевулы... С хвостами рыбьими акульими, жабрами травлеными и плавниками осклизлыми, ершачьими... Скарпиёны тысячами ползут. Жалить будут граждан. В шеи...

М а т в е е в а. За грехи. За грехи наказание. Спаси нас, несчастных! Помилуй и защити нас, пречистая дева Мария. Сестры, сестры... Близится Страшный суд! Покайтесь, ибо смерть

близка. Просвети нас, господи, не оставь в темноте неведения! Испугались мы знаменев антихристовых... Нету в нас покою. Близится, близится Страшный суд! Покайтесь и осмелеете. От греха откажись и услышишь пение птиц райских. Очисти плоть, раба божья. Помышления скверные изгони из сердца как тараканов из избы...

Л у к и н а. Налетят на нас ночью антихристовы дети как саранча. Упыри, храпидолы, вельзевулы и мамоны. Землю отравят... Море в камень превратят. Чем мы провинились, что нас ждет? (*Матвеевой.*) Знаем, что тебе открыта правда-истина. Наставь, успокой, пролей на нас свет веры... (*Плачет.*)

М а т в е е в а. Не плачь, сестра. Не поддавайся бесовскому обольщению и отстанут от тебя храпидолы. Как лист осенний отвянут и на землю упадут. А ты их метелочкой, да в костер... Пусть горят в огне земном. Потому как мысли плотские — это бесы живые. Растерзают они твою плоть, коли волю им дашь. А коли верой их стреножишь, надеждой их обессилишь да любовью их осветишь... Полетят они тогда как искорки в небеса к престолом всевышним. И в ангелов превратятся. И к тебе в белых одеждах воротятся. И будет твой дом чист, а помыслы светлы. И просветлеешь как звездочка в небе... Смотри, смотри!

Гром. В небе появляется красноватая звезда, она увеличивается и пролетает мимо... Грохот такой, как будто что-то взорвалось.

Л у к и н а. Вот они, вот они... Карлы марсианские... Упыри с хоботами... Вельзевулы и мамоны.

М а т в е е в а. За грех, за грехи...

Ф о м и н а. Может, метеорит это? Тьфу ты...Было в старые времена... И явился знамение змиево на небеси, звезда превелика, лучи имущи аки кровавы, посем бо быша нашествие поганых на русскую землю...

Л у к и н а. Это что же, турки на нас нападут? Или чечены с ингушами?



М а т в е е в а. За грехи наши тяжкие... Басурмане набегут. Заполонят все. А нас на север выселят...

Ф о м и н а. Надо бы на Высокий берег выйти, сестры. Кажется, там рвануло.

Уходят.

## Картина 5

Летний вечер. Просторная палата психдиспансера в Анапе. Лианозов и Химкин лежат на железных кроватях. У зарешеченного окна неподвижно стоит Митя. Смотрит в небо. Входит Бумерангов, маленький человек с прекрасной эйзенштейновской головой. Растерянно кивает обитателям палаты. В руках у него справочник по астрономии. Он нерешительно подходит к свободной кровати и садится на нее.

Б у м е р а н г о в. Тут свободно?

Х и м к и н (*Бумерангову*). Умный человек, а вопрос задал глупый. Тут, как видишь, решетки на окнах. И двери на замке.

Б у м е р а н г о в. Понимаю. Я Бумерангов. Можно мне эту кровать занять?

Х и м к и н. Занимай, занимай, не стесняйся. Тут все свои. Я — Химкин. Вон, тот — Лианозов, а стоит Митя... Пари держу, ты ученый. В дурдом приволокся с справочником. Как же ты, светильник разума, сюда попал? Перепил? Или тещу прикончил. Был тут один... Я, говорил, старых баб ненавижу. И мать и бабу не люблю. А тещу — при первой возможности задушу. И задушил.

Л и а н о з о в. А что потом было?

Х и м к и н. Потом и жену задушил.

Л и а н о з о в. Тоже неплохо...

Х и м к и н. Только не до конца. Они потом опять вместе жили.

Л и а н о з о в. Еще лучше.

Б у м е р н а г о в. Я никого не убивал. Хотя меня вчера обвиняли в том, что я кровь у людей на пляже выпил.

Х и м к и н. Бывает... В соседнюю палату, вон, студента притащили. Фурвин! Фурвин дайте, — кричит. Улететь хочу. Говорят, маньяк сексуальный. Девушку за груди кусал. Как генерал Власов. А в женское поэтессу доставили. Ведьма, вроде. На пляже колдовала... А ты стало быть, человеческую кровь потребляешь?

Л и а н о з о в (*Бумерангову*). Не сердись ты на Химозу. Он не кусается. Расскажи про ведьм... Залежались мы тут... Оторвались от жизни...

Б у м е р а н г о в. Ну да, вот... Средневековая история. Засиделся я вчера на песочке в Джемете. Стемнело. Слышу — собаки залаяли. И огоньки позади меня какие-то замелькали. Ко мне приближаются. Пограницы? Так точно. С собаками, а впереди — два ветеринара с медалями. Хватайте его, орут, он диверсант, саботажник! Мне и слова не дали сказать. Солдат какой-то бухой по зубам треснул. Руки мне заломили. И потом тоже, на все мои вопросы — молчок. Я думал, приедем в часть, расскажу, кто я такой, за моим паспортом пошлют, удостоверение проверят, извинятся и отпустят. А старперов с медалями оштрафуют. Как бы не так. Допрашивал меня комендант Буручага. Параноик стопроцентный. Ты, говорит, марсианин-масон. Ни много, ни мало. Не смотрите на меня так...

Х и м к и н. А мы и не смотрим... И не такое слышали.

М и т я. Ты великий магистр, я тебя узнал. Хомячков принесите. Срочно! Свеженьких...

Б у м е р а н г о в. Буручага кричал: Нам все известно. Старший научный сотрудник он! Видали мы таких сотрудников... Органы все про тебя знают... Им и прошлое и будущее — как твоя ладонь. Без телескопов... Насквозь смотрят... Знаем мы, понимаешь, точно, что ты не земной человек, а пришелец. Что ты мне своим паспортом в морду тычешь? Паспорт как паспорт. Только не твой... Видели в кино — штучки-дрючки. Тело у тебя астрофизика Бумерангова, а суть скорпионья. Выкладывай все... Рассказывай, где вы свое поганое гнездо свили? Каких еще советских людей погубили? В кого вселились, кровососы космические? Жогом буду жечь, когти из пальцев

вырву, все ты мне расскажешь! И ногой меня в живот. А потом держали меня три солдата, а комендант мне кожу электрическим утюгом жёг. Что смеетесь? Вот, смотрите... До сих пор саднит. (*Задирает рубаху, показывает ожоги на груди.*) Через полчаса признался я во всем. Буручага сказал — пиши сам, все как есть, чистосердечно... Я написал, что прислан с Марса на Землю с заданием взорвать рыбзавод. Высадился в Джемете. По пляжу бродил в виде скорпиона, искал людей. Был и клешнями скрипел. У всех встречных высасывал кровь. Влез в тело Бумерангова. Установил телепатическую связь с подпольной ложей в Варваровке. Соломоновы ключики спрятал в специальном тайнике. С виду вроде камень-валун. А откроешь — чудеса техники, рация марсианская. Собираюсь проникнуть на винзавод в Абрау, отравить там шампанское... Навели меня дельфины в утришском дельфинарии. Буручага прочитал и от удовольствия закричал. Всему поверил, идиот. Запер меня в железном ящике. Там духота... Жарко. У меня сердце схватило и спазмы в горле начались. И в штаны делал. Под утро другой следователь со мной беседовал, багровый такой, как будто десять лет из запоя не вылезал. Прочитал он мое признание, нахмурился и сказал: Издеваешься, сволочь обоссанная. Над органами издеваешься. Жаль, времечко наше прошло, разодрали мы бы тебе за твое творчество сраку. Ну ничего, опомнятся, вспомнят... Там и поквитаемся. Посидишь в дурдоме месяцок. Будешь жаловаться, рот зашьем свинцовой ниткой. И машину вызвал. Отвезли меня сюда. Вымыли, переодели. Доктор со мной беседовал, Рубинштейн. Сказал — галлюцинации. Никто меня, мол, не арестовывал, в марсианстве и кровососании не обвинял, в железный ящик не сажал, показалось мне все это. Намекнул, что лучше месяц тут, чем назад к Буручаге.

Х и м к и н. При Брежневе тебя бы тут за полгода в инвалида превратили. А сейчас — помучают и отпустят... Перестройка. Были тут и Суслов и Андропов, Жуков и Ворошилов, был даже Сталин, маленький такой армяшка, все кричал: Вызовите Берия! Арестуйте политбюро!

Но марсиан вроде не было... А масоны — все тут как тут. Все врачи ихнего племени. Рубинштейн, Соколов, Непомнящий... Еще недавно лютовали. А теперь присмирели. Принимаются...

Л и а н о з о в. Не злобись, Химоза, электрошок не подействует... Ты, академик, почитай нам свою астрономию, какая никакая, а развлекуха...

Б у м е р а н г о в. А про что?

Л и а н о з о в. Открой, где открылось и читай...

Б у м е р н а г о в (*открывает справочник наугад и читает*). Антарес. Ан-та-рес. Красный сверхгигант. В тысячу раз больше Солнца. Двойная звезда в созвездии Скорпиона. Есть такое насекомое на небе.

Х и м к и н. Знаю, знаю, над морем висит... Вот бы туда слетать, а? Только на Ту-104 долго добираться. Хотя, по дороге можно в подкидного...

Б у м е р н а г о в. Будь Антарес на месте Солнца, достал бы до Юпитера. Вокруг звезды пылевая туманность. Светит в десять тысяч раз ярче Солнца, а масса всего в десять раз больше солнечной! Разряженная звезда. Плазменный пух. И спутник недалеко летает. Карлик голубой. Жизни там нет. Условия не те.

Х и м к и н. Это ты, астроном, загнул. Мы же тут живем. Думаешь, там условия хуже чем в Анапе? Не поверю. Там живут... Антары. С тремя глазами и тремя руками... (*К Мите.*) Понимаешь ты это, Митяй? Ты тут в грязной палате торчишь, о хомячках мечтаешь, а там, далеко, между оранжевой звездой Антарес и ее голубым небесным компаньоном парит в пространстве планета чудесная... На ней обитают трехглазые люди... Одним глазом смотрят на Атарес, другим на компаньона, а третьим на тебя, Митяй, смотрят. И думают — а не слетать ли в гости к двуногим, двуглазым друзьям... Давненько не бывали мы на черноморском побережье! Подумали, сели в летающие тарелки и фьют... Уже тута, у нас, на психодроме. Так что встречай сегодня ночью гостей. Все твои желания исполнят. Жвачки дадут. В Париж отправят.

М и т я (*волнуясь*). Не хочу в Париж. Там магистры... Они клизмы ставят... Пусть лучше построят в палате, желтенький домик... Я буду в нем служить. Гномиком.

Х и м к и н. Построят, Митяй, надейся и жди... И гномиком служить будешь... До подполковника дослужишься.

Б у м е р н а г о в. От Антареса отходит туманность Темная трубка... Как катетер от желудка...

Х и м к и н. Катетер? Проходили. Хватит. Хрен с ней, с наукой. Париж, Марс, Антарес это мелко. Не по нашему. Скажи мне лучше, ученая голова — есть ли жизнь после смерти? Ждать чего или нет. Типа — загнулся и все, пиздец полный и окончательный?

Б у м е р н а г о в. Вы Химкин, представьте себе... Дохлого петуха... Видели наверно на базаре. Оживет он? Нет. Его ошиплуют и в суп. С лучком... И все дела. И с человеком также. Раньше мертвецов ели. А теперь сжигают. Или в землю. Вон, справа за главным корпусом, труба. Знаете, что это за сизоватый дымок над ней вьется?

М и т я (*неожиданно*). Там домик. Там санитары людей жгут. А рядом газон. Там живут божьи коровки.

Х и м к и н. Коровки... Я почему спросил... Со мной вот что случилось. У меня от первой жены дочка. Жалею я ее. Поступала в историко-архивный в Москве. Не прошла по конкурсу. Библиотекаршей устроилась в Новых домах. Живет тут недалеко. Муж ее руки распускал. Приехал я один раз к ним. Проведать. И не узнал свою дочурку. Прикрылась платком и плачет. Все лицо он ей разбил, гад. У меня в животе засосало, а затем рвануло что-то в башке. Светом все залило перед глазами как при сварке. Схватил я полено, в садик выбежал, а он там на коленях стоит, свинью кормит. Я ему поленом по затылку... Хрясть!!! Что было силы в руках. Он упал сразу. Застыл. А потом кровянка показалась. Как красная слюда. Дочь в голос, а я сел на землю. Сижу как глухой, ничего не слышу... А свинья из загона вышла и давай кровь лакать. На суде меня невменяемым признали. Принудиловка. Отлежал я свои три года. Но до сих пор — как что не так, все перед глазами электричеством

заливает, и из жизни меня выносит, как машину на повороте — в обрыв, в пропасть лечу. А там меня мертвый зять ждет... И свинья рядом хрюкает... А ту свинью уже пять лет как съели. Ты говоришь — петух. Откуда он, черт, вылез? Его сожгли и похоронили. А он — вишь, в голове у меня поселился...

Б у м е р н а г о в. Да, дела... Я думал, вы тут косите от чего. А вас и вправду лечить надо... Лианозов, а что вы тут потеряли?

Л и а н о з о в. Я от Химкина не далеко уехал. Жил всю жизнь как лопух. Сам посуди — поступил я в политех. Хотел ракеты конструировать. Поступил, а с него бронь и сняли. Год учился, а потом в армию забрали. В Афганистан. Нет, я не воевал, я шоферил. Начальника возил. А он только туда, где стреляли, не ездил. Чтобы он свою толстую жопу под пули подставил? Да ни за что. Он только свои делишки обделывал. Козел. В армии я был полтора года. Демобилизовался. Пошел дальше в институт учиться. А башка не варит. Бывало, учебник откроешь. Глазами по строчкам — зырк-зырк, а в голову ничего не лезет. Непонятки. Так я и не кончил. Ушел с четвертого курса. Зато жена осталась. Стала инженером. Не по ракетам — по сельхозмашинам. Только работать не хочет. Все красится. И пьет. А я так и работаю шофером. И частным извозом подкалымливаю. Недавно вот тридцать два стукнуло. Вершина позади... Вниз поехало. И весь путь открылся. Раньше были вроде горы, холмы... А теперь... Овраги. Дальше степь. В степи раскрытая могила. В ней черный гроб... Я думал, думал, а потом решил, все темные вещи в окошко... Полегчало. Я ведь даже читать не могу. В каждой букровке, в каждой палочке черная гадина сидит... Со страницы прямо в глаз прыгнуть хочет. Чтобы мозги высосать... Ну я и книги тоже все... Тут жена из отпуска вернулась. А в квартире ни телевизора, ни стульев, ни книг... Она давай визжать и в скорую названивать. Диагноз мне поставили — прогрессирующее слабоумие. А инвалидность не дали.

Х и м к и н. Сто раз говорил, зря ты так, Лианоз. Вещички, они, всегда пригодятся...

Разговор прерывает резкий, назойливый, как будто школьный, звонок. Все вздрагивают в ужасе, прячутся под одеяла как дети.

М и т я (*укрывается одеялом, пыхтит, бормочет про себя*). В желтом домике магистров нет. Там вата. И хомячки...

В палату входят медсестра с металлическим шприцем в руках. Шприц блестит как кинжал.

С е с т р а. Инъекции!

## Картина 6

Гремит гром. По сцене бегают оранжевые и голубые огни. Сумерки. На темном небе висит огромная оранжевая звезда Антарес, в стороне от нее — маленькая голубая. Небо напоминает рисунки подростков на космические темы. Внизу — длинное, сюрреалистическое пространство между двух, уходящих в бесконечность «китайских стен». Впереди лежит Химкин. Недалеко от него Лианозов. В глубине сцены стоит Антар. Раскат грома.

Х и м к и н (*потягивается, встает, оглядывается, ошарашен*). Во как рвануло! Аж кишки все перетрясло. Планетарий, что ли, в Анапе построили? Тра-ляля-ляля... Тарара-рарара... Тра-ля-ля-ляля... Во как! Дышать могу, а воздух в легкие вроде и не входит... Стены какие-то... Небо не нашинское. Но Лианозов тут. Наверное, я в дурдоме на койке лежу и мне все это мерещится. После инъекции бывает... (*Замечает Антара, подходит к нему*.) Ага, вот и абориген! Хороша галлюцинация, ничего не скажешь... Вот ведь филин... (*Громко, Антару*.) Ты, что, замороженный? Очень ты мне Митя напоминаешь из нашей палаты. Тоже стоит. И кукует.

Л и а н о з о в (*встает, трогает стены*). Ну дела... Стены в палате построили...

А н т а р. Извините, господа, карты сданы, прошу ставки делать. Шампунь Фантазия. Прошу вымыть руки и шеи. Деревянный будет сегодня денек. Ха-ха-ха!

Х и м к и н. Грамотно излагаешь. Послушай, шампунь Фантазия, а что там, за стенами?

А н т а р. За стенами — стена. За стеной стена, а за стенами — стены. Вот так, дружочек. Будем березки спиливать...

Х и м к и н. Все березки давно спилены. Не отодвигай смысл в сторону. Что нам тут теперь, между стенами бегать, что ли? Как Чингиз Хан? Есть выход?

А н т а р. Выхода нет. Ходи пешком. А я ее королевой съем. Милый мальчик слишком много кушает. Он съел корову, а на быке поперхнулся. Потому что корова пчелиная, а бык цветочный... Не ломай голову. Пой песенку — У моей свинки хрустнуло в заду...

Л и а н о з о в (*поет монотонно, качается*). У моей свинки зеленые ботинки... Красивые ботинки у моей зеленой свинки...

А н т а р. Умница ты моя, сделай из тыквы ракету и лети на Луну. У Луны никогда не бывает насморка, не то, что у нас, широконосых белохвостиков... (*Химкину.*) Ну что, сверхчеловечек, вынуть тебя из философского холодильника?

Х и м к и н. Вынь, вынь, сделай одолжение, товарищ космонавт, пока я копчик не отморозил...

А н т а р. В домике живут Король, Дама и Валет. Спроси Валета, а ответит Дама. Не горюй, сделай байпас и начинай все с начала. Как девушка...

Л и а н о з о в (*неожиданно капризно*). Не хочу в могилу! Там черный гроб...

А н т а р. Правильно, не умирай. В рай попасть очень трудно. Нужен блат. Ведь они гласные, а мы согласные... Короткие звуки. В нас нет тягучести. Пожили и хватит. Надо и честь знать. Зябликов выньте из ушанки. Заслонку закройте, а то дует. Поняли, блаженные? Игра простая. Родился — умер. Умер — родился. Замри-отомри...

Х и м к и н. Я уже замер. Дышать трудно. (*Хватается за горло.*) Выкачали воздух... Сестра! (*Падают.*)



Л и а н о з о в. Не хочуууу! *(Падают рядом с Химкиным.)*

А н т а р. Разгадайте загадку. В домике живут Дама и Валет. Сколько в Короле скопилось Оль? Перестаньте кривляться, мальчики. Собирайтесь, поедем в Сукко. Там нас девочки ждут... В Голубой долине... Мясистые, румяные. Профсоюзные... Как дяди Володина задница. Хрю-хрю-хрю...

## Картина 7

Очень странный берег реки. На берегу сидит Бумерангов с удочкой. Рядом с ним стоит Антар.

Б у м е р а н г о в. Ты мне честно скажи, какой из меня марсианин? Они что, с ума посходили?

А н т а р. Они никогда на нем не сидели. И сейчас не сидят. Как дятлы. Постукают, постукают по бревну, а потом личинку в клюв.

Б у м е р а н г о в. Ты меня не мучай. Говори прямо. Ты Бог?

А н т а р. Так я тебе и скажу. Держи карман. Да и не все ли равно? След давно простыл. А они слышат звон, да не знают где он. Поехали бы лучше кататься. Колесики застучат, застрекочут. Пружинисто так — чок-чок-чок... Блошиная кавалерия.

Б у м е р а н г о в. Перестань ёрничать. Я знаю, что ты Бог. Это не меняет дела. Учти, если у меня клюнет, я все разговоры прекращу. Ловлей заниматься буду. Но пока не клюет. Ты скажи мне, между прочим, зачем все это... Жизнь зачем?

А н т а р. Не могу знать, всю голову репьем забило. Мое дело простое — прилететь. Опросить. Записать. И доложить, куда следует. А тут чего-то не то. Какая-то мелодрама. А мне что Ре, что До. Все едино. Мне в ваши дела категорически запрещено вмешиваться. Были раньше такие, шестикрылки. Вмешивались. В наказание божьими коровками

стали. *(Превращается в петуха.)* Ку-ка-ре-ку! Не вижу карпов и осетров! Выплывайте, ребята! Я вам песенку спою. Про жирафчика.

Б у м е р а н г о в. Сгинь, пернатый. Черт меня дернул... Вот он и приперся. Из метафоры, гад, вылупился, как из яйца... Милости просим!

А н т а р. Осторожнее на поворотах, болезный. Мы ведь особенно магистров любим клевать. Как увидим магистра, такими удалцами становимся. Курам на смех. Кудях-тах-тах! Поберегись! *(Наступает на Бумерангова.)*

Б у м е р а н г о в *(медленно отступая и защищаясь удочкой, на которой болтается большая пластиковая рыба).* Сгинь... Отойди от меня, космонавт... Тебя на пыльных тропинках Гагарин ждет... Иди в курятник...

А н т а р *(успокаиваясь).* Вы золотую рыбку поймали и не заметили. Это невежливо.

## Картина 8

Митя висит в пустом пространстве. Вокруг него медленно крутится вселенная, похожая на веретено, состоящее из звездочек.

М и т я *(дрыгает ногами, обращается в зал).* Вы сидите на горошинах, господа присяжные. Поэтому у вас хандра не проходит. Мне с вами не по пути. Если я начну все разжевывать, минутки не хватит. Наловили птиц, в клетках переполох, а в лесу тихо. Некому гнездышки вить... Любезные охотники! Для косточек — отдельное блюдо поставлено. Мисочки, пожалуйста, за собой помойте... Порошочком потрите. Пусть сверкают как протезы для безногих. Задача-то трудной оказалась. Всё решали, голову ломали, а потом на дачу укатили. Водочка, шашлычок. Карасики. А картофельные очистки не пробовали прикладывать к больным местам? Мама и кузены, принесите немного горячего каучука! Дайте попить ящерице... Сами видите, финти не финти, а получится

гыша. Приглашаю отобедать. На первое — ледяное побоище и чернослив с горностаем. На второе — одесская лестница и фрикасе — шелупонь кисломолочная. А на третье — замороженная выхухоль с крыжовником и кускус. Приезжайте в Анапу, там вода и песок. Женщины пахнут болотом. У мужчин на ногах ногти как у носорога. А у мальчиков на попках — анютины глазки.

Мгновенно поворачивается к зрителям задом и спускает больничные штаны. На ягодицах вытатуированы глаза в виде цветов... Занавес.

## ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Кто-то робко постучал в дверь.

— Войдите! — строго сказала моя мама. Постучавший, видимо, растерялся. За дверью послышалось сопение. Кто-то там томился, тянул время, делая вид, что хочет позволить обитателям комнаты привести себя в порядок, подготовиться к вторжению чужака.

— Войдите! — настойчиво повторила мать.

В комнату нерешительно вошел мой дружок Мамикон. Закрыл за собой дверь. Поздороваться забыл. Замялся. Казалось, он хочет свернуться, спрятать свое маленькое незрелое тело в невидимую раковину... Хочет, но не может. Его худые смуглые ноги и руки торчали из одежды как спицы из вязанья, посаженная на тонкую шею курчавая голова застенчиво склонялась на плечо, глазные яблоки то и дело закатывались под тяжелые веки с длинными черными ресницами. Изящные пальцы ног подворачивались под узкие ступни, руки сжимались в неправильные, не годные для удара, кулаки...

— Здравствуй, Мамикоша! — мама подпустила в голос немного змеиной нежности. Она не любила моего дружка, потому что его дед занимал когда-то более высокое положение в советском обществе, чем ее отец.

— Здррасте, Раисса Марковна, — прошептал Мамикон, покраснел и опять попытался заползти в раковину. Мама вытащила его оттуда критическим взглядом, как крючком, осмотрела с головы до ног и деликатно поправила воротничок его неглаженной ковбойки с короткими рукавами. После этого посмотрела на меня. Холодно и устало.

— Полтретьего в столовой, искать тебя больше не пойду... Останешься без обеда. Только здоровее будешь. Одиннадцать лет, а толстый как гиппопотам... Раскормила бабушка внучка...

— Буду, как штык, честное ленинское!

Для того, чтобы выпроводить Мамикона из комнаты, мне потребовалось взять его за плечи, слегка приподнять и дать ему легкого пинка. Пинок не остался незамеченным мамой, которая послала мне в вдогонку строгий взгляд. Как снаряд из пращи. Этот взгляд я почувствовал спиной, согнулся, стартовал, надал, пролетел коридор, холл с медными богатырями-чеканками на входе в дом отдыха и всю трехсотметровую аллею, ведущую к парку, как истребитель на бреющем полете. Затормозил только у небольшого клеверного поля.

Вытер пот со лба. Вдохнул полной грудью. Воздух пах сладко и остро — клевером и ромашками. Уши чесались от стрекота насекомых. Парило.

Мамикон появился когда я уже разложил на пенке принесенные с собой орудия казни. Пустую стеклянную банку с пластиковой крышкой, обломок коричневой пластмассовой расчески и большое увеличительное стекло в черной оправе, с кривой подвижной рукояткой.

Мамикон посмотрел на меня робко, прижал обе руки к впалой груди, и прошептал: Пойдем ловить?

— На ромашках и на кашке бомбовозов много! Перед грозой налетели... Сладенького перехватить... Давай!

Бомбовозами мы называли особенно толстых шмелей, ноги которых были густо покрыты прилипшей к ним пылью. Как будто они носили розово-желтые махровые гетры.

— Мне немножко страшно. А если ужалят?

— Ты, Мамик, как говорил Миклухо-Маклай, пока его аборигены не съели, — не бди по пустякам! Если ужалят, жало вытащим пинцетом. Яд высосем. Самцы вообще без жала. А самки злые. Нажрутса нектара и кусаются как собаки.

Мамик боялся шмелей и ос. Боялся собак и других детей. Боялся своей царственно красивой матери-армянки, Галатеи Арушановны. Даже дышал на людях осторожно, тихо, чтобы не обращать на себя внимание... Однажды чуть не умер из-за того, что постеснялся высморкаться. За обедом в столовой дома отдыха. Ерзал, ерзал на стуле. Кривил нос и губы. Ничего не помогало. Покраснел, прослезился, закашлялся беззвучно, попытался проглотить ушедшие в дыхательное горло сопли,

но не смог, задергался, перестал дышать, выпучил глаза и начал синеть... Галатее Арушановне достала носовой платок, приложила к губам сына и легонько ударила его по загривку. Мамик харкнул, сморкнул громко и истошно. Но задышал. Мать вытерла ему платком лицо и сказала спокойно: Пойди умойся и вычисти нос! Мамикон ушел. В столовой в тот день он больше не появился, потому что боялся насмешливых взглядов свидетелей своего позора.

— Давай, Мамик, бери банку, бомбовозы заждались, слышишь как жужжат — в баночку просятся, понюхать табачку...

Мамикон взял банку. Попытался преодолеть страх, сжал челюсти. Лицо его от волнения как-то не по-детски потемнело, кожа стала почти фиолетовой. Восточные глаза сияли как янтари на солнце — его, как и меня, влекла сладость убийства.

Убийства, задуманного и организованного нами, великанами, состоящими из кожи, мяса и костей. Мы белые. Толстые. Мясные. У нас чувствительная тонкая кожа. По нашим жилам течет красная кровь. У нас влажные живые беззащитные глаза. А наши жертвы, шмели — страшные летающие роботы из легкого черного металла. В их гадких телах противная бесцветная жидкость, похожая на помойную воду в ведре нянечки. Они неприятно жужжат. Смотрят на нас своими темными лакированными фасеточными глазами, собирают нектар для прокорма своих отвратительных личинок, жалят нас длинными гладкими как кинжалы жалами...

Ловить шмелей легко. В правой руке у ловца стеклянная банка, в левой — пластиковая крышечка. Сидит шмелюга на цветочке, нектар собирает, хлопчет, все обхаживает, все ощупывает... И ты его справа и слева аккуратненько, баночкой и крышечкой — хлоп, и вот он уже внутри банки, жужжит, жужжит, а выхода-то нету.

Ловить и закабалить другие существа — первая и главная потребность человека. А вторая потребность — мучить и убивать. Тут проявляется, как сказал бы знаток этих дел Достоевский, сладострастие чистое, убойное, бесконечное... Голливуд!

Одного бомбовоза мало, надо десяток поймать, да пожирнее, помохнатее. И еще пару бабочек, несколько ос и пчел. То

гда банка, как Ноев ковчег, жужжит, скрежещет, движется в руках... Это также приятно ловцу, как беременной женщине приятно чувствовать внутри себя толкающегося ребенка.

Потом можно, не торопясь, достать увеличительное стекло и начать прямо через банку жечь насекомых. Прижигать. Дырявить. Убивать.

Сфокусируешь лучи на черной металлической, опушенной темным мехом, шмелиной плешке. Шмель попытается уползти от жгучего солнышка по стенке банки или улететь, ему больно, а ты его догонишь и печешь, печешь ему шкуру. А от нее дымки в разные стороны прыщут... Слышно легкий хруст. Сладко! Только воняет все это противно. Палеными ногтями.

— Давай, давай, Мамик, смотри, вон там бомбовоз полетел, сейчас сядет и начнет жрать... Лови, лови его, гада членистоногого!

Мамик дернулся и побежал. К цветку подкрался мягко, как кошка и тут же захлопнул шмеля-бомбовоза в банке вместе с цветком.

— С цветком нечестно! Кашку выброси вон, но так, чтобы бомбовоз не удрал.

— Неее могу, боюсь вылетит, и семь раз больше обычного ужалит. Он же разозлился! Как бы крышку не прокусил!

Мамикон протянул мне банку и посмотрел на меня жалобно, как испуганная собачка. Про себя я так и звал его — «собачка Мамик». В то лето он ходил за мной, как на поводке. Прилип. Отвязаться от него было трудно. Грубость он прощал. Побои тоже. Покровительства и защиты не требовал. Мамик был меня на два года моложе, поэтому его преданность не льстила мне, как это было бы со сверстником, а злила.

В перерывах между шмелиной охотой мы боролись. Вначале стоя, а потом и на земле. Густая трава клеверного поля служила нам ковром. Я сжимал руками его тощее слабое тело, Мамик не только позволял мне жать себя, но и сам прижимался ко мне низом живота. Терся и ласкался, как щенок, скорее всего, не понимая, что это против каких-то правил... Против его и моей природы. Боролись мы долго. В борьбе возбужда-

лись. И начинали друг друга кусать. Это было еще приятнее, чем тереться и жать. Почувствовать между зубами живую плоть. И кусать, пьянея от безнаказанности и взаимности. Страдать и мстить за страдание. Кусать руки, бедра, живот, потеряв всякий стыд, забыв о заповедях приличия, о настырном мире взрослых, кусать до кровавой пены во рту...

Я взял банку из рук Мамика, открыл ее, вынул двумя пальцами цветок, выкинул его и в броске поймал вылетевшего из нее бомбовоза. В благодарность получил от Мамика томный влюбленный взгляд. Кинулся в погоню за другим шмелем, выследил его и поймал. Потом поймал двенадцать его сестер. Затем — коричневую бархатную бабочку с глазками на крыльях, две пчелы, летучего жука с длинными ногами и огромного красноватого кузнечика... Передал банку Мамику. Он долго бегал за маленькой желтобрюхой осой, которая не собирала нектар, а, тонко звеня, замирала в одной точке над цветком. Как спутник на стационарной орбите. Наконец, поймал ее и отдал банку мне. Я заметил, что у него дрожат руки, неестественно часто моргают глаза. На его темно-синих шортах вырос маленький холмик.

Я спросил: Кого будем учить? Длинноусых прямокрылых или перепончатокрылого бомбовоза?

— Давай кузнечика отпустим, он не злой, у него жала нету... И жука...

— Сможешь сам?

— Нет, боюсь шмели вылетят и ужалят.

Вынуть из банки, полной злобных шмелей, ошалелого кузнечика было труднее, чем выкинуть ромашку. Но я смело взялся за дело — слабость моего дружка придала мне куража. Перевернул банку крышкой вниз и осторожно, прямо у земли, открыл ее. Летящие насекомые оказались наверху, а кузнечик и жук упали на землю. Умный жук сразу уполз в щель. А глупый кузнец скакнул неловко, ударился о верхний край банки, упал, закопался... Одно ловкое движение — и он тоже был свободен. Кузнечик тут же прыгнул прямо на своего спасителя. Сел Мамику на рубашку, а потом еще раз скакнул, расправил в прыжке крылья и полетел.



— Саранча! — закричал Мамик и сжался.

Мы сели, достали лупу.

— Ну что, Мамик, поучим черных роботов? Пусть узнают, что нельзя людей жалить!

— Пусть узнают!

— Пусть познакомятся с солнечным светом!

— Пусть...

— Перед тем как попасть в страну Жужжалию!

— Жужжалию и Ужалию!

— Околендию и Подыхандию!

— Окочурию и Протухандию...

Я дирижерским жестом прекратил каденцию и перешел к делу. Попытался сконцентрировать солнечные лучи на ползавшей по внутренней поверхности банки желтобрюхой осе. Оса уползала от луча, но я настойчиво преследовал ее. Нагнал и ужалил ее лучом в голову. Она упала, сложила крылья и скрючила лапки. Умерла. Потом я отдал лупу Мамику. Он попытался обжечь лучом пчелу, но это ему не удалось, он прожог дырку на ее крыле и передал оружие пытки мне. Передавая, чуть не выронил лупу и не разбил, так сильно дрожали у него руки.

Через полчаса почти все бомбовозы были измучены и убиты. Мой друг не отрывал все это время глаз от банки. Сопел. Забыв о стыде, жадно тер упругий холмик на штанах... Я решил закончить экзекуцию, направил лучик на маленький обломок расчески, все это время ждущий своей очереди в банке. Надо было постараться не зажечь его, а только сильно нагреть. Тогда пластмасса пускала ядовитый дым. Не удалось. Обломок вспыхнул и загорелся, а вслед за ним вспыхнули и оставшиеся в банке насекомые. Особенно ярко светила горящая бабочка. Она трепетала крылышками, пыталась спастись... Через несколько секунд погасло, в банке кончился кислород. Расческа перестала гореть и задымила, банка заполнилась молочно-серым туманом. Несгоревшие насекомые умерли. Я вытряхнул их на землю. Мамик взял в руки толстого обожженного шмеля. Рассмотрел его в лупу. Потом брезгливо бросил на землю.

Тут где-то рядом ударила молния. Истерический треск грома, распоровшего пространство как сухую ткань, казалось, порвал ушные перепонки. Мы побежали домой. За нами бежал дождь...

...

В следующий раз я увидел Мамикона лет через тридцать после того подмосковного лета. Встретились мы случайно на Октябрьской у кафе «Шоколадница». Мамик превратился в представительного мужчину, даже начал благородно сесть. Я не сразу его узнал.

— Простите, вас не Мамикон зовут? Угадал? Привет, Мамик... Как ты поживаешь, друг...

Мне показалось, что он дернулся, но быстро овладел собой. Узнал меня сразу, крепко пожал руку.

— Женился, защитился, собираюсь в Женеву, пригласили... Профессорствовать...

— Умница!

— А как ты? Достиг просветления?

Я в студенческие годы увлекался буддизмом.

— Еще нет, все еще ищу свое дерево Бодхи... В Битцевском лесопарке...

В конце разговора, я очень осторожно напомнил ему про шмелиную охоту. Мамик наморщил высокий ученый лоб, попытался вспомнить, но не вспомнил...

## О, ДЖОННИ

Практика... Полтора месяца в дружной компании кретинов! Одни оглоеды и чуркодавы на курсе. Понабрали в геологи лосей...

С теодолитом по лесам таскаться! Как почтальон Печкин. Пыль, грязь... Палатки на восьмерых. Комары-мухи. И на десерт — скоты эти, Гуси и Лебеди.

Жратва как в Хиросиме. Если бы не милая Би-Би и не дикий Гоша с его приколами, давно бы слинял. Или закосил бы... Врачихе нашей факультетской, Рябине Моисеевне макарон бы на уши навешал. С раками. Так и так, мол — сердечник. Стенокардия... Приступы терзают. Не хочу помирать в молодые годы! Хоть бы тачку какую изобрели! Я вам не араукан, на горбу треноги таскать. Каменный век...

Последний прикол: Гоша насвистел нашему повару, Миняю, что с закрытыми глазами найдет и съест все шестьдесят сосисок, отпущенных на обед отряда. Миняй в людях не разбирается — не поверил. Заключили пари. Миняй поставил на кон две поллитры и пять банок вареной сгущенки. Гоша, как всегда, ножик свой перочинный. Немецкий. Похожий на рысь в прыжке. Хороший режим. С ножницами, щипчиками, отвертками, пилой и зубочисткой из слоновой кости. Советский ширпотреб такие делать не умеет.

Миняй уже облизывался на ножик, как кот на вареную курицу. Условия пари выполнил. Сосиски сварил и выложил на подносе, вроде как патроны — одна к одной и в кружок. А в середине банку горчицы поставил, эстет херов, открытую. И все это хозяйство у самых нужников на валун положил, на тот, который на жопу слоновью похож и лежит здесь наверно с четвертичного периода.

А Гоше глаза завязали, покрутили и в лес увели. В другую сторону, от слоновьей жопы подальше. Отпустили — за оврагом. Оттуда до лагеря минут десять топать.

Первые минуты он плутал, об березу лбом треснулся. Ничего не случилось. С березой. Она даже не сломалась, хотя и треснула. А Гоша прислушался, ноздри раздул как паруса, крикнул, воздуха втянул — на дирижабль бы хватило...

Дальше, не знаю, или он музыку из лагеря услышал, крутил тогда радист тридцать раз в день у себя в радиорубке «Back in the U.S.S.R» или и вправду сосиски учуял и верное направление взял. Попер через лес как боевая машина пехоты. Овраг форсировал как Суворов Альпы. Ручеек вброд перешел. Не зря Гоша говорил: Я микояновские сосиски с горчицей и за сто километров унюхаю. И с завязанными глазами жрать приду. Без биноклей и теодолитов. Тут вам, ханурики, воля к жизни, а не геодезия и картография.

За ним в лесу просека осталась. Ограду протаранил, ковыбку порвал, на лагерную аллею вышел весь в репейнике и крапиве, страшный как динозавр, наткнулся на гипсовую статую пионера с горном, матюгнулся, пропер до нужников, прошел, злодей, как по компасу, прямо к четвертичному периоду, опустил морду как конь, заржал, щеками небритыми сосиски потрогал, языком своим оленьим горчицу прихватил и начал есть... Как и условились — без рук, по-волчьи. Жрал, жрал, жевал, жевал. Мы боялись, после сорока штук сблюет, лопнет или околеет, а он за пять минут все шестьдесят срубал. И горчицу выел как моль.

Повязку ему сняли, руки развязали, он зарычал и тут же у Миня водку и сгущенку потребовал. Сгущенку — дамам подарил, как джентльмен. Одну бутылку водки в карман засунул, другую откупорил своим чудоножиком и высосал всю тут же из горлышка. Потом рыгнул и спать ушел, а замеры за него в тот день другие делали. А дураку Миняю пришлось в обед перловку с мясными консервами варганить. Кушанье в миняевском приготовлении непотребное.

...

Играли в пинг-понг. Я разыгрался как Летучий голландец, гасил и резал как мастер. Выиграл семь партий подряд. И ушел непобежденным, уступил ракетку Жу-Жу. Би-Би подошла ко мне, посмотрела кокетливо и сказала: Класс! Вы, Джонни, хоть и маленького роста, но темпераментный... И интересный. Когда гасите — как будто шпагой делаете выпад. На Олега Даля похожи. Вам надо побольше себе доверять и поменьше Гусева и Лебедева слушать...

Би-Би не права. Не слушаю я их, они сами ко мне липнут.

Небось, влюблена в этого Даля. С полгода назад видел его живьем. Сподобился. В сто восьмом на Ленинском. Глаза — злые, лицо — пергаментное какое-то. Вылитый Печорин. Посмотрел я на него, улыбнулся приветливо и интеллигентно, а он на меня мрачно глянул и спесью как кипятком обварил. Потом брезгливую мину скорчил, вздохнул и отвернулся. Как будто он и впрямь Печорин, а я вроде как Грушницкий.

Ответил Би-Би: Я Гусей-Лебедей не слушаю, чего их слушать, они пернатые. Как механические пианино, имеют в запасе только одну мелодию.

Би-Би удивилась моим словам. Здорово это я про механическое пианино придумал, не к месту, но убедительно...

...

Дождь сегодня с утра зарядил. А за мной в обед черная папашина волга приехала. Фролу отец загодя позвонил, извинился, попросил отпустить. Фрол растаял и разрешил. Ездили к закройщику, на примерку. В ателье у метро Пролетарская. До универа ехать часа полтора, потом еще через весь город переть... Шьет там один жук отцу и мне замшевые куртки. Отцу из импортной, бархатной хрюшки. А мне из нашей грубой советской свиньи. Приталенные, модные. Королевская одежда! А Гоша говорит — это только для конюшни хорошо, когда замша.

Назад меня привезли уже после отбоя. В нашей палатке никто не спал. И девушки сидели. Чай распивали. Сгущенку гошину на белый хлеб мазали. Раскина на гитаре брэнчала. Свою любимую. Этот город называется Москва... трата-та трата-та... а она стоит как девочка чиста... Поганая песня...

Видел по глазам — все мне завидовали. А я, ничего, сделал вид, что мне все равно. Как Печорин. Приятно, когда завидуют.

Би-Би не выдержала, спросила, куда это меня на черной волге возили. Я и расписал... Загнул, что к послу американскому папашу с семей приглашали. Насвистел, что лакеи там в крокодиловых шапках и бегемотовых штанах, а приборы за столами — платиновые... Поверила. У нас всему верят. У Жу-Жу и Раскиной глазки сверкали. Все меня подробности выспрашивали, только Гусев и Лебедев молчали и перемигивались. Скалились как псы и желваками играли. Что-то они мне готовят.

...

Утром, на линейке, получил я их подарочек.

Стояли мы все на этой идиотской аллее пионеров-героев. Перед нами — трибуна, на ней Фрол, замполит наш, Гниломедов, по прозвищу Ганимед, толстенький такой свин, и еще кто-то. За трибуной — Ленина портретище, метра три на четыре, ну этот, который в светлом пиджаке, и таком же галстуке. Откуда на него ни глянь — он тебе в глаза смотрит. Язвительно так. Как будто сказать хочет: Ну что же вы, товарищ Пичухин...

Ганимед нам про пионеров-героев рассказывал. Туфту гнал жуткую, как и положено. Пораспинался и с трибуны сошел. С флагом этим мудацким. Когда мимо нас проходил, важный как индюк, толкнули меня Гуси-Лебеди в спину. Да так ловко, что я прямо на знамя и брякнулся. И вместе со знаменем в лужу бултыхнулся. И Ганимеда грязью обдал. И сам испачкался жутко и знамя запачкал. Когда поднимался, заметил, что и Жу-Жу и Раскина и даже Би-Би хихикали противенько. А что тут смешного? Толкнули они меня, понимаете, толкнули! А за завтраком Лебедев разговор о благе начал.

Сказал: Некоторые бластные по посольствам разъезжают, когда мы тут в палатках киснем, думают, наверное, что весь мир к их ножкам положен, а мы им докажем, что это не так. Что есть справедливость. Скоро докажем.

А Гусев добавил: Таким надо могилки стекловатой выкладывать.

Что же они еще придумали, скоты? В грязи меня уже искупали. Буду настороже. Тупые они, как все рабфаковцы, но злые. Лебедев — из Иванова родом. Вроде даже женат. Жена у него, говорят, в зоне «Б», в рыгаловке тарелки моет. Гусев из Краматорска. Темный человек. Оба без жилья, общежитские. Понятно, за что они меня ненавидит. Москвич, квартира на Кутузовском, шмотки, волга, снабжение.

...

К ненависти населения мне не привыкать. Помню, отдыхал я в мидовском Доме отдыха. Было мне тогда 15 лет и был я влюблен в чудесную девушку, студентку первого курса истфака. Забыл, как звали. Из-за того, что она была меня старше и умнее — стеснялся я страшно всего. Боялся осрамиться.

Нашли мы в старом парке скамеечку заброшенную. Со всех сторон — густые кусты. Пришли туда в сумерки. Сели рядышком, беседуем... И друг другу в глаза посматриваем.

Обнял я ее, притянул к себе и осторожно поцеловал в губы. Она закрыла глаза. Казалось мне — земля под нами превратилась в ночное море, а небо — во влажную раковину, поблескивающую разноцветными перламутрами.

Тут из густых кустов донесся странный звук. Как будто пёрнул кто-то. Потом еще раз, погромче. Я окаменел. У моей девушки от ужаса волосы дыбом встали. Тишина. Подумал — мало ли чего в ночью парке не услышишь, может ветка хрустнула или щегол какой икнул... Успокоились, опять целоваться начали. Опять море, перламутры.

И тут вдруг — кто-то снова нагло и громко пёрнул. А другие стали мочиться, чуть не нас. Можно было даже разглядеть янтарные струи. Кто-то сел опорожняться... Жопа белела на фоне темных кустов... И не одна... Со всех сторон. Струи, жопы, пердёж. Хохот и визг.

Я растерялся. Подружка моя покраснела, побелела, вся сжалась, бедненькая... Через пять минут все стихло. Мы ушли из парка, а через три дня разъехались. Но еще до моего отъезда знакомый деревенский парнишка рассказал мне, что это

были не черти рогатые, а местные ребята. Хотели «поднастрять сынку дипломата».

...

На замеры пошли. Мне выпало ящик с теодолитом тащить. Жара была! Парняк, как в Камеруне. Тени нет. Ни одна веточка не дрогнет. Даже сверчки замолкли — стрекотать устали, поганцы. Я майку снял. Ко мне Лебедев подошел и так незаметно меня за грудь ущипнул. Шепнул в ухо: Пойдем, Джонни, в лесок, а...

Я его потную ручищу от себя отбросил. Проговорил автоматически: Отстань!

Лебедев ухмыльнулся грязно. Надо было ударить его! Ну, не могу же я драку на съемке начинать! Никто его руку не видел, он специально так повернулся, гад, ко всем задом... И Гусев его подстраховал. Подумали бы, что я психованный. Из универа бы отчислили.

...

Разрешил нам Фрол полчаса отдохнуть. Разложили ветровки под дубом, залегли в теньке на травке и заснули. Лебедев пытался голову свою нечесаную Би-Би на живот положить — она, молодец, не дала, и что-то резкое ему сказала. Он отлез.

Мне кошмар приснился.

Все вокруг так, как будто я не сплю. Дуб, поле, теодолит, нивелир. Местность та же и жара. Никого нет, один я работаю. Определяю величину превышения. Колышками рейку закреплю и к нивелиру бегу. Начинаю замерять, и вижу в трубу как рейка падает. Потому что ее Лебедев толкнул. Толкнул — и исчез. Опять к рейке бегу, креплю и назад, к нивелиру. И опять, появляется Лебедев, толкает рейку и исчезает. Падает проклятая рейка.

Смотрю в трубу, а вижу не местность, а картинку, как в калейдоскопе детском. А вместо цветных стекол там — ухмыляющиеся рожи. Кого? Глупо спрашивать — Гусей-Лебедей.

И вот уже я в Москве, на ярмарке у Лужников. Лет шесть мне всего, отец меня за руку ведет. Я прошу: Па, купи мне волшебную трубку со стеклышками!



А он отвечает: Некогда покупать, на стадион не успеем, сам видишь, птицы уже прилетели, пора и нам места занимать.

И тащит меня через ярмарку. Прямо к стадиону. И вот, мы уже на трибуне сидим. Внизу — поле, а над ним — птицы летают. Туда-сюда мелькают. Много-много птиц.

Отец говорит: Смотри, смотри, сейчас большая кормежка будет, а потом Спартак и Локомотив в полуфинале встретятся.

И вот, вывозят рабочие какие-то на поле громадный железный ящик. С пять автобусов. Открывают его. А там трупы лежат в навал. Птицы корм увидели и на трупы надели. Давай клевать. Вся стая села. А рабочие ящик захлопнули. Страшно заревел стадион. Потряс небеса громом рукоплесканий. Ящик утащили, а на поле вместо футболистов Спартак выбежал... Ну тот, из фильма, с мечом. А потом и Локомотив появился, только не команда, а настоящий, железнодорожный, с мордой как у кузнечика. Жуткий такой. Язык высунул длинный, медный. И давай на Спартака наступать. А Спартак его по языку — мечом. Стадион орет: Шайбу! Шайбу!

На поле выкатывается здоровенная черная шайба. У нее два зеленых глаза и страшная зубастая пасть... Шайба растет, растет, не видно уже ни Спартака, ни Локомотива, ни стадиона, только глаза ее зеленые смотрят на меня сверху, с неба.

Проснулся я, а надо мной Лебедев склонился, рожу свою прыщавую кривит, ухмыляется. Говорит тихо: Пойдем, Джонни, в лесок, подергаемся.

Я отпрянул от него и сказал громко: До чего же у тебя харя жуткая, Лебедев, сними противогаз!

Но никто почему-то не рассмеялся. Би-Би посмотрела на меня с тревогой. А Лебедев ничего мне не ответил, только усмехнулся, глаза прищурил и желваками заиграл.

...

Пришли в лагерь, а палатки нашей нет. Койки стоят, на них палатка грязная валяется. Нам рассказали — Гоша очередное пари выиграл и опять у Миняя. Поспорил, жмот, что несущий столб у палатки перегрызет. С завязанными руками и ногами, лежа. Его связали и у столба положили. Думали, по-

духарится и остынет. Ушли. Через час пришли — палатки нет, а под брезентом Гоша ворочается и Миняева зовет. Перегрыз, злодей, столб как бобер! Миняй даже испугался — с Гоши-то какой спрос. Гоша человек известный. Пришлось Миняю Гоше еще одну бутылку ставить и просить его дерево срубить подходящее.

К вечеру палатка стояла, а Гоша с Миняем скорешились, перепились и купаться на водохранилище пошли. В час ночи будит всех Миняй. Кричит как иволга: Помогите, спасите, Гоша в водохранилище потерялся, может и утон!

Оказывается, они лодку отрядовскую увели. На цепи которая. А цепь — на замке. Сколько раз просил Фрола дать ключ, с Би-Би по водохранилищу покататься. Ни разу не дал. Запрещено студентам, инструкция! У нас все запрещено!

Замок Гоша камнем сбил. Сели в лодку и уплыли.

Плыли-плыли и вдруг Гоша потерялся. Трех студентов покрепче послал Фрол его искать. Плавали они полночи на лодке, искали Гошу среди сухих деревьев. Тут их много из воды торчит. Говорят, где-то и церковь под водой видно, с крестом. Затопили все к черту, вместе с деревьями.

Утром Гоша объявился. На милицейской машине. И, что удивительно — с сержантом подружился, артист. Рассказал, что он из лодки нырнул от «тоски» и водохранилище переплыл. А затем в Бородино направился. А там с ним якобы произошло «сражение».

— Переплыл я этот сраное Можайское море как не фигу делать. А потом... Бородинскую диораму посмотреть захотелось! Шевардинский редут и Багратионовы флешы, мать их за ногу! И я пошел как есть в плавках, босой. Через час достиг поля и обозрел его в свете Луны. Подошел к музею. Закрыт, собака. Ну я немножко там покричал. Сторож-дед притащился, начал хамить. Потом, поняв мой бескорыстный научный интерес, и дверь открыл и диораму показал. Приволок пузырь. Сели мы прямо в диораме... Как Наполеон и Кутузов. И пузырь раздавили. Дед закосел, и меня повело, блядь, как на танцах. В пузыре жидкость была страшная, приводящая в изумление... Керосинили мы часа три, дед в милиции говорил, что я Дени-

сом Давыдовым представлялся, декламировал «В дымном поле, на биваке, у пылающих огней...» и начал французов на диораме деревянной саблей крушить. Штрафанут наверно. Отпустили под честное слово, что из лагеря никуда. Мусора тоже не все звери. Отнеслись с пониманием.

...

Сегодня утром забил меня колотун. Тридцать девять и две! Отселили меня в карантинную палатку. Врачиха из Можайска приезжала. В пасть лазила, гланды смотрела. На язык нажала, я чуть не сблевал. Ангина. Полосканье, стрептомицин. Фрол спрашивал, позвонить ли отцу. Я сказал — не надо, отлежусь. Попросил Гошу мне бутылочку портвагена достать. Он к продавщице в сельмаге подкатился. Та отпустила. Вечером, когда все заснули, откупорил я бутылку, раскрыл в кружку две таблетки аспирина, залил портвеём, добавил маленько гошиной водки, помешал и выпил. Вначале по телу судороги пошли, перед глазами ослиное копыто встало, потом полегчало. Встать захотелось и по верхушкам деревьев побегать. С сосны на сосну...

Но я бегать не стал, сел только на кровати. И вижу — не в палатке я, а в комнате какой-то странной, цветной. В оранжевой? Нет, скорее в бежевой. Или... В цвет портвейна. И валяются в этой комнате мешки и свертки разные. Здоровые, не в подъем, средние и совсем маленькие, с наперсток. А между свертками лежат всякие старинные предметы. Бочки, чемоданы, пишущая машинка, фотоаппарат. Карты с непонятными фигурами. Домино. Старый дырявый глобус, несколько больших увеличительных стекол в роговых оправках с изящными изогнутыми ручками, латунные аптекарские весы, сито... Всего не перечислишь. В руках у меня, сам не знаю откуда, фонарик. Что-то сказало во мне — встань и ищи. Я встал и искать начал. Фонариком свечу и ищу. Что ищу? Не знаю. Открыл большой пыльный чемодан. Там старые игрушки, безрукие куклы, два ржавых вагона от детской железной дороги, губная гармошка, карандаши, будильник, открытки с тетками какими-то. Посмотрел, надоело. Раскрыл мешки. В некоторых зерно хранилось, а в других — вроде шерсть или лен, черт его

знает. Какие-то мотки, шкурки, нитки, прялки... Пересыпал долго зерна из руки в руку, щупал шерсть. И все мне казалось, что не один я в той комнате, а много нас, одинаковых, и все мы что-то ищем. Схватил один такой длинный кусок шелка. А другой тот же кусок взял, только с другого конца. И давай они шелк каждый на себя тянуть. Тянут. Сопят, слюной брызжут. Присмотрелся я к ним — ба! Это Гусев и Лебедев, только одеты как-то странно, в кожаные пальто с поясами, в буденовках.

Жутко мне стало. Открыл я одну бочку, влез в нее и крышкой изнутри закрылся. Чтобы как в детстве — домик. На внутренней стенке — забавная картинка. Старуха гадкая в зеркало смотрится, а зеркало красотку показывает. Рядом лежит огромная лягушка, ноги расставила, а аист ей клювом прямо туда. Тут фонарик у меня погас.

Проснулся я в карантине и долго бочку искал. Очень уж на картинку посмотреть хотелось.

...

Би-Би меня навестила. Хорошая. А Жу-Жу и Раскина даже не заглянули. А ведь мы год назад целых три недели с Жу-Жу женихались. В загс даже ходили, с родителями знакомились. И с Раскиной всякое было.

Би-Би мне груши принесла и ягоды из леса. Голубику. Жаловалась мне на Гусева и Лебедева.

— До сих пор от стыда красная. Сначала одно, потом другое. Вы, Джонни, наши туалеты знаете. Они и сами по себе — опасность для жизни. А тут еще и солдаты проклятые из части заглядывают. И всегда в женском отделении сидят. Там чище. Не стесняются даже. Забежала сегодня, хорошо штаны не успела стянуть — сидит солдат. Вышла, пошла в лесок. Ну да, в березовый. Отошла метров двести. И чудится мне — кто-то за мной идет. Сучья трещат где-то сзади. И смешок вроде слышала... несколько раз... Уж не солдат ли за мной увязался? Как только обернусь — все тихо. Дальше иду — треск и смешок. Бывает такое в лесу. Извините за подробности, Джонни, села я. На ветку какую-то рукой оперлась. И вдруг — из-за березы две рожы высовываются. Ну, наши дураки — Гусев и Лебедев. Нагло так. Глазенки выкатили. Я схватила корягу какую-то и

по мордам их хлестнула. Ушли. Я Фролу Андреевичу пожаловалась. Он, видимо, с ними поговорил. Подходят на съемке ко мне гаврики и заявляют — мы тебя не выслеживали, сами пописать пошли, глядим, — рядом с нами сидит кто-то. Мы и не поняли, кто, что.

— Врут они, прекрасно они все разглядели. Надо на них Гошу, что ли, натравить. Он им кости переломает.

— Гошу попросить можно, он мой земляк... Из Челябины, кажется. Ха-ха.

— Почему вы засмеялись?

— Вспомнилась школа. Читали мы на перемене «Челябинского рабочего» чтобы повеселиться. «В нашем районе растет поголовье скота из-за своевременного опоросения городских свиноматок, проводимого партийными органами».

— Би-Би, а вы сны видите?

— Так, чепуха какая-то снится. У меня на месте подсознания — палеонтология беспозвоночных. Бентос, нектон и планктон.

— Это можно есть?

— Вы проголодались? Хотите, принесу что-нибудь? Миняев сегодня плов сготовил. Съедобно!

— Спасибочки, вы лучше меня поцелуйте...

— Меня в Тбилиси жених ждет...

— Как же вы, восточная женщина, на Урале оказались, да еще и в Златоусте?

— Как-как? Сослали туда деда с бабкой. И родители там остались.

— Подождет жених! А что это за фамилия Бибиканидзе?

— Фамилия как фамилия. А вот как насчет Пичухина?

— Белорусская фамилия. Была у меня прабабка Пичуха.

— И дед Пичух?

Долго трепались. Потом Би-Би сказала, что поцелует меня, когда я выздоровею. И ушла. Милая. Интересно, она грузинка или армянка? Узкое лицо. Смуглая. Губы красивые. Ноздри — как у породистой лошади. Лоб большой. Начитанная. Пальчики длинненькие. Колечко с агатом.

Вечером опять волжанка прикатила. Отец антибиотик прислал. Из Кремлевки. Американский. Рондомицин. Позволил таки Фрол. Перед сном принял капсулу.

...

Как рукой сняло ангину. И полоскать больше не надо.

На линейке Би-Би меня поцеловала. Жу-Жу посмотрела ревниво. Ткнула в бок Раскину и начала ей что-то в ухо шептать. Гусев и Лебедев переглянулись и захихикали.

После линейки я сжал кулаки и подошел к ним. Лебедев ковырял прыщи на носу. Гусев кусал ногти. Нашел в себе силы выговорить твердо: Наблюдатели! Астрономы под юбкой! Говно вы прыщавое!

Лебедев как будто обрадовался, усмехнулся. Прошипел: Что, карлик, пиздюлей захотел? Отвесим, по полной программе, не сомневайся, заебьшь!

Гусев добавил: Выстелим тебе могилку стекловатой, мангуст ты потрошенный!

Драку, однако, не начали.

Я стоял на месте, потный от бешенства. Гусев сорвал травинку и стал жевать. Лебедев показал мне, что хочет меня между ног лапнуть. Я отошел. Поперли на съемку.

...

За обедам они плеснули мне в лицо рассольник. При всех. Фрола с Ганимедом только за столом не было — уехали в Можай... Вместе плеснули. Обварили мне щеку, губы и руку. Я вскрикнул от боли. Лебедев прокудахтал издевательски: Ах ты опаньки, лилипутик губки обжёт!

Гусев только ослабился.

Я вытер лицо и штормовку полотенцем и вышел из столовки. К палатке пошел. Из столовки за моей спиной — не доносилось ни звука.

Гоша, как всегда, дрых. Ножик его лежал на тумбочке рядом с койкой. Я взял его, вынул длинное большое лезвие, и пошел обратно в столовку. Руки у меня вспотели, ноги походтели, но на сердце было почему-то спокойно и радостно. В голове качался маятник, а время встало, как секундная стрел-

ка на сломавшихся часах. Не спеша шел я к столовке. Со стендов на меня смотрели пионеры-герои.

Валя Котик держал в крепкой руке противопехотную гранату и пулемет. Из этого пулемета он только что убил немецкого офицера.

Зина Портнова, отравившая немцев в офицерской столовой, широко открыв базедовые глаза, хватала пистолет отвернувшегося эсэсовца. Сейчас она застрелит его. За это ей отрежут уши и выколуют глаза...

Леня Голиков, убивший 78 немцев, в том числе генерал-майора инженерных войск, которого он преследовал, догнал и застрелил, навел на меня автомат Шмайсер.

Галя Комлева застенчиво поправляла платок.

Передо мной был вход в столовую.

Я прочитал зачем-то по слогам лозунг, висевший над крыльцом столовки — ВО-СПИ-ТА-ЕМ ПО-КО-ЛЕ-НИЕ, БЕЗ-ЗА-ВЕТ-НО ПРЕ-ДА-ННОЕ ДЕ-ЛУ КОМ-МУН-ИЗ-МА!

Погодал, что бы это значило «ком мун из ма». Какой такой мун должен выйти из матери? Выйдет мун из теплого чрева и куда он пойдет? Муны ведь всегда сироты. Идти им некуда...

В столовке было все так же, как и до моего ухода. Немая сцена.

Гусев и Лебедев все скалились. Би-Би подняла по-кавказски руки с растопыренными пальцами вверх. Рот ее был открыт и как-то странно искривлен, как будто она им ловила бабочку. Жу-Жу опустила голову на грудь, вцепившись руками себе в бедра. Раскина так широко раскрыла глаза, что казалось — они сейчас выпадут и упадут в ее миску с супом. Лицо Миня выражало удивление. Казалось, он хочет сказать: Вот это да!

У остальных почему-то смазались лица. А тела стали полупрозрачными.

Я был легок и подвижен как птичка. Подошел к Гусеву. Широко размахнулся и ударил его ножом в бок, под ребра. Три раза. Удивительно легко проникала трофейная темная сталь в

его тело. Лебедева я ударил в грудь. Чуть пониже кармана. Для справедливости — тоже три раза.

Потом положил нож на стол, сел на свое место, придвинул поудобнее миску, взял ложку, зачерпнул рассольник и поднес к губам. Сразу проглотить не смог, соленая жидкость нестерпимо пахла луком и несвежей говядиной. Когда все-таки проглотил, почувствовал, что маятник остановился, а время опять пошло. Закрутилась секундная стрелка как пропеллер.

Страшный гвалт ударил в уши. Вокруг меня был хаос — все бегали, прыгали, кричали. Как взбесились. Би-Би бешено хлопала в ладоши. Жу-Жу вскочила на стол и плясала. Раскина запела голосом Марии Каллас арию Тоски... Миняй танцевал в присядку, держа в руках огромную кастрюлю с супом. Радист вскарабкался на потолок, и трясся как эпилептик.

Гусев и Лебедев в этой вакханалии не участвовали. Они все еще сидели за столом напротив меня. Лебедев прижал обе руки к сердцу, как святой. Гусов — держался правой рукой за бок.

Я посмотрел на них повелительно и спросил: Я вас зарезал, почему вы не умираете?

Они видимо услышали меня и медленно сползли со стульев на пол.

Линолеум разошелся под ними, как треснувший студень, и их тела ушли в землю.



## АЛЯСКА

### 1

Всю ночь о словах Георгия думала.

Что захотел — на Аляску он поедет работать и меня с Любкой заберет в эту морозилку! Раньше все в Якутск собирался, теперь — за Берингов пролив. Говорит, не могу больше гнилые московские щи хлебать. На волю хочется. Подальше от Кремля и Старой площади, смердит...

Встала. Сердце давит, на душе тошно.

Хорошо, ни мужа, ни дочери дома уже не было. Поцапались бы как кошки.

Обида меня гложет! Не то обидно, что так рано на пенсию отправляют, обидно, что других не отправляют. Хрячиной — шестьдесят пять. Вечной нашей политинформаторше Авдотьиной — шестьдесят восемь. Пролеткиной пятьдесят девять. А мне пятьдесят семь всего. Девушка. Пять лет как докторскую защитила. Как моя умница дочка шутит, — ливерную, кусочками.

Дочка эта... Тридцать лет, семьи нет и заводить не хочет. И живет с нами. Ходил, ходил хахаль один, доцент с биологического, специалист по физиологии грибов. Про лишайники рассказывал очень интересно. Цветы дарил... Зажарила я как-то свежие опята с рынка — а он есть отказался, да еще обиделся почему-то...

Любка говорит — с папой не то что на Аляску, на Северный полюс поеду. Мне тутошняя голодуха и мутота обрыдли. Тут пока что поймут, тысячелетие проходит, а до тех пор, пока жить по-человечески станут, еще тысячу лет ждать придется.

Да... Обобрали меня на кафедре как липку.

Лекционный курс отобрали еще два года назад. Хоздоговор уже год как не продлевают. Сомов сам ездил к заказчикам, уговаривал, объяснял... На конференцию в Монреаль не пустили, хотя меня персонально пригласили организаторы. Меня-то пригласили, а завкафедры и его зама — нет. В результате, они оба туда ездили и мои результаты докладывали. Барахла навезли горы, а мне — колготки подарили с молодухой, черти старые.

Аспирантов моих так запугали, что они сами от меня к Скребневу перешли. Лаборанта Гужова, уволили за пьянство и воровство. Так ведь он пил и воровал и когда у Фрошмана работал. Один раз керосин в аэропорту продал, самолет взлететь не мог. Четыреста термометров разбил, подлец, чтобы из них спирт высосать. У меня ползарплаты украл из письменного стола. Правда, через полгода вернул.

Напивался Гужов до состояния риз и шел в морозильную камеру спать. Говорил, что «на холоде, очищается душа». Ватниками укрывался и дрых в ушанке, рядом с образцами. Руки у парня были золотые.

Электронный микроскоп Пролеткиной отдали. В университет марксизма-ленинизма три раза гоняли. В юбилейный сборник статью не взяли. А в конце еще делегировали в научный совет при Комитете по охране окружающей среды. А на закуску — отправили в Госкомиссию по БАМу.

...

В конце июня принимали. В ложбинах еще снег лежал. А под горячим сибирским солнцем — зеленело все. Красота. Просторы. От нежных листочков пар струился. Лимонницы порхали. Махаона видела божественного. Я букеты собирала, кору у березок гладила. А все остальные в комиссии пультку писали и водку жрали как дьяволы. На дорогу и не смотрели.

Об охране природы тут и не думал никто. Рядом с дорогой все разворочено, мазутом и соляжкой загажено, автодороги разбиты, оврагообразование началось на подрезанных склонах, скалы не укреплены...

Речки разливаются, которых и на карте нет, железная дорога из-за подмыва насыпи оседает как хромая лошадь. Мосты такие ржавые и хлипкие, что по ним и ехать жутко, некоторые шатаются как гнилые зубы. Несколько станций роскошных построили, а ни городов, ни поселков за ними нет. А где есть поселки — там нет людей, делать там после постройки дороги нечего. Мерзлота свое берет — асфальт трещит, здания корежит. Огород тут не посадишь, холодно, снабжения нет. Людей держит только то, что податься им некуда.

Медведей видела в заброшенном городке — искали звери корм среди сгнивших мусорных баков. А там только ржавое железо валяется, черные деревяшки вместо домов торчат, да старые поблекшие плакаты на покосившихся стендах как лохмотья висят.

БАМ — стройка века!

Десятки тысяч молодых людей с постоянного места жительства сорвали, миллиарды рублей старым, больным и детям не доплатили. Солдат нагнали.

Многие энтузиасты получили особый подарок партии — клещевой энцефалит. Сколько от него комсомольцев-добровольцев умерло? Говорят, каждый год — по полторы тысячи скашивало. Спросить не с кого. Жизнь человеческая тут и копейки не стоит.

А самая большая неожиданность на дороге — скорость. На многих участках можно, не боясь отстать, из вагона вылезти и цветы собирать. На всех южных склонах — желтяки и синюшки сплошняком.

Тут не принимать, а по-новой строить надо. Осматривала полотно после того, как товарняк проехал с рудой. Стыки разошлись. Болты из шпал повывлезли. Хоть ремонтную бригаду вызывай.

Не спеша подъехали к огромному горному хребту. Я уже приготовилась по тоннелю тащиться. С детства не люблю. Ан нет — главный, Северо-Муйский тоннель так и не пробили. И неизвестно, пробьют ли, тектонические разломы там, сейсми-

ка коварная. Радон. Полсотни людей там пульпой прибило. В семидесятые еще.

Поехали через перевал на автобусе. Не для слабонервных дорога. Автобус ерзал на мокром гравии как теленок на льду. Казалось — вот-вот в пропасть покатымся. Председатель комиссии, академик Ёлкин, трясся как осиновый лист. У его заместительши, Палкиной, истерика началась. Ёлкина коньяком отпаивали, а Палкиной глаза завязали. Обняла ее, а она, дура, хнычет: Мариночка, если я умру, позаботься о Машке, Павлику ребенка не оставляй, добейся, чтобы бабушке и дедушке отдали.

Обещала ей все, а она мне вечером официально заявила при всех: Вы, Марина Петровна то, что я там, на перевале говорила, в голову не берите, забудьте, это у меня нервы. Павел Сергеевич — примерный муж и отец... А у самой глаза испуганные, как у прибитого щенка.

Приняла тогда наша комиссия эти участки. А что прикажете делать? Перестройка-неперестройка, у нас все по-старому. Нас послали, чтобы мы подписали протоколы, мы и подписали. Напоследок Ёлкин нам сказал: Все понимаю. Хотите бороться? Боритесь. А я пас...

А дорогу МПС на баланс повесили. Пусть железнодорожники с ней дальше мучаются. На кой этот БАМ кому нужен? Возить там некого и нечего. Лёня давно в ящик сыграл. Денег на разработку новых месторождений нет. Порт в Советской гавани так и не построили.

Мне бамовское начальство чучело лисы подарило. И маленький кусочек рельса. С гравировкой — «Станция Гоуджекит».

...

На даче, сказали, цветами займешься...

Флоксы разведу. Душистые цветы. Радостные. Весь участок засажу флоксами. Пусть соседи носы зажимают. Картошку посажу. Надоела польская. Желтая какая-то. И на вкус — мыло. Морковку и укроп. Яйца буду у дяди Мити покупать. А молоко — у бабы Мины. Если она свою буренку не зарежет.

Не знаю, как до троллейбуса дотащилась. Старая кляча. Мениск на правом колене опять в сторону съехал. Повязку наvertела, а что толку. Сколько мне уже костоправы операцию предлагают? С тех пор как тогда с бревна упала. Вот же дура была — спортивной гимнастикой занималась! Сборы. Сборная. Соревнования. И что от всего этого осталось? Одни болячки. Хорошо шею не сломала как несчастная Леночка Мухина.

Главный спортивный врач Масальский запугивал — ходить не сможешь! Ничего, тридцать пять лет хожу. И еще двадцать пять протащусь, если Бог даст. И с сердцем — тоже самое. Консилиум в академической больнице. Профессор Лопатин. Без операции проживете три-четыре года, максимум пять лет. Двадцать лет уже живу. Потихоньку-полегоньку. А те, кого тогда резали, все в сырой земле.

...

Почему я вся дрожу? Георгий говорит — радоваться надо, что живая из этого змеюшника вырвалась. На заслуженный отдых... Руки трясутся и холодный пот по хребту. Как тогда.

Было мне восемь лет. Разбил в тот летний денек братик мой несмышленный, Баша, бюст Сталина во дворе нашего дома, на Авиамоторной. Прямо по гипсовой роже заехал. Камнем. Нос отбил и часть щеки. Весь двор видел. Многие тут же окна закрыли, чтобы на Сталина безносого не смотреть. Вечером мать и Биба ареста ждали. Башу выпороли. И мне под горячую руку досталось.

Биба выпил, а мать перед сном горячо молилась. На тумбочке у нас иконка стояла. На жести печатка «Божья матерь Казанская», дореволюционная.

В жуткой тишине спать легли. В нашей семиметровой комнате. Мама с Бибой на койке, а Баша и я, как обычно, — под столом, на матрасе. Я была девчонка вздорная, взяла эту иконку и к стене отвернула, схулиганила. Все заснули — мать сопит, Биба храпит, Баша-брат ворочается во сне, потирает больное место. А я долго не могла заснуть, страх меня терзал,

что без матери останусь. По хребту пот холодный, под животом — спазмы.

И вот, вижу я — открывается наша дверь и входит к нам в комнату какая-то женщина. В темном балахоне или плаще с капюшоном. Присела рядом с нашим столом и синий шелк от лица отбросила. И вижу я, что это сама Приснодева Мария к нам зашла. Носик прямой, губки точеные. Глаза огромные, на лбу — жемчуга... Посмотрела она на меня ласково и сказала: Не дрожи, девочка, все будет хорошо. Зачем же ты, Мариночка, меня к стенке повернула? Я хочу всегда с вами быть!

Улыбнулась мне как солнышко и ушла.

Не тронули нас тогда, но через три месяца из комнаты выселили. Мать лежала в это время в больнице. Плеврит у нее был гнойный. Биба на фронте шоферил. А меня с братом сердобольные соседи приютили. Дядя Петя и тетя Нюра. Однажды, когда тети Нюры дома не было, дядя Петя меня невинности лишил. Не стращал, не бил. Уговорил. Пыхтел, пыхтел, да так и не кончил.

Господи, прости мне мои грехи, лишь бы дочь и муж здоровы были. Помоги, помоги, Заступница сирых! Переведи все их хвори на меня...

...

Проводы на пенсию. Похороны без гроба. Все будут так сладенько смотреть — как на покойника. Я покойник и есть. Забывать все стала. Вчера забыла Георгию галстук повязать, — так без галстука и поперся в совет. Ученый секретарь. На Аляску он поедет! Тут бы до работы без инфаркта доехать...

Обступят и в лоб целовать начнут. Сомов, Скребнев, Тухманский, Фрошман, Удушкин... Профессора наши, жеребцы науки. Даже полумертвую боятся. Убили, выпроводили. Нет, будут жирными жопами юлить. Марина Петровна, вы наш лучший кадр, старейшая выпускница кафедры, третий наш доктор, автор классической монографии. А сами из нее главами крадут. И не ссылаются. Живую на куски растаскивают.

Даже консультантом не оставляют. У Удушкина руки за-  
тряслись, когда я про часы спросила. Чуть в истерику не впал.  
Семьдесят семь лет старику. Все настоящие мужики пять раз  
умереть успели. Этот живет и деньги копит. А ведь еще сту-  
денткой меня знал. Подкатывался. Мариша, какая у вас фи-  
гурка точеная. Заходите, Зайра Айзековна в Кисловодске...  
Чайку бы попили... Коллекцию вам покажу. Опалы из Казах-  
стана. Сам собирал. Медовые, оранжевые тона. Турмалины из  
Нуристана. Баснословные камни. Бразильские аквамарины.  
От нервных расстройств помогают. И белая рыбка есть.

Заливал, а глазами мне бедра ел. До сих пор слюни пуска-  
ет. А на защите бросил мне единственный черный шар. Секре-  
тарша по секрету рассказала. Сверху лежал бюллетень.

...

Все заранее знаю. Фрошман будет заикаться, картавить и  
ручку целовать. На здоровье жаловаться. А он здоровее всех  
нас. Бегун на длинные дистанции. Услышит что-нибудь в по-  
луха или подсмотрит в полглаза, а через неделю готовую ста-  
тью несет. Мышка-Норушка. Сам с неба звезд не хватает, а чужую  
идею мгновенно раздраконит. И материал как свой пред-  
ставит. А язык — как у Тургенева. Ни ошибки, ни опечатки.

Хрячина подарит что-нибудь. Сувенир. Открывалку. Или  
пепельницу. Еще и гравировку сделает. Дорогой Марине от  
бывшей научной руководительницы. Или — победившей уче-  
нице от побежденной учительницы. Так и не простила мне  
мою докторскую. Георгия у меня отбить пыталась, выдра ста-  
рая! В экспедиции, на Мертвой дороге... Я тогда, неизвестно  
как, дизентерию подхватила. В палатке отлеживалась. А она,  
доцент, студента кадрила. Подружки слышали. Товарищ Гу-  
риели, правда ли, что вы княжеского рода? Расскажите про  
могилу царя Мириана.

Тухманский, профессор-нефтяник, туману напустит. Ро-  
манс споет. Козловский наш. А душа у него — чернее нефти.  
Павликом Морозовым всю жизнь служит. Предупреждал меня  
знакомый университетский гэбэшник, бывший однокурс-

ник, — держись от этого старика подальше. Он на тебя уже два раза стучал. Хорошо, что мне в руки попало.

Завкафедры Скребнев — в упор ненавидит. С ним легче. Не надо цацу благонамеренную из себя строить. Можно и зубы показать.

А Сомов, зам, будет как всегда за его спиной прятаться. Когда-нибудь он шефа подсидит. По глазам вижу.

...

Ненавидят они меня и боятся. Чуют, что могу несчастье накликать.

Помню, проходили мы на Воркуте производственную практику. Еще при Сталине. В забое, на глубине восемьсот метров. Залегание угольного пласта контролировали, выработку планировали по штрекам, помогали инженерам. Жарко было там нестерпимо. Душно и страшно. Одни зеки и охрана. Мы для зеков развлечением были. Они нас подкалывали, но не обижали. Другие важничали, а я нос от них не воротила. Разговаривала, если охрана разрешала, отправляла письма на волю.

Случилось так, что в одном забое два брата работали — Иван и Алексей, украинцы, из угнанных в Германию... Много их тогда в шахтах вкалывало. Не понимала я тогда ничего, дура. Думала, они предатели, полицаи. Старший — Иван, шальной мужик лет тридцати пяти, втюрился в меня без памяти. А младший брат его был вроде как юродивый или слабосильный. Про него говорили — в голод помешался. Хлеб у всех просил. Работать отбойным молотком он не мог, подносил что-то, а чаще — на корточках сидел и кудахтал, как петух, если охрана не видела. Иван его защищал, заботился о нем, пайку ему свою отдавал.

Стал Иван как-то ко мне приставать — Мариночка, полюбите меня, шесть лет женщин не видел, изнемог. Ну и все такое... Что-то я ему грубое сказала. Он в бешенство впал. Схватил топор и запустил им в меня. И вот, вижу я, летит топор, как томагавк — прямо мне в лицо. Но, примерно посередине между мной и Иваном — направление полета меняет. Как



будто его какая-то незримая сила в другую сторону направила. И прямо в Алексея, брата иванова младшего. Вошел топор ему в висок, на месте убил.

...

У входа в метро «Проспект Вернадского» остановила меня цыганка. Чернявая, немолодая, на голове — красный платок, платье пестрое ситцевое, куртка грязная, руки нечистые, глаза зеленые, как у кошки. В руку вцепилась и всем телом ко мне прильнула.

— Дай погадаю, женщина, расскажу, какое тебе сегодня счастье выйдет!

В голове мелькнуло — может действительно, приеду, а мне объявят, что мне дальше работать можно, что мой курс мне оставят и семинары. И не придется мне мужу на шею садиться.

Гадала цыганка минут пять, потом в сторону от меня метнулась и исчезла, как царевна в сказке. Я заметила, что у меня на безымянном пальце моего любимого золотого кольца с рубином нет — украла, гадина. Бросилась за ней. В последний момент за шиворот схватила, не дала в поезд вскочить.

— Не отдашь мужнина кольца, в милицию не пойду, а на этом самом месте тебя убью, на части раздеру.

Цыганка поняла, кивнула и по подкладке юбки шарить стала. Долго возилась, вытащила кольцо, отдала его мне, сердито посмотрела и, уходя, закричала: Жишь, жишь, пропадешь как тень, полетишь как сорока.

## 2

Проводили меня неплохо. Сабантуй устроили. Букет вручили. Лаборанты туш пропели. Кто-то проигрыватель притащил — Вертинского крутили. Танцевали.

Тухманский гитару приволок. Спел в мою честь романс — «Не уходи, побудь со мною».

Спиртягу глушили как молодые. Ели бутерброды и свежие пражские пирожные, у «Литвы» купила, в кулинарии...

Сомов отличился — танцевал-танцевал со своей старой пассией, Пролеткиной, а потом вдруг за горло схватился, по-синел весь и прохрипел: Вызовите скорую, не могу дышать...

А скорая долго приехать не могла — гололед сегодня жуткий. Так он тут у нас и хрипел целый час. Валидол жевал. После отъезда скорой не пили больше и не танцевали. Испугались старички. И как будто подобрели.

Скребнев молчал. На меня ни разу не взглянул. Даже рожу не скривил. Тяжело вздыхал. Может, о сыне думал.

Жуткая история. Десять лет назад весь университет только об этом и говорил, потом забыли, как все забывают. Сын Скребнева, Борис, доцент на кафедре истории КПСС, обедал со своей женой Аллой у тестя, профессора той же кафедры, Пластуна. Алла торопилась, поела-попила и на пару свою побежала, а мужа и отца оставила за столом. Показала после, что они заливную рыбу ели и обсуждали кафедральные дела. После того, как она ушла, что-то там, в квартире, произошло.

Примерно через два часа сосед домой пришел, доцент Синицын, и услышал из-за стены глухие стоны и звериное как будто рычание. Синицын вышел на лестничную клетку и ухом к двери квартиры Пластуна припал. И тут же отпрянул, потому что — расслышал крики дикие и неестественные кошмарные звуки. Начал, естественно, в дверь стучать. Никакой реакции. Пошел к себе и милицию по телефону вызвал. Милиция приехала, но долго роскошную университетскую дверь ломать не решалась. Потом все-таки сломали, ворвались... Все в квартире было сломано, разбросано. Старинный буфет повален, драгоценный мейсенский столовый сервиз на двенадцать персон с голубыми тарелками, супницей и этажеркой вдребезги разбит. В телевизоре торчала лыжная палка. Все грамоты Пластуна, на стенах в рамках развешанные — на полу валялись изодранные, собрание сочинений Ленина — в ванне утоплено. По воде седые волосы плавали...

Борис сидел на полу, у него на коленях лежал еще живой профессор Пластун. Борис грыз профессора как волк. На груди выгрыз плоти с кулак. На вошедшую милицию даже внимания

не обратил. Рычал и жадно чавкал, до легких и до сердца добирался. Позже, в дурдоме поведал сын Скребнева врачам, что он оборотень, как и все преподаватели их кафедры.

Бориса в Кашенко отравили, а Пластуна сразу же прооперировали, но не спасли.

...

Удушкин расчувствовался.

Танцевал со мной, дифирамбы пел, даже Георгия, неизвестно зачем, расхвалил. Жаловался на возраст и бедность. Сообщил, что его злые люди оговорили. Тогда как раз объявили, что в Музее землеведения все лучшие экспонаты пропали. А Удушкин там пятнадцать лет директором был. Под его мудрым руководством и крали камни. Дарили почетным гостям. И удушкинским бабам перепало. И, хотя домашнюю коллекцию он еще до перестройки продал, от тюрьмы его только возраст и орден Ленина спасли.

Вспоминал Удушкин Гошу Рабиновича, своего бывшего аспиранта. Совесть его что ли мучила.

С Гошей вот что произошло. Был он в Якутии, на Эльгоне, в экспедиции. Золото они искали. Организовано было, как всегда, все по-дурацки. Кончилась у гошиного отряда вода. Стали в тайге родник искать. Нашли. И все пили. Геологи, специалисты! Вода была сказочно вкусная. Вокруг родника и палатки поставили. Вечером — недомогание у всех. К утру четыре человека умерло. Лучевая болезнь. Прямо у родника рядом с кварцами браннериты после нашли. Радиометр у них конечно был, и инструкцию все знали прекрасно, но уж очень пить хотелось. Несколько человек месяца три протянули. Только Гоша прожил еще год. Держался мужественно. В больнице крыл всех матом, врачи морфий экономили.

И, хотя Удушкин тогда маршруты для гошиной экспедиции визировал, все на Гошу свалили.

...

Тухманского я даже пожалела. Выглядел он плохо. Пел неважно, гитару уронил. Тоже, за семьдесят. Губы — как жабья кожа, зрачки трясутся. Кашлял долго, прослезился. Взял

меня за рукав, отвел в сторону и дунул в ухо: Прости, Марина! Ничего говорить не буду, ты все знаешь, прости...

А по впалым щекам слезы текут.

Пролеткину весь вечер распирало — хотела мне наверное что-нибудь мне такое залепить, погорячее, но сдержалась, а, когда прощались, тоже разревелась. И я с ней вместе. Сколько лет враждовали... А делить-то нам было нечего. Электронный микроскоп последние два года у меня все равно без дела стоял.

Авдотьина пьяная чёрти что несла. На нее и не похоже, партийная, дочь старого большевика, муж про Ленина книги писал.

— Слушайте, девки, что нам зам главного редактора Известий вчера поведал. Наворовали начальники большие тысячи. По всему миру запрятали. Теперь хотят все легализовать. Капитализм будут строить. Под себя — такой же, как социализм... Сами буржуями заделаются, а всех нас — в униженные и оскорбленные запишут. Вот ты, Маринка, переживаешь, что тебя Скребнев так рано на пенсию отправляет, а он сам по ночам трясется. Потому что всю науку прикроют, институты позакрывают. Кому они нужны? Только нам самим. Нефть есть, газ есть, алмазы, золотишко, никель — приходи бери, гони на Запад за валюту. Вот эти деньги и будут делить. А кого к кормушке не допустят, тот будет лапу сосать...

...

Фрошман пригласил меня танцевать. Рассказал, что в Израиль собирается, к сыну.

— Здоровье никуда... Хочу погреться на старости лет, в Красном море с маской поплавать, хоздоговоры уже раздал, все уже знают и от меня как от чумы бегают. Может, там какую работенку найду. Завтра из партии будут выгонять. А мне, Марина Петровна, на партию эту...

Раньше бы так, герой. Три срока партторгом отрубил. Персональные дела разбирал. Восемь лет назад за подачу документов на выезд профессора Соколова из партии выгонял. Старик так и не уехал тогда, умер от инфаркта.

Вот оказывается, что Скребнева мучает! А я думала, сын. Все знают, что Фрошман — его кадр. Могут и с завкафедры погнать.

...

Хрячина мне роскошный барометр подарила, старинный, медный, из наследства отца-полярника. С надписью. Дорогой Марине Петровне от куларской экспедиции.

Вспоминали с ней Кулар. Расплакалась, старая курица. Вдруг начала о своем первом муже говорить, который где-то в Латинской Америке пропал.

— Вы, Мариночка меня не любите, я это знаю и на вас не сержусь. Вам наверно кажется, что у вас одной в жизни много неприятностей. А с моим первым мужем такое случилось... Никогда никому не рассказывала, а вам сейчас расскажу. Мы с ним только два года прожили, первый брак, по большой любви или по большой глупости. Одно и то же. Закончил он географический и работал в институте США и Канады. Прочили ему прекрасную будущность. В комитетах ООН или Юнеско или других международных организациях. А вышло по-другому... Послали его в первый раз в Америку на месяц всего, научным референтом на конференцию. Вернулся он какой-то странный. Не то, чтобы больной или озабоченный, а какой-то чужой. Насмотрелся там, наверно, свободной жизни. Со мной дома почти не разговаривал, утром на работу торопился, а вечерами Голос Америки слушал. А дней через пять случилось это... Не могу без слез вспоминать. Ушел он на работу на час раньше обычного. В институте вскрыл бритвой себе вены на руках. Кровь в миску какую-то набрал. И прямо руками весь длинный белый коридор институтский антисоветскими надписями исписал. Мне после фотографию показывали. Жуть! Через полчаса пришел начальник, потом сотрудники подтянулись, а на стенах лозунги кровью — свободу Гинзбургу и Галанскову! Долой преступный режим КГБ и КПСС! И прочее... Сотрудники глазам своим не верили, а дурачок мой продолжал писать. И кричать на них начал. Мерзавцы, лицемеры, гребешные мрази! Убийцы! Умер он прямо в этом коридоре, кро-

вью истек, никто ему не помог, все растерялись... Мне только вечером сообщили. Сказали, решение принято наверху, этот случай не разглашать. Во избежание... Запугали меня тем, что сына отнимут. Даже свидетельства о смерти мне не выдали. Так я и жила соломенной вдовой. Говорила всем, что муж в Гватемале без вести пропал. Только в перестройку выдали мне свидетельство о смерти, тем самым днем помеченное.

Удивила Хрячина. Вот уж от кого ничего подобного не ожидала. Расцеловала ее. Подарила ей на прощанье ручку паркеровскую.

### 3

Вышла я на улицу. Холодно, сугробы. Снег валит. Темные фигуры на остановке. Серые лица, усталые. Автобуса ждут. Десять минут дрожала, плюнула, руку подняла. Повезло, тут же зеленый огонек увидела.

Молодой такой шофер, симпатичный. Вышел, дверь открыл заднюю, за руку меня поддержал, я влезла с цветами и барометром. Погнали.

У Юго-Западной нужно было развернуться, а он дальше покатил.

— Вы разворот пропустили! Но ничего, за метро — еще один есть, а то до Кольцевой придется пилить.

— Развернусь, развернусь... Не беспокойтесь...

А сам и второй разворот проехал, газанул, мимо церкви промчался, выехал на Киевское и дунул в сторону Внуково...

Я и не сразу поняла, в чем дело. Все о своих делишках думала. Спросила его чуть ли не весело: Куда вы это меня везете? В аэропорт что ли?

— В аэропорт, в аэропорт! В подземный ерапорт с кротами и червяками... В общем так — молчи, тетка лучше. Все время молчи.

Тут только у меня по коленкам страх пополз.

— Какая я тебе тетка? Я тебе бабушка, меня сегодня на пенсию отправили.

— Бабушка, не бабушка, нам все равно.

Поворот на Внуково мы проехали и еще минут пять по шоссе мчались. Потом таксист затормозил и на право свернул. Отъехал по лесной дороге метров триста и встал. Закурил. Повернул морду свою ко мне.

Попробовала я дверь открыть и выскочить — по рукам ударил и назад втянул. И кулаком в грудь врезал. Барометр из рук вырвал, открыл свою дверь и в лес швырнул. Я слышала, как он об дерево стукнулся и на куски разлетелся. Туда же и букет кинул. И сумку. Я заплакала.

А он за волосы меня дернул и прорычал: Утри сопли, тетка! Сымай пальто! Вынимай сиську, Витя Фотин хочет мамку сосать!

И опять сильно в грудь ударил.

Я сознание потеряла.

4

Очнулась я в небе. В холодном, чистом, фиолетовоголубом небе Аляски.

Летела я над большой, заснеженной, как будто треснувшей горой. Во все стороны разбегались от нее сизые хребты. Далеко-далеко на Севере белел Ледовитый океан.

В когтях я держала жирного, трепещущего полярного зайца. Искала на заснеженных скалах укромное местечко, чтобы не торопясь добычу съесть.

## НА ПЛЯЖЕ

Поселок Малый Утриш переживал, как и вся страна, перестройку. На практике это означало, что рыболовецкий колхоз перестал получать дотации из центра и скурвился. Рыбы в страдающем от экологического загрязнения Черном море было так мало, что ловля и производство сами по себе давно были нерентабельны. Три колхозных суденышка ржавели в бухточке, рыбзавод закрылся. Население было предоставлено самому себе. Кто-то уехал на заработки, кто-то пил по черному. Некоторые сдавали сарайчики немногочисленным приезжим, привлеченным пустыми пляжами и красотой гористой местности. Мои приятели сняли в Утрише несколько комнат. На крохотной веранде нашлось бесплатное место для меня. Сам заплатить я не мог. Денег едва на дорогу хватило. Уже несколько месяцев я не мог выйти из душевного кризиса. Потерял контакт с близкими. Нигде не работал. Хотелось накупаться вдоволь и прыгнуть с одной из живописных скал вниз головой, кончить комедию.

Двоюродная сестра Сержа, парикмахерша Лялька жила в палатке примерно в полутора километрах от поселка. У водопада. Туда мы все ходили купаться и загорать.

У Ляльки были длинные ноги и большая, красивой формы грудь, которую она победно, как знамя, выставляла вперед. Я решил за ней приударить. Мой план был прост: три дня на черемуху, три дня на секс (на седьмой день Лялька уезжала), а потом забыть и больше не вспоминать. Три дня черемухи пролетели быстро. Лялька в моем присутствии кокетливо опускала глаза, томно вздыхала, еще больше выпирала грудь. В конце третьего дня, вечером, я пришел к Ляльке в палатку с вином и фруктами. Все шло как по маслу. Мы пили и ели. Я вешал Ляльке какую-то лапшу на уши. Многозначительно смотрел ей в глаза. А внутренне был полон отращения к себе.



Вместо того, чтобы серьезно подумать о том, как жить дальше, я, как в сказке, искал защиты там, где можно только себя потерять — у глупой девахи под юбкой.

Мы сидели напротив друг друга по-турецки, на двух, положенных рядом, надувных матрасах. Лялька хихикала. Когда я нагло схватил ее за грудь, она томно проговорила: Ах, Димыч!

Поцеловал ее в губы. Обнял. Начал раздевать. И тут... Лялька потеряла сознание, обвисла у меня на руках. Это был легкий обморок, который через несколько секунд прошел. Я сделал из матраса кресло, усадил в него Ляльку, накинул ей на плечи ветровку, предложил вина. Лялька глотнула, тревожно посмотрела в темноту и... Я услышал, как ее зубы стучат о стекло. Моя подружка паниковала, чего-то страшно боялась. Я не понимал — чего. Перед нами было спокойное море, позади — круто поднимающийся берег, за ним горы. Оттуда никто не мог спуститься. Разве что заблудившийся шакал. Невдалеке — дюжина палаток с интеллигентными людьми, всегда готовыми прийти на помощь.

Лялька тряслась, всхлипывала, при любом шорохе хватала меня за руку. Умоляла не оставлять ее одну. Мне было досадно, но любопытно. Я сказал, что не уйду, если она мне расскажет, что ее так испугало. Мало-помалу Лялька разговорилась. Оказалось, страх ее носил чисто мистический характер. Лялька боялась маленького черного человека, который ей неоднократно являлся. Его приход всегда предзнаменовывался неким особым психическим состоянием или чувством, которое Лялька и ощутила якобы как раз в тот момент, когда мы готовы были предаться любви.

— Может врет все, — думал я. — Бойтся залететь или еще что-нибудь в этом роде?

Но будущее показало — это не так. Сексом Лялька занималась охотно, хоть и странно (подробности неинтересны). Нет, тут было дело куда серьезнее, Лялька как Моцарт действительно боялась своего «черного человека».

Это началось месяцев восемь назад. В квартире, где она жила с мамой. Весь вечер смотрели телевизор. Потом Лялька ушла в свою комнату, хотела ложиться спать. Присела на та-

бурет чтобы посмотреть на себя в зеркало трюмо. И вдруг почувствовала это, странное, то, что сейчас должно было произойти. Захолонуло сердце — прямо из стены ее комнаты вышел небольшой черный человек. Вышел, отряхнулся как пес и посмотрел на нее дерзко.

— Азазелло, — сказал бы любой интеллигентный москвич моего поколения, но Лялька принадлежала уже к другому поколению, Булгакова не читала, гостя не узнала.

Он сказал: Ну, приветик, Лялечка. Будем знакомы!

Но себя не назвал, а стал ходить по комнате — как петух. Потом подошел к ней, больно ущипнул холодными пальцами за попку. Лялька чуть в обморок не упала. Потом показал ей зубы, которые стали вдруг как собачьи. Зарычал. Лялька окаменела. Закрыл пасть, захихикал, забормотал какую-то чушь: Пать, пать, пать, всем по очереди срать, перелесок, три ручья, я уехал от тебя, красный комочек — из манды листочек, семь палок летом в воскресенье и вишневое варенье, только б поезд не проспять, если хочешь с бабой спать...

Потом запел: А как я свою милую, да из могилы вырою, по спине похлопаю, поставлю кверху жопою.

Встал на руки и, виляя задом, пошел по комнате на руках, а Ляльке показывал зубы. Затем встал прыжком на ноги, громко пукнул, разбил хрустальную вазу, стоящую на трюмо, и ушел в стену.

Тут в комнату вошла Лялькина мать и спросила, что у нее за шум. Увидела осколки вазы. Всплеснула руками и начала Ляльку ругать. У Ляльки хватило тогда ума о посещении черного человека не рассказывать. Ночью она не спала, боялась, что он опять появится, но под утро забылась. Пару недель все было как всегда: Лялька ходила на работу в парикмахерскую, встречалась с каким-то клиентом, спала с ним, все как обычно.

Лялька решила — пронесло. Но не тут-то было. Ехала однажды домой поздно вечером в метро. Рядом — никого. Опять пришло знакомое чувство, похолодела спина, по телу пошли мурашки. В то же время Лялька ощутила во всем теле странную приятную истому — отчего испугалась еще больше. Страшно ехать одному в метро ночью. Да еще и с предчувствием чего-то

неотвратимого. А её черный человек уже катался по пустому вагону как черное колесо. Туда-сюда. Подкатился к Ляльке. Встал на ноги, приблизил свое лицо к ее лицу, вытянул неправдоподобно длинный собачий язык и провел ей по губам.

Пропищал: Лялечка, хочешь, я тебя полижу?

И лизнул ей шею. Как финкой резанул. Лялька задрожала. А он открыл пасть, показал собачьи клыки. Зарычал. Сделал большие глаза, поправил когтями неизвестно откуда взявшуюся на его голове челку аля Элвис и прорычал: Стрижешь, гнида, плохо!

Превратился вдруг в маленького Горбачева, встал в позу и произнес назидательно голосом генсека: Надо определиться, Лялечка, как с котятами поступим! Может быть, утопим их как Му-му?

Затем завыл что-то рок-н-рольное, принял свой обычный образ и укатился в другой конец вагона. Сел там на сиденье. Лялька хотела на него не смотреть, но не могла оторвать взгляд. А он делал что-то непонятное. Достал из кармана сверток. Развернул. В нем было что-то красное. Как показалось Ляльке — жидкое. Черный человек начал это красное лизать языком. Затем делал такие движения, как будто апельсин чистил. Ляльке послышался тихий детский плач и жалобное мяуканье. Она от страха отключилась на несколько секунд.

Когда очнулась — черного человека уже не было в вагоне. Поезд подъезжал к станции. Надо было выходить. Лялька прошла через вагон к месту, где он сидел. На сидении лежала изодранная детская пеленка со следами крови. На ней лежал котенок с содранной шкурой. Он смотрел на Ляльку.

Лялька вышла и побежала домой. У нее потом долго болела шея. Там, где он лизнул, осталась красная полоса. По ночам Ляльке казалось, что котенок мяукает у нее под кроватью.

Черный человек являлся Ляльке еще раз пять, прежде чем она обратилась за помощью. Все честно рассказала матери. Та — попу. Поп дал матери пузырек с святой водой и посоветовал прийти к нему с дочкой на исповедь и причастие. Лялька в Бога не верила, в церковь не пошла, однако святой водой окропила всю квартиру, а с матерью договорилась, что,

если черный человек придет, она стукнет в стену. Через неделю, утром, Лялька услышала вдруг истошное мяуканье. Испугалась страшно. Поняла — сейчас появится. Стукнула в стену. Мать тут же пришла. С олеографией модного тогда Серафима Саровского и пузырьком святой воды в руках. Черный человек появился. Спокойно и без спешки вышел из стены. Мать обомлела. Выставила Саровского перед собой как дуло танка. Пыталась сказать что-то.

Черный человек олеографию из рук матери выдрал, посмотрел на святого глумливо и плюнул ему в лицо. Изящным движением выкинул в форточку. Потом грозно посмотрел на женщину. Положил ей руку на грудь и что-то прошептал. Матери тут же стало плохо. Она медленно села на пол, потом легла и лишилась чувств. Лялька выбежала из комнаты — звонить в скорую. Вызвала врача. Стуча зубами от страха, вернулась в свою комнату — черный человек и не думал исчезать. Он сидел, расставив ноги, на груди у лежащей на спине женщины. Увидев Ляльку, вскочил. Запрыгал по комнате как мячик. Захохотал. Показал собачью пасть и красный длинный язык. Запел издевательски фальцетом: Кошка бросила котят, пусть ебутся как хотят!

Закрутился как веретено. Вырвал из скрюченной кисти матери пузырек с святой водой, открыл его и залпом выпил содержимое. Громко рыгнул. Подскочил к Ляльке, лапнул ее за промежность и попросил, нагло улыбаясь: Налей мне, крошка, стаканчик менструальной крови!

Вынул как факир из кармана черного пальто граненый стеклянный стакан и подал его Ляльке. Лялька почувствовала, как кровь потоком вышла из ее вагины и мгновенно пропитав трусики, закапала на пол. Черт подставил стакан.

Раздался звонок. Приехала скорая, Лялька побежала открывать. А потом, скорее, в ванную. Когда она вышла из ванной, врач и медсестра еще возились с лежащей на полу матерью. Черного человека в комнате не было. Граненый, запачканный кровью, стакан стоял на трюмо.

...

Разумеется, я не мог проверить, врал ли Лялька или нет. Похоже, она говорила мне правду — слишком странны и характерны были подробности явлений черного человека. У Сержа я спрашивал позже, был ли у его тети пару месяцев назад сердечный приступ. Ответ был — да, и не приступ, а инфаркт, от которого та до сих пор не оправилась. Спрашивал я, была ли Лялька у психиатра. Оказывается, была. Психиатр нашел ее психически здоровой, хотя и напуганной. Рассказ Ляльки кончился на том, что черный человек посещал ее последний раз за неделю до отъезда в Утриш. При мне он так и не появился. Лялька заснула. Я пошел домой.

Ночь была безветренная, теплая, очень темная. Луна еще не вышла. Звезд не было видно, на берегу лежал туман. Приходилось идти на ощупь. Слева от меня чуть поблескивало зеркало моря. Справа — черной стеной стояли обрывистые скалы. Я шел и думал о Ляльке и ее черте — рад был отвлечься от собственных проблем. Камешки хрустели под ногами.

Скоро в нос ударило знакомое зловоние. Это вонял мертвый дельфин, которого выбросил на прибрежные скалы прошедший недавно шторм. Где-то тут, недалеко от дельфина, я должен был свернуть направо, подняться по узенькой тропинке, выйти на поселковую улицу. Несмотря на темноту, я видел чуть белеющую тропинку, но со странным черным пятном там, где его никак не могло быть. Я шел, вытянув руки. Наткнулся на что-то, ощупал и понял, что это человек. Он стоял в проходе между скал. Я спросил его глупо: Вы кто?

Он не ответил. Рядом с ним порхал красный огонек — человек курил. Выпустил дым мне в лицо. Дым пах серой!

— Ты, парень, — сказал он неожиданно голосом боцмана, который хочет сделать нотацию молодому моряку. — Не суй свой нос в это дело! Понял!

Ударение он сделал на последнем слогe.

— Понял? — повторил он еще раз. Потом слегка пнул меня под дых. Я задохнулся, согнулся. А разогнувшись, попытался ударить его по лицу, но мой кулак пронзил темноту. Никого передо мной не было. Путь был свободен.

На следующий день пришел я к Ляльке. Она загорала и курила сигарету. Я прилег рядом.

— Как ты?

— Все хорошо.

Я не стал ей рассказывать про мою ночную встречу — не хотел поддерживать ее безумие. Да и не был на сто процентов уверен, что это был — ее, а не — мой черный человек. Стал расспрашивать Ляльку, как проходила ее жизнь до его появления. Она не могла понять, что я имею в виду. Я объяснил, что визиты черта — это наказание за что-то. Лялька долго думала, но не могла вспомнить какой-либо плохой поступок. Тогда я взял на себя роль попа. После недолгого допроса выяснилось, что Лялька за месяц до первого явления сделала аборт, потому что «не хотела возиться с пеленками». Совершенно в этом не раскаивалась, даже забыла об этом. Я попытался объяснить ей, что, возможно, существуют какие-то высшие силы, как-то планирующие жизнь человечества. Быть может, ее ребенок должен был породить потомство, из которого через десять или двадцать поколений должен был бы произойти спаситель мира. И вот теперь — та самая серебряная цепочка разорвалась, мир погибнет, потому что парикмахерша Лялька не хотела возиться с пеленками. Высшим силам это неприятно и они перестали защищать Ляльку от вторжений других, тоже высших, но негативно к человеку настроенных сил из мира, который мы называем адом. Лялька не приняла мои аргументы всерьез. Глупо хохотала. Я подумал — что это я действительно во все сую свой нос? Лезу с дурацкими объяснениями. Сам жить не умею, а других учу. Попрощался и ушел. Но вечером все-таки притащился опять.

Через два дня Лялька уехала. Уехал и Серж с друзьями. Я остался один в сарайчике. Загорал, плавал. Забирался на скалы, заглядывал в пропасть, делал пробу. Прыгать было страшно.

Не поддался я и другому искушению. На пляже появились три молодых женщины, ловящие человек. Каждый день они сидели на одном и том же месте. Без трусиков, широко раскрыв бедра, демонстративно отвернувшись от моря. Рядом с ними восседал на гальке одетый, несмотря на жару, в черный

костюм, мужчина. Он всегда держал дымящуюся сигарету во рту. Уж не тот ли самый, думалось мне, когда я проходил мимо этой группы и черный костюм демонстративно мне кланялся. И улыбался противно — не губами, а челюстью. Женщины были немолодые и не старые — в самом соку. Рыжеволосые. Каждый раз, когда я проходил мимо, они смотрели мне в глаза. В их взглядах ясно читался вызов. Я ни разу к ним не подошел — не потому, что меня останавливали какие-то моральные принципы, у меня их нет. Просто не хотел ввязываться в новую историю, достаточно мне было и Ляльки.

Быть может за это те самые высшие силы послали мне подарок. В начале сентября на пляже появилась Альбина — милая девушка 23 лет с волосатыми ногами. Мы познакомились как-то естественно, просто. Сидели на берегу рядом, голышом. Ласкались. Болтали. Глазели на медленно ползущие по горизонту корабли и кидали камешки в море. Альбина рассказывала мне о своей жизни и учебе, я что-то плел про мою московскую жизнь. Не скрыл, что женат, что хочу уехать из СССР...

Мы плавали, ныряли и как амфибии продолжали ласки в темно-зеленой глубине моря — как будто внутри огромного изумруда. Терлись спинами, обнимались, гладили ступни друг друга, я теребил кончиком языка ее затвердевшие в прохладной воде соски.

Первую совместную ночь мы провели в ее палатке. Лежали одетые на топчанах, покрытых одеялами. Альбина заснула, а я всю ночь глядел на звезды, видимые из открытой части палатки. Бездонная глубина, мировая пустота смотрела на меня своим огромным черным глазом, по сапфировому зрачку которого были рассыпаны зерна светящегося жемчуга. Я чувствовал ее старость, ее равнодушие. Мне было хорошо. Я улыбался небу.

## ВОЛЬКА

Волька любил дочку еще до ее рождения. Чуть от страха не задохнулся, когда вернувшаяся из роддома Эля дала ему ребенка на руки. Боялся, что головка оторвется и упадет. Посмотрел на сморщенное личико новорожденной, на которое свисали длинные влажные черные волосы, и понял, — с ребенком что-то не то. За первые три месяца жизни его дочь ни разу не засмеялась. Ни ему, ни матери, ни бабушкам, ни дедушкам. Как ни трясли перед ней разноцветными погремушками, как ни целовали в животик, как ни пели песенки-считалочки... Аты-баты шли солдаты... Когда Санечке было пять месяцев, Волька заметил в выражении лица дочери что-то нечеловеческое. И не звериное. Ему показалось, что он увидел сладкую гримасу дьявола.

Когда ребенку исполнился год, платная детская врачиха Софья Соломоновна долго объясняла обмершим родителям что-то про гены, про резус-факторы, упомянула о том, что евреи слишком часто заключали браки между двоюродными братьями и сестрами, а потом огласила приговор — Санечка останется слабоумным инвалидом, без надежды на улучшение... С глаз не спускать, иначе сама себя поранит... Дай Бог, чтобы в туалет научилась ходить. Всю жизнь будет как годовалый ребенок, только тело постареет. Проживет лет двадцать пять. Пенсию дадут. Инвалидную. Если фиктивную справку о работе достанете. Рублей сорок. Можно и в клинику сдать. Тут у нас, под Новгородом, есть учреждение. Сразу хочу предупредить — для Санечки там двери ада откроются. Полный инвалид. Да еще с пятым пунктом. Решайте сами. Детей вам больше заводить не рекомендую.

Санечку оставили дома, окружили заботой и любовью. Наняли домработницу. Она оказалась воришкой. Украла несколько серебряных ложек и исчезла. Наняли другую. Эта бы-



ла получше, но у Санечки появились на теле синяки, а в небольшом баре под телевизором начал сам собой испаряться коньяк. Третья продержалась около двух лет, потом заявила, что устала. Уходя, захватила Элину зимнюю шубу...

Жили Волька и Эля как автоматы. День прошел — и слава Богу. Работа, сон и забота о больной дочке занимали всю его тысячу с небольшим быстро летящих минуток. Ни на что другое не хватало сил и времени. Изредка ходили в кино. Так и прожили семнадцать лет. Санечка к этому времени достигла роста и веса десятилетней девочки. По-маленькому ходила сама. Ела руками. Смотреть на это было неприятно. При посторонних родители кормили ее ложкой. Ходила хорошо, даже говорила. Чаще всего громко повторяла услышанное.

Эля привыкла к жизни по расписанию. Облегченная работа (она была лектором политпросвещения) позволяла ей планировать день. У нее появился близкий друг — театральный режиссер, очаровательный рыжий еврей, провинциальный гений, кочующий между Ленинградом и Вильнюсом. Он жалел и любил Элю. Таскал ее на репетиции. Отвлекал и развлекал как умел. К Вольке презрения не испытывал, наоборот, уважал его за стойкость. Совесть его не колола, потому что он был уверен, что дает Эле то, что затюканный жизнью Волька дать не в состоянии — иллюзию счастья.

У Вольки никого кроме жены и дочери не было. Он работал на радиозаводе инженером. После трудового дня сидел с Санечкой. Выводил ее гулять. Стирал. Готовил. О театральном режиссере догадывался, но не знал, как далеко это зашло, жалел жену и закрывал на все глаза. Развлечений у Вольки было мало. Телевизор он не любил, радио слушал достаточно и на работе. Собираение марок, которым он увлекался в детстве, Волька забросил. В редкие свободные минуты читал. На серьезную литературу Вольке не хватало нервов. Предпочитал детективы и фантастику. И поговорить ему было не с кем — многочисленные в прошлом друзья потихоньку оставили их печальный дом. Высидеть несколько часов рядом с психически больным ребенком мог далеко не каждый. Но и этот, терпеливый, попробовав этого удовольствия пару раз, на третий

раз заболел гриппом или уезжал в срочную командировку. Эля часто работала в поздние часы. Родители вечерами не приходили. Слоняющиеся по улицам пьяные пролетарии запросто могли ударить незнакомого прохожего бутылкой по голове. На перекрестках тусовались группки подростков. Они были еще опаснее своих отцов и старших братьев. Да и тротуары никто не чистил. Карабкаться пешеходам приходилось по скользкому ледяному насту. Поэтому Волька был почти каждый вечер один с своей больной дочкой. Хлопотал по хозяйству и говорил с ней часами. Рассказывал про свой завод, обсуждал политические новости, рассуждал на отвлеченные темы...

Шел ноябрь 1982-о года. Волька пришел с работы, отпустил домработницу, накормил Санечку, поел и занялся уборкой. Заговорил по инерции о том, что было тогда у всех на устах — о смерти Брежнева.

— Еники-беники. Тревожно что-то. Не знаю, что теперь с Союзом будет, — начал Волька.

— Будут мокрые штанишки! — откликнулась Санечка неожиданно впад низким, громким, настырным голосом.

— Ели вареники. Коммунистическая идея будет теперь разжижаться. Отступит на второй план. Главным политическим содержанием советской жизни станет борьба наследников. А они все старые. Сами умрут скоро. Им будет не до коммунизма. А Союз-то на одной идеологии держится. Как на цепочке. Исчезнет идея — начнет разрушаться базис. Производство остановится. А потом и надстройку всю как в центрифуге разнесет. Социалистический лагерь рухнет... Вышел упрямый матрос... Никто нас не любит. Поляки, вон, как волки смотрят, кусить хотят. Папа Римская воду мууутит, — шутливо протянул Волька, вытирая пыль на книжной полке, с которой косилась «Девушка с тремя глазами» Пикассо.

— Мутит, мутит, папа! Будут мокрые штанишки! — грозила Санечка.

— Ты только подумай, дорогая моя дочка, — убеждал Волька. — Ведь дело хаосом кончиться может. Потому что советская пирамида стоит не на основании, а вверх ногами — на

вершине. На одном человечке все держится. А он взял, да сыграл в ящик. А что же будет с нами? Ведь на Руси во всем евреи виноваты. Служили им, служили, а потом... Еще и погромы начнутся. Тут всегда чем-то подобным пахнет. Смертью пахнет. Аты-баты шли солдаты!

— Баты! Баты! Санечкиными писюлями пахнет! — жаловалась Санечка. — Во всем папа виноват. Папка-дядка! Он Санечке штанишки не передел. Мокрые штанишки-то! Надо новые надеть!

Она взяла Вольку за руку и повела в свою комнатку с половинкой окна, отделенную тоненькой самодельной стенкой от спальни родителей.

— Твоя мама этой власти служит. Дедушка Пиня за нее с фашистами сражался. Пропливал кровь. Дедушка Сеня не воевал, он в органах работал. Говорят, проклятье есть такое — потомки палачей дураками рождаются. А у нас дураков-то и нет. Только дурочка есть одна. Но она — самая сладенькая в мире дочка Санечка... Что бы я без тебя делал? Весь мир мне чужой... Еники-беники!

— Беники, беники! Описалась Санечка. Понимаешь ты? Описалась! Штанишки мокрые. Папка-дядка! Хочу писю тереть!

Научила мастурбировать Санечку не природа, а одна из ее нянек. За что и была уволена. Волька делал вид, что не замечает, что делает дочь. Он по опыту знал, что запреты и воспитание на Санечку не действуют, только вызывают у нее вспышки ярости. Да и не понимал, зачем бороться с единственным удовольствием больного ребенка.

Волька продолжал говорить: Вот так, малышка, похоронили его у Кремлевской стены. Все чин по чину. Аты-баты. Только стукнули хлопцы гроб незабвенного нашего Леонида Ильича об мерзлую землю. Так, что из всех ста миллионов телевизоров треск раздался. Не к добру это. Может и специально долбанули. Чтобы советские труженики осознали торжественность момента. Кто знает? Говорят, он был еврей. Похож немного. Особенно в профиль. Упорный старик. До конца свою линию гнул. Жилье строил. А то, что книжки писать начал, так это референ-

ты, небось, надоумили. Сами и написали, а старику на подпись подложили. Войну в Афганистане начал. Устинов, наверное, уговорил! Лёня женщин любил. Замужних, зрелых, в соку. Мужей повышал в чине. Семьи квартирами одаривал.

Санечка уже хрипела и жужжала от экстаза. Волька был рад, что дело к концу идет. Каждый раз, когда дочь делала это у него на глазах, чувствовал себя не в своей тарелке, стеснялся. Ему представлялось, что Санечка — заводная пчела и что это он заводит ее, заводит как игрушку, металлическим ключиком. А пчела жужжит...

— О, господи! — восклицал Волька. — Идет вечер, стучат часы. Стучат. Проходит все, все проходит, ничего не остается. Куда мы все летим? Заводные пчелы. Когда-нибудь прилетим в бетонный улей. Стукнет и нас время о мерзлую землю. Добро пожаловать, товарищи, в вечность. Еники-беники ели, ели вареники и все равно все померли! Жил дорогой наш (голосом Брежнева) генеральный секретарь Брежнев Леонид Ильич и умер. Похоронили вчера. А забыли сегодня. Как будто он не человек был, а облако. Или минутка. Прибежала, отстучала свои секундочки маленьким молоточком по нервам и испарилась. И нет ее, сожрала ее пустота. Время все сжирает. Что это вообще такое? Абстракция. Нету времени на самом деле. Все стоит в пустоте, мертвое. А тикать часики начинают, только когда человечек из яичка вылупливается. Т.е. время вместе с жизнью рождается и со смертью опять останавливается. Без нас его и не было бы вовсе. Мы его толкаем. На кой черт? Да... Шла машина темным лесом... За каким-то интересом. Когда же эта машина их всех заберет? И Дмитрия Федоровича и Константина Устиновича и Юрия Владимировича. Скажите мне, космические муравьи, кто теперь нашего горячо любимого медалью Жюлио-Кюри наградит, лично... Кто ему ружье с изумрудами подарит? Будет он в заоблачных высотах небесных оленей из рогатки бить. Я бы понял еще, если бы в природе хоть какой-то смысл, какая-то справедливость была. Хоть малюсенькая. За доброе дело — вознаграждение. За злое — по шеям. Так ведь нет. Нету. Одна смерть на всех. Вот, мы хотели общество особое построить. Коммунизм. Природу

подправить. А что вышло? Сами не пойдем. А дальше, что? Обратный отсчет времени уже пошел. Инте-инте-интерес, выходи на букву С! Знаешь, доченька, какой у нас на заводе цирк начался?

Санечка не отвечала. Она уже испытала высшую радость тела и сладко сопела, засыпала. Волька осторожно отнес ее в ванную, посадил, обмыл теплой водой, вытер и положил в кровать. Сам сел рядом, гладил дочку по голове и продолжал говорить шепотом.

— Петя Беркутов, наш зам начальника снабжения десять тонн стальных прутков налево продал. Да. Аты-баты. А с директором, Приговым не поделился. Нам Вачнадзе рассказывал. Хохма вышла. Продал он пруты колхозу «Литейный», дело обстряпал с председателем Васяниным. А этот Васянин давний корешок Приговский. Ну вот, вызывает Пригов Петюню и говорит — ты что же, Петруччо хренов, вытворяешь? Мои же прутья моему же кадру продаешь мимо меня! Мимо начальника снабжения. Мимо завода. К прокурору захотел, сволочь! Тут условным не обойдешься, как в тот раз с медяшкой. Тут три полновесных годика тебе светят. Или пятерик. Аты-баты на базар. И что ты думаешь, Санечка? Растрепали Петюньку на дознании. Прокурор-то рад стараться. Хищение социалистической собственности! Только хохма на этом не кончилась. На суде много грязного белья вылезло. Петюнька, говорят, орал в полный голос: Топите меня, топите! И я вас всех в кислоте утоплю! Не отвертитесь! Хочу показания давать. На директора Пригова, зав. Складом Добровольскую, любовницу его, и на старшего инженера Боткина.

А это куда тяжелей десяти тонн железного прута и ста кило меди весит. Потому что сырье опасное, да еще «преступная группировка», государственное дело пришить могут. У прокурора челюсть отвисла от набежавшей слюны. Тут, говорят, и Пригов распахивался. Петюньке грозил язык выдернуть, прикрикнул и на судью. А та взвилась. Бывалая баба, всего тут у нас накушалась. С Добровольской истерика. Боткин за сердце схватился, валидол ему дали. Публику из зала вывели, одного Вачнадзе оставили. У того нервы в порядке. О

чем они говорили, не знаю. Только Петюньку-глупого потом все-таки засадили. Не помогла ему кислота. Против лома нет приема. Боткин в больничке отлеживается. Пригов — не поймешь, то ли под судом, то ли нет. На заводе болтают, Вачнадзе новым директором будет. Этот — жучище. Ушлый. Снабженец старой школы. Не какой-нибудь романтик... Весь Кавказ с нашего завода жить будет!

Тут Волька услышал скрип входной двери. Заботливо подоткнул дочери одеяло и вышел в коридор. Встретил жену. Сели чай пить. Потом легли. В постели Эля неожиданно для Вольки разрыдалась. Он принялся было её утешать. А она объявила ему, что беременна от театрального режиссера, что уходит к нему жить, уезжает в Ленинград. От горя и смущения Волька даже забыл сказать жене, что Санечку надо завтра везти к двенадцати к зубному врачу, а он не может уйти с работы.

...

Прошло еще тринадцать лет.

Волька оставил свою белую Ауди на подземной стоянке в здании фирмы. Решил пройтись. Поздняя осень в Тель-Авиве — чудесное время. Дышится легко. Шел и думал о том, что Санечке надо купить новые чулочки — старые поистрепались и некрасиво смотрелись на ее длинных чистых полированных ногах. Зашел в магазин. Знакомый продавец увидел богатого покупателя и сразу расплылся в подобострастной улыбке.

— Шолом, господин Вольфсон, опять дочке подарки делать хотите?

— Чулки новые хочу купить. Но не нейлоновые, а цветные, вязаные, теплые. Мерзнут ножки у моей куколочки.

Продавец запричитал: Такое несчастье, так тяжело, когда дети болеют... Посмотрим... Да, вот тут они, на полочке, только размерчик запомнил...

— Средний давайте, на десятилетнего примерно ребенка...

— Понимаю-с, вот, посмотрите... И теплые и с кружавчиками, подойдет?

— Давайте, и эти, шахматные, тоже заверните...

Волька вышел из магазина. Посмотрел на улицу, на дома. На секунду им овладело мучительно-экстатическое ощущение отчужденности. Дома, фонари, сумеречный лиловатый свет... Чужой курортный город и он... Его тело не хотело быть здесь, рвалось вон из этого лилового пространства как сошедший с ума жемчуг рвется вон из золотой оправы и падает на пол и скачет по паркету и закатывается в пыльный угол.

Он дернулся, кашлянул, с трудом взял себя в руки. Гулять больше не хотелось. Пospешил домой.

В почтовом ящике лежал помятый советский конверт.

— Письмо. Оттуда. Как это всегда фатально. Лежит предмет. Ждет тебя, как крокодил — антилопу. Потом — хватить! Кажется, тещин почерк. Неужели не надоело ей жаловаться и денег просить? Как это гнусно, постоянно напоминать человеку о его боли. Потом прочитаю, не хочу вечер портить.

Из-за двери послышалось: Папка-дядька, папка-дядька!

— Сейчас, сейчас, милая. Я должен переодеться...

— Нет, нет, нет... Санечка одна. Одна. Как жемчуг.

— Милая моя, солнышко мое, жемчужинка, я сейчас...

— Хочу подарки!

— Будут подарки. Я тебе новые чулочки принес! Теплые, с кружавчиками и шахматные...

— Поцелуй-покажи! Поцелуй-покажи!

Волька вошел в помещение дочери. Это была роскошная, почти круглая комната, с огромной кроватью посередине. На полу валялись игрушки — большие плюшевые звери. Игрушки висели на стенах и даже с потолка спускались веревочки, на которых качались оранжевые тигры и белые носороги. На кровати, под пунцовым атласным одеялом лежала Санечка — рот ее был открыт, она смотрела неподвижными стеклянными глазами в потолок, искусственные зеленые волосы разбросались по белоснежной пухлой подушке... Волька сел на кровать, распаковал и показал Санечке купленные чулки, положил их на одеяло, поцеловал дочку в холодную нижнюю губку, наскоро причесал ей волосы и вышел из комнаты, оставив дверь открытой.

— Поцелуй, покажи, а сама на чулочки внимания не обратила... — ворчал Волька. Вошел в ванную. Разделся. Крикнул Санечке: Малышка, не хочешь со мной в теплой ванной полежать? Места хватит.

Ванная в его шикарной квартире была большая, там не только отец с дочерью, но и еще пять человек могли бы разместиться.

— Папка-дядька, хочу полежать, хочу полежать... — заголосила Санечка.

Волька пустил горячую пенную струю, выдавил в воду немного жидкого зеленого мыла и направился в комнату дочери. Выдернул ее одной рукой из-под одеяла, сунул под мышку как папку и отнес в ванную. Там он обернул ее холодное пластиковое тело специально припасенным для таких случаев тяжелым водолазным поясом и посадил Санечку, прислонив ее головку к изящному кафельному барьеру. А сам пристроился напротив, так, чтобы его правая нога легла ступней на промежность дочки.

— Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана... Да, моя жемчужинка, убили нашего Ицхака... Прикончили. Вот тебе и Шир а-Шалом... Фанатик пристрелил. Красавец Игаль...

— Игаль, игаль, — повторяла Санечка.

— Ах ты моя маленькая дурочка, куколка, девочка моя нежная, сладенькая моя конфеточка... Рабин думал, с арабами можно о чем-нибудь договориться. Думал, думал и в суп попал... (поет) Рош а Рош а-мемшала, ты на кладбище пошла... Еники-беники клёц... Клёц — и застрелили Рабина. И тут пирамида проклятая вверх ногами стояла. И все разрушилось. Не потому, что он хороший или плохой. А потому, что Израиль не хочет отдавать захваченные земли. Не может отдать. Верит до сих пор в старые обещания, которые сам себе и дал. Верит в Тору. А Тора — это финтер, квинтер, жаба!

Санечка на это откликнулась картаво: Заба! Заба!

Волька запричитал: Шла машина темным лесом... За каким-то интересом... Инте-инте-интерес, выходи на букву С! Жаба пять, жаба пять, жаба триста тридцать пять!



Санечка тоже замурылкала хриплым дискантом: Заба пять, заба пять.

— Не отдадут они землю. Жадные. Скорее дадут себя поджарить. А если отдадут, то нам точно конец. Сбросят нас в море. Поедем в Уганду или в Алабаму. Одна надежда — арабы сами себя загрызут. Истерзанный волчий народ. Воспаленные люди. Огненные петухи. А евреи? Спесивые кривляки! Религиозный маскарад устроили! Перед кем кривляетесь? Неужели и в самом деле думаете, что Он на вас сверху глядит? Божьи избранники! Надменные до скрюченности. Скачущие козлы. Бегут-спешат, (заговорил быстро) бегут-спешат-бегут-спешат. (Медленно, громко и безумно) Тик-так, тик-так! (Быстро) Тик-тик-тик...

Санечка поддержала отца: Тик-тик, так-так! Тик-тик, так-так!

— Говорят, там с выстрелами какая-то неувязка. Везли долго. Холостые пули. Чепуха. Убили и ясно за что. Аты-баты!

Тут Волька громко застонал, но не от траурных мыслей, а от блаженства, распространяющегося волнами по всему его телу от большого пальца, залезшего в раскрытую резиновую вагину куклы...

Через несколько минут вытрясенная, вытертая и причесанная Санечка уже лежала под одеялом в своей кровати, а рядом с ней лежал ее голый отец. Он гладил ее, одетые в новые цветные чулочки, ножки.

— Милая моя, милая девочка. Жемчужинка моя. Какие худенькие, длиненькие у тебя ножки. Из лучших сортов пластмассы. В Европе делали, по индивидуальному заказу. Имя у тебя было странное — Кристина. Но я-то знал, что ты не Кристина, а моя маленькая Санечка. Вернулась ко мне. Оттуда. Сейчас мы твои ножки осторожно разведем и папа ляжет на тебя. Еники-беники! Папка-дябка сделает то, что мы с тобой так любим делать вместе. Без чего твой папка давно сошел бы с ума и умер в этом лиловом сумеречном аду. Еники-беники! Утром и вечером, в теплой кроватке, под мягким одеялом... Лети пчелка, лети...

Волька навалился на куклу и начал свой одинокий труд. Трудился долго... В поте лица своего. Качался и напевал: Аты-баты, аты-баты, тик-так, тик-так.

Через час отвалился от куклы как пьявка от жертвы, сытый, удовлетворенный. Затем поспал недолго. Потом встал, пошел на кухню делать кофе. За кофе вскрыл, наконец, конверт. Писала, действительно, его бывшая теща.

— Должна тебе сообщить, что Эля, ее муж и двое их детей зверски убиты. Страшное преступление. Перед смертью их пытали. Внука и внучку повесили. Тела родителей нашли расчлененными, обожженными, со сломанными костями. Глаза выколоты... Не могу писать, плачу... Вся квартира разгромлена. Видимо, искали гонорар за спектакль, который Марк получил в театре. Наверно, свои и навели бандитов... Ты знаешь, какой ужас царит сейчас в нашей многострадальной стране. Правильно ты сделал, что уехал. Похороны состоялись в октябре. Их оплатили родители Марка. Сеня не вынес горя, ушел от нас. Его кремировали две недели тому назад. Достоин похоронить его я не могла, не на что. Урна стоит до сих пор в шкафу. Может быть, ты бы мог передать деньги с Фельдманами? Они едут сюда праздновать Новый год. Тогда и памятник общий поставим. Белая мраморная плита, не дорого. Я думаю, полторы тысячи долларов хватит на все. Дорогой Волька, никогда не могла понять, как ты смог вынести смерть Санечки. После ухода твоих родителей она оставалась единственным близким тебе человеком. Теперь я сама должна пережить смерть самых дорогих мне людей. Не знаю, за что мне такое наказание на старости лет. Не нашла твой телефон, только адрес в записной книжке Сени.

Волька отложил письмо в сторону. Его лицо не отражало особенного волнения или горя. Он тихо, на цыпочках вошел в комнату дочери, сел на пол рядом с кроватью и зашептал: Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана... Тик-так, тик-так, тик-так... Лети пчелка.

## ЗАПИСКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Опять убийство. В понедельник после праздников. Первой гуляет по планете! В селе Столетово особенно разгулялся.

Потерпевшая — Липкина, Федотья Анреевна, 19... года рождения, русская, беспартийная, образование — восемь классов. Четверть века, значит, прожила. Вот тебе и Столетово. Двое детей. Мальчик двух лет. И девочка одиннадцати месяцев. Еще кормила. Подозреваемый — муж Федотьи, Липкин Афанасий Прокопиевич, русский. Беспартийный. Электрик. Арестован в доме матери, Липкиной Пелагеи... В нетрезвом состоянии. Плакал. Говорил, что ничего не помнит. Умные стали.

Сегодня на душе так темно, что наложил бы на себя руки. Но что-то останавливает. Не то, чтобы я надеялся на что. Просто хочется дальше жить.

Ездил в Столетово. Приятно после нашего смрада свежего воздуха хлебнуть. Село как село. Даже церквушка имеется. Поля. Березки.

Соседка... Сидоровна... якобы всю ночь крики слышала. Женщина кричала. Или ребенок. А может и кошка мяукала. Рано утром в дом пришла Пелагея, свекровь Федотьи. Все было вроде хорошо. Но ни сына ни снохи. Сын-то может и у крестного заночевал. А где кормящая сноха? Дети пищат. Полезла в погреб за вареньем. А там Федотья лежит. Страшная, с высунутым языком. Мертвая. Из опухших грудей молоко капает. Вокруг горла втрое скрученный телефонный провод. Заголосила. Люди сбежались. Милиция. Скорая.

Осматривал место происшествия. Крови нет. Погреб как погреб. Ящик для картошки. Банки-склянки. На полу что-то блестело. Какая-то железка под грязной доской валяется.

Поднял. Крюк с резьбой. А на стене у самого потолка — развороченная дырка. Там, значит, торчал. Может она на этом крюке и повесилась? Нет, слишком низко тут. А так... все вроде нормально в погребе. Старлей-милиционер сказал: Удавили ее, а может и сама удавилась.

Точно определил.

Почему остальные соседи о той ночи молчат? Как воды в рот набрали. Что-то скрывают. Поди что разбери во всей этой дряни. Припугнуть их надо, повестки разослать. Этого деревенские боятся.

Протрезвевший муж, Липкин этот, верзила, заладил как попугай: Не виноват ни в чем! Пьяный был. Ничего не помню. Федотью — пальцем не трогал. Чтоб мне пропасть...

Пропадешь, пропадешь, и не сомневайся. Кто убил не знаю, а сидеть скорее всего тебе придется...

— Откуда провод? — спрашиваю.

Молчит, дергается. А потом опять свое заладил: Не виноват...

А насчет — пальцем не трогал — врет парень. Жену его и раньше с фонарями под глазами видели. Это мне ее бывший учитель сказал, Елкин. Помнил ее еще девочкой. Усердная, говорил, была, «Дед Мозай и зайцы» наизусть читала...

Заглянул перед отъездом в их сарай. Так там проводов на стенах — на электростанцию хватит. И мотки и катушки на огромных гвоздях висят. Наворовал небось. Вот так все деревенские. Колхоз, колхоз! Трудодни! А воруют все что можно у колхоза. Осмотрел сарай внимательно. Сверлильный станок ржавый, огнетушители старые, стекла оконного тонны две. Кирпича — кубометр. Хорошо живет. Паутина. На одном несущем столбе — дырка. В ней или здоровенный гвоздь был или крюк. Больше ничего интересного не обнаружил.

Страшный сон сегодня ночью приснился. Будто я в погребе. И жду, как в театре ждут, представления. Прямо в кирпичной стене вдруг открывается сцена. На сцене — огромный заяц сидит. С корову. Передними лапами старого мужика держит. И сзади его пялит. Мужик рот открыл, глаза выпучил.

Дальше — хуже. На сцене зайцы запрыгали. Как цветные шарики. Скачут, играют. И на меня совсем не как зайцы смотрят. Тут до меня дошло — зайчихи это. И от меня они хотят того самого. Я к ним прыгнул. И давай с ними скакать. Ох, злое счастье! Нежный мех. И зайчихи сладкие. Долго скакал. Потом повалился на пол. А зайчихи все — на меня. Попками толстыми по мне заерзали. А одна села на мой кол. Я взял ее за длинные уши...

Проснулся — мокрый от возбуждения. Доделал рукой то, что сонный дух не осилил. А потом расстроился. Что я за человек? Заяц. Ладно, проехали. Надо на работу идти.

Сидел на партсобрании в прокуратуре. Скучал. Говорят, говорят, не наговорятся. Вот наказание! Ага, новое групповое изнасилование. Малолетка. Наверняка рабочие с Губиноазота отличились. Так точно. На первое мая после праздничной смены гульнули. С смертельным исходом. Нанюхались метанола — и вперед. К победе коммунизма. Двенадцать человек. И бутылку пивную куда надо вбили. «По неосторожности». Советская молодежь! Сторож их видел. Все арестованы. Пока упираются. Ну, Приходько долго терпеть не будет. Как первому почки отобьет, все остальные тут же разговорятся. Тогда будут выбирать зачинщиков. Чтоб беспартийные были... Им вышку. Остальным — от восьми до пятнадцати. Еще и невиновных могут посадить. Если кто подвернется. Бесплатная рабочая сила. У парней небось от страха голова кружится. Друг на друга будут валить.

Спросили, как мое убийство продвигается. Я объяснил. Оставили в покое. Но скоро начнут жать. Подавай им признание. А мой убийца ничего не слушает, только свое заклинанье повторяет: Не виноват ни в чем.

Нет, дружок, так не бывает. Если родился — уже виноват. Живешь, не подох — виноват еще больше. И все за жизнь одно получают — высшую меру.

Крестный его Митька-механизатор, уверял меня: Удавилась она, сама, сдуру. Никто ее пальцем...

В погреб пошла, значит. Детей покормила и одних наверху оставила. На крюк проволоку намотала, влезла на стул,

встала спиной к стене, петлю на шею надела, коленки поджала и... А в этом погребке нормальный мужчина и стоять не может, низко. Так низко, что маленькая Федотья и на стул встать не смогла бы — головой потолок бы пробил.

Побоев на теле вроде и не видно. Вскрытие подтвердило — смерть от удушья. Наступила от восьми вечера до двух часов утра. А Сидоровна говорила, всю ночь крики были. Полоса синяя через все горло. А сзади на шее — нет полосы. Значит, сзади и душили. Но петлю не перекручивали. А может, воротник от платья помешал. Или что еще. Надо на допрос Приходько пригласить, да из комнаты выйти. Будет признание через пять минут. Идея! Так и сделаю. Придется парторгу бутылку ставить. Или каких-нибудь мусоров позвать — пусть они поработают. Но эти звери кости поломают. Отвечай потом... Крюк проклятый мне покоя не дает. Не могла Федотья на нем удавиться. Что же он, сам из стены вылез?

Под утро снилось мне, будто опять я в погребке. Темно там. Сыро. И тут, как в кино, понемногу стало светлеть. Как будто мой кабинет появился, только в окнах не свет, а стены подвальные. Вижу письменный стол. На столе не бумаги и телефон, а Липкин, мой подследственный, связанный лежит. Рядом — Приходько с маленьким прутиком в руках. Этим прутиком Приходько Липкина по голому заду лупит. Слышно, как прутик в воздухе шипит. Липкин стонет. Приходько меня увидел и сказал: А, это ты Шурик, ну продолжай сам.

И мне прутик подает. А сам исчезает. Беру я в руки прутик, а он начинает расти и изменяться. И вот уже у меня в руках солдатский ремень с пряжкой.

Липкин говорит мне: Товарищ старшина, вы уж постарайтесь, уважьте меня! Врежьте погорячее. Только пряжкой не бейте.

Я заверяю его: Зачем пряжкой, мы тебя ремешочком оттянем. По-армейски.

И начинаю Липкина пороть. Порю долго, до крови, и все мое нутро от вожделения поет и светится.

Спрашиваю: Ты зачем Федотью задушил, чудо морское?

А он мне: Так ведь она с Петькой, Сидоровны сыном, спуталась.

— Как, — говорю. — С Петькой? Нет у Сидоровны сына. Врешь ты все, подлец. От себя вину отводишь. Крюк в погребе зачем из стены выдернул?

— Не виноват я, товарищ старшина, оговорили!

— Кто тебя, сукиного сына, оговорил? Кому ты на хер нужен?

— Не виноватаа я...

Тут он медленно поворачивается ко мне лицом, и лицо его делается мертвым. И передо мной на столе лежит уже не Липкин, а Федотья. Страшная, в трупных пятнах. Из помятых грудей синюшное молоко сочится. Язык до подбородка достает. Тут меня во сне оторопь взяла. А она в себя свой распухший язык втянула, посмотрела на меня остекленевшими глазами, и говорит: Иди ко мне, любимый!

И ноги развела.

Я лег на нее...

Проснулся опять в поту. Что же это со мной? В прокуратуре часто умом трогаются. Может к врачу сходить? Так и так, скажу, мне мертвые снятся, и я с ними в половую связь вступаю. Врач тут же донесет куда надо. Запрут в дурдом. Галоперидол. А там, прощай жизнь. Помирать страшно. Вдруг там пустой погреб с пауками? В школе проходили.

Еще раз в деревню ездил. Всех подряд расспрашивал.

— Видели кого у Федотьиного дома? Заходил кто в дом?

— На праздники все друг к другу ходили, а третьего — нет, никого не видели.

В электромонтажке спрашиваю: Когда Афанасий в понедельник вечером домой пошел?

— Может в пять, а может и в семь. Он один остался, все остальные по деревням мотались. С самого утра тут один сидел, трансформатор чинил.

— Починил?

— Нет, он так и не работает. Обмотка сгорела, перематывать надо. А у нас такой проволоки нет.

Знаем мы, где проволока лежит.

— Так что же он делал?

— А черт его знает, с похмелья был, может спал.

Черт конечно знает все, а мне дело закрывать надо, а ни признания, ни улики нету. Даже понять не могу, где мой подозреваемый вечер понедельника провел. Мать не помнит, отец не помнит. Соседи молчат. И обиженные рожи строят. Что ты, мол, нас мурьжишь. Твоя работа, вот и дознавай! Чувствую, врут. Значит, кого-то выгородить хотят? Но кого? Афанасия? Но они его своим запирательством только топят.

Пошел еще раз к Елкину, к учителю. Тот обрадовался, зауетился. Пригласил к самовару. Чай заварил. Пряники на стол выставил.

— Откуда у вас такие пряники вкусные?

— А в Туле к празднику выкинули.

— Опрашивал всех тут, в деревне. И такое у меня впечатление, что все кого-то покрывают. Или боятся правду сказать. Не хочу невиновного сажать, тут и так каждый второй сидел.

— Да нет, показалось вам. Никого они не покрывают. Просто знают по опыту — лучше помалкивать. А то беды не миновать. Они ведь что думают? Понаедут из города и засудят! Как при Салтыкове-Щедрине, так и сейчас. Город Глупов-с!

— Вы думаете, Афанасий убил? Мать своих детей? Молодую пригожую бабу?

— Та кто же его знает. Мать, не мать... Тут в деревне, каждый мужик бухой может человека убить. Сто первый километр...

— А может приревновал? Вы ничего не замечали? Может, кто ходил к ней?

— Кто же тут ходить будет? Тут же все на виду.

— Молодая баба. Одна. То да се. Может все-таки что слышали?

— Ходил слушок, но скорее всего брехня. И говорить не хочу.

— Уж лучше скажите, все равно узнаю.



— Говорили люди, Прокопий к Федотье заглядывает, свекор.

— К снохе?

— Раньше это часто было. Снохачество называется. Когда свекор со снохой...

Вышел от учителя, пошел к Прокопию. Тот на работе. Пелагея в дом не пустила. Глаза испуганные.

— Ничего я не знаю, мужа дома нет.

Изрубленная баба. Простая. Неужели врет?

Снохач? Это уже что-то. А убийство тут причем? Свекор сноху задушил? А зачем? Себе на шею внуков вешать? Или муж узнал и расвирепел? Сидеть Афанасию в тюрьме. Так и так. Надо Приходько подключать. Иначе толку не будет.

В прокуратуре говорю Приходько: Никитыч, поговори с моим подследственным. Повоздействуй. Не хочет признаваться. А припечь мне его нечем. Все равно посадят, конечно. А меня осрамят.

— А что, крепкий орешек?

— Он не орешек, он попугай. Талдычит одно и то же. Два часа в прошлый раз повторял. Кто-то шибко умный ему советовал. Психологически, понимаешь, сильно действует. И не молчит. И дурак вроде. Не убивал, не убивал... Если он так и на суде будет бубнить, нехорошее впечатление у судьи будет.

— Ладно, Шурик, только для тебя завтра провернем. Бутылку можешь уже сегодня купить.

— За мной не постоит.

Домой пришел злой. Начал картошку чистить — порезался. Кровищи на пол накапало...

Вот черт, пристало — опять страшный сон видел. В погреб спустился. А там беременная Пелагея на крюке висит. Старая, в морщинах вся, кожа дряблая, волосы разметались. За руки повешена. А лысый дед — Прокопий, в одних трусах, ее по огромному животу длинным прутом стегает. Во рту у бабы тряпка. Сиськи отвислые трясутся. Прут свистит.

Прокопий бьет и ругается: Ты, срамота старая, где брюхо нагуляла? Синюха. С солдатней спуталась...

Тут во мне огонек и запылал. Подошел к нему сзади и спустил труссы. А он услужливо заюлил и зад отключил. Пелагею сек, а мне по-рабски улыбался. Затолкал я кол в его тощий зад... Он заверещал. Пробормотал: Так точно, Ваше Благородие. Ваше право. Мы на эти дела всегда согласные...

Кончил я в тот момент, когда Пелагея выкинула. Как будто осьминоги из нее выпали. И по земляному полу расползлись.

Даже записывать страшно. А вдруг прочитает кто?

Прочитает? Кому ты нужен? Раз в жизни самому себе правду сказал и испугался.

Осьминоги. Откуда они ко мне в сон приплыли? Видел этих тварей в аквариуме в Москве. До сих пор противно.

Интересно, есть в погребе дно? Там я уже, или только на подлете?

Поговорил я с Прокопием. Был он на самом деле не тощий. В теле мужик, рыхлый. И не лысый еще. Себе на уме. Но глуповатый. И совершенно спившийся. Снохач? Нет, этот и свою жену последний раз двадцать лет назад раздетую видел.

И Приходько ничего не добился.

— Молчит твой Липкин. Здоровый черт. Заладил... Как заведенный. Интересно было бы узнать, кто его завел.

— Слушай, Никитыч, — говорю. — Ты мне разрешишь дело без признания в суд передать?

— Нежелательно. Ты не мудри! Я уже давно в уголовке, всякого навидался. Бывает и не поймешь ни черта, а вот он — труп. Кого-то наказывать надо. Потому что, если не накажешь, все село решит — ослабли они. А мы не ослабли! Советское правосудие крепко как никогда... Нам по-хорошему все равно, кто сидеть будет. Сын ли, отец или дух святой. Взять с них нечего. А порядок и уважение к власти мы защитим...

— Ладно, Никитыч, не кипятись, как-нибудь справлюсь.

— Ты с этим делом не тяни, на тебе еще пять дел висят... Поживей! А бутылка — все равно за тобой. Парень крепкий, рука болит. Такому бабу задушить, как мне два пальца.

Был в Столетово. Говорил с братом Афанасия, Мишкой.

— Михаил Прокопиевич, Вы мне скажите, что, Федотья и Афанасий хорошо жили, не ссорились?

— Чаво? Ничего жили. Как все.

— Может к Федотье ходил кто?

— Чаво? К Федотье? Так кто же к ней пойдет. У нее же муж есть... Ноги бы переломал.

— Что же Вы думаете, она сама повесилась? Или кто помог?

— Чаво? Думаю? Я ничего не думаю, пусть лошадь...

— А что в деревне говорят про Федотью?

— Говорят, была ведьма, ее черти и повесили.

Только этого мне не хватало. Ведьмы и панночки.

— А за что? Дайте зацепочку.

— Чаво? За что? Не знаю... Спросите у бабки — Калдырихи.

— Это что за бабка?

— Так на хуторе, живет... Колдует... Вон там, за лесом. К ней даже с московскими номерами приезжали.

— Далеко идти?

— Так у вас же газик есть — по лесной дороге два километра. Хоть и развезло, а проедете.

Поехал я к Калдырихе.

Лес вокруг дороги нетронутый, дремучий. Вот-вот покажется избушка на курьих ножках. Но ничего такого не показывалось. Заметил только повешенного черного кота. Метрах в десяти от дороги. Молодежь наверно шалила. Даже останавливаться не стал.

Дорога была вся в рытвинах и лужах. Три раза мой козлик буксовал. Пришлось выходить и еловые ветки подкладывать. Весь грязью замарался. Один раз испугался, что в луже вместе с машиной утону. Такая глубина. Ох уж эти весны! На душе неразбериха, а в природе грязь. Выехал из леса. Вышел из машины. Осмотрелся. На лугу первая травка выбилась. Озерцо как синее блюдце. Солнце печет. На опушке березового леса стоит изба. Подошел к калитке. Заглянул на участок. Яблони растут, огородик, цветничок правда еще голый. Курицы ходят. Изба старая, но ладная. Хорошо строили раньше.

— Есть тут кто?

Из избы вышла женщина. Седая. Лет семидесяти. На плечах оренбургский платок. В волосах лента. Спокойная.

— Заходи, Сашенька, я давно тебя поджидаю..

— Это вы — Калдыриха?

— Калдырина Ангелина Дмитриевна. Ты можешь меня Ангелиной звать. Хотя я тебя и на двадцать лет старше.

— А откуда вы мое имя знаете?

— Уж три дня на селе говорят про следователя. И ко мне на хутор доносится.

— Что же говорят?

— Говорят, седина в висках, а ума нет!

Разозлился. Так всегда. Поступаешь с ними по-человечески. Разобраться хочешь — тебя за дурака почитают. Начнешь лютовать — уважают.

— Как так? За что меня глупым считают?

— Ты, милоч с нечистой силой подружился, а от людей совсем отошел.

— С какой нечистой силой, что ты, бабка, чушь порешь?

— Осердился, а я тебе помочь хотела... Чтобы ты чертей не наплодил. Их и так по свету несметные тысячи бродят. Они к людям прямо в душу лезут. В белую горницу, для Святозара приготовленную. И там гадят. И Святозар не приходит. А человек сам себя изъязвляет, болезный, не понимает где сон, а где явь...

Ах, ведьма!

— О Святозаре потом, Вы мне лучше о Федотье расскажите. Слышал я, что Вы с ней знакомы были. На шабаш, что ли вместе летали?

— Ну вот, хорошо, что шутишь. А то, вон ведь какой — весь перекрученный. Нет, летать я не могу, пусть птички летают. А я по земле ходить буду. Как мышка. Да, Федотья была у меня. Детей у нее три года не было, я с ней поговорила, пошептала, травки присоветовала... Вот две ромашечки и расцвели... Была она девушка наивная. И Афанасия любила, хоть он и петух. Обижал ее. Но душа у него не злая. Пьет он. Присноироду служит.

— Кто же ее убил? Присноирод? За что? Ума не приложу. Помогите, наведите на след...

— Грех большой, мать от детишек отрывать... Не знаю. Может, кто совсем чужой? Не из наших? Приехал, насильничал и фьютъ... До шоссе от деревни — пять минут, асфальт. И дом ихний недалеко. Мужа не было. Может, с друзьями пил... Шут его знает. Тут недавно к деревенскому попу какие-то городские приезжали. Может они?

— Друзья говорят про вечер третьего — не помним, от бодуна еще не оправались.

— Это они от страха. Каждый вечер кируют. У них всегда праздник. Бодун-колотун. У меня третьего дня кота украли.

— Ну спасибо, Ангелина Дмитриевна, помогли. Пойду я.

— Ты Сашенька потом, как с этим делом покончишь, приходи ко мне. А то пропадешь...

Уехал поскорее от нее. Глаза у нее добрые, но кошачьи. Видит она меня насквозь. Лярва старая! Завтра навещу попа. Да еще в сельпо с продавщицей надо поговорить, узнать, покупал ли Липкин третьего спиртное.

На обратной дороге остановился, вынул кота из петли. Проволока телефонная. Совпадение? Бросил кота в лесную яму и дальше поехал.

Снился мне опять погреб. Будто я Сына-Святозара оплакиваю. И так мне на сердце горько. Сын-Святозар лежал в гробу. В шестнадцать лет бедный умер. Радостей еще не знал, света не видел. Вот, сижу я рядом с гробом, плачу. Потом желание взяло свое. Руки от страсти задрожали. Раздел мертвого. Тело у него было мальчишеское, а формы женственные. Волосы кудрявые русые. Лег к нему в гроб. Стал его ласкать. Лизал ему ушки и спинку светлую кусал... Вот наваждение!

А потом во сне на шабаш попал. Бабка Калдыриха там всем заправляла. Огромная, толстая, не такая, как в жизни. Вначале младенцев в огромном котле варили, жир вываривали. Жрали потом голые ведьмы младенцев так, как будто это сардельки. И в себя засовывали. Затем под потолком летали, хоровод устроили и пели. Что пели, толком не разобрал.

— Сели, сели, дули, дули, между ножек перегнули, распалили, раскалили, в ночь на белую звезду, растопырили пизду, затопили, заварили, в печке солнце уморили, кто лежит под рысаком, тот родится петухом, у нее большая дырка, а у мужа носопырка, носом, носом, пырь засосом, перекосом все пошло и на деда перешло...

Тут они все на меня уставились и как лошади заржали. А Калдыриха подскочила ко мне, схватила за уши двумя руками и голову мою себе в лоно сунула. Там было красно, влажно. Как в ташкентской дыне. Я высунул язык и лизал колеблющиеся прелести. А Калдыриха взяла мой кол и стала его вертеть...

Проснулся я от поллюции. Из горла еще рвался стон. Кто-то настойчиво звонил в дверь квартиры. Набросил на плечи халат. Открыл. Соседка.

— Ты чего кричал, Шурик? Может скорую вызвать?

— Все хорошо, баба Настя, мне просто... Присноирод приснился.

— Господи, спаси... Я думала, ты сдурел или помер, испугалась.

— Спасибо за заботу.

С продавщицей сельпо разговор был короткий.

— Покупал Липкин третьего спиртное?

— Нет.

— Хорошо помните?

— Да ничего не было. Пустой прилавок. Все перед праздниками расхватали. И зачем ему водка, когда самогонки полно?

— Кто гонит?

— Не знаю я ничего...

Пелагея небось и гонит. Надо будет еще раз с ней поговорить. Подошел к их дому. Мужики какие-то на улице стоят. Угрюмые. Покупатели? Как бы мне от них не схлопотать. Хотел к калитке подойти, не дали. Один прохрипел: Уходи лучше по-хорошему.

Не стал я лезть на рожон. В следующий раз с ментами приеду. Попляшут у меня. Пошел к попу. Рядом с церковкой домишко.

— Батюшка в церкви, отпевает.

Вот это да! Преследует меня мертвая Федотья. Вошел в храм. Там гроб стоит. Вонючка сладкая. Ладан. Народу немного. Отошел от людей. Встал у большой иконы. Богородица. Утоли мои печали. По адресу. Грустные глаза у нее. И красивые. Смотрит она — на младенца. Почему же ее взгляд прямо в душу мне проникает? Не люблю, когда мне в душу смотрят. Нечисто там. Вышел из церкви. Погулял на маленьком кладбище. Вынесли гроб, понесли к стоявшей невдалеке пятитонке. Никого не узнал. Ошибся, не Федотья это. Посторонний какой-то покойник.

Попу уже передали, что я с ним поговорить хочу. Сам ко мне подошел. И сигарету закурил. Но так, чтобы никто не видел. Потихоньку.

— Говорят, у вас гостили люди какие-то чужие?

— Это был мой племянник из Мценска, с женой и братом.

— Телефоны, адреса дадите?

— Конечно дам. Только вы не думайте, что они какое-то отношение к несчастью имеют. Они уехали утром после праздников.

Опять след потерян!

— А вы покойную знали?

— Она в церковь не ходила. А Пелагея бывает.

— Самогонку гонит и в церковь ходит!

— Кто из нас без греха?

— А что вы об Афанасии думаете? Мог он жену убить?

— Не знаю я. Вы — власть. Вы их воспитываете. Вы сами на свой вопрос и ответьте. И еще подумайте, кто виноват, что для Афанасия одна радость в жизни — водка.

Умный поп. Получается, мы виноваты. Советская власть. Еще лучше — я один виноват во всем. Я и есть убийца. Вот он, ответ. Что я таскаюсь сюда? Я виноват. И точка.

В ту минуту осенило меня. Понял, как Липкина допрашивать надо. Спасибо попу.

Поехал назад в город. Вызвали Афанасия из камеры. Он, как меня увидел, принялся за свое. Попугай хренов.

Говорю ему: Помолчи минуту. Я знаю, что ты не убивал. Ты невиновен. Это я твою жену задушил.

Оторопел, смотрит на меня как баран. Потом говорит: Вы убили?

— Я убил.

— Задушили и на гвоздь в сарае повесили?

— Ну вот, ты и проговорился, дубина. Отвечай путем, пил в тот вечер с друзьями?

— Пил все праздники. Пил и третьего. Начал еще в мастерской. Добавляли у крестного.

— Потом у матери?

— Да.

— Когда домой пришел?

— Ночь была.

— Опять проговорился. Пелагея говорила, что тебя рано утром дома не было. Очную ставку делать будем. Что дома увидел?

— Ничего. Все было нормально. Федотья кормила, стала меня стыдить.

— Ты что сделал?

— Не виноват я! Я ее пальцем не трогал...

И дальше по программе. Но мне уже все равно было. Потому что я сам для себя уяснил, как дело было. Пришел Афанасий пьяный домой. Федотья начала его увещевать. Он впал в ярость. Задушил жену как кошку. Первой под руку попавшейся проволокой. У него ее много. В аффекте. И на гвоздь в сарае жену повесил. Что натворил — не понял. Спать завалился. И, конечно, о том не подумал, что гвоздь этот слишком высоко торчит, не достала бы его маленькая Федотья. Оставил бы он ее там висеть, да положил бы рядом лестницу какую или ящик опрокинутый — все бы решили, что самоубийство. Не со сверлильного же станка вешаться. Который к тому же в другом конце сарая стоит. Неподъемный груз.

Целую ночь ребенок орал, никто не пришел, не спросил. Все по домам сидят. Пузыри пускают. А утром мать притащи-



лась. Хватилась снохи. Вбежала в сарай — вот она, висит, как груша. Разбудила сына. Торопилась. Вдвоем они тело с гвоздя сняли. Гвоздь выдернули. Тело в погреб снесли. Там пытались повесить. Не вышло. Да и крюк из стены выдрался и под доску закатился. Хорошо подумать времени не было. Труп на руках, дети визжат. Положили тело на пол. Вокруг шеи телефонный провод обмотали. Чтобы воду замутить. А про крюк забыли. Афанасия Пелагея к себе домой послала. Велела еще самогону выпить. И только потом заголосила. Народ созвала. Всех в избу завела, в погреб, во двор и в сарай пустила. Чтобы натоптали везде, грязными руками затрогали. Только после этого сына опять в дом ввела. Деревенские сразу все поняли, не впервой. А меня дурачили как умели.

Ночью мне опять злое приснилось.

Вначале все Афанасий представлялся. Душил меня. Я кричал, отбивался, но он меня переборол. И в сарае повесил. И вот, я мертвый, в сарае вишу. На том самом столбе. И отходит моя душа от тела и летит в прозрачном шаре в небеса. Как куколка детская в мыльном пузыре. Подлетает к огромному престолу. На престоле сам Бог восседает. И шар мой прямо ему на ладонь садится. И вот, стою я — куколка, на ладони боговой.

И говорит мне Бог: Ну что, Шурик, с тобой делать прикажешь?

А я взял и брякнул сдуру: Пошли меня в погреб.

Нет чтобы в рай попроситься.

И тут... как будто сдуло меня с ладони и, пока я в пропасть страшную летел, все слышал смех сатанинский.

И вот, я в погребе. Ладаном пахнет. И обстановка как бы церковная. Стою перед иконой Божьей Матери голый. Смотрю на ее лик. Молю ее о милости. А она с иконы — на меня глядит. Сердце благодатью озаряет. И вдруг с иконы сходит. По воздуху как по лестнице идет.

Подходит ко мне. Кладет младенца в люльку золотую. Обнимает меня. Голубит.

И вот, я уже на Богородице лежу. И мы смеемся и в глаза друг другу заглядываем. Как муж и жена. И я — глубоко в ней. И вокруг нас не церковь, не погреб, а сфера звездная. И золотые арфы играют нам музыку.

Вот, значит, до чего я дошел. Бог меня в руке как зверь Кинг Конг держал. И с Богородицей сплю.

Все допросы снял. Очную ставку с матерью провел. Афанасий принялся было опять за свое, но когда я ему пригрозил, что Пелагею посадим, не выдержал, сознался. Пелагея рыдала, сына выгораживала. Был у Приходько. Бутылку, как обещал, поставил. Рассказал все. Показал протоколы. Попросил разрешения Пелагею не преследовать. Тот разорался, но позволил. Бутылку мы выпили. Я занялся другим делом. А Афанасия через три недели осудили. Восемь лет строгого режима дали. Зачли смягчающие. Могло быть и хуже. Мать Федотьи забрала сирот к себе.

К Калдырихе я так и не съездил.

Живу неплохо.

Только кот черный по ночам донимает. То у двери скребется, то с потолка на грудь прыгает.

## ЛЮБОВЬ

Моя фамилия — Сироткин... Как вы полагаете, Дима, можно с такой фамилией прожить долгую хорошую жизнь? Нет. Это и чижику ясно. Сколько раз мать просил — смени нам фамилию! Нет! Вот, в нашем дворе один мой дружок был Бусовым, а стал Ожерельевым. И доволен. А нашу сиротскую фамилию мать менять не стала.

— Как я могу! Мой дед-толстовец был Сироткин!

А на самом деле она моему отцу досадить хотела. Его фамилия была — Кац. Он нас бросил. Умотал в Израиль — по первому призыву, в шестьдесят девятом. А мать наотрез отказалась ехать.

— Не поеду. Мне моя могила в этом Израиле мерещится. Леса нет, жарко, вокруг евреи. Там моя смерть. И сына не выпускаю.

Отец просил, умолял, на коленях стоял. Все бестолку. С работы его уволили. Полтора года мурыжили. Потом дали разрешение. Он свалил. А мы остались в Москве. С тех пор я отца не видел. Только во сне он ко мне несколько раз приходил. Я с ним во сне заговорить пытался. Но он молчал. Я плакал, просил его не уезжать. Все напрасно. Отец был тих. Сидел на каком-то камне, голову на руки положил. А за ним была гора, в небо уходящая. На ней — старые могилы. Когда мне шестнадцать исполнилось, мать рассказала, что отец только три года в Израиле прожил. От инфаркта умер. В Иерусалиме. Полный был. И чувствительный.

А теперь мне дорога к нему закрыта. Жалко, духи снов не видят. И к месту привязаны. Тут, в музее — гуляй где хочешь. А за порог нельзя. Печати специальные положены. Так что путешествовать я только по залам да по картинам могу. Сам по-

желал. Может, отец, как и я дух неприкаянный, бродит там у Золотых ворот. Интересно было бы с ним поговорить... Ну да ладно, что душу зря травить...

Так вот, фамилия моя Сироткин. Сирота как бы. С годами привык, не обращал внимания. Одноклассники надо мной смеялись, дразнили сирым, сивроткиным и уж совсем не понятно почему — сиропчиком. Особенно меня этот сиропчик доставал. Гусиная кожа от этого слова по телу шла. И горло внутри чесалось.

Жили мы с матерью в маленькой квартирке недалеко от Комсомольского проспекта. В новом панельном доме, где обувной. Кухня, коридор, две комнаты. Моя — 8 метров, мамина — 16. Кооператив. Мать в военной академии переводчицей работала, зарабатывала 250, нам хватало. Отец тоже где-то там работал. Закройщиком в закрытом ателье. Мундиры, наверное, шил. Работником он был не лучшим и использовать свое положение не умел — жил с женой в коммуналке и, только когда я на свет появился, кооператив купил. Помогли знакомые. На первый взнос у бабушки Ривы деньги взял. Бабушка долго не хотела давать.

Ворчала: Женился на русской, а теперь полторы тысячи рублей просит!

Потом дала.

— Зяма, не могу наблюдать твои мученья!

По словам матери, баба Рива отца грызла и канючила, чтобы в Израиль он без нас уехал. Даже невесту ему присмотрела — толстозадую Сару с волосатыми ногами. Не хотелось ей показывать многочисленной еврейской родне русскую сноху и внука-гоя.

— Ууу... гнездо жидовское! В нем нашего Каца птенцом считали. Не позволила ему баба Рива повзрослеть, чтоб ей поскорее околеть, гадине, — бранилась мать.

— Зачем же ты за него замуж вышла? Он же старше тебя был, и его мать тебя обижала! — спрашивал я мать, силясь что-нибудь понять в логике взрослых.

— Зачем, зачем... Вырастешь, поймешь... Любила...

В школу я ходил без большой охоты. Учился так себе. Мать приходила с работы усталая, но мои домашние работы проверяла. Помню, никак мне английские слова выучить не удавалось. Ненавидел я этот язык всем сердцем. Учил, учил, повторял, повторял. Как тетрадь закрою — все из головы вон. За невыученные слова я от матери получал нагоняй. Кричала. Грозила, что стану дворником. Я этого очень боялся. Мне представлялся огромный глупый мужик в грязном фартуке. А я тогда хотел стать министром иностранных дел.

Один раз мать дала мне пощечину. Заслужил, двойки по английскому в дневнике чернилами залил. На свободных местах пятерок понаставил. Думал, мать не заметит. Заметила. Да ее еще и к завучу из-за этого вызывали. Я сидел дома, дрожал. Мать пришла злющая. Хрясть меня по щеке ладошкой! И рыдать.

Потом говорит: Ты трус! Напортачил — отвечай. Ответил. Исправил. Нашел из-за чего дневник марать... Министр... А эта твоя Светлана Родионовна — гадюка настоящая. Я с ней поговорила. Антисемитка проклятая. Чует в тебе папу Каца. Думала, ты в деда Колю пойдешь, а вон что вышло — цадик местечковый, как мы тут жить будем? А для еврейчиков — ты русский. Вот же привел Господь...

О чем она говорила я понял позже, когда меня при поступлении на физфак МГУ на экзамене срезали. На апелляции шепнул мне второй проверяющий, аспирант, когда первый за бумагами вышел: Вы Сироткин, да не совсем! Подумайте хорошенько, куда таким «наполовину сиротам» поступать разрешено, а куда и пробовать не надо.

...

Учительницы у нас были — драконы.

Светлана Родионовна, невысокая полная дама с выпученными глазами даже двигалась как змея, только пластилиновая. Какой-то недуг терзал ее изнутри и за это она жалила учеников. На каждого из нас у нее было приготовлен особый яд.

Например, с тощим, высоким как жердь Ваней Сабитовым она говорила по-простому: Ты Иван опять не можешь двух

слов связать. Что же будет, когда мы сложные тексты проходить начнем? Иван ты Иван, голова два уха. Надо будет поставить вопрос об отчислении на педсовете. Есть такие школы, для отсталых. Тебе там самое место. А родителей твоих прошу ко мне завтра, к трем часам.

Знала ведь, гадина, что Ваня растет без отца, а мать его — бедная неграмотная татарка-уборщица, боится всех, не понимает по-русски, работает в трех местах и четверых детей на себе тащит. Та придет, а Светлана давай ее мучить: Ваш сын недоразвитый, текст про Одиссея пересказать не мог, на уроках мычит, рук из карманов брюк не вынимает...

А меня она так обрабатывала: Я понимаю, это неожиданность для тебя, Сироткин, что ты, несмотря на мать переводчицу, не способен к языкам. Ты должен больше остальных учеников заниматься. Это тебе не арифметика. Тут нужно способности иметь... Хорошо, если у тебя тройка в четверти выйдет. Все вы в английские школы поналезли... Думаете не понятно, для чего?

Кто эти — все «вы», которые «поналезли» я не понимал. Зато хорошо чувствовал нескрываемую ненависть, исходящую от Светланы Родионовны.

Наша классная руководительница Альбина Федоровна, учительница русского языка и литературы, дебелая бабища, говорила с нами почему-то нараспев. Ученики ее боялись, потому что над верхней губой у нее были черные гадкие усики, а во рту сверкал золотой зуб.

— Нааш диреектор решиил — кааждый клаасс примет учаение в социалистиическом соревноваании по успевааемости. Мыы все в шестоом Бее возьмеем на себя обязаательство, повыысить успевааемость на дваа и четыыре десятыых процента... — долдонила классная.

А когда она говорила о генерале Карбышеве, ее завывание перерастало в устремленный в потолок крик души.

— Товаарищи пионееры! Каарбышев жив! Фашисты заморо-озили его теело, но дуух его всегда буудет жить в нашей пионерской дружинине!

— Сосулька, — говорил мне тихо мой сосед по парте Сухарев, показывая грязным пальцем на страшную картинку. Голого человека обливали водой на лютом морозе фашисты. Ноги его уже были покрыты льдом. Пар шел от тела. Мне запомнилась голая спина Карбышева — художник так рельефно прорисовал мускулы, что было непонятно, как такой силач позволяет поливать себя на морозе из шланга водой довольно убогенькому солдату с крысиной физиономией.

Учителя, напротив, не вызывали во мне чувство отвращения. Некоторых, я, конечно, побаивался. К другим был равнодушен. Одного даже любил. Это был учитель истории Петр Самуилович. Это был единственный в школе вменяемый педагог. Говорил он кратко и доходчиво. Особенно мне нравились его комментарии. Петр Самуилович рассказывал: Цезарь завоевал популярность плебса устройством пышных зрелищ и раздачами хлеба... Зрелищ и сейчас достаточно, а вот с хлебом сложнее. А с популярностью совсем плохо. Цезаря раздражала его лысина, потому что над ней смеялись. Для ее сокрытия, он постоянно носил лавровый венок. Попробовали бы посмеяться над Иосифом Виссарионовичем за его сухую руку и короткую ногу! Я бы на них посмотрел.

Кто такой этот Виссарионович мы не знали, но представляли себе мстительного злого карлика со страшной сухой рукой и маленькой короткой ножкой.

В сентябре 19..., последнего в школе, года в наш класс пришел новый ученик — Армен Сальский. Худой, высокий, черноволосый. Вел он себя достойно. Говорил с легким кавказским акцентом. По многим предметам быстро стал первым в классе. Очевидно скучал на уроках. В этого Армена я влюбился. По уши и с карманами.

Мне нравились мальчишки. Переживал я это мучительно. В душевой, голый, я стеснялся своего тела. Показывать свои чувства боялся. Боялся не одноклассников, а самого себя. Думал, я урод или сумасшедший. А на девочек и смотреть не хотел. Все они мне казались жеманными и фальшивыми. До фиолетового траурного оттенка на висках.

Какие мне надо было делать выводы, как жить — я понятия не имел. Удовлетворял себя сам. Как все это делают. И терзался как все. Не знаю как у других, но у меня сексуальные фантазии чем-то вроде навязчивых представлений были. Приходить — приходили. А уходить не собирались.

Прочитал я тогда «Три толстяка». Наследник Тутти, Тибул, Суок... Странное впечатление книга оставила — все вроде хорошо, а противно. Мылся после чтения в ванной. Потянуло на это. И вдруг, откуда ни возьмись — трое голых, толстых мужчин на меня накинулись. И с тех пор, как только мои гормоны шалить начинали — три толстяка уже меня ждали или в ванной или в кровати. А иногда — прямо на уроке ко мне приходили и безобразничали. Еще хуже — в троллейбусе переполненном. Никто их, кроме меня, конечно, не видел. А я не только видел, но и чувствовал. Всем телом. До высшей точки они меня доводили за пять минут. Чертовщина? Еще и не то бывает. Мне в первые сорок дней после смерти такое показали. Глубины сатанинские.

Влюбленность в то время была для меня чем-то перистым, небесным. Доступная мне эротика проходила как бы в нижнем этаже жизни. И я понятия не имел, как перистые облака юношеской влюбленности совместить с тремя толстяками.

Любимый мой на меня и не смотрел. Даже поговорить с ним не удавалось. В сальных разговорах наших одноклассников он не участвовал. От контакта обычно уходил. Или элегантно или подчеркнуто грубо, но грубость его меня не оскорбляла. Потому что мне все в нем нравилось.

Один раз, на перемене, я спросил его, что он думает о смысле жизни.

— Знаете, Миша, — ответил он кисло улыбаясь. — Такие вопросы только такие люди как вы задают. Которые не живут. Не умеют. Идите вы в задницу. И пойте при этом патриотические песни!

— По долинам и по взгорьям?



— Можно, но лучше — Главное, ребята, сердцем не стареть...

Повернулся и ушел от меня. Я закусил губу.

Однажды, шли мы все в автошколу. У Сальского, по-видимому, было хорошее настроение, поэтому он позволил мне идти с ним рядом.

Я робко спросил: Армен, ты куда после окончания школы поступать собираешься?

— Вы, товарищ Сироткин не мой папа, не мой мама... Поэтому, останемся на вы. На мехмат собираюсь.

— Математиком хотите стать?

— Не знаю. Мехмат я выбрал не из-за того, что там есть, а из-за того, чего там нет.

— Как это?

— Объясняю для малограмотных. Идеологии там не много. 24-го съезда и прочего дерьма...

— Напрасно надеетесь. У меня там двоюродный брат учится, так его научным коммунизмом так заели, что он в Кащенко отлеживался, и от армии его только белый билет спас.

Это я наврал для значительности. Не было у меня двоюродного брата-мехматянина.

— С чем его и поздравляю...

— А что вас кроме математики интересует?

— Марсель Пруст и Герман Мелвилл, Генри Дэвид Торо и Джойс, Сартр, Кафка и Хлебников, Гойя и Рембрандт, Делакруа и Поль Гоген, Майоль и Эдвард Мунк, хватит с вас?

— Мне эти имена не известны. У нас книг не много дома. Чехов стоит и Гоголь.

— И это недурственно, батенька.

— Еще есть, как его, Драйзер.

— Вот скучища-то. А «Саги о Форсайтах» у вас нет?

— Есть. И Анна Зегерс.

— Не продолжайте, а то у меня истерика начнется... Вы хоть в Пушкинском-то музее хоть раз были?

— Это где?

— На Луне. Да что я спрашиваю, не по Сеньке шапка.

Тут у меня от обиды слезы навернулись.

Для малограмотных, не по Сеньке шапка — он меня за полного дурака принимает. Правда я и есть дурак. Дурак и невежа. Но если ты умный, ты меня научи, а не унижай. Мне тебя обнять хочется, в губы поцеловать, а ты меня презираешь. А музей я посещу, дай только срок... И книги прочитаю, я в юношеском зале в Центральной библиотеке записан.

Насупился и замолчал.

Сальский вдруг заговорил.

— Я понимаю вас. Лучше, чем вы думаете, понимаю. Ваша жизнь мне ясна, как этот кленовый лист. Со всеми прожилочками. Ясны ваши желания и мечты. Знаю я, что ты хочешь, Миша Сироткин. Ты выше задницы не видишь ничего. Ты залупу мою сосать хочешь!

Он остановился, пристально посмотрел на меня и схватил руками за плечи. У меня от волнения чуть сердце не остановилось.

Сальский дрожал. Лицо его покраснело. Чувственные восточные губы сжались. Из черных глаз, казалось, вылетал огонь. Я с трудом выдавил из себя несколько слов.

— Да хочу, если ты... этого хочешь... и... я... люблю тебя.

Дальше произошло вот что.

Сальский нежно поцеловал меня, потом отошел, неожиданно подпрыгнул и повис в воздухе. И долго висел...

А затем — растворился, исчез. Я стоял, выпучив глаза. Сердце билось так часто, что я боялся, что оно разорвется. Ничего, прошло. Жизнь все время нас от нас самих уносит. Спасает.

...

В автошколе остальные, обогнавшие нас ученики, уже сидели на местах и старый неопрятный учитель Александр Павлович Носиков объяснял, как работает двигатель внутреннего сгорания.

— Жиклеры нельзя прочищать проволокой, иглами и другими металлическими предметами, — предупреждал учитель. — Заостренной спичкой можно, а еще лучше — продувать...

Внезапно до меня дошло — Сальский тут, сидит за два человека от меня, даже в тетрадку что-то пишет. Как же он сюда попал? Неужели прилетел? Посмотрел на него. Он ответил вежливым спокойным взглядом.

— Сердце карбюратора трубка Вентури, — интимничал Носиков. — В центре трубки заслонка. А ты, Сиротин, почему не пишешь? Шибко ученый, да?

— Я — Сироткин, а не Сиротин.

— Не умничай! Сироткин... Заслонка регулирует подачу бензиново-воздушной смеси в камеру... В какую камеру, Сиротин?

— Сгорания, только я — Сироткин.

— Сирота ты казанская, Сиротин. Не лови ворон, а записывай. Мечтатели тут, понимаешь...

В следующий раз мне удалось поговорить с Арменом только через несколько лет. Оба мы были уже студентами. Я провалился на физфак, зато поступил в МАИ. Сальский учился, как и хотел, на мехмате МГУ. К тому времени я уже побывал в Пушкинском. И не раз. Полюбил и изучил старую голландскую и немецкую живопись. Прочитал и Сартра и Торо даже Марселя Пруста в переводе Любимова. Выходили тогда тома. Вначале было тяжело. Потом стало непонятно, как можно было жить без этих книг...

Встретились мы случайно. В метро. На Октябрьской радиальной. Внизу. Чуть лбами не столкнулись. Я по его глазам сразу понял, что он меня узнал. Что он не уйдет.

Попытался быть развязным.

— Ха, привет, Сальский.

— Привет.

— Ты что тут забыл?

— По делам, по делишкам. А ты?

— Я тоже... краски тут наверху покупал... в магазине для художников.

— Малюешь?

— Немножко. Пробую. Ты меня тогда с музеем пристыдил. Теперь часто там бываю. Ну и сам начал... потихоньку... рисовать. Даже поучился немного. У старых мастеров... На Маловке...

— Это в доме, где одни ателье? Знаем, знаем... Выставлять пытался?

— Где уж, я ведь не член Союза.

— В павильоне пчеловодства был?

— Это зачем?

— Выставка там была, нонконформисты свои работы показывали. Рабин, Целков...

— Даже не знал, что такое у нас возможно.

— У нас ой как многое возможно... Эх ты, сирота убогая!

— Ты опять за свое... слушай, а ты почему тогда убежал... или улетел... помнишь... по дороге... про трубку Вентури Носиков еще долдонил.

— Все я помню, у меня как у гэбистов, никто не забыт, ничто не забыто.

— Ну тогда... ответь... мои чувства прежними остались.

Как я это смог произнести — не знаю. Язык сам говорил. Три толстяка пробежали где-то на периферии зрительного поля... красная трубка Вентури, похожая на граммофонную трубу, продудела мне прямо в ухо как живая труба в мультфильме какой-то отвратительный сигнал. Передо мной вспыхнули вдруг два глаза дьявола... я попытался закрыть глаза руками, пытался сказать что-то, но не мог, затем упал, провалился во тьму.

Когда пришел в себя, мы сидели на деревянной скамейке. Там же, в метро. Сальский поддерживал меня и несильно бил пальцами по щекам.

— Очнись, очнись скорее, Миша Сироткин. Твой час еще не пришел.

— А... что случилось?

— Ничего особенного, все хорошо, — сказал Сальский. — Все замечательно, только ты чуть под поезд не попал... Я тебя от края платформы оттащил.

— Спасибо.

— Потом ты все про каких-то трех толстяков бормотал. Это что за чепуха?

— Меня с отрочества фантазия мучает — три толстяка ко мне приходят.

— Да ты брат, с воображением. Я думал такое только автору может привидеться. Служебные демоны писателей любят. За твоим Олешей, думаю, целая свита носится. Но, чтобы на читателя перешли? Да еще на сироту... А как ты вообще живешь?

— Живу до сих пор вдвоем с матерью. Привести домой никого не могу. Вру матери про встречи с девушками. К Большому ехать боюсь...

— Понятно, понятно. Правильно делаешь, что к Большому не едешь. Там одни хмыри. Знаешь, мне одна идея в голову пришла. Тут... завтра у одних знакомых вечер будет. Особенный. Там будут только такие как ты и я. Понимаешь? Хочешь со мной пойти?

— Да.

— Тогда вот что. Я тебе сейчас запишу на бумажке мой номер телефона. Позвони завтра вечером, в шесть. Договоримся.

Армен вручил мне записочку и ушел. Я посидел немного и тоже пошел. На пересадку.

Весь день делать ничего не мог, только думал, думал и гадал. Волновался. Неужели эта, в уголовном кодексе не забытая сторона моей жизни, имеет право на существование? И как просто он это сказал — такие как ты и я. Это же посвящение в рыцари.

Ночью почти не спал. Три толстяка все время рядом были. Смеялись и рожи мне строили.

На следующий день в шесть звоню Армену.

— Выходи из дома в полночь. Иди к Спортивной. Оттуда на Кировскую. Я тебя у памятника буду ждать.

Матери я сказал, что с девушкой на свидание иду. Показала головой.

— В полночь?

И замолчала. Мать меня не понимает, но жалеет. Нет у меня сил все ей рассказывать, объяснять. Выяснить отношения... Сунула мне в карман трешку. Добрая.

До Спортивной шел не торопясь, наслаждался. Московская бурая ночь, прохожих не видно. Пространство гудит. Разговаривал со знакомыми с детства домами. Просил их меня поддержать. Говорил и с Метромостом. Его огромная асфальтовая спина всегда влекла меня своей укатанной протяженностью, скоростным захватом. Это не мост, а Моби Дик.

На освещенный шпиль университета посмотрел косо. Не взяли и опозорили. Ладно, вперед...

На Кировской у бюста никого не было. Постоял, подумал. Вдруг кто-то черными перчатками закрыл мне глаза. Шутка эта мне всегда не нравилась. Не потому что угадывать надо, а потому что в Москве можно и ножик в почки получить — просто так, без повода.

— Армен?

— Нет, бармен, — плоско сострил Сальский. — И коктейль уже нас ждет и виноград.

Мы вышли из метро. Один переулок, другой, церковь мне неизвестная, тупичок. Теперь сквозь арочку. Во двор, еще один проход. А вот и подъезд. Второй этаж. Позвонили. Открыл нам голый молодой человек в маске. У меня сразу дыхание сперло. Так хорошо он был сложен. Да и нагого тела я давно не видел. Он сказал что-то Армену то ли по-грузински, то ли по-армянски. Тот ответил. Говоря, жестикулировал. Показывал на меня, судя по тону — оправдывался.

Мы вошли в большую прихожую. Там пахло странно. Томительно как-то. Сняли пальто, шапки и ботинки. В квартире было тепло. Откуда-то доносилась мелодичная, незнакомая мне струнная музыка.

Сальский сказал: Пойдем на кухню.

Взял меня за локоть и повел. Я начал теряться. Воля моя слабела. Не от страха. От новизны ситуации. Инстинкт говорил мне: Будешь дергаться — пропадешь. Пльиви по течению. Оно тебя сильнее. Может и вынесет.

В кухне Сальский достал из внутреннего кармана пиджака пакетик с одноразовым шприцом. В шприце была бардовая

жидкость. Жестом попросил меня обнажить бедро. Сделал мне укол. Потом достал второй пакетик, уколол и себя. Я молчал, хотя уколов не выношу. После этого он повел меня в ванную. Сказал: Раздевайся.

Я разделся.

— Все снимай!

Я повиновался. Он тоже разделся. Оказалось, Армен весь, от плечей до пяток зарос черными курчавыми волосами. Я посмотрел на его член. Ах черт, в два раза длиннее моего. Ладно, что есть, то есть. Мы оба влезли в ванную. Начали мыться. Я ткнулся губами ему в плечо, положил руку на его бедро. Он мою руку с бедра убрал и сказал: Сейчас не до этого. Другим тоже помыться надо.

После мытья обтерлись чистыми махровыми полотенцами. Вышли из ванной. Армен подал мне полумаску на резинке. И сам надел. Кроме масок на нас ничего не было. Одежду, часы и обувь он аккуратно вложил в наши свернутые пальто. Мы вошли в комнату, из которой музыка доносилась.

В комнате этой квадратной никакой мебели не было кроме длинного узкого и низкого стола с бутылками, фужерами и виноградом. Окна закрывали плотные темно-бежевые шторы. На полу лежал тяжелый красный ковер с геометрическим рисунком. На ковре сидели и лежали голые мужчины в масках. Всех возрастов. Детей не было. В углу сидел по-турецки одетый в пеструю шелковую рубаху — индус и играл на огромной черной балалайке. Другой бил ладонями в маленький барабан. Армен прошептал мне на ухо: Это ситар. На нем исполняют рагу. Медитацию на заход Солнца.

Вот откуда музыка! Тихая но экстатическая. Мягкие, ласкающие слух струнные переливы сменялись властными ритмическими ударами...

В воздухе витал синеватый дым от кальяна, который передавали из рук в руки. Освещалась комната крохотными лампочками на стенах — это были три или четыре новогод-

ние гирлянды. Такое освещение напоминало о елке, цветных стеклянных игрушках, о раскрашенном снеге.

Мы сели на ковер.

Армен сказал тихо: Сядь удобно. Расслабься. Дым из кальяна вдыхай только один раз. Постарайся не кашлять. Сейчас укол начнет действовать. Не бойся. Ничего плохого тебе тут никто не сделает. Если дурно станет, скажи мне. Или уходи. На улице отойдешь. Одежда в прихожей.

Передали мне кальян. Я вдохнул. А выдохнуть не смог. Чуть не задохнулся. Но сдержал себя, не закашлялся.

Перед глазами у меня все постепенно стало густо лиловым. Как будто я в аквариуме с лиловой водой. Плаваю в глубине среди вьющихся водорослей. Сильный как атлант. Незнакомое мне блаженство переполнило душу и зажгло во мне любовное пламя.

Я загорелся как бенгальский огонь. Мои руки стали искать тело моего друга...

Вокруг меня была ухоженная, манящая мужская плоть. Мои губы искали то, что можно было втянуть в рот, облизать, чем можно было насладиться.

Через мое тело потек поток радости. Он втекал в меня сзади и вытекал через рот. И я сам тоже был потоком. Я втекал в чужую плоть и искал там наслаждение. Золотые пульсирующие кольца счастья разворачивались в раскручивающуюся спираль... Спираль бешено крутилась и разрывалась на тысячи светлых капелек.

Не знаю, сколько времени продолжалось блаженство. Помню, заснул рядом с Сальским. Проснулся я от острой боли. Кто-то наступил сапогом на мой живот. Потом слышал крики: Что, пидарасы. Разнежились. Черножопые козлы!

Кричали милиционеры и дружинники. Били наотмашь лежащих голых людей черными резиновыми дубинками. Топтали ногами.

Я попытался встать. Ко мне тут же подлетела темная фигура.

— Лежать, черножопая гадина. Лежать, кому сказали!



Я увидел над собой потное, тупое, искореженное от бешенства лицо милиционера. Он ударил меня дубинкой по голове. Мой череп раскололся на куски. Я умер.

Теперь вот по музею летаю.

Могу рыбкой стать... Могу птичкой...

...

Так закончил Миша Сироткин свою историю. Не только врачи и сестры, но и все остальные пациенты в палате пытались убедить его в том, что он жив. Что он не в музее, а в больнице. Но он никого не слушал. Даже свою мать. Она к нему каждый день приходила. Гладила его по забинтованной голове. Кормила ложечкой. А Сироткин все пытался встать. Картины хотел ей показывать. На ее вопросы не отвечал. Почему он со мной разговаривался — не знаю.

## У ГРИГОРИЯ ЕГОРОВИЧА

Поехал я к Григорию Егоровичу.

Жил он в Опалихе. В старом деревенском доме. С женой Лизочкой, с двумя ее дочками от первого брака и с их собственным двухлетним сыном Ромочкой.

Григорий Егорович купил осенью пчел. А сейчас был март. Пчелы еще спали. Но вот-вот должны были проснуться. Чтобы совершить первый, гигиенический полет. Поэтому Григорий Егорович пригласил отца Ливерия освятить пчел. А меня позвал, чтобы я с батюшкой познакомился и, может быть, получил бы от него заказ на икону. Я как из института уволился, начал иконы писать и оклады к ним чеканить. Первый раз в жизни начал что-то путное делать, говорила верующая подруга жены Соломинка. Соломинка эта была мне по-женски симпатична, поэтому я слегка перед ней заискивал.

С Григорием Егоровичем меня познакомила та же Соломинка в подмосковном Боголюбском храме. Он мне очень понравился. Не храм, а Григорий Егорович. Маленький московский интеллигент. Курчавый. Старый. Сын академика. Но не сноб, не карьерист, а нечто противоположное — отказавшийся от карьеры, удивительно скромный человек. Не холодный, не пассивный, а активный, горячий.

Человек милый, растрёпанный и с закидонами. Закидон первый — женился на женщине, на тридцать лет его моложе. На Лизочке! Закидон второй — бросил московскую квартиру, институт и переехал жить под Москву, в деревенский дом. Закидон третий — стал православным. Закидон четвертый — купил козу и пчел и рассчитывал, что они его — прокормят и пропят. Я люблю таких людей. Окружающему нас большому безумию они противопоставляют свое, маленькое. И не распускают нюни.

Приехал я в Опалиху. На электричке. В будний день. Было прохладно, но не холодно. Солнышко светило. Народу на перроне было мало. А как отошел от станции и попал в лабиринт деревенских улиц — и вообще никого. Все на работе. Социализм, всеобщая занятость. Спросить некого, где же тут треклятая улица Лесная. Рядом улицы: Колхозная, Заводская, Павки Корчагина, Цветочная, Зеленая. Зеленая есть, а Лесной, как назло, нет. Говорил мне Григорий Егорович по телефону — иди точно по схеме, сам никогда не найдешь! А я, дурак, не послушал. Потерял бумажку. Плутал, плутал, ходил, ходил. Наконец, вижу — тащится мне навстречу какой-то дядечка. Я к дядечке подошел и сказал: — Извините, где тут Лесная улица?

Деревенские люди пугливы как лани. Дядечка от меня отпрянул и с почтительного расстояния промямлил: Не знаю я ничего, иду вот в магазин, иди и ты своей дорогой!

— Вот в этом и вопрос, где моя дорога? Где тут Лесная?

— Да, у нас тут есть лес. А осенью в нем грибов много.

— До осени ждать долго! Мне бы сейчас Лесную найти.

— А вам кого там надо, на Лесной?

— Там живут мои друзья — Лизочка и Григорий Егорович, который пчел купил.

— Это тот, кто у Семеныча пчел купил?

— Не знаю, у Семеныча или у кого еще, но купил.

— Тот не на Лесной, а на Академика Павлова живет!

— Нет, на Лесной. Григорий Егорович. У него коза Матрена.

— У Егорыча коза? Нету у Егорыча козы. У него куры. А козы нет.

Тут я понял, что разговор наш уносится в беспредельную даль. Сказал: Спасибо, спасибо, я сам найду! И пошел дальше.

Когда отошел метров тридцать, услышал: Второй поворот налево, потом направо, там недалеко.

Крикнул сердобольному дядечке: Спасибо!

И дальше потащился.

От моего крика залаяли все собаки в округе.

Указание оказалось точным, через десять минут я стучал в старую замызанную дверь Лизочкиного дома. Мне открыла одна из ее дочек. Открыла, посмотрела на меня кокетливо, засмеялась и убежала.

В сенях я услышал рев. Ревел очевидно Ромочка. Прошел в комнату. Увидел такую картину: Слева вдоль стены, на которой висела репродукция картины «Охотники на привале», стояла гигантская двух— или трехспальная незастеленная кровать. На кровати прыгали, радостно ухая, довольно увесистые Лизочкины дочери — Лина и Илона. Там же пребывала и Лизочка, в розовой ночной рубашке. К кровати вплотную примыкал огромный дубовый стол. На столе стояла небуманная после завтрака посуда. За столом сидел хозяин с сыном на руках. Григорий Егорович приветливо улыбался. Ромочка ревел.

Я сказал: Здравствуйте, добрые люди!

И поставил на стол подарки — бисквитный торт и четвертинку.

— Проходи, садись, мы рады тебя видеть!

— А я рад видеть всех вас в хорошем настроении!

— Лизочка, вставай, встречай гостя, корми всех нас и пои! — сказав это, Григорий Егорович передал Ромочку жене, которая унесла его в другую комнату, и стал сам убирать со стола. Я сел на стул и осмотрелся. Ну и комната! Кроме вышеописанной кровати, стола и стульев, в ней стоял гигантский шкаф времен Ивана Грозного, весь заклеенный какими-то цветными бумажками, черное пианино, тоже как бы побывавшее в руках индейцев. На стене, противоположной «Охотникам» висело между окнами баскетбольное кольцо без сетки. Репродукция картины «Всадница». Икона. Лампадка. Кроме того, всюду были разбросаны разнообразные предметы. Странного вида деревянные рамы (они предназначались для пчел), громадный мешок с сахарным песком, детский бильярд с цветными шарами, большой кубический ящик с травой (для козы Матрены)...

— Пестро у нас, — заметила входя в комнату переодевшаяся Лизочка. — Это потому, что Григорий свою мебель из

Москвы привез! А у меня еще старые мамины вещи лежат. Ну тут все и смешалось. Да еще вдобавок пчелы.

— Не оправдывайся Лизочка, там где люди живут, — там хаос и беспорядок. Порядок калечит душу! Святой дух изгоняет. Превращает человека в автомат. Пойдем, Димыч, посмотрим на ульи и на козу.

Мы пошли в сад. Там стояло штук двенадцать ульев. Беспорядочно, как квадратики на супрематистской живописи.

— Пчелки, пчелки, — приговаривал Григорий Егорович. — Вы наши кормилицы, будете медок давать, а я его буду продавать и о вас заботиться.

Он по хозяйски гладил ульи, прикладывал ухо к деревянным стенкам — слушал.

— Их поздней осенью последний раз накормили. Зимой они спали. А весной должны вылетать! — сказал Григорий Егорович довольно неуверенно. Неуверенно же приоткрыл дверку одного улья, взглянул с опаской внутрь и поскорее закрыл. Пчеловод он был неопытный. Можно сказать, никаким пчеловодом он не был, но идею имел. Так часто бывает у русских людей — идей полно, планы — до небес, а что из этого всего выходит — недостойно и упоминанья. Забегая вперед, скажу, что пчелы у Григория Егоровича позже все-таки приносили мед, он даже продал килограмм двадцать, но жить и кормить семью, конечно, на эти деньги не мог, поэтому пчел после пары лет мучений ликвидировал.

— Да, должны вылетать. По первому солнышку, — продолжал экскурсию Григорий Егорович. — Но почему-то не вылетают. Потому я и батюшку Ливерия пригласил, пусть попоет, поблагословляет, авось пчелки и проснутся! Пусть он их святым духом окурит! Он сейчас прийти должен. Только бы не заболел. Не дай Бог! Старик крепкий, но со всеми бывает. Я ему про тебя рассказал. Он загорелся — домашнюю икону, говорит, давно хочу. Чтоб все святые там были — на меня, жену и на дочек. Но это ты с ним сам обсудишь. Пойдем теперь в сарайку.

Вошли в сарайку. Там стояла коза Матрена. Вид у нее был грустный. Серая шерсть сбилась клоками. Я от комментариев

воздержался, а Григорий Егорович поцеловал козу в белый лоб, погладил и сказал: Она у нас — эксперимент. Если будет молоко давать, купим еще коз...

Опять-таки, забегая вперед, замечу, что эксперимент этот козий не удался. Хотя и не совсем. Коза Матрена жила в сарайке лет пять и действительно давала молоко, но пить его никто кроме хозяина не хотел. Григорий Егорович пытался из ее молока делать сыр, но получалось мало и невкусно. Зато Матрена стала домашней любимицей и с ней играли дети.

Обошли сад. Посмотрели заснеженный еще огород. Я заметил, что изгородь их участка местами от старости упала. Хозяину ничего говорить не стал, какое мне дело? Ненавижу привычку все время всех учить! Это дело Соломинки.

Вошли в дом. Лизочка в комнате прибралась. Ромочка заснул в своей кровати в другом помещении. Девчонки куда-то делись. Вместо того, чтобы об изгороди поговорить, я начал остроумничать, спросил: Ты, Григорий, помнишь анекдот про пчел?

— Нет.

— Так слушай. Хотя это не анекдот, а просто присказка. Все фигня кроме пчел! Все! Но и пчелы — тоже фигня! Ты что кроме пчел и козы делаешь?

— Сам не знаю. Как сюда переехал — появилась тысяча дел. День проскакивает, как встречный поезд в метро. Устал, набегался, а вроде ничего и не сделал. Встанешь перед сном на молитву, а Богу предъявить то и нечего! Ну и просишь простить, укрепить, помочь своему неверию! Ну да, еще и за больным отцом надо убирать. Его последняя жена ничего делать не хочет, только вещи сторожит, как бы чего из ее наследства не украли! А он уже два года под себя ходит. Так вот и мотаюсь каждый день. Туда-сюда. Иногда Лизочка ездит.

— Да, дела.

— Ну а ты что, свой институт послал?

— Куда подальше! И очень счастлив. Только боюсь, закрутят большевики гайки! Поотрывают всем нам головы, когда дурь пройдет.

— Руки коротки! Джина из бутылки они уже выпустили. Народ назад в кандалы не загонишь! Ты посмотри, везде церкви открывают! Сколько времени поганили землю, теперь пора строить и святить!

— Дадут они тебе строить! Не фига подобного. Да и забота у них сейчас другая — все хотят от России отъединяться. Ты что думаешь, коммунисты это допустят? Скорее они Прибалтику бомбами закидают, чем на Запад отпустят. И южные области, и Кавказ.

Тут Григорий Егорович вдруг весь преобразился и сказал страстно: У меня на этот счет своя теория есть, я думаю, что весь Советский Союз, вся бывшая империя превратится скоро в светлое православное Царство! Все народы добровольно и с любовью к друг другу соединятся во Христе. Соборно!

— Не ожидал от тебя, запел как Соломинка.

— А я думаю, никто с нами не пойдет, одни мы останемся, — вешалась в разговор Лизочка. — А в конце и Урал и Сибирь потеряем. И Москву — там будет главный вертеп. И будет как встарь только Владимирская Русь, бедная и обобранная. Вот в ней то пламя православное, может быть, и возгорится вновь.

— А может и потухнет навсегда. Без тюменской нефти тут гореть нечему, — не сдержался я.

— Потухнет это пламя, а возгорится новое. Русская земля — святая, у русских души как свечки горят.

— И до тла сгорают.

Тут раздался властный стук в дверь. Дискуссия прекратилась. В дом ввалился громадный старик — отец Ливерий в черном длинном пальто поверх облачения. Он всех благословил. Григорий Егорович и Лизочка поцеловали ему руку.

Сели за стол — «откушать, что Бог подал».

Отец Ливерий помолился. Во время молитвы все грустно смотрели вниз. Потом благословил еду и водку. Выпил, не морщась, рюмку. Чувствовалось — опытный боец. Я водку только пригубил, пить не стал — надо было сохранить ясность ума для разговора. Хозяева тоже выпили. Закусили все

макаронами по-флотски и салатом. Потом подали чай, разрезали торт. Про торт батюшка высказался странно: Ох, вкусен как бобер!

Возгласил: Ах ты, трясина зыбучая! Нагрешу перед постом.

И съел три больших куса.

После еды направились к ульям. Батюшка разжег кадило, начал кадить и читать молитвы. Он их не читал и даже не проговаривал, а очень быстро бубнил. Я не мог понять ни одного слова, хотя специально изучал старославянский. Григорий Егорович смотрел умиленно то на батюшку, то на улы. Лизочка была спокойна. Еще во время учебы на мехмате она прошла все фазы — духовного развития, увлекалась дзэн-буддизмом и экзистенциализмом, Малером и Шнитке, читала Веды и Хайдеггера. Все это серьезно. Остановилась на родном православии и обрела в нем покой и счастье. Да так глубоко в этот мир погрузилась, что смогла увлечь и Григория Егоровича, хотя и не без шарма Соломинки.

Лина и Илона во время процедуры освящения пчел хихикали и смеялись, но не мешали. Ромочка спал. Матрена была заперта в сарайке.

Я все время задавал сам себе вопрос — что же с тобой произошло, почему ты не хохочешь как эти милые дети, а серьезно участвуешь в этой идиотской церемонии? И приходил к неутешительному выводу — я ослабел, смирился с абсурдностью жизни, с собственной слабостью и даже нашел способ получать от всего этого удовольствие.

Мои угрызения продолжались не долго. Отец Ливерий был знаменит своей скоростью. Он последний раз окурив улы и обрызгал их щедро святой водой. Дал всем присутствующим поцеловать крест. Потом неожиданно сказал Григорию Егоровичу: Что-то жужжанья не слышать. У тебя, милый, пчелы сдохли!

Новоиспеченный пчеловод растерялся и инстинктивно открыл один из ульев. Совсем открыл. Глянул внутрь — там пчел не было! Куда они делись? Непонятно. Открыл другой — в нем пчел тоже не было. Третий — в нем пчелы были, но все



лежали на дне улья мертвые. Григорий Егорович начал быстро открывать оставшиеся ульи. Когда он открыл предпоследний улей, оттуда вылетели вдруг сотни пчел.

Кошмар и ужас! Меня укусили только в руку. Позже я вытнул из кожи коричневое жало и высосал яд. Григория Егорыча укусили сразу восемь пчел, ему стало с сердцем плохо. Чтобы его откачивать, вызывали скорую помощь. Отца Ливерия тоже крепко искусали (пчелы не любят запах алкоголя, а этот запах был постоянным спутником батюшки), но он промыл укусы водой, замазал маслом, а до этого даже помогал мне вести Григория Егоровича в дом. Странно, особ женского пола пчелы не тронули совсем.

— Добрые будут пчелы, — сказал, когда все улеглось, доедая торт, искусанный батюшка искусанному пчеловоду. — Приглашай на медок!

А мне батюшка Ливерий заказал домашнюю икону, крестообразную, с изображением в центре Пресвятой Богородицы и святых: Ливерия, Евдокии, Анны, Зинаиды и Ульяны.

...

Следующий повод для встречи с семейством Григория Егоровича был траурным.

Ромочка погиб. Попал под машину. Гулял по участку и вышел через провалившуюся изгородь на улицу. Уронил мячик. Побежал за ним. Его сбил сосед. Машина ехала медленно, но для двухлетнего малыша удар был слишком силен. Сосед и не заметил ничего. Лизочка почувствовала беду — выбежала из дома, стала звать и искать сына. Нашла его у обочины уже без дыхания. Ромочку отпевали по православному обряду в церкви святого Николая. Отпевал не отец Ливерий, а отец Леонид, грузный, с огромным кадыком и маленькими пухлыми руками. После службы гробик с Ромочкой унесли в машину. Родители, приглашенные и оба священника стояли у церкви. Разговаривали.

На Григория Егоровича и Лизочку и смотреть-то было страшно, не то, что говорить с ними. Я понимал, что разговор, ничего кроме боли им не принесет.

Выдавил все-таки из себя: Крепись, Григорий. Ромочка будет ангелом на небе.

Подумал — ну что ты за чушь несешь? Каким ангелом? Бред.

Григорий Егорович, плача, пробормотал: Да, да. Знаю. Только... тельце... сына... жалко.

Пошли на кладбище. Шли молча. Когда пришли, машина с гробом уже ждала. Несколько человек взяли гроб на плечи, понесли. Пришлось пробираться сквозь лабиринт могил, крестов, оград. Наконец, опустили гроб в землю. Бросили по щепотке земли. Начали зарывать. Женщины заголосили. Я тоже заплакал — всегда был слаб на глаза.

Рушилась моя, так и не окрепшая вера. Отлетала к чертям. Вот она, правда — грязное русское кладбище, голосящие бабы, — тельце, огромный кадык отца Леонида, ржавые ограды, бедные могилы. А мои иконы — это все — лжа. И вся церковная галиматья не стоит ржавой копейки. И не будет тут никакого православного царства. Все будет как всегда было. Из одного рабства — в другое. Уезжать надо! Боже мой, куда уезжать? А что, если везде так? Как жить на чужбине без таких людей как Лизочка и Григорий Егорович? Без корней, без языка. Пропадать.

После похорон пошли в дом. Кровать в комнате составили. Шкаф очистили от цветных бумажек. Все было строго, тихо и страшно. Многочисленные гости пили и ели. Потом начали расходиться.

## ВОСЕМЬ ЧЕРВЕЙ

Июнь года 1972-о.

Года высылки Бродского, выхода на экраны «Соляриса» и Мюнхенской Олимпиады...

Пицунда. Второе ущелье. Спортивный лагерь МГУ «Солнечный». Коттеджи на две комнатки каждый. В единственном коттедже, выходящем верандой на море, в правой от входа комнатке — над пропастью во ржи — сплю я. Мне шестнадцать лет. В другой — спит на составленных кроватях моя тетка Раиса с любовником, капитаном дальнего плавания из Одессы. Туда, в левую комнатку капитана поселил на недельку по протекции тетки начальник лагеря Николай Иванович Фантомас.

Пять утра. Солнце еще не встало. По пицундским меркам — прохладно, около 28 градусов. Море — синее, облачка по небу бегут как овечки — розоватые... влажно и душно кавказское утро.

Лагерь еще спит, спят зеленые холмы вокруг него, спят лиловые горы, кое где покрытые белоснежными мехами, спит Черное море... лишь один человек не спит, и не пьет шампанское, а бегом бежит по пляжу от рыбзавода к лагерю Солнечному. За плечами у него — небольшой рюкзак, в правой руке — раскладной нож Белка.

Это законный муж тетки Раисы, мой дядя Толя. Тогда еще молодой, пышущий здоровьем, накаченный мужчина. По профессии — физик-ядерщик.

Толя подозревал, что его жена использует поездку в Пицунду, чтобы встретиться с любовником, с которым познакомилась и сошлась четыре месяца назад на научной конференции в Питере. Чтобы застать прелюбодейку на месте преступления, Толя прилетел в Адлер на два дня раньше огово-

ренного срока (согласно раисиному плану, капитан должен был уехать вечером, а следующим утром должен был прилететь муж). Приземлился в Адлере поздним вечером. Автобусы уже не ходили, на такси у Толи денег не было — и он пошел пешком. Из Адлера в Пицунду. И шел и бежал всю ночь, как марафонец, между небом и землей, по дороге, на которой ежегодно гибнут десятки человек. Разогревал свою ревность эротическими фантазиями, крепко сжимал нож в жилистой руке. От Веселого до Гагры его впрочем подвез какой-то сердобольный водитель. Границ тогда там не было. Войной и не пахло. Пахло только вином и шашлыками...

Он вошел в лагерь со стороны пляжа в пять пятнадцать утра. И напрямик направился к нашему коттеджу. Открыл без стука дверь в правую комнату (мы не запирали). Посмотрел на незастеленную кровать, где должна была спать моя тетьа. Тети на ней не было. Вместо нее на постели лежал бумеранг, который я вырезал из весла от спасательной шлюпки. Бумеранг летал хорошо, но не возвращался. Один раз я даже ранил им зеленую ящерицу метрах в тридцати от меня, на скалах. Бедная зверюга упала на мелкую пицундскую гальку. Я видел кровь, видел, как она тяжело дышит. Покаялся больше никогда ничего не кидать в живых существ.

...

Толя перевел глаза на меня. И — обознался, вообразил, что я любовник его жены. Сорвал с меня одеяло, схватил левой, стальной рукой мои, тогда еще буйные курчавые волосы, а правой приготовился нанести удар ножом в сердце. Заревел как разъяренный Атилл: Где моя жена? Где Раиса? Считаю до десяти, не ответишь, убью!

Я оценил свое положение мгновенно, несмотря на то, что сон, а снилось мне озеро Виктория, в котором я ловил руками вместе с нежными смуглыми девушками синих очаровательных рыбешек, не отпускал меня, как навязчивое воспоминание или запавший в память кинофильм. Но вот, вынырнувший из темных глубин прапамяти серебристый окунь размером с льва проглотил одним махом целую стайку

васильковых рыбок, взлетел в сияющее небо и скрылся в нем, как юношеские надежды скрываются от нас в тяжелом мареве сороковых-пятидесятых наших годов, смуглые красавицы растаяли в воздухе, как миражи, а чудесное озеро Виктория превратилось в обитую грубым оргалитом стену, по которой быстро ползла сколопендра длиной с шариковую ручку. До меня долетел Толин счет. Пять, шесть, семь...

Неужели он считает ее ноги?

Когда он дошел до девяти, я подал голос.

— Толя, я не тот, кого ты ищешь! Я Вадим, твой племянник, ты помогаешь мне по четвергам задачки по геометрии решать... Помнишь, строили треугольник по трем высотам...

На дрожащего в умопомрачении Толю мои слова почему-то произвели впечатление. Он как-то помягчел, ослабел... досчитал до двадцати, а потом начал с начала. Я заметил, что глаза его наполнились слезами, а рука, держащая меня за вихры, стала восковой. Я попытался освободиться...

Но тут в дверном проеме появился супостат Толи — зевающий капитан дальнего плавания, в щегольских бордовых плавках с маленьким бронзовым дельфином, с зеленым китайским полотенцем на плече. Полотенце посверкивало вышитыми на нем золотыми нитками драконами.

Капитан, видимо, решил искупаться, или был разбужен шумом... пошел посмотреть... а полотенце взял с собой для маскировки.

Начавший было ослабевать физик-ядерщик мгновенно превратился в бешеную боевую машину, в тигра, в Атилла. Отскочил от меня и бросился на капитана. Попытался поразить его страшным ударом кулака с зажатым в нем ножом — в лицо. Капитан сумел отвести руку с ножом от лица, но Белка чиркнула его на обратном ходу своим острым кончиком по покрытому тропическим загаром плечу и оставила на нем неровную кровавую полосу.

Тут запричитала вышедшая из соседней комнаты Раиса.

— Толенька, что ты делаешь? Все не так, как ты думаешь, я люблю только тебя! Милый мой, успокойся, родной...

Толя резко оттолкнул капитана и бросился на мою ма-лень— кую тетю, рыча как медведь. Повалил ее...

Остановить его наверно не смогла бы и заколовшая Атиллу сестра бургундского короля. Сестра не смогла бы, а капитан смог. Он как-то неестественно согнулся, затем разо-гнулся и свалил ужасным ударом ребра ладони в горло обе-зумевшего ревнивца, уже занесшего руку с ножом над голо-сящей тетушкой. За несколько дней до этой битвы он мне рассказывал, что научился подобным приемам у самого Бру-са Ли в Гонконге, но я ему не поверил. Потому что не был уверен, что Брус Ли, Гонконг, Нью-Йорк, Джон Ленон и про-чие чудеса существуют на самом деле. Подозревал, что все эти люди и места не реальность, а только родившиеся из со-ветской пустоты фантомы...

Тетка Раиса встала. Капитан ее обнял. Поверженный То-лик-Атилла скульптурно лежал без движения у их ног. Мы с капитаном перенесли его на ту кровать, где лежал мой буме-ранг. Бумеранг, как потенциальное холодное оружие, был вы-несен на веранду. Толикова «Белка» была вручена мне и спря-тана в чемодане. Плохонький этот ножик поехал со мной мно-го лет спустя в эмиграцию и до сих пор лежит у меня на столе. Он-то и наваял это сентиментальное воспоминание. Тут самое время написать лирическое отступление «О советских перо-чинных ножах и о навеваемых ими печальных мыслях». И я, клянусь громом, это обязательно когда-нибудь сделаю...

Мы с Раисой вытерли кровь с капитанского плеча ки-тайским полотенцем. Золотые драконы порозовели. Рану обработали перекисью водорода из аптечки и заклеили си-ней изоляционной лентой. После этого Раиса и капитан вру-чили мне пустой графин литра на три с половиной и послали за чачей.

— Вот тебе пузырь, лети... Без чачи нам всем крышка, — сказал капитан, похлопывая меня по плечу, — веревками его вязать нельзя, это уголовно наказуемое деяние, а если не связать, то он, как очнется, вырвется и за ножом побежит... Чача нужна, хоть из под земли достань! У нас только поллит-ра есть и красное. Маловато для такого темперамента.

Все эти драматические события произошли быстрее, чем я их описал. Было все еще очень рано — без десяти шесть. Где можно в это время тут чачу достать? Второе ущелье за рыбзаводом — не Сан-Франциско.

Я конечно мог пойти к доктору Грушину, симпатичному московскому цинику лет тридцати пяти, с которым у меня завязалась странная дружба. У него были и чача и вино, которые он использовал исключительно для совращения слабого пола. Но доктор был помешан на психоанализе, он наверняка начал бы меня мучить расспросами и обязательно захотел бы осмотреть и опросить поверженного Толю и раненого капитана. Его тема! А потом начал бы писать протоколы...

Поэтому я направился прямо к маленькому рынку... тут, недалеко... на полянке, у речки Ряпши. Там обычно абхазы продавали чачу, фрукты и соленые огурцы, засоленные в душистом укропном рассоле. Отравленные обильными кавказскими возлияниями московские и питерские алконавты притаскивались по утрам на неверных ногах на рынок и умоляли коренастых рыжеволосых абхазов, налить им чашечку рассола. Те гоготали гортанно и предлагали купить килограмм соленых огурцов за два рубля, а литр рассола обещали долить бесплатно...

На рынке никого не было, кроме двух мирно пасущихся осликов да четырех мертвецки пьяных мужчин, спавших вповал на колючей траве. Продавцы наверное ушли отдыхать под навесы, туда, где сушился лавровый лист, и товар с собой забрали.

Я побежал к спасателям. Они жили в соседнем с нашим коттедже. Чача у них была. Спасатели покупали этот убийственный напиток у абхазов десятилитровыми канистрами. На казенные деньги, предназначенные на краску и запчасти для катера, шлюпки, спасательных кругов и хибарки на курьих ножках на пляже, откуда они наблюдали за купальщиками в полевой бинокль.

Нужно было как-то без вреда для себя разбудить спасателей, огромных мужиков, пивших обычно ночь напролет эту самую чачу с такими же как и они, суровыми и битыми жизнью поварами и уборщицами, а днем отсыпавшихся в хибарке на пляже.

Я постучал, размышляя про себя о том, кто хуже — ослепленный ревностью дядя Толя с ножом в руке или взбешенный спасатель по прозвищу Илья Муромец, которого разбудили или «сняли с бабы» в шесть утра. На мой стук никто не отозвался. Я осторожно приоткрыл дверь. Из этой двери тут же вылезла огромная крабья клешня, схватила меня за шкуру, как котенка, и втащила в комнату. Это была украшенная наколками (якорь, русалка и Сталин) рука Ильи Муромца.

— Вот мы вора и поймали, — прогудел могучий спасатель на водах голой до пояса поварихе Трине, возлежавшей по-древнеримски на лагерьной койке. Трина пьяно тряхнула растрепанной копной выгоревших на южном солнце волос, развязно посмотрела на меня, поиграла кокетливо своей отвислой грудью, а затем смачно рыгнула и прохрипела: Ууу, красавчик твою мать...

Илья Муромец похабно поцеловал меня в щеку и ткнул под ребра свинцовой ручищей.

— Что же мне с тобой сделать, Вадя, за то, что ты наш катер без спросу брал, подружек катать в пограничной зоне, и весло с шлюпки стырил? — пробасил Илья Муромец, — ладно, пловец, я сегодня добрый, давай выпьем... Триночка, голубка, разливай... И прикройся, а то мальчик мне на одеяло кончит. Вадюхе налей как воробей накакал, не дорос он еще до высшей лиги... Это еще что, на кой хер тебе графин?

— Дядя Илья, мне позарез чача нужна, литра три, тут человечка одного болящего надо успокоить... Пока он всех нас не перерезал ножичком. Деньги тут.

И я протянул Илье Муромцу две измятые лиловые пятерки и пять желтоватых рубликов. Муромец бумажки взял, сложил одну пятерку так, чтобы на стороне, где Спасская



башня и герб, надпись «Пять рублей» читалась как «Пей», гордо продемонстрировал мне свое изобретение, осклабилась и жадно хлебнул чачи. Потом показал мне свой кулачище и сказал: Хочешь я его вот этим успокою? Человечка твоего. Ты, давай, не тяни, на выдохе...

Я выдохнул и глотнул. Чача ошпарила горло как кипяток, я дернулся и сморщился, а Илья Муромец и его паскуда Тринка радостно засмеялись. Но пузырь мой милостиво наполнили чачей. Наливали из канистры и не уронили ни капли. Спасатели!

Я рванул с пузырем к нашему коттеджу.

...

Прибежал. Зашел в левую комнату. Я ожидал увидеть в капитановой комнате все, что угодно, только не то, что увидел.

В середине комнаты стоял стол. За ним сидели моя тетя Раиса, ее любовник капитан и ее муж физик-ядерщик, который еще полчаса назад собирался всех нас зарезать, а потом валялся на земле без сознания. Все трое спокойно и сосредоточенно играли в карты, писали пульку. Как раз в тот момент, когда я вошел, дядя Толя объявил торжественно и тихо: Восемь червей.

Раиса спасовала. Капитан вистовал. Потом пошел семеркой и заметил нравоучительно: Под игрока с семака.

Раиса взяла взятку, пошла бубновым тузом и отозвалась: Под вистуза с туза.

Толя положил козыря и открыл карты. Восьмерная состоялась. Капитан начал тасовать колоду.

Игроки забрали у меня графин, ни секунды не медля, разлили чачу в граненые стаканы, чокнулись друг с другом и выпили за мир и дружбу. Как и полагается игрокам высшей лиги — без закуски. Закурили капитанское Мальборо.

Мне не налили, я обиделся и купаться ушел.

Они играли и пили весь день и всю следующую ночь. Потом Толя и капитан уехали.

Толя, домой, в Москву, в свой ФИАН, а капитан — в Одессу, где его ждали больная жена, избалованные дети и сухогруз Адмирал Михайловский.

А тетка Раиса после их отъезда долго не тосковала, а на второй же день спуталась с азербайджанцем Мусой, шофером лагерного газика. Мне она заявила, как бы в свое оправдание: Жизнь-то уходит, Вадя, а впереди ничего нет, кроме болезней и старости.

А я ее не осуждал. Муса был симпатягой. Он научил меня делать из бамбука кальян и пускать кольца...

## СМЕРТЬ САШИ

Саша до шести лет не улыбался. Улыбнулся он первый раз, когда бабушка ему гостинец привезла — шоколадную медальку в золотой фольге и три мандарина. Ни того, ни другого он еще не видел. Мандарины — не знал, как есть, а к медальке приделал ниточку и повесил на гвоздик. Вскоре нитка порвалась, медалька закатилась куда-то. Саша заплакал. Его суровый отец изругал его хриплым голосом за слезы и поставил в угол. Мать его не пожалела, потому что умерла, когда Саше и трех лет не исполнилось. А бабушки дома не было.

Сашу еще в школе прозвали олухом. Был он длинный, нескладный, апатичный. Соображал туго. Учителя выводили ему тройки в четверти, потому что боялись, что он останется на второй год, и им придется и дальше с ним мучиться. После восьмого класса школы пошел Саша в ремеслуху, потом поступил в приборостроительный техникум. Учился там он тоже плохо, но до диплома кое-как дотащился. По специальности «автоматизация технологических процессов и производств» — никогда не работал.

Пошел в армию. Старослужащие начали было его унижать, как остальных новобранцев. Саша реагировал вяло. Бить его даже не пытались. Длинные жилистые руки Саши, огромные рабочие кулаки, костлявая неприятная фигура и туповатое лицо не располагали к битве. «Деды» окрестили Сашу хмырем и оставили в покое.

После армии он вышел, наконец, в жизнь. Без знаний и навыков. Без интересов, без стремления что-либо делать, что-то узнать, достичь. Это не помешало ему жить в советском обществе, скорее наоборот, помогло. Таких фатальных для многих людей его поколения общественных процессов и событий как начавшуюся в начале семидесятых эмиграцию, аф-

ганскую войну, разгром чекистами диссидентского движения, высылку Солженицына за границу, ссылку в Горький академик Сахарова, перестройку и даже развал СССР — он просто не заметил. Жил как живется. Пил, ел. Телевизор смотрел. Работал кладовщиком. Один раз в год ходил в Лужники, на футбол. Болел за Динамо.

Женился. Пожил у тещи. Развелся. Переехал в пустующую квартиру отца (отец жил у четвертой жены). Купил небольшой деревенский дом по Дмитровскому шоссе. Построил там баньку. Женился второй раз. Переехал к жене. Продал дом. Разобрал баньку. Опять развелся. Сошелся с Валею. С ней и жил до самой смерти. Детей не имел. Вечерами, дома, молчал. На работе общался только с бесконечными пыльными полками и ящиками. Никаких «любимцев» на складе у него не было. Он не любил ящики, полки и подъемники, не любил свою нудную работу, на дух не выносил сослуживцев, отмечающих конец рабочего дня обильными возлияниями. Тайных или явных пороков не имел. Не видел снов. Даже не курил.

В девяносто первом году склад передали частной фирме. Сашу уволили. В хаосе нового времени работу всем было трудно найти, а пассивному, ни на что не годному олуху — невозможно. Наступило время «кручения» и «крутизны». Все начали «крутиться». Многие стали «крутыми».

Саша не был крутым. К кручению способен не был.

Опять купил деревенский дом. Далеко, во владимирской области. Подальше от бешено крутящейся Москвы. Начал строить баню. Развел огородик. Видимо, тянуло его на землю. Заплатил за избу триста долларов, оставшихся от продажи первого дома. Покупку оформили — «по завещанию». Продавать землю было, несмотря на новое время, запрещено. Государство Россия было круче своих граждан и привычно накладывало на все свою тяжелую лапу. «По завещанию» означало, что настоящая обладательница дома, бабка Дарья, живущая у дочери в городе, завещала Саше дом и позволила ему там жить, а земельный участок оставался собственностью все еще не расформированного совхоза «Ленинское знамя», на территории которого уже появился овощеводческий кооператив

«Журавль», на котором работали непонятные азиатские люди, производящий помимо репы и моркови фальшивые джинсы и духи «Ландыш». После Сашиной смерти бабка Дарья вернулась в проданный ею дом, а деньги зажилила. Валя их и не требовала.

В давно покинутой коренными жителями деревеньке осталось всего десять изб. Остальные дома сгнили без хозяев и развалились. Жили в целых избах летом дачники из Владимира. А зимой — никто не жил, кроме наезжающего сюда Саши и единственного постоянного жителя деревни — Трехглазого Никифора Петровича.

Трехглазый этот был личностью загадочной и неприятной. Шестьдесят лет. Вдовец. Бывший журналист-международник. Выгнанный еще в брежневские времена из центральной партийной газеты за пьянство и цинизм. И с тех пор разыгрывающий на людях различные роли. То он — хулиган, матерщинник, или, как он сам себя называл, «неуловимый мститель». В такие «красные» периоды Трехглазый катался по окрестностям на мотоцикле ИЖ с прицепом. Размахивал старым ружьем и страшал дачников из вырастающих то тут, то там дачных поселков: Уу, городское блядь, скоро мы вас всех спалим... убьем и закопаем! Буржуйские выродки... Понастроили дач, думаете спрячетесь в них от пролетарского гнева? Мироеды! Грабь награбленное, крестьянская косточка! Вставай, беднота! Дрожите, богатеи!

То, он — Франциск Ассизский. Вешал на шею громадный крест. Ходил в соломенной шляпе. Проповедовал воронам на окрестных полях. Говорил голосом диктора Левитана: Да здравствует 24 съезд и неуклонное повышение благосостояния народа! Мы говорим партия, подразумеваем Ленин! Ленин и сейчас живее всех живых! Всем срочно получить продовольственные талоны, в руки даем сосиски сраные — по четыреста грамм. Товарищи пернатые, объясните, как вы понимаете руководящую роль нашей партии и ее генерального секретаря, товарища Брежнева Израила Моисеевича лично? Лично, бляди совхозные. Поняли?

— Ничего не понимают, расстрелять! — приказывал сам себе Трехглазый по-ленински картавя, и лупил по птицам дробью.

Разыгрывал и Толстого в Ясной Поляне. Отращивал бородищу, разгуливал по деревне босой в белой рубашке до земли. Демонстративно плакал, завидев зрителей, бил себя по щекам и кричал: Свободу Луису Корвалану, Анжеле Дэвис и угнетаемому мировым сионизмом палестинскому народу! Скажите мне, товарищи, когда же скинут режим Смита? Когда покончат с апартеидом? Кто свергнет диктатуру Черных Полковников? Кто уничтожит Чикагскую школу и оплот мирового империализма — Соединенные Штаты Америки? Послушайте, земляне, последнего великого писателя России! Покайтесь, ибо приблизилось царство Небесное. Раздайте деньги нищим и идите на хуй!

Потом плакать и бить себя по щекам прекращал, делал жуткое лицо и орал во всю глотку, до смерти пугая мирных владимирцев: Вива Хунта! Вива генерал Августо Пиночет! Но пасаран, суки позорные!

Трехглазый пускал к себе жить бездомных. Болтали, что они потом «пропадали неизвестно куда». Летом, когда рядом жили любопытные дачники, Трехглазый обычно или уезжал или устраивал свои представления, юродствовал. А зимой — принимал гостей. Саша замечал иногда каких-то оборванцев, вылезавших из мотоциклетного прицепа соседа, но в силу своего флегматического характера не фиксировал в уме посетителей Трехглазого. Не обращал внимания. И не думал о них.

Он вообще никогда ни о чем не думал. Не рефлексировал, не анализировал, не спорил сам с собой или с мнимыми противниками, не жаловался сам себе, не хвастался перед собой, не смаковал в душе приятные воспоминания, не пугал себя ужасиками. Саша был в плену текущего момента. Ему нечего было противопоставить давлению реальности. Прошлого и будущего для него не существовало. Не существовало ничего, кроме него самого и его непосредственного окружения.

Оставшись без работы, Саша начал выпивать. С Валею. С ее друзьями. Но чаще всего один в деревне. Сидел и пил, глядя в стену. На стене не было даже картинки. Изредка по ней ползали тараканы. Саша давил их руками.

С ним жили четыре собаки, одна другой глупее. Саша кормил их. Играл с ними. Когда одна из собак умерла, Саша даже не расстроился. Потому что для него она как бы никогда и не существовала. Потрогать ее он мог, но прорваться мыслью в чужое бытие, ему, пришипленному к самому себе, было невозможно. Для этого необходима была способность к восприятию, к абстрагированию, которой у него не было. Саша зарыл собаку в огороде и пошел дальше играть с другими псами. Налил им немножко водки в стакан. Собаки вылизали стакан, стали дурными. Бегали по двору. Натыкались на деревья. Падали, скулили, служили... Саша не смеялся. Что творилось в его душе?

Что творится в каждом из нас? Чем глубже человек погружается в себя самого, тем непонятнее, абсурднее становится для него его собственное — «я». Как при глубоком погружении в океане. Наверху — еще солнышко светит, лучи пронизывают голубую толщу воды. Рыбки цветные плавают, крабы ползают. А на глубине — тьма беспросветная и чудовища жуткие, уродливые, вроде бы миллионы лет назад вымершие. А совсем внизу — не Бог и не дьявол, а просто дно. На которое все, наигравшись, песком и пылью отлагаются. Чтобы потом окаменеть. Саша, этот мученик мгновенья, окаменел еще при жизни. Точнее — он так и не родился в жизнь. Его тело вышло из тела матери. А главная человеческая суть так и осталась в мире неживой материи. Не в матери, не в отце. В нигде. В плазме времени. В том, из чего образовался мир. В предвечной пустоте.

С Трехглазым Саша не водился. Даже не разговаривал. Только хмуро кивал ему при встрече. И Трехглазый к Саше не лез. Понимал, что этого хмыря не тронут его излияния. В день Шашиной смерти, однако, все было не так.

Это было зимой, в холода. Саша жил в деревне уже пятую неделю. Без телефона, без телевизора, без ванны. Намерзся. Заскучал, решил в Москву возвращаться.

Оставалась у него бутылка водки. Выпить хотелось, но нельзя же все время пить одному? Потянуло Сашу на людей. А где их взять? Против воли решил пойти к Трехглазому.

Дом соседа был недалеко, через дорогу. Саша надел старые вонючие черные валенки, оставшиеся от утонувшего в болоте мужа бабки Дарьи, деда Матвея. На плечи накинул его же старый ватник, на груди которого было грубо вышито толстой белой ниткой «околей сука в Мордови», нахлобучил ушанку, взял бутылку и вышел их избы. Перешел дорогу. Постучал в дверь.

Дверь открылась. За ней никого не было. Сама что ли открылась? Саша вошел в сени, затем в горницу. Там было темно, старая керосиновая лампа стояла на столе. Светила слабо. Свет ее терялся в пространстве, а на грязных стенах совсем пропадал. Как будто в них впитывался.

Кроме стола с лампой, стульев, огромного комода и большой двуспальной металлической кровати в комнате и не было ничего. Вдруг Саша услышал голос: Сашка, садись за стол.

Саша сел, как велели. Поставил бутылку пред собой.

Голос опять сказал: Что это у тебя? Водочка? А у меня только хлебушек.

Потом кровать заскрипела и с нее поднялся Трехглазый — в длинной ночной рубашке. Он повернул фитиль у лампы. Стало немного светлее. Потом пошел на кухню, взял там хлеб и две стеклянные стопки. Вернулся, поставил все это на стол. Сел напротив Саши. Разломил хлеб. Откупорил бутылку, разлил и, ни слова не говоря, выпил. Закусил.

Саша тоже выпил. Посмотрел Трехглазому в лицо. Лица видно не было. Темнота.

Трехглазый заговорил. На этот раз он выбрал роль русского патриота.

— Все говорят «новая Россия». Ельцин! Гайдар! Чук и Гек! А мне Союза больше чем убиенного царя жалко. Жили бедно, но одинаково. Понять могли друг друга. А теперь — каждый в свой угол убежал. Там затаился и сидит, трясется. Потому как найдут и по шапке дадут! Человек человеку стал — зверь.



Друг друга убивают как негры. Еврейское время пришло. Теперь они власть в руки заберут. Все оттяпают, что Союз заработал. Нефть высосут, газ. Ихнее право. Их притесняли, они это припомнят. Тебе, Саша припомнят, как будто ты в чем-нибудь виноват. Вот я от них сюда в деревню убежал, но, боюсь, и тут найдут, выволокут и к стенке пришпандырят. Я ведь о них в Правде писал. Все мне вспомнят, кровопийцы. Косточки, косточки переламывать будут. Пальцы на ногах отрежут и в мошонку зашьют, звери. Так по ихнему масонскому ритуалу полагается. А тебе Сашенька, как ты простой русский парень, на спине жидовскую звезду на коже вырежут. Оскопят они тебя, голубчик. Звезду на синагогу повесят, а спину солью присыпят и кнутиком тебя, кнутиком по мясу! До смерти замучают!

Была у меня тетя Маруся. Тихая такая бабушка. В таксопарке работала. Уборщицей. А начальник там был жид и заместитель его жид и ходили к ним жида какие-то темные другие. Ну так вот один раз зашла тетя Маруся к начальнику в кабинет. Думала, нет там никого. Убирать хотела. Зашла и видит — сидят вокруг стола жида, а на столе — гора золота, кольца, броши, бусы жемчужные, изумруды и алмазы. Убежала. А домой не вернулась. Таксисты рассказывали — целую ночь из подвала в таксопарке стоны доносились, там жида тетю Марусю грызли. Даже трупа не осталось. Все ее тело они как крысы изъели. И кровь выпили. Так по этому делу никого и не осудили. Ментам дали в лапу. Кто за нас беденьких вступится? Власть все ими купленные, сам Ельцин, не Ельцин, а Елцер — главный масон. Трисмегист, бя. Продает Русь Западу. Горе, горе нам. Ну ничего, пусть гады только сунутся сюда. Я для них ружье заготовил. Хочешь покажу?

Саша не отвечал. Он не только не понял, о чем говорил Трехглазый. Он его и не слушал. Слушал только гул пространства, шепот темноты в углах. И не думал. Так, пил водку, хлеб жевал и перед собой смотрел. Играл бицепсами.

И тут Саша впервые услышал слабый стон из соседней комнаты.

Спросил: Кто это у тебя стонет?

— Тебе показалось, Сашок. Нет никого, кроме нас в избе. Может метель за окном просвистела? Или твои собаки завыли?

— Мои псы не воют. Они спят.

— Я тоже спал, ты меня разбудил, но я гостю всегда рад, а с золотой водичкой и гость — золотой!

Тут опять кто-то глухо застонал. Послышалось что-то вроде — Развяжите... Сил нет терпеть... Воды!

Саша встал и решительно открыл дверь в соседнюю комнату. Там хоть и было темно, но не настолько, чтобы не понять — нет там никого. Саша вернулся, вышел в сени, зашел в кухню. Пусто в доме.

— Может, хочешь и в погреб слазить? Добро пожаловать, вход в кухне. Открывай, смотри. Я тут останусь, чтобы ты чего не подумал...

Саша открыл в кухне квадратный люк погреба. Ничего не видно. Наощупь нашел на кухонном столе спички. Зажег спичку, спустился по шаткой лесенке. И только тогда разглядел. На стене висел распятый старик, бомж. Косматый как леший, в грязной старой одежде.

Тут крышка погреба над Сашиной головой закрылась с противным треском. До Саши не сразу дошло, какую он глупость сделал. Саша поднялся по лестнице, стал бить рукой в крышку.

Сверху донеслось: Не стучи зря, посиди часок, а я подумаю, что с тобой, дураком, делать.

Саша нащупал на полке пачку свечей, разодрал ее, зажег одну свечу, прикрепил ее на ящике перед распятым. Начал искать нож или ножницы. Не нашел. Разбил попавшуюся под руку бутылку и осколком осторожно перерезал веревки, освободил бомжу ноги и руки. Обессиленный старик упал на него. Саша посадил его на пол, спросил: Ты чо, дядя, тут делаешь?

Бомж простонал в ответ: Дай попить, отпусти душу на покаяние...

Воды в погребе не было. Саша заорал вверх: Воды дай, Трехглазый!

Сверху донеслось: Хер тебе, а не вода.

Саша понял, что терять нечего, изо всех сил напер снизу на крышку погребца. Она не сразу, но поддалась, закрипела, а потом вылетела вон. Саша вылез, вытащил бомжа. Боялся, что Трехглазый в него из ружья пальнет. Но Трехглазый не появлялся. Напив и успокоив старика, Саша обыскал избу. Трехглазого и след простыл. Решил поймать его на улице и связать. А завтра по свету в милицию оттащить. Натянул свою одежду и вышел на улицу. Никаких следов не было видно. Издалека слышался удаляющийся цокот мотоцикла. Удрал Трехглазый. Саша успокоился — ловить больше никого не надо было. Вышел из соседского двора, пересек деревенскую улицу, открыл калитку, завернул в нужник.

В тот момент, когда Саша открывал дверь, кто-то крепко ударил его сзади чем-то тяжелым. Нога Саши скользнула по оледенелой ступеньке. Он упал и ударился лбом в дверь нужника. На его несчастье в ней торчал толстый ржавый гвоздь без шляпки. Давно уже Саша хотел его вытащить, но не собрался. Гвоздь вошел аккуратно в угол правого глаза у переносицы, с хрустом проломил что-то и вошел в мозг. Потом Сашу подкинуло обратной силой, гвоздь из глаза вышел и Саша сел на снег рядом с нужником.

Представилось тут Саше огромное снежное поле. Ветер по полю гуляет, снег носит. В небе — серый туман. Леса не видно. И сидит будто бы Саша на этом поле прямо на земле, голый. И холодно ему сидеть. Хочет позвать на помощь — голос из горла не вырывается. Порывается встать, но не может. И тут на поле стало светлеть. И очень скоро ослепительный белый свет залил Сашу и заснеженное поле и весь остальной мир. Как ледяной сквозняк, прошел сквозь Сашу поток времени. Затем обернулся вокруг него, подхватил и унес с собой на Северный полюс, к снежной королеве из мультфильма. Саша поглядел на королеву, улыбнулся второй раз в жизни и умер.

...

Тело Саши нашли только через пять дней. Был он белый, как мороженное. Только сзади шея была синяя и из правого глаза вытекло немного крови и мозга. Улыбался.

Собаки выли, запертые в избе. Когда их выпустили, они выбежали на двор, хозяина и не заметили. Один пес даже хотел на замерзшего помочиться. Его отогнали.

Трехглазого потом допросили. Он утверждал, что последнюю неделю просидел в избе, не выходил. Пил якобы и радио слушал. Когда его спросили, что он может сказать о смерти Саши, он ответил голосом актрисы Светличной: Не виноватая я! Он сам пришел...

Говорить с Трехглазым было бесполезно. Так никто и не разобрался, кто и зачем убил Сашу. Милиционер написал в графе «причина смерти» — «несчастный случай». Тело передали приехавшей из Москвы Вале. Милиция укатила. А по весне в соседнем лесу нашли обезображенный труп старого бомжа. Бомжа похоронили, дела заводить не стали. Убили и ладно. Кому он нужен?

## КУПАЛА

Накануне мне приснился сон. Будто я среди домов... плаваю. В потустороннем городе. Улиц и тротуаров там нет, везде вода. Нет ни людей, ни деревьев. Только огромные прямоугольные дома стоят в воде. Вода белая, тяжелая. А у домов — темные стены. Будто из самой тьмы спрессованные.

Или это сатанинские улы? И из них вылетают гигантские пчелы, собирающие в преисподней трупный яд?

— Куда ты плывешь? Зачем? — спрашиваю себя во сне.

И сам себе отвечаю: Я плыву к башне. Мне надо плыть. Плыть...

Выбрасываю руки вперед. Гребу. Гребу.

Белая вода расходится передо мной двумя волнами. Странная вода. Не пенится. Молоко небытия.

За домами показалась коническая башня. Вот громадина! До неба. Сквозь маленькие узкие окна видны отблески света. Подплываю к величественным воротам. Вплываю внутрь. Изнутри башня похожа на гигантский шатер на воде. Посередине — песчаный островок. На нем костер. Пламя желтое, высокое. Рядом с костром лежит мертвец.

Выхожу из воды. Подхожу к телу. Это мертвый мужчина. Утопленник. Тело распухшее. Борода всклокоченная. Водянистосиние глаза открыты. Кладу руку на его холодный лоб, чтобы закрыть глаза, но тут что-то вздымается, подхватывает меня под мышки и бросает через костер. Я падаю, встаю и снова, подчиняясь неведомой мне силе, прыгаю через костер. Прыгаю легко. Высоко. Ах, здорово! И еще раз. И еще. И все быстрее, быстрее. Всю ночь я прыгал, а утопленник смотрел на меня своими мертвыми водянисто-синими глазами.

Проснулся. Комната залита светом. Полдесятого утра. Июль. Суббота. Знойный день.

В квартире пусто. Жена и дочка в Крым уехали. На работу идти только в понедельник. Свобода.

Одно мучает — кто же был этот мертвый человек в башне? Глаза проклятые все время в голову лезут. Где-то я его видел. Лицо знакомое. Может, у Редона? Тоже мне, проблему нашел.

Завтракать! Чайку заварить. Хлеба белого два куска. И творожная паста с изюмом. Дочка есть не стала. Папе оставила. Роскошный стол. Поел. Выпил чаю.

Подошел к окну, широко открыл рот, чтобы Солнце проглотить. И замычал, как в детстве у врача: Ааааа!

Настроение было странное. Хотелось такое сотворить, чтобы чертям тошно стало. Хотя в коленях и бедрах чувствовалась усталость, как будто я действительно ночью через костер прыгал. Откуда это?

Ну я и сотворил. Никуда не поехал, ничего делать не стал. Развалился на нашей широкой софе. Стал рассматривать собственные картины.

Обнаружил, что и ангелы, и христы на моих досках напоминают утопленников. Нет на них и следа благодати. Не зря мне мертвец приснился!

Взял в руки телефонную книгу. Полистал.

Позвонить что ли кому?

Кому звонить? Родным? Начнут нудить. Другьям? Надоели. Сама собой пришла в голову шальная мысль — позвоню Милке. Она не друг, не враг, не любовница. Так, всего понемножку. Набрал номер.

Милка, ты? Это Димыч. Что, какой. Ясно какой, тот самый. Что? Почему пошел...? Я и так там. Где? Понятно где. Лето, Солнышко светит. А мне утопленник приснился. Что? Почему психанутый? Я в полных силах, физических и духовных. Что? Почему тебе наплевать? Почему убежал? Не убежал, а просто уехал, меня дома жена и дети ждали. Что? Почему, не пизди. Я не пизжу. Что? Скотина неблагодарная? За что мне тебя благодарить? Спасибо, что ты нажралась и меня продинамила. Что? Я сам динамо? Ты что, не хочешь меня видеть? Так и скажи. Динамо...

И все-таки Милка согласилась на встречу. У нее. Просила купить вина и поесть. В восемь вечера.

Пошел в универсам. Взял две бутылки молдавского розового и Кагор. Повезло. В те времена в винных отделах не было неделями спиртного. Некоторые научные сотрудники нашего института перешли на самообслуживание — гнали первач скороварками. А рабочие пили вообще все, что горит. Жевали зубную пасту. В глаза закапывали Тройной одеколон.

И сыр взял. Голландский. Полкило. Еще батон белого. С Кагором самый раз. Хотел купить масло. Нету. Взял кусок колбасы. По два двадцать. Другой нет. Пришел домой. Принял душ. Почитал. Помечтал.

К вечеру поехал. Старался на окружающее не смотреть. Ясенеvские улицы были в последние перестроечные годы на удивление грязными. Мой коллега математик Портнягин шутил: — Хаос начал завоевывать социалистически переопределенные пространства. За что когда-нибудь ответит перед пролетарским судом. Из него извлекут квадратный корень.

Метро. Люди в вагонах потные. Душно. У половины — студенистые оторопелые рожи. Как будто в коме. Полчаса до центра. Пересадка. И еще четверть часа на восток. Автобус. Бензином воняет. Приехал. Где я? Где-то недалеко от шоссе Энтузиастов. Улица Электродная. От такого названия током бьет. Какие-то склады. Мерзкие места.

Понятно, почему Милка уехать хочет. Жить тут страшно. Похуже моего сна. Дома старые, архитектуры никакой. Люмпена с жуткими харями бродят. Мой мертвец тут бы никого не испугал. Сказали бы ему: Ну че, мужик, вставай! И уматывай отсюда, пока цел.

Милкин дом. Тоже не Корбюзье. Сталинская четырёхэтажка. Обшарпанный дом. Бурый. В подъезде мокро, темно, воняет гнильем. Третий этаж. Квартира 68. Вот дверь.

Позвонил. Раз. Второй. В третий раз звонил минуты три. Ну, черт! Нельзя с бабами ни о чем договариваться. Или спит или уехала куда. Из мести. За то, что в последний раз оставил ее одну у знакомых. Так ведь она пьяная была. И злая как пес.

Позвонил еще раз для контроля. Хотел было уже повернуть оглобли. Слышу — шаги за дверью. Открывает.

— Привет! Не входи, я голая, из ванной. Через минуту заходи. Проходи в комнату где кресла, Там подожди. Я домоюсь и выйду.

И дверь прикрыла.

Подождал минуту. Вошел в квартиру. Осмотрелся. Даже не очень грязно. В гостиной — мебель из остатков родительского гарнитура. Книжные полки. Кресла большие. Удобные. Столик полированный. На столике рюмки. Пепельница. Пачка Столичных. Газеты. Огонек. Шторы шоколадные, в квадратик. Уютно, только окурками пахнет.

Из ванны Милка вышла минут через пять. Маленькая женщина. Но грудь большая. Еврейка. Толстенная. Некрасивая. Но глаза с искоркой. Вульгарна и самоуверенна как дьявол. Осторожно надо с ней. Липучая. И уж очень цинична.

Вышла Милка в махровом халате на голое тело. Меня сразу обожгло. Я подошел к ней, обнял, поцеловал в щеку, хотел залезть пальцами под халат. Этого она не позволила, приказала: — Бутерброды сделай! На кухне.

И ушла в спальню. Вернулась переодетая и причесанная. Забралась в кресло с ногами. Закурила.

Я разлил вино. Провозгласил банально: За встречу!

Мы выпили. Я спокойно. Милка трепетно. Видимо, проголодалась.

Протянул: Давнееенко не виделись. Ну, как оно?

— Как, как. Уезжать надо, пока щель в Совке не замуровали!

— И куда ты хочешь ехать?

— Чего куда? Выбор что ли есть. На юг.

— А в Штаты?

— Сам знаешь, туда не ходят поезда. Гаранты нужны какие-то. У меня там никого. Поеду на юг.

— И что ты там делать будешь?

— Не знаю. Главное из Совка выдраться. Хуже не будет. Рано или поздно тут все равно кровища хлынет. Проектов у меня море. Например, открою бордель для бывших совков-



ских баб. Ебарей найду крепких. Массажистов, артистов, певцов. Пусть поют, прыгают, массаж для похудения делают. А то все советские как свиньи жирные. Чтоб и культура была и здоровье и удовольствие.

— Возьмешь меня ебарем?

— Димыч, лапочка (Милка выпила еще и явно подобрела), конечно возьму. Но не ебарем. Ты мне стены будешь расписывать, для особо богатых клиенток будешь сказки рассказывать и сны золотые навевать.

Вот паскуда!

— Кстати, мне сегодня такой странный сон приснился...

Рассказал ей сон. Еще и прилгнул для красоты. Открыл вторую бутылку. Мы добавили.

— А ты знаешь, что сегодня купальская ночь? Иван Купала, слышал? Вот тебе огонь и приснился. Через костер в Купалу прыгают. А мертвый — это ты и есть. Твой образ. И глаза синие. Это ты сам, дурашка.

От «дурашки» меня чуть не вырвало. Я обозлился. И возбуждился. Мысленно сорвал с нее майку и впился ей в грудь как овод.

Милка продолжала: Ты своей рабской жизнью сам себя убил. Жену ты не любишь. Живешь с ней, потому что трусишь развода, трусишь искать свое... На работу в институт ходишь, хотя от науки тебя тошнит. Даже кандидатскую не защитил! Димыч, ты все просрал... жизнь, жену, науку. И меня.

Про жену она врала. Жену я любил. Но дела у нас не ладились. Долго рассказывать. А про науку она точно сказала. И про жизнь тоже.

— Трус. Мертвый. Но все еще демон! — тут Милка кокетливо посмотрела на меня. «Кокетливо» для нее означало — презрительно. Губы сжала. Ноздри слегка раздула. Повела глазами.

Я встал, подошел к ней. Прошептал ей на ухо: Я тебя хочу. Пойдем в спальню.

Милка от меня мягко отстранилась и сказала твердо: Позже.

Налила себе полную рюмку розового. И жадно выпила.

— Да, ты себя убиваешь. Постоянно убиваешь. Спишь с женой. А она тебя не любит. На работу ходишь. И все — зазря. А картины пишешь хорошие. Только я их не понимаю. Ничего вообще не понимаю... Ну и дрянь это молдавское розовое... она купила розы, а он ушел к другой...

Икнула. Еще не перебрала, но уже вышла на глассаду. Скоро начнет блевать. Проходили. Вот черт. Знал же все заранее. Какого лешего ты сюда приперся? Только для того, чтобы ее за дебелие сиськи полапать? Дурак! Прекрасный июльский день испоганил.

Я предложил: Милка, ты хоть бутерброд съешь. А то надерешься, что я с тобой делать буду?

Милка ответила агрессивно: Ничего я тебе с собой делать не позволю. Ты трус. Утопленник! Ты в собственной моче утонул. Почему вы все такие трусы? Не мужчины, а дерьмо. Вот из-за таких как ты Совок и существует. И вас вечно будут дурить и обирать. Будут вас, как баранов, стричь. Если ты в своей семье трус и на работе трус и в постели тоже будешь трус и фуфло.

Я разозлился. Подумал: Срезать ей, что ли, по роже?

Но не ударил. Никого я никогда не бил. И бить не буду. Телом здоровый, а духом слабоват. Трус и фуфло.

Решил уйти. Встал решительно, прошел в прихожую, сандалики натянул и к выходу направился. Милка догнала меня, обняла, заглянула в глаза, и прижалась грудью к моему животу. Моментально другую роль разыграла. И как умело!

Прошептала: Не уходи!

Даже слезу пустила. Я растаял, конечно. И остался.

Милка ушла в ванну. Привела там себя в порядок. Вышла свежая и, как мне показалось, даже трезвая. Чудеса!

Опять сели в кресла. За разговорами допили вторую бутылку. Съели бутерброды. Я разлил Кагор. Кагор был сладенький.

— Я нигде за границей не был. Понятия не имею, как там люди живут. Хотел на третьем курсе в Болгарию съездить. Не пустили. Не прошел собеседования. Скоты. А Израиль для ме-

ня вообще белое пятно. Что там наши делают? Арабы вокруг. Когда-нибудь они Израиль прикроют. А нашим первым башки поотрезают. Секир башка, товарищи бояре! Ну а что еще у тебя на уме? Кроме борделя.

— Подумываю о литературном журнале. Ты ведь знаешь, я пишу. И знакомых писак — пол Москвы.

— Все врет! — подумал я. — Врет и не краснеет. Про меня правду сказала — а про себя ересь плетет. Ничего она не пишет. Да и писать мы можем только о нашем советском дерьме. Кому это надо?

— Открою женский бордель имени Крупской. Буду издавать журнал «Моча дяди Мони» для интеллигентных совков.

— Мало ты этой сволочи здесь насмотрелась. Лучше открой котлетную имени Семнадцатого партсъезда для аборигенов! На руинах Второго Храма!

— Астраумный! У меня на юге уже половина друзей. Среди них настоящие люди есть. А не только болтуны. Зовут меня. А я все еще с приглашением не разобралась.

— Кому ты там нужна? Сама себе не ври.

— Пошел ты на хер...

— Я тебе уже по телефону сказал, что я уже там. На большом. И с пупырышками. Не знаю, что делать. Из института наверно уйду. Вот будет радость. Плюнуть в их верноподданные рожи и сказать. Прощайте, товарищи. Как я рад, что больше вас никогда не увижу! Надоели вы мне за десять лет принудиловки. Остопиздили!

— Не уйдешь, ты осторожный. А если коммунаки всю карусель назад раскрутят?

— Что-нибудь придумаем. А что, если весь твой Израиль — одна большая жопа? Будешь там сидеть на жарнице, без денег, без языка... Одинокая и пьяная... А там еще и секир башка...

Милка вдруг захныкала: Никому я не нужна, Димыч. Ни тут, ни там.

И опять слезу пустила.

— С матерью совсем контакт потеряла. Она как придет, начинает орать. Отец уже пять лет парализован. Тоже орет. Сын знать меня не желает. Живет где-то у друзей. Работать

надоело. В нашей мастерской все носы подняли. Дерьмо чувят. Кое кто уже смотал. А начальник — под судом за спекуляцию драгметаллами. У меня руки стали дрожать. Мужа уже лет пять не видела.

— А он у тебя правда испанец?

— Да какой он в жопу испанец. Колумбиец. Есть такая задрипанная страна. Кроме кофе и наркоты там и нет ничего. Один раз побывала, больше не поеду. Бандиты, москиты, духота... Муж там пропал. Может убили...

— Ты не реви, все обойдется, он к тебе еще в гости придет, в Тель-Авив.

— Да пошел он!

— Милка, а ты чистая еврейка?

— Чище не бывает. И отец и мать. Дед раввин. Отец обрезан.

— А мать коммунистка!

— И мать коммунистка. И отец. Очень по-еврейски. Надеюсь там поймут. Они там все леваки.

— Как ты думаешь, запрут Совок? Ведь если границу не закрыть, мы все рано или поздно двинем. Останутся только ленивые. Совдепия под откос пошла. Я по дороге столько грязищи видел. И люди все, как будто из дурдома вчера вышли. Хочется рвануть, но не знаю, куда. В Израиль боюсь. У меня мама русская. А евреев, когда сила на их стороне, я узнал на собственном опыте в лаборатории. Такими спесивыми гадами становятся. Хуже русских.

— Ну вот, евреев испугался. Ну кому какое дело до твоей мамы? Половинок берут.

— Я — человек русской культуры, в Христа верю. Православный.

— Ты только мне-то не рассказывай. Верю. Русский. Православный. Ты такой же православный как дядя Моня. Библии начитался. С попами наговорился. Голову себе сам заморочил. А попы твои — кагэбэшники! — милкин голос начал грубеть. В него назойливо лезли модуляции базарной бабы.

— Русской культуры ты человек? Да ты на все русское первый насрешь, когда возможность предоставится. И Христа

продашь! Христианин хренов! Кому какое до тебя дело? Много о себе понимаешь. Не говори никому, ходи в церковь тихо. Их в Израиле больше чем здесь. Молись своему Христу. Не выебывайся! Ох уж эти мне совки. В Коммуниздии — все врут, приспособливаются. А как уедут — я христианин! Я еврей! Да говно вы все, а не христиане. Знаю я вас. Показушники. С евреями — вы евреи. С православными — православные. И везде лезете в первачи. Вот ты тут сидишь, со мной разговариваешь, а думаешь только о моей манде. Говно!

— Ты сама говно!

— Ладно, кончай пиздеть. Разливай Кагор.

Милка пошла в разнос.

Мы выпили. Кагору осталось на самом доньшке. Я взял бутылку в руки, стал в нее смотреть. Увидел голую Милку, купающуюся в вине. Милка в бутылке была маленькая и розовая.

Весь мир был розовым. И сладким. И никуда не надо было уезжать. Все было чудесно.

Ну вот, и я набрался. А ведь не хотел.

Милка встала и, качаясь, пошла в спальню. По дороге сбросила одежду. Залезла под одеяло. И закрыла глаза. Помнила она еще о том, что я тут?

Я медленно разделся. Прилег к ней. Хотел начать любовную игру. Но вместо этого тут же заснул. Мертвым пьяным сном.

И снится мне сон. Тот же самый, что и прошлой ночью. Плыву я опять в том же городе, в белой воде. Но на этот раз — вода легкая, ласковая и не вода это, а взбитые в ангельской кухне частички света. Белок дня. Благословение небес. Попробовал во сне ее на вкус — сладкая, как сгущенное молоко. И дома как будто стали оживать. Посветлели, поглубели и порозовели. Из фасетных стен вылетели не злые пчелы, а маленькие крылатые человечки. Эльфы. Кружились вокруг меня, садились на плечи. Щекотали и заигрывали. Вот и башня. Вся из цветного светящегося хитина. А внутри — лучезарность. Посередине, на островке, бьет фонтан живой воды. И вокруг него кольцами расходится вол-

шебное сияние. Рядом с фонтаном стоит человек. Тот самый, утопленник. Но теперь он — живой. Тело светится. Препоясан. Борода белая, шелковистая. Зовет меня. Улыбается. Глазами синими сверкает как бриллиантами. Выхожу из воды. Подхожу к нему. Он обнимает меня. Целует. И вдруг подхватывает как ребенка и бросает в фонтан.

И повис я на вершине чудесных струй, как пингпонговский мячик. Тело мое пронзили стрелы вечного света. И весь я стал прозрачный и легкий.

Проснулся я от храпа Милки.

Тело все еще горело. Но в него уже вливалась широкой струей смертность и тяжесть реальности. Полежал. Потянулся. Еле встал. Включил лампу. Старый лиловый будильник на тумбочке показывал три часа ночи. Скверное время. Я оделся и вышел. На улице — мрак. Метро еще не ходит. Непонятно, где тут такси искать.

Милкин дом походил на огромный черный бункер. Ни одно окно не светило.

## НА ПАСХУ

Мы встретились у касс Ярославского вокзала. Женя Бесноватый, Лапа, Стасик Стеклянный и я. Женя обнял меня своими огромными ручищами. Прижал к груди. Его не очень чистое старомодное пальто пахло сигаретами Прима, он был умыт, выбрит, и смотрел приветливо. Все его клички: Бес, Бесноватый, Бешеный, Мосгаз были ему даны за подвиги, которые он совершал в делящихся неделями беспробудных запоях. В эти окаянные дни Женя не узнавал знакомых, хамил и дрался. Кончалось это для него обычно в милиции, из которой он попадал в клинику. Там его хорошо знали; знали, что после отходняка Женя будет смирный, что починит бесплатно часы и пишущую машинку и вообще все, что можно починить, а если надо и полы отциклюет и стены покрасит. Был он — в трезвом состоянии — отзывчивым и добрым. Все время кому-то что-то ремонтировал, кого-то перевозил. Через три-четыре недели после поступления в дурдом, его отпускали. Выйдя на волю, Женя клялся себе и друзьям, что больше водяру в рот не возьмет и действительно не пил иногда месяца по четыре.

Жил он очень бедно — получал грошовую пенсию по нетрудоспособности. Отец-прокурор помог оформить. Но сейчас был при деньгах, отремонтировал знакомому стенные часы и получил гонорар. Приобрел новые носки, олово, одеколон и оленьи рога. Оставшиеся рубли решил потратить на поездку в Загорск, на Пасху. Купил билет себе и Лапе, у которого, как всегда, денег не было.

Лапа был мужчина лет сорока. Плюгавый. Носил старые рыжие ботинки, нелепые коричневые брюки с отворотами, грязное пальто «со смехом» и полосатую шапку. Тело у Лапы было маленькое, неказистое, а лицо — широкое, русское, доброе. Имел он крупный нос, вечно моргающие глаза и неожи-

данно длинные ресницы. Жил много лет с женой и тремя дочками в коммуналке на Чистых прудах. Однажды его жена решила устроить дома выставку художников-нонконформистов. Кто-то из знакомых притащил меня туда, познакомил с Лапой. Мы стали приятельствовать. Он как и я любил старые русские книги, подарил мне, помнится, Житие святого Николая Мирликийского Симеона Метафраста, а я ему за это что-то переплел. Баловался тогда переплетами.

Работал Лапа где попало и с паузами, на одном месте долго не задерживался. На всех работах его третировали. Все у него вечно не ладилось. Даже собственные дочки дразнили. Хотя и не без науськивания матери. Лапа все принимал с терпением. Только моргал. И потирал руки.

И с женой было плохо. Она его не любила, уже много лет с ним не спала, жила богемной московской жизнью. К ней приходили подпольные писатели, непризнанные композиторы, диссиденты и откровенные сумасшедшие. Они пили, ели, курили ночи напролет, играли на старом расстроенном пианино, сорили. Иногда гостили месяцами. Стоит добавить, что в квартире жили кроме соседей, Лапы, жены и трех дочерей — спасенная в последний момент от супа курица, две собаки, черепаха, зайчик, три морские свинки и удод Веньямин. Удод был подарен выгнанным с работы за похищение зверей и звериного корма сотрудником зоопарка, поэтом-авангардистом Пучковым. Удод, впрочем, не прижился и прожил в Лапиной квартире всего полгода. Поэт Пучков пожалел его, забрал и держал дома, но потом, в безденежье, продал удода на Птичьем рынке.

Стасик был другом Жени и Лапы. Работал в ящике. Изготавливал там хитрые приборы для «этих мудозвонов», как он называл своих военных заказчиков. Стеклянным его прозвали за то, что он выдувал в свободное время из казенного сырья затейливые фигурки, которые иногда продавал, а чаще дарил друзьям и их женам. Розовый бычок, фантастический цветок, чудовище, изысканная кисть пианистки, инопланетянин. Все это переливающееся красками хрупкое великолепие создавал



мрачный русский человек, нигде не учившийся, никогда в жизни не бывавший в музеях. На неправильном лице Стасика выделялись широкие скулы. У него был узкий лоб, кривой нос, очень маленькие, глубоко посаженные глаза, ежовые брови. Однажды я принес ему книгу — «Чешское художественное стекло». Он открыл ее, полистал и вернул мне, добавив: Да... мне не надо, я сам, как могу... буду дуть.

Стасик был молчалив и застенчив. Подошел к кассе, купил себе билет, крикнул и отошел. И до самого отъезда курил папиросы и смотрел на асфальт. Молчал и в электричке и на пасхальной службе.

У меня билет уже был, потому что я уже час как торчал на вокзале, хотел посмотреть на народ, на поезда.

Народ приливал и отливал как темный океан, волновался как неуправляемая стихия. Был скорее процессом, чем совокупностью индивидуумов. Поезда истерично вскрикивали гудками. Их железные, покрытые рыцарскими доспехами лбы таранили пространство.

Почему все это наводит на меня тоску? Ну да, сама позиция наблюдателя уже предполагает отчужденность и высокомерие. Вот тут стою я. А там — океан, механический муравейник, там толпа, там поезда-тритоны. Моя страна, мой народ. А я заблудился. Не в небе, на Ярославском вокзале.

Зашел в зал где кассы. Встал в углу, закрыл глаза. Попытался сосредоточиться на Пасхе. Задал себе мысленно вопрос, верю ли я в воскресение Христа.

Вопрос этот всегда был для меня особенно мучителен. Ведь если Он не воскрес, то в мире царствует смерть, природа. А природа не знает ни красоты, ни милосердия, ни искусства... В ней нет ни спасения ни возмездия. Никто за нами не наблюдает. Никто не накажет убийц. Никто не наградит праведников. Мы мушки. Летаем в банке. Рождаемся и умираем. И никому до этого нет дела, кроме нас самих. Получалось, что в Бога я не верю, а в добро и милосердие верю. Вранье. На самом деле я ни во что не верил. Ни в Бога, ни в носорога. И мне было от этого страшно.

Не веришь, тогда зачем едешь в Загорск? К бабкам, дурочкам и надутым попам. Да еще в кампании придурков. Им-то все это христианство вообще до лампочки. Заслониться ими хочешь? Струсил собственного нигилизма?

Когда из толпы показался, наконец, Лапа, сияя улыбкой на блинообразным лице, на сердце у меня немного отлегло. Схватился за него как за соломинку. И начал себя успокаивать. Самому себе лапшу на уши вешать. Ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Ты не один в этом мире. У тебя есть друг-приятель. Друг? Да ты что, спятил? Лапа — твоя жертва. На него можно свалить тяжесть жизни. Ведь он тебе противен. Тебе все противны. И в первую очередь — ты сам.

А потом подвалили и Стасик с Женей. Огромная фигура Жени возвышалась над низкорослым московским человеком сантиметров на тридцать — чуть чуть до двух метров не домахал. И в плечах он был широк как старый дубовый стол. Русский человек. Корневой. Хотя лицом и смахивает на смесь татарина с запорожцем. И Стасик, хоть и поменьше ростом, но тоже кряжистый, от сохи. Дуб. Вот, посмотри, они — настоящие. А ты — осина трепещущая...

Куда электричка? До Александрова? Значит наша. Вошли в просторный, почти пустой вагон. Сели на отполированные многочисленными задами деревянные сиденья. Середина апреля, на улице еще белые мухи летают. А в вагоне — благодать. Тепло. Шпалами пахнет.

Поехали. По дороге говорили мало. Вечер. В окнах мелькала подмосковная дичь. Когда вышли в Загорске, уже сильно потемнело. Небольшой кусок неба еще сверкал апрельской синевой. Там, где еще недавно было Солнце, расплывалось розовое пятно. Мы двинули в сторону Лавры.

Достигли Святых ворот. Вошли в монастырь. Подошли к Успенскому собору. Поглядели на его мощные плечи, на слишком тяжелые купола. Спелые груди, тянущиеся крестообразными сосками в небеса. Вошли в собор. И сразу застряли в плотной толпе. Женя жал как бульдозер. На него шипели. Но протолкнуться к алтарю мы так и не смогли, всю

службу простояли припертые к громадной, четырехугольной колонне. Под хрустальной люстрой. Я боялся, что люстра не выдержит собственной тяжести и упадет. Представлял себе, что тогда будет.

Под утро чуть не задохнулись от испарений толпы. Колыхались вместе со всеми как море. Видели только темную, стонущую, напирющую на нас человеческую массу да часть высокого золотого иконостаса. Зато прекрасно слышали хоры и священников.

Кончилась служба. Расцеловались. Вышли из собора. Отдыхались. Съели пару запасенных Лапой бутербродов с любительской колбасой. Выпили чай из термоса. Походили по монастырю. Постояли у знаменитой лаврской колокольни. Дикая архитектура. Барокко посреди русского средневековья. Русская вариация ступенчатой пирамиды. Православный Зиккурат.

Я зашел в Троицкую церковь. Поклониться Сергию. Посмотреть на рублевские иконы. Спутники мои на дворе остались, закурили.

Станный мир. Завораживает. Сразу ясно — если войдешь, то уже не выйдешь. Опиум. Царство небесное. Серебряная кровать-усыпальница Сергия со стеклянным окошечком. Что она мне напоминает? Секрет. Секреты строили дети во дворе. Поймаешь кузнечика. Найдешь стекляшку. Выроешь ямку. И кузнечика туда. Под стекло. И стеклышко по краям присыплешь землей. Но так, чтобы кузнечика видно было. А потом смотришь, как он там скребется. Без садизма. Какой уж тут садизм у пятилетнего? Это сама жизнь. Вот и Сергей — старый кузнец — попал под стекло. И смотрит своими мертвыми глазами на мир из своего — секрета. Нравится ли ему то, что он видит?

Вышел на воздух. Поприветствовал приятелей. Лапа отдал мне честь. Мы немного попрыгали, чтобы взбодриться, потом пошли к выходу из Лавры. Зашли по дороге в туалет. Ужас! Вот оно, истинное лицо монастыря. Глубокие лужи мочи и плавающие в них испражнения верующих.

Притащились на станцию. Поезд уже стоял. Зашли в вагон. Сели. Лапа достал бутылку водки, стаканы, соленые помидоры, лук и половину Орловского хлеба. Разлил водку. Разломил хлеб.

Я сказал Бесноватому: Жень, тебе лучше не пить. Опять начнется.

— Ничего, я только пару глотков. Один разок. Как же за Пасху не выпить. Не бойсь, я себя в руках держу. Давно уже за-  
поя не было.

— В этом и проблема.

— Нет проблем, Димыч-друг, все ништяг!

Лапа поднял стакан и сказал: Ну, за нас, то есть — Христос Воскресе!

Женя пробасил в ответ: Воистину воскрес!

Стас только головой мотнул. Я тоже ничего не сказал.

Не испытал я катарсиса в церкви. Тянулось сердце. Туда, в православную сладость. В высоту. Особенно когда пели «яко восста Господь, умертвивый смерть».

Но в небо грехи не пускали. Остался на земле.

Мы выпили. От пахнувшей химией водки меня передернуло. Занюхал поскорее хлебной коркой. Положил на ломоть толстое колечко лука. Закусил. Съел помидор. Засол замечательный. Во рту взрывается. Язык обжигает. Для себя Лапа солил. Вот ведь талант пропадает. Почему все, что в магазине, такое невкусное? Коммунизм проклятый. В космос летаем, а едим гадость.

Лапа выпил осторожно, кошачьей лапкой. Тихо крякнул, занюхал рукавом. Потер руки. Есть не стал. Деликатный человек. Подумал намерное: Я — маленький. Мне много не надо. А другие — один другого здоровее. Пожрать мастаки. Пусть себе рубают.

Женя выпил как знаток, не морщась, на выдохе. Закусывать не стал. Я подумал: Хочет, чтобы водка подействовала сильнее. Истосковался. Дурак я. Не надо было ему давать. Отговорить надо было. А теперь — жди сюрпризов.

Стас Стекланный выпил свои пятьдесят грамм без аффектации. Покрывил рот. Закусил. Рыгнул. Сказал: Ну, отравла!

И замолчал. Посидели. После первой всегда воцаряется затишье. Непонятно, куда все пойдет. Поэтому нетерпеливые скорее вторую хотят. А мудрецы смакуют. Ждут, когда печаль бытия сама рассосется и обиженная зельем душа твердо скажет: Давай по второй. Что ее теперь, мариновать что ли?

Женя Бесноватый вдруг пробурчал: А меня вчера менты взяли.

Помолчал минуту. Затем продолжил: Продержали в милиции до пяти... Допрашивали. Кровь брали. Потом отпустили.

Лапа вякнул: Тык, за что это? Донора они из тебя что ли сделать собрались?

— Какой донора. Донор я уже давно. Подозревали меня. Думали, я маньяк. Который пацанов в Подмоскowie потрошит.

— Да ну!

— Позвонили в десять. Я открыл. Ментов было трое. Полковник, майор и наш участковый. Участковый сказал: Доигрался ты, Бес. Допрыгался!

А майор с полковником топоры увидели и перебздели, майор даже в кобуру полез. За пистолетом.

— Какие топоры?

Лапа объяснил: Ты у Беса дома не был. Как войдешь, в коридоре два топора висят. В петлях. А в комнатах портреты. Гитлера, Сталина и Муссолини. А теперь и этого, Ванафранко повесил.

— Ты чего не знаешь, не говори, — перебил Женя. — Не Ванафранко, а Каудильо Франко. Каудильо — предводитель по-ихнему, по-испански. Как менты портреты увидели, так сразу на меня наручники надели. И повели. Соседи высунули рожи из квартир, лыбятся, довольны. А то, что я им всем помогал — никому и в голову не приходит. Скотобаза!

— Так вроде поймали маньяка.

— Если бы поймали, не стали бы меня в отделение таскать, кровь сосать. У меня еще иголка в руке торчала, как майор кивнул подполковнику — нет, мол, не этот. Группа крови

не та. Видать, где-то крованул мужик, так они теперь кто по-выше, да на учете состоит, тягают. Формальности мол, говорят. Мы всех проверяем. Извините за наручники. А топоры вы все-таки снимите. А то кого-нибудь убьете ненароком. А я никого убивать не собираюсь. Топоры висят для самозащиты. Если грабить придут. У нас в доме уже троих ограбили. Цыгане. Или местные, одинцовские отметились. Ну, давай Лапа, по второй, что ли!

— Ты же хотел один разок?

— Эх раз, еще раз, еще много, много раз...

Лапа засуетился, достал бутылку из кулька, начал разливать оставшуюся водку.

— Да ты не мельтеши, разливай всю!

Женин голос явно стал громче. В нем появились грозные нотки.

Я подумал: Вот незадача. У Беса запой начинается. А бежать некуда. Мы в поезде. Хорошо, кроме нас и в вагоне нет никого. А то бы началась потеха.

Попросил Лапу: Мне поменьше наливай. Не пошла. Злая водка. Не московского разлива, что ли?

— Ярославская. Нам ее Тыня принес. У него там корешки на спиртзаводе. Я говорит, у вас месяцок проживу и заплачу водочкой. Ну я тогда одну поллитру и припрятал.

Стасик выпил и сказал: Ах, отравя!

Мне пить не хотелось. Но я переборол себя и выпил немного из стакана. Поперхнулся. Закашлялся. Лапа стал бить меня ладонью по загривку. Полегчало. Чтобы не казаться слабым, допил стакан, но опять поперхнулся.

Лапа выпил тихо. Зевнул. Закусывать не стал. Потер руки. Заморгал.

Женя выпил свою водку, грозно глянул на нас и спросил: Больше нет?

Никто ему не ответил. У меня и у Стасика не было, но у Лапы в кульке было еще грамм четыреста разведенного спирта. Я это знал, а Стасик и Женя не знали. Лапа видно решил поначалу спирт зажать, чтобы Женя не пошел в разнос. Но по-

том не выдержал давления, глубоко вздохнул, пробормотал что-то, потер руки и достал бутылку из под молока, заткнувшую самодельной пробкой.

Бесноватый тут же налил себе полный стакан и выпил, даже не дождавшись, когда Лапа остальным нальет. Я заметил, что лицо у Жени побурело. Глаза налились кровью. Из них исчез разум. Зато появились бычье упрямство и злоба.

И тут, как назло, в наш вагон вошли люди. Целая компания. На станции «Заветы Ильича». Черт бы побрал и Ильича и его Заветы. Несколько мужчин и женщин. Все они были навеселе. Разговаривали громко, не стесняясь. Женщины смеялись, мужчины рассказывали неприличные анекдоты. Особенно громко выступал здоровый блондинистый парень лет двадцати пяти в светлой дубленке с вышивкой. Он и говорил и изображал кого-то, даже в пляс пару раз пустился между сиденьями. В нашу сторону не глядел.

— Да, эти разговелись, — кивнув на пришельцев, пробормотал Лапа.

Я попытался отвлечь Женю от неизбежной конфронтации.

Спросил его: Ты что думаешь о нашем новом?

Горбачева только недавно избрали генсеком. Никто тогда толком не знал, что он за человек. Не знали, что будет в стране. Боялись. Пересказывали слухи. Шептали, что пятна на его лысине — это сатанинские знаки.

— О Меченом что ли? — голос Жени уже не был просто громок. Это был гром.

— Ну да, говорят, он перешерстит все по новой.

— Горбач всем отвесит пиздюлей! Всем отвесит! Всему сраному совдепу. И ментам и прокурорам. И тебе, и тебе, и тебе!

Он явно имел в виду нас.

Потом голос Жени возвысился еще на тон и он проорал парню в дубленке: И тебе, козел, Горбач тоже отвесит пиздюлей! Желтеньких.

Тот позеленел от злости. А до этого он был краснощекий — кровь с молоком. Подвалил к Жене. Разбираться. Это

было ошибкой. Надо было не расслышать. Может и пронесло бы. Женя ударил его огромным кулаком в нос. Как будто молотом. Беззвучно. Только черное пальто метнулось как раненая птица. От разбитого носа сразу полетели в разные стороны капельки крови. Как красные бусинки. Парень обмяк, повалился на грязный пол, его оттащили товарищи, а мы с Стасиком попытались усмирить Женю. Он отбросил нас одним броском, но драку не продолжил, а сел на место. Какие-то мысли его отвлекли. Мы тоже сели. Соседи наши благоразумно перешли в другой вагон.

Лапа моргал и причитал: Бес, ты пожалуйста успокойся. Хорошо, если они к дежурному по поезду не пойдут. Тот сразу милицию вызовет. Арестуют нас всех. На Пасху!

Стасик выпил еще немного спирта и проговорил в сердцах: Во отравля!

Женя и Лапа пить не стали. Мне и подумать о спирте было невыносимо. Рвотная муть ходила где-то под горлом.

Просидели минут десять в тишине. Только качались как маятники. Потом Бесноватый вдруг заорал: Не могу. Душа болит!

Выхватил у Лапы из рук бутылку и прямо из горлышка быстро допил ее. Кинул пустую бутылку на пол. Стало ясно, что он сейчас разбухнет, как шторм.

Я попытался его урезонить: Женя, ты бы сел. Скоро уже к Москве подъедем. Если будешь бушевать, менты на вокзале пристанут. Ты сам знаешь, в праздники они как мухи злые. А нам еще на метро ехать.

В ответ на это Бесноватый прорычал: Иди ты... Советчик, бля! Жидюга! Я тебя знать не знаю, тварь. Чего приебался? Менты? Насрать на ментов. Москва? Ебал я твою Москву! Понял? Праздники? Да насрал я на твои праздники. Уу, гад, раздавлю!

Он схватил меня за горло и начал душить. У меня в глазах почернело. Я попытался отодрать его руки, но это было все равно, что отдирать рельсы от шпал. Мелькнула мысль: Конец истории.



Тут, как мне потом рассказал Лапа, Женю ударил Стасик. В грудь. И как косой скосил. Бесноватый расцепил свои клешни, опрокинулся, упал. Падая, ударился затылком о железную ручку на сиденье. Захрипел.

Мы с трудом подняли его и положили на лавку. Лапа достал закатившуюся под сиденье бутылку и вылил остатки спирта на рану на затылке. Выглядел Женя жалким и страшным. Черные с проседью волосы сбились в перья. Кровь залила шею и капала на пол. Лицо посинело. Глаза закатились. Пальцы скрючились, ногти почернели.

До нас не сразу дошло, что наш приятель умер.

## ЧИНГАЧГУК

Всю ночь перед свадьбой Олег нервничал. Ворочался, боролся с простынями и назойливыми мыслями. Свадьба представлялась ему в виде бесконечного, падающего откуда-то сверху, белого полотенца, которое приходилось складывать в штабеля.

Он складывал, складывал...

Штабеля беззвучно и медленно валились. Олег поднимал, поднимал их, задыхаясь от запаха крахмала, методично выравнивал края.

Под утро проклятое полотенце превратилось в огромный белый ковер. Снилось Олегу, что лежит он на нем, голый и счастливый, а рядом с ним растянулась его невеста — самочка-косуля. И он любезничает и балуется с ней на ковре. Держит ее за изящные копытца, целует в породистую мордочку. Вдруг в комнату вбегает страшный косматый старик. Он рычит и дико поводит вылупленными глазами. Замахивается огромным топором. Олег заслоняет невесту своим телом. Принимает удар на себя. Топор рассекает широким закругленным лезвием кожу и лобную кость, входит в мозг. Олег слышит собственный курлыкающий предсмертный крик.

Гадкий мальчишка кинул камень в птичью стаю.

Живые страницы его жизни разлетаются как воробьи.

Чирикать, чирикать! Обиженно.

Старик не выносит птиц. Он хватает их на лету и тащит корявой лапицей в пасть. Там горит огонь. На огне — котел с кипящей кровью.

Чирикать! Чирикать! Авось пронесет.

Олег проснулся, поискал глазами на противоположной стене припиленную к обоям репродукцию Ангела с золотыми волосами, нашел, умилился, и только после этого встал. За-

сунул простыню, одеяло и подушку в остро пахнущее клеем фанерное брюхо двуспальной кровати. Зашел в туалет. Поразился какомуто особенному, ромашковому цвету своей мочи.

Ромашка. Пряная мать матрикария.

Что ты так разнервничался? Пульс сто. Того и гляди горячим керосином мочиться начнешь!

Старик, тебе не в загс, а в поликлинику надо.

Лег в ванную. Рассматривал там свои сморщенные мужские достоинства, которые его невеста еще и не видела. Гадал, понравится ли он Юле голый. Мечтал.

Вот они усталые, но счастливые, приезжают наконец в их новую квартиру. Он ложится на кровать, а она, ласковая, возбужденная раздевается перед ним, медленно и сладострастно. Садится на кровать, раздвигает бедра и кладет одну его руку на свою трепещущую грудь, другую — на выбритый лобок...

Какую-какую? Опять птичья метафора?

Воробьиные у тебя мозги.

Как это все пошло! Свадьба, платье, невеста, жених. Курицы, петушки. Зачем тебе эта жеманная косуля? Тебе бы в жены — жирную свинью. Обнимать ее, нюхать у нее под хвостом, сосать молоко из ее розовых сосков и хрюкать.

Все просто, как в бане. Ты боишься того, чего алчешь и хватаешься в панике за нечто противоположное. Слабенькое, хрупкое.

Как ножка у вареного воробышка.

Боишься самого себя, хрящегрыз, свиноёб!

Хочешь спрятаться в бульоне?

...

Олег тщательно вымылся, особенно долго тер промежность и шею. Побрился. Подстриг ногти и заусенцы на ногах и руках. Вырвал пинцетом несколько волосков в носу и на ушах. Обрызгался дезодорантом так обильно, что кожу обжог. Надел хрустящую белую рубашку, новый, коричнево-серый костюм, повязал зеленоватый с блестками галстук, посмотрел на себя в зеркало. Увидел фатоватого парня двадцати двух лет, смущенного жениха, дубину стоеросовую, как называла его

бабушка, когда он приносил из школы двойки по физкультуре или труду. Не удержался и немного почирикал.

Юлька-то наверно девственница.

Обещалася девичество свое хранить в целости до живота своего...

Приснодева-косуля.

Говорят, косулье мясо надо три дня в уксусе вымачивать.

А награда — полгода потной возни, прежде чем удовольствие получишь.

Девственница-лиственница.

Чиркнуть там разочек топором — и нет проблем.

От этой мысли Олегу стало дурно. Он приблизил лицо к зеркалу, посмотрел на свой угреватый нос, и попросил себя — заткнись, пожалуйста, заткнись!

Пошел в кухню.

Отломил кусок черного хлеба и долго его жевал, запивая розоватой водой из большой стеклянной банки, в которой плавал лохматый гриб Солярис. Посмотрел на часы и зажмурился в отчаянии от неотвратимости свадьбы.

Ты юлькин муж?

Недотепа, мечтающий о жирной свиноматке — муж солнечной Юлечки?

Посмотри на свои ногти на ногах!

Неровные, гадкие, грязные в углах, сколько их не мой, врезавшиеся в мясо.

Разве можно любить человека с такими ногтями? Иди в свинарник!

Муж.

Это слово отдавалось в его голове как удар тупым концом топора в лоб.

Из буквы «м» выползли ноги и голова, голова обросла бородой, вертлявый «уж» превратился в топор и Олег узнал в этом слове косматого старика. Попытался загнать его обратно в слово. Не вышло.

Ловец. Поймал меня. Верхом на свинье.

Олег замычал как бык, которого на бойню гонят.

Зажужжал как шмель.

Зачирикал.

Свадьба. Свадьба. Свадьба.

Две нагие фигурки плещутся в тазу с вишневым вареньем. Раньше киношники для имитации крови использовали.

Сладкая кровь.

Свадьба.

Сводятся-свадятся-свариваются.

Нежная юлина грудь. Вишенки-сосочки.

Собрал Бог пальцами кожу и проткнул дырочку. Палочкой для ковыряния зубов.

Один раз только поцеловал. Застыдилась. Запахнулась судорожно.

Потом! После!

Когда потом? После чего?

После смерти охотник на флейте играть будет. Или сдает фанфару из ружья.

Понравлюсь я ей? Нормальные люди это до свадьбы выясняют. А не в тазу с вареньем.

Только идиоты устраивают свадьбу. Опять ты не настоял на своем.

У трусишки что в трусишках? Побоялся. А чего?

А того, что тебе откажут. Испугался Юлечку потерять, прекрасную газель.

А теперь — свадьба-бойня.

Там пороят током бьют. Мясники-мордовороты. Хрюкнет поросенок, дернется и все. Закончилось земное бытие. Отлетит душа в сторону небесного свинарника. Встретит ее огромный хряк-вседержитель. Вздохнет.

...

Пора было к родителям ехать. Олег решил такси не брать, пожалел деньги. В автобусе пришлось терпеть многозначительные взгляды пассажиров. Какой-то мрачный тип оглядел его, усмехнулся презрительно, и сказал: Пижон! К станку бы тебя! На трубогиб. В ночную смену. Белорубашечники...

Олег еле слышно прошептал: У меня сегодня свадьба...

Тип неожиданно помягчел: Извини, браток, не разобрал. Сам вот который год маюсь. Как я в Наре телку свааатал. Отказала — долго плааакал...

...

Откуда это в нас? Непременно оскорбить ближнего. Подставить ножку.

Чтобы в грязь упал.

Чтобы сидел как все в дерьме. В пятом, советском, океане дерьма.

Вот и стали мы все нырятьщики. Аквалангисты в канализации.

Побрей матушке России ноги, подполковник!

Не захлебнись в Сандунах!

...

Родители предложили позавтракать. Олег отказался почти грубо. Мать все поняла, но сына не пощадила.

— Ишь, какие мы нервные. Слова не скажи. Как ёжик. Слышь, отец, мы тоже такие были?

— Я из туалета не вылезал. За что боролся. Окольцевала, змеюга. И намордник надела. Белого света не вижу. Так и знай, сын, всю жизнь твой папа на коротком поводке. Служит Полкан. Где мячик? Апорт! Ах, не слушай ты нас, старых крокодилов, радуйся, твой день сегодня. Твой и Юлечкин! Мать, как ты думаешь, мой оранжевый галстук к маренговому костюму подойдет? Чай не похороны!

— Ах, Владик, надевай что хочешь. На поводке он, видите ли. Разоделся. Перед молодухами щеголять. Все равно выглядишь как старый попугай. В театр ходил в зеленом свитере!

— Как Ив Монтан!

...

Выехали в одиннадцать на трех машинах. Полдвенадцатого подъехали к загсу. Кортёж невесты прибыл, как и полагается, с опозданием. Фата никак не хотела закрепляться на пышных юлечкиных локонах. Молния порвалась на новых сапогах тещи. У тестя обострились боли в пояснице. А девяностолетняя бабушка невесты заявила, что никуда не поедет,

потому что воры утащат ее гжель. Оставить ее одну нельзя. Уговорили соседку до вечера посидеть. Та разохалась.

— Юлечка замуж выходит! Малиночка наша! Да за кого? За этого, длинного, что ее полгода на улице пас? Видали! Неужели кого посолиднее найти не могла?

...

В загсе Олег вел себя как зомби — вставал, куда указывали, говорил, что велели, слушал тетку с широкой атласной лентой через плечо, по комплекции и выражению лица похожую на участницу американской борьбы рестлинг. Слушал и не понимал, что она говорит. Послушно подписал какую-то бумагу с вензелями и звездами. Теревил галстук. Хотел одного — чтобы все поскорее кончилось. Чтобы можно было уйти от людей. Приехать домой. Скинуть дурацкий костюм, галстук, содрать с себя кусачую рубашку, открыть форточку, впустить в комнату холодный воздух мартовской Москвы, принять две таблетки цитрамона, почирикать и заснуть.

Заснуть?

А как же — то?

Зачем тогда свадьба, вишневое варенье, локоны?

...

После оформления брака поехали на Ленинские горы, смотреть на Москву. Над городом висела морозная дымка. Метромост, казалось, обрывался в воздухе и не переносил храпящих металлических бегунов с Ленинских гор туда, вниз, в прогорклое московское брюхо, а выбрасывал их в туманное небытие, из которого вырывался поток ревущих, воплотившихся в волги и лады демонов.

Выпили водки и советского шампанского. Сфотографировались. Прокричали «горько».

Олег считал зачем-то снежинки, падающие ему на лоб.

Ну что, это все?

Десять.

Теперь я муж? А Юля жена?

Одиннадцать.

Почему ничего не произошло? Природа не заметила. Ха-ха!

Двенадцать.

Ни Бог, ни черт никак не отреагировали. Всем до фени.

Тринадцать.

Бог — квадратный корень из минус единицы.

Четырнадцать.

А как же птицы летают? Они конформных отображений не проходили.

Пятнадцать.

Вся жизнь — пустоты и мнимости.

Шестнадцать.

Прилетела комета, шмякнулась, вывалилась из нее клеточка. Одна. Может, слетела с ногтя какого-нибудь космического уroda.

Семнадцать.

Упала в теплую воду и стало ей там хорошо. Пожрала чего-то и разделилась.

Восемнадцать.

И пошло. Встали с четверенек. Уши, глаза, руки, задница.

Девятнадцать.

А в голове — все еще тот, исконный вопрос, с которого все началось.

Двадцать.

Где тот самый ноготь, с которого мы сорвались?

Москва сорвалась с Ленинских гор.

Двадцать один.

...

Друзья заглядывали Олегу в лицо, пожимали руки, хлопывали по плечу, спрашивали: Ну что, старик, ты доволен? Готовишься к ночке? Не горюй, не боги горшки обжигают!

Олег ничего не отвечал. Все думал, думал.

Смотрел иногда в глаза Юлечке, искал поддержки. Но Юлечку не тревожили метафизические проблемы, она думала о платье, о прическе, о новых белых туфельках. Воображение прекрасной газели не бежало как та телега, впереди лошади, а еле поспевало за ней. Ее занимала пузатая лакированная тыква с подарками и сюрпризами — церемониальная свадьба в



ресторане. Возлияние медовухи на алтарь домашних богов. Пожирание соленых и перченых внутренностей жертвенных животных.

Юлечка с наслаждением гладила толстенное золотое кольцо, плотно обнимающее ее изящный безымянный палец с бело-розовым ногтем и представляла себе радужные картинки.

Вот хорошо тренированные супруги-теннисисты на белом пароходе у Ласточкиного Гнезда. Морской ветер играет ее золотыми локонами.

Счастливый отец везет на санках двоих веселых бутузов.

Белобородый, неловкий в своем красном кафтане, Дед мороз, вручает детям подарки рядом с горящей разноцветными огнями елкой. На вершине елки — сыплющая алмазные брызги звезда. Горные лыжи в Терсколле.

Журнал «Вопросы литературы».

Конгресс в Бостоне.

...

Подруги поддерживали Юлю, помогали не запачкать платье, целовали ей щеки, поправляли фату. Курносая Толстикова шептала ей в ухо.

— Ты, девушка, не дури. Я знаешь, как тряслась! Ничего, пережила. И даже развелась уже. Но ты не разводишься. Олег парень видный. Талант. Только одеревеневший какой-то. Ну, ты его ночью растормошишь. Главное не давай ему пить, а то ни на что способен не будет. Мой Пашка как напьется — орет, не могу, а это самое у него с мизинчик.

Маленькая черноглазая Дивнева лепетала.

— Милая Юлечка, красавица, как тебе белое платье идет — как яблоневый цвет на рассвете. Как Олежка тебе рад будет! Я так за вас переживаю. Оба такие хорошенькие и умненькие. Щечки у тебя персички, ягодки. Милочка, Юлечка, ты сегодня ночью Олежку счастливым сделаешь. А то он печальный такой мальчик.

...

Опьяневшие друзья вздумали поставить жениха и невесту на скользкий мраморный парапет.

Олег отказался наотрез и даже несколько раз ударил кого-то по рукам. А Юлечку не без труда взгромозили. Встав на парапете во весь рост, Юля вдруг по-новому увидела главное здание МГУ. Оно представилось ей такой же как она, только каменной, дурой-невестой, давным давно водруженной кем-то на гигантский парапет амфитеатра Москвы-реки и ждущей застрявшего где-то в центре Москвы жениха. Юля пожалела университет. И тут же потеряла равновесие, оступилась и начала падать. Ее поймали и осторожно поставили на землю. Заставили выпить бокал шампанского.

Олег невесту не ловил. Он смотрел в другую сторону, на Москву. Туман рассеялся.

Не дали, а зияния.

Золотистая конструкция на президиуме академии сидит как дурацкий колпак, метромост — бетонный урод, высотки стоят как памятники на погосте.

Стадион Лужники круглится как огромная раздавленная мечеть, а четыре уродливые мачты для прожекторов торчат как минареты.

Не архитектура, а стоматология.

Не дома, а имплантаты, зубы коммунистического дракона, не улицы, а чешуйчатые хребты подземных змеев.

Когда-нибудь прилетит сюда космический старик в белой ночной рубашке и ударит прямо в Кремль своим галактическим топором. Будет тут огромный кратер.

...

Приехали в ресторан. В уютном отдельном зале все было готово для гостей. На столе искрились хрустальные бокалы, тяжело горбились розовые салфетки, закуски источали сомнительные майонезно-уксусные ароматы. По стеклу водочных бутылок стекали капельки росы.

Первый тост провозгласил отец жениха. Пожелав здоровья и счастья невесте, он по привычке перешел на поучения и советы. Говорил, говорил...

Его речь то и дело прерывала плачущая мать Олега.

— Так, так, Владик, скажи, чтобы в доме был муж главой семьи. Напомни про диссертацию. Упомяни про то, что мы внесли первый взнос за кооператив. И ложки тоже мы купили.

Потом выступил отец невесты, отставник-полковник. Он держался за спину, кряхтел. Пожелал жениху силы, мужества, здоровья и материального благополучия. Опрокинул в рот рюмочку водки и крякнул. Подмигнул новобрачным. Мать невесты мужа во время выступления не прерывала. Прошептала дочери: Будь счастливее меня в браке, родная.

А зятю сказала: Упаси Бог тебя от водки и армии! Посмотри на моего голубя, а ведь когда-то был на молодого Жарова похож. На трубе дудел.

Оба выступления закончились громогласным «горько» гостей. Молодые встали и чмокнулись. У Олега уже болела голова, а Юлечка боялась уронить фату и влезть складками платья в салат с печенью трески.

Слово взял друг детства Рудик Цванг. Рудик был пьян и воодушевлен, к выступлению не готовился, надеясь на полноту чувств. Позже Рудик утверждал, что черная меланхолия победила в нем во время провозглашения тоста неразделенную любовь к человечеству, а виноват в этом был не он, а упомянутый не к месту изобретатель опричнины.

— Ребята... Ребята, я всех вас люблю. Я люблю Москву, люблю весь земной шар. Всех двуногих и... трехногих... Я простой учитель Цванг. Не слышали о таком? А я был и есть. Математику преподаю школьникам в Нагатине. Где затон. Коломенское там. Да-с. И церковь шатровая. Ее, между прочим, папаша Ивана Грозного выстроил. В честь сыночка своего... Людоеда... Итальянский архитектор возвел. Во, страна, сами ничего делать не умеем. Там школа недалеко. Для советской молодежи. Такие скоты... Но, ррребята, остаавим, молодежь в покое. Главное, непонятно, что они еще выкинут. Все уже было. Из окна выбрасывались и отверткой в ребра пыряли. О чем это я? Что, свадьба, да... Какая свадьба? Ах, да... Так вот, коллеги... Кто-нибудь из вас помнит, чему равняется синус трех икс? Забыли? Или никогда и не знали? Напомнить? А квадратный трехчлен вам в задницу не всунуть? Устроили тут судилище... На вашем засраном педсовете. Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи! Кто из вас квашеную капусту ел, наперсники разврата! Чесночищем разит!

Рудика отвели в туалет, дали поплевать, помогли ему раздеться до пояса. Рудик неохотно облился холодной водой, голову подставил под струю. Освежившись, вернулся в зал, извинился перед родителями невесты, съел две котлеты по-киевски, выпил чашечку кофе и весь оставшийся вечер прокрутился в непосредственной близости от полненькой Машеньки Рябчиковой. Заглядывал в разрез ее бархатного лилового платья и умолял: Машенька, позволь тебя в родинку поцеловать. По-дружески. Как брат или сестра.

Польщенная Рябчикова сжимала губки.

— Вы, товарищ учитель, все шутите. Не целуют братья сестер в родинки. Вместо водки пили бы лучше Цинандали.

Цванг отвечал вяло.

— Я, Машенька, патриот. Невольник чести! Водка это не напиток, это наша Родина. Первый концерт Маяковского. Апофеоз. Евразийство и панславизм. Пан или пропал. Хотя я и еврей. Но у меня русская душа! Для сердца вольного и пламенных страстей... А Цинандали — кот нассал в сандалиии. Кавказская синиль. Позволь, милая, родинку поцеловать. Как дядя тебя прошу. Как папа Карло. Как бедный Вертер. Не хочешь? Но иглы тайные сурово язвили славное чело!

...

Олег ничего не пил и не ел. Он дрожал, тревожился, ежил-ся, хотя в ресторане было душно и жарко. Не обращал внимания на гостей, не слушал тосты, потерял из виду жену, ушедшую к пианино, где неугомонная Толстикова имитировала Эдит Пиаф.

Слышал только стрекот кинопроектора и усиленное каким-то дьявольским усилителем шарканье ногами по паркету. Ему хотелось немного почирикать, но он боялся испугать гостей. Его мучила новая навязчивая идея. Он решил почему-то, что попал в дискретный мир кино, в фильм. И фильм этот, потерял темп, провис.

Свадьба на целлулоиде.

Едят, пьют, но все почему-то катится вниз.

Как шарики.

В овраг.

А рядом со свинарником, помешанный старик с топором ходит.

Тощий конь и мертвый ворон.

Расшаркались все. Паркет менять придется. Шаркайте, шаркайте!

Черви и пики.

А старик в печке гербарий сжёг. И сушеные грибки не пощадил.

Кадык почесывает волосатый.

...

К Олегу подошел его бывший одноклассник, дипломат Илья Покровский.

— Ты чего приуныл? На Рудика не сердись, он от чистого сердца. Сейчас многих достало. Говорят, его в армию хотели насильно загнать после педа. Офицером. Представляешь, Рудика в форме? Смирно! Фуражки снять! Яму рыть отсюда и до ужина. Говорят, его мать пианино продала, чтобы откупиться. Помнишь, белое, Петроф.

— Помню. Рудик, душа-человек. Пятьдесят рублей оторвал от сторублевой зарплаты.

— Тебя предсвадебный стресс доконал. Бледный ты. Не жрешь ничего. Хоть бы фрикасе попробовал. Во рту тает. Когда еще такую вкуснятину добудешь? И не торчи тут до конца. Через часок бери Юльку и айда домой. В постельку. Хочешь я тебе такси поймаю?

— Отец заказал микроавтобус к десяти. Загрузим подарки и рванем. Юлька ни за что раньше со свадьбы не уедет. Слышишь, как заливается? Научили на филфаке, спасибо. Крутит меня, Ильюша, как будто грипп подступает. Башка трещит. Мысли поганые одолевают.

— Понимаю. Я вчера в мавзолее был. На работе заставили — ты, говорят, по-французски можешь, вот алжирцев сам и поведешь. Приехали, бля, опытом обмениваться, друзья Советского Союза. Чиновники и банкиры. Холеные все. На кой им черт Ленин? Да еще и мертвый. Ксиву мне дали — делегация! Поехали. Федоров, конечно, рафик зажил, на метро двинули. Три остановки. К одному алжирцу пьяный пристал.

Ваше, говорит, черножопое сиятельство, разрешите, спросить, Вы зачем к нам приехали, мух ловить? Ты зачем с пальмы слез, негр? Алжирец морщится, просит меня, переведи, мол, что человек, говорит. Я что-то наврал... А к другим мальчишки прилипли — подавай им жвачку и значки! В мавзолей нас пустили без очереди. Минут десять всего ждали. К саркофагу подошли. Алжирцы посмотрели, кивнули, вроде бы честь отдали, и на выход. А я задержался на минуточку, хотя какие-то гэбилы шептали назойливо — проходите, не задерживайтесь. Приворотило. Лежит, понимаешь, этот мертвый татарин под стеклом. Как панночка. Вот-вот глаза откроет. Не поверишь — молодой какой-то. Живее всех живых. Крови напился, бля...

...

Часам к восьми свадьба была в самом разгаре. В одном углу все еще неистовствовала неуёмная Толстикова. В другом углу зала танцевали. Донна Саммер, Блонди, Анна Ленокс...

Плотный юлечкин дядя, завотделом закрытого института, занимающийся взрывчатыми веществами, оба локтя положил на праздничный стол, а голову держал в опасной близости от тарелки с яйцами с красной икрой. Голову размякшего дяди поддерживала рука его жены, работающей во взрывоопасном институте бухгалтершей. Напротив них сидел тоже крепко выпивший дядя Олега, Виталий Александрович, профессор химик, специалист по полисульфидным жидким каучукам.

Взрывчатый дядя говорил дяде полисульфидному.

— Ты Витька и я тоже Витька. У тебя жена Галка, а у меня Ленка. Полисульфидные каучуки! Ты бы сказал прямо — пробки! Для бутылок, банок и еще кое для чего!

Профессор отвечал.

— Ты, динамит, поосторожнее! Без пробок вся водочка вытечет, что тогда делать будем?

— Пусть, миленькая, течет. В рюмочки. Давай, за молодых! По-стариковски!

— Ты меня не состаривай. Мне только пятьдесят второй пошел, еще как могу взорваться! Три раза в день. А-ах, хороша ханка, душу греет, организм очищает!

— Ты прав, каучук. Ты мне вот что скажи... Куда Олежку распределять будем? К тебе, на кафедру, или ко мне, в ящик. У меня зарплата пожирнее, но придется погоны надеть.

— Не надо ему в казарму, не видишь что ли, московский парнишка, мягкий. Его место в академическом институте. Пусть поработает. Пообщается с умными людьми. Оботрется. Не созрел еще для жизни, а вишь, женился, лопух!

— Тебе чего, моя племяшка не нравится?

Тут дядя-динамит попытался врезать профессору-каучуку по скуле. За что получил довольно увесистую оплеуху от собственной супруги. Неудачно качнулся и влез таки широкой мордой в тарелку с яйцами. Был препровожден в ресторанный туалет. Долго там проповедовал, стоя перед писсуаром. Вернулся в зал с раскрытой ширинкой.

...

Перед самым концом свадьбы вспыхнули было еще два незначительных конфликта.

Бывший Юлечкин одноклассник Колпаков вспомнил, что другой одноклассник, Хлебный зачитал несколько лет назад взятую на недельку «Лолиту».

— Ты что, совсем дурак? — орал Хлебный. — Я тебе эту похабщину тогда и вернул, на фиг она мне нужна?

— Нет, зачитал, — уверял Колпаков. Ты «Лолиту» зажил и Ритку, когда меня в комнате не было, лапал!

— Дурак ты, твою жирную корову все лапали, кроме меня. Жопа как у слона, а ножки, как у моей бульдожки.

...

Тут Колпаков и Хлебный стукнулись случайно головами и оба растянулись на полу. Расхохотались и помирились. Колпаков обнимал Хлебного и увещевал.

— Хлебушко, не сердись, не отдал и ладно. Некогда мне литературу читать. Дело надо делать. А Ритка мне последний раз три года назад звонила. Когда на выезд подала. Шут с ней. Укатила... Что же, Хлеб, все уезжают. А мы с тобой тут и помрем.

— Не реви, Колпак... Уезжают и ладно. Локти будут на Западе кусать. А мы и тут проживем, в Совдепе. Скоро Леня дуба даст, может, что и изменится, — утешал друга Хлебный.

Второй конфликт завязался между представительницами прекрасного пола. Поэтесса Минаева приревновала своего увальня Славикова к давнишней конкурентке, пополневшей и раздавшейся с школьных времен, но все еще привлекательной, Лизе Ситроен, переводчице с польского и чешского.

Мужу Минаева прошипела, страшно сверкая глазами: С тобой я дома поговорю!

А обидчице пообещала: А тебя, гадина, в сортире утоплю! Дылда, прелое мясо!

И кинулась на Лизу, выставив вперед кроваво-красные когти. Та предпочла ретироваться. Минаеву отвлекли, рассмешили, она успокоилась. Но потом поймала таки мадам Ситроен в туалете. На беду, растащить соперниц было некому. После боя Минаева долго расчесывала растрепанные темные волосы, изрядно потерпевшие в схватке, а дебелая красавица Лиза припудривала носик, за который ее умудрилась укусить удалая поэтесса.

...

Олег и Юля приехали домой около одиннадцати. Разгрузили подарки, отволокли их в квартиру. Разбирать не стали, бросили в прихожей. Полумертвая от усталости Юля сбросила платье, освободилась от фаты, приняла душ, поцеловала мужа в щеку, легла в постель и заснула.

Олег долго сидел на кухне. Потом встал, подошел к окну, отдернул повешенную два дня назад занавеску и тяжело посмотрел вверх домов на темно-фиолетовое небо.

Вот небо. Для меня оно вроде фиолетовое, а для собаки серое.

Для меня верх, а для лунатика низ.

Или цвет, например, выдумка, утопия, также как и звук и вся остальная мура. Цвет не существует без человеческого глаза и мозгов. А звук — без уха.

Бык не видит красного.

Абсолют?

Сами придумали.

Главная скрипка не страдивари, а человеческое тело.



Добро и зло — самообман. Временное соглашение. Удобрства. Программа.

А космос плюет и на добро и на зло.

А мы все мечтаем...

Не расплескаться бы, не засохнуть.

Дома, вот, твердые, а мы из воды. Течем как реки.

Любим формы, потому что сами бесформенные.

Балдеем от металлов.

А еще больше любим слова. Просторы метафизические. Семантические поля.

Тысячи цветов. Подсолнечник-прогресс, розочка-цивилизация.

Ах ты, Вася-василек!

Для нас хорошо, а для других — погибель.

Крокодилу наши сапоги не по ноге.

А эстетика и этика вазелином пахнут.

Никогда других не пойдем. С их колокольни все иначе.

Гадал вот, мечтал, а Юлька взяла и заснула.

То, что хорошо для нее, плохо для меня. И наоборот.

Как это прикажете понимать?

...

Олег отошел от окна, сел в коридоре на табуретку, начал лениво перебирать подарки.

Кинопроектор защелкал и остановился.

Порвалась лента.

По экрану расплзлось злое лиловое пятно.

Олег взял в руки небольшой декоративный топорик Новгородский сувенир, с изображением монумента Тысячелетие России и золотой узорчатой гравировкой по краям лезвия. Подарок дяди-динамита. Глупее и бессмысленнее, кажется, никто ничего не подарил. Если бы не четыре зелененькие пятидесятирублевки, прикрепленные клейкой лентой к топоричу, можно было бы даже обидеться. Олег отодрал деньги, положил их на обувной шкафчик.

Или подарок не так уж и глуп?

И фильм получит, наконец, драматическое завершение?

Может быть, излишне кровавое, но это дело вкуса.

Олег изобразил перед зеркалом команча меланхолического — подпер топориком падающую голову. Потом выпучил глаза, топорик схватил зубами, а руками растянул уши.

Превратился в апача придурковатого.

Затем изобразил последнего могиканина. Опечалился.

Потом сделался патриотом великой России — возвысил прыщавое чело, напряг мускулы, нацелил топорик на упрямые лбы подползающих со всех сторон врагов.

Глубоко вздохнул и преобразился в Чингачгука.

Раскрыл рот, спустил трусы на колени, зажал топор бедрами и выставил лезвием вперед, как вставший член.

Гуськом вошел в спальню и застыл рядом с кроватью.

Юлечка зажгла лампу, посмотрела на мужа и завизжала.

## ДОНОСЧИЦА

Ее звали Гривнева Марина Валентиновна. Маленькая женщина. Сутулая. Личико как у карлицы. Старомодные очки на сморщенном лисьем носике. Колючие глазки. Неприятные рябые руки с короткими уродливыми пальцами. Экзема на шее, локтевых сгибах и щиколотках. Полное отсутствие груди, задницы, бедер. Прямоугольник. И к тому же доносчица.

Уже в детских мечтах она была не учителем и не врачом, а следователем. Допрашивала предателей и диверсантов.

— Марина, — внушал ей отец-военный. — Мы живем в капиталистическом окружении. Все соцстраны с нами только до тех пор, пока мы сильны. Чуть что — изменят. А наше собственное население еще хуже, каждый третий враг народа. А может и каждый второй.

Стучать Гривнева начала еще в школе. Донесла на одноклассницу. Потом завучу — на классную руководительницу. Затем — в роно на директора. Хотела было после окончания десятилетки поступить на юридический факультет МГУ, но добрые люди отсоветовали — без блата пролезть туда было невозможно.

Гривнева поступила на физфак, ее окрыляла мыслишка о разоблачении физиков-вредителей. Училась неважно, но доносила на сокурсников исправно. За это ее распределили не на завод и не в провинцию, а в московский престижный научно-исследовательский институт.

Писала доносы Гривнева всегда ровно, спокойно, не преувеличивая и не преуменьшая. Подражала классической русской литературе.

...

За чаем говорили об исполнении советскими солдатами интернационального долга в Афганистане. Младший науч-

ный сотрудник Перепелкин называл помощь афганскому народу агрессией, позорной афганской войной. Портил всем настроение. Утверждал, что недопустимо посылать войска в чужие страны и убивать там местных жителей. Старший научный сотрудник Привыкин заявил, — если мы туда не войдем, то войдут американцы. На это Перепелкин заметил, хоча, что в Афганистане нет ничего кроме гор, пустыни и ослов, что американцы не такие дураки, лезть туда, где англичане за сорок лет войны ничего не добились. Мне кажется, коллектив скорее осуждает операцию в Афганистане, чем поддерживает. Видимо, многие не уверены в том, что официальное объяснение военных действий правдиво. Плохое впечатление на сотрудников лаборатории произвел призыв в армию и отправка в Афганистан сразу двух аспирантов нашей кафедры. Мое замечание о том, что СССР обязан заботиться об укреплении своих южных границ, Перепелкин прокомментировал сатирически — предложил позаботиться об укреплении границ СССР с Северным полюсом и послать на дрейфующие льды войска для подавления возможного путча белых медведей.

Старший научный сотрудник Эстонец-Красный заговорил о недавней высылке в Горький академика Сахарова и его жены. Он сказал, что давно пора дать по рукам этим, пригревшимся на груди народа, змеям, подчеркнул что ссылка в Горький — показатель гуманности и терпеливости советского руководства. Его мнение было поддержано всеми сотрудниками лаборатории, кроме Перепелкина, который, глумливо хихикая, заявил, что у змей нет рук, и что негоже великой атомной державе бояться старого больного ученого и его полуслепой жены. Допускал оскорбительные высказывания о руководстве КПСС и СССР (у стариков пережали реанимационные шланги, вот они и сбрендили, в Афганистан поперли и отца нашей водородной бомбы замариновали). Возмущенный отпор инсинуациям Перепелкина дали следующие товарищи: Парторг лаборатории снс Лакшин, снс Привыкин, снс Эстонец-Красный. Согласно разнарядке, я намекнула, что

академик Сахаров находится под каблуком Боннэр, матерой антисоветчицы. Привыкин заметил на это — муж и жена, одна сатана. Перепелкин сказал, что в будущем всем будет стыдно за то, что никто не вступается за Сахарова. Лакшин шутливо предложил Перепелкину вступиться. Перепелкин покраснел и покинул чаепитие. После его ухода разговор не касался важных политических тем.

...

Ни семьи, ни любви в жизни Гривневой не было. Но мужчины были, несмотря на ее отталкивающую внешность. Или благодаря ей. Последний ее любовник, парторг лаборатории Лакшин, считался примерным семьянином. Регулярно покупал жене цветы. Участвовал в работе родительского комитета в школе, где учились его дочери.

Лакшин посещал квартиру своей любовницы каждую среду. Солидный седеющий мужчина, доктор физико-математических наук, руководитель семинаров, изобретатель и неизменный председатель избирательной комиссии превращался тут в сладострастного кобеля. Уже в прихожей Лакшин скидывал одежду, завязывал себе на шею бантик, на ноги и руки надевал мягкие болгарские тапочки в форме собачьих лап. Служил, давал лапу. Гривнева надевала безрукавку из мягкого козьего меха. С бирюльками и дырками для сосков. На руки и ноги напяливала, как и Лакшин, собачьи тапочки.

Шумно лакали из поставленной на пол глубокой тарелки красное крепленое вино. Опьянев, гонялись друг за другом по старому ковру, на котором валялись разноцветные шелковые подушечки. Играли в собачек. Проигрыватель аккорд изрыгал марш «Прощание славянки» в исполнении краснознаменного оркестра армии и флота.

Кобель бегал за сучкой, сучка виляла задом, убегала от кобеля, тряся бирюльками. Догнав Гривневу, парторг грубо хватал ее за соски, а она расставляла пошире ноги, чтобы он мог поглубже всунуть свой длинный толстый нос в ее заскорую промежность. Во время последующего спаривания отрывисто и натужно лаяли, рычали, выли и тряслись. Да так громко, что соседи начинали названивать. Им не открывали.

Дома Лакшин заискивал перед женой и дочерями. Ему было стыдно. В наказание самому себе стирал для всей семьи. Вручную, хотя у них и была стиральная машина. Тер теркой детское мыло. Замачивал и затирал кровавые пятна на нижнем белье жены. А на партсобраниях особенно яростно осуждал и травил тех, кого велено было осуждать и травить.

Гривневу совесть не мучила. Она принимала душ, листала Новый мир, а затем уезжала в Фили ухаживать за старой матерью. По дороге покупала продукты. К матери в квартиру входила бодрая, веселая, деловая... Говорила звонко, громко...

— Мапочка, как поживаешь? Ничего, ничего, простынку мы новую положим, сухую, она кусать мамочку не будет... Что? Нет, погода прекрасная, дождь со снегом. Как на работе? Все прекрасно, диссертация почти готова, коллеги — умные, интересные люди, климат в лаборатории замечательный, ко мне относятся с уважением...

Мать Гривневой, бывшая партийная работница, страдала старческим слабоумием. Ее дочь каждый день бывала у нее, ухаживала, готовила, убиралась. Ни за что не хотела сдавать в дом для престарелых. Может быть потому, что мать была единственным близким ей человеком. Собачья любовь с Лакшиным за рамки чувственного не выходила... С коллегами по лаборатории ее отношения напоминали отношения автора со своими героями. Отец умер двадцать лет назад. Брат Аркадий жил в Ленинграде и знать ее не хотел. Пил дешёвый портвейн, вырезал лобзиком скабрзные картинки и напевал часами похабную песню на мотив Землянки.

...

— Мама, сегодня мыться!

— Нет, не надо, не хочу. Опять Каганович будет подсматривать! И мыло украдет. Сегодня опять меня душил, сионист, убийца в белых халатах...

— Мама, он что, сразу несколько халатов носит?

— Ты его еще не знаешь! Он голый! Здесь, под кроватью! Посмотри, посмотри, усищи видно!

Гривнева демонстративно отдергивала простыню и глядела вниз — мать лежала на диване, залезть под который и кошка бы не смогла.

— Нету усов под диваном, мамочка, все хорошо, не беспокойся...

— Лазарь наверно в стенном шкафу прохлаждается...

— Стенной шкаф был в старой квартире. Нету его, ни в шкафу, ни в холодильнике..

Мать Гривневой знала Кагановича еще по Украине, где Лазарь Моисеевич был первый секретарь, а она работала в аппарате... Каганович был ее идеей фикс. Он подглядывал за ней в ванной, кусал ее за пальцы, бил ночью по голове подушкой, шевелил в темноте огромными черными усами, а по утрам душил.

— Ну, вставай, мамочка, ванна полная. Вода не горячая, приятная. Полежишь, я тебя помою, вытру, будешь сверкать как ёлочная игрушка...

— А Каганович воду не отравит?

— Нет, нет, что ты? Никто воду не отравит. Московская хорошая водичка. Не то, что у нас в Люберцах, вонючая вода. Чистая, голубоватенькая, тепленькая. С хлоркой.

— Каганович всю воду в Москве выпил!

— Нет, мамочка, немножко водички осталось. Вот, головку мамочке вымоем... А если мамочка будет смирной, дадим ей мороженое... Сливочное, по сорок восемь копеечек.

— Не хочу сливочное, хочу орден Ленина!

— Будет тебе орден, будет. И Ленина и Сталина и злого татарина.

— Только не надо орден Кагановича! Он такой противный, все время жужжит и под мышки лезет... Как метропоезд. Вжу-вжу-вжу... И уже под мышками.

— Неет, мы никому не позволим мамочке под мышки лезть, ни Лазарю, ни Моисею, ни дяде Евсею, пусть они другу другу под мышки лазят! Ну вот, теперь вытираться!

...

Вчера в актовом зале по инициативе институтского кино-клуба и работников кинотеатра «Иллюзион» была пока-

зана французская картина «Большая жратва». Почти все сотрудники присутствовали на сеансе. Затем обсуждали фильм в лаборатории. Эстонец-Красный, который, выполняя партийное задание, жил несколько лет в Париже, вслух порицал картину, а украдкой утирал слезы. Перепелкин рассуждал о закате Европы. Потом прибавил не к месту — нам бы такой закат. А заключил свою речь следующей издевательской сентенцией — хоть один раз в жизни на весь институт добыть бы столько мяса, сколько эти Местрояни за один фильм слопали. Нажраться от пуза. Лакшин уточнил, что много мяса только у буржуев, а пролетарии в капстранах ходят голодные. Сладкоежка и автолюбитель Привыкин поддержал Перепелкина, заявив — а я бы такой тортик попробовал, какой у них там, ой, попробовал бы, и на Бугатти тоже покатался бы с удовольствием. После этого все возбудились и начали хвалить все, что видели и слышали в фильме. Женщины восхищались роскошью обстановки, элегантной одеждой. Эстонец-Красный говорил об архитектурных особенностях виллы Буало и о меланхолической мелодии зимнего Парижа. Секретарша Мочалкина тоже заплакала — так ей понравились пеньюары.

Я сказала, что фильм упаднический, порнографический. Демонстрирует пассивность и распущенность зажиточного класса в эксплуататорском обществе. Перепелкин сделал странное заявление — СССР погибнет из-за того, что порнография в нем запрещена, мужчины всегда будут тайно на стороне той общественной системы, где можно свободно смотреть порнуху. Привыкин сказал — СССР погибнет? И не мечтай!

Не знаю, кому можно в лаборатории доверять. Я знакома со многими сотрудниками уже больше пятнадцати лет и, тем не менее, должна признаться, — я не знаю, что они на самом деле думают, что замышляют. Мне становится страшно от мысли, что они не контролируют себя сами...

...

В пятницу с Гривневой беседовали. Некто капитан Мальков, старый мальчик с лицом барса говорил, не скры-



вая раздражения: Поконкретнее, пожалуйста, пишите. Расставляйте акценты. Ваш любовник, товарищ Гривнева, этот Лакшин, намылился в Израиль. Подал заявление на выезд. Дикое, не по правилам. Через голову прыгнуть решил. Вместе со всей семьей. А вы нам ничего не сообщаете! Может быть, и вы с ним хотите поехать? Жена, дочери и пуделек на поводке?

Гривнева оторопела. Затем взяла себя в руки и отчеканила: Пишу как могу. И прошу не забывать — я сошлась с ним по вашему прямому указанию. О подаче документов на выезд я ничего не знала. Я не гипнотизер. Связь с ним сейчас же прекращу.

Мальков скривил прыщавый рот, но смягчился: Не горячитесь, Марина Валентиновна... Мы вас ценим. А насчет Лакшина... Прошу вас связь не прерывать, а наоборот, особенно внимательно... Приглядеть. Послушать. Лакшин посвящен, как вы знаете, в конструктивные детали важного для обороноспособности нашей страны проекта, у него высокий допуск, мы его, конечно, за границу не выпустим. Он не глуп и это понимает. А заявление все-таки подал. Что за этим кроется? Наивность? Или что-то большое? Может быть, он ищет канал для передачи государственных секретов иностранной разведке. Следы замечает. Или, может быть, уже нашел? Давно нашел. И течет по этому каналу секретная информация из института. А вы нам его возражения на лабораторских чаях цитируете. Перепелкина закладываете. А он и так наш человек.

— Как?

— А так, про принцип двойной бухгалтерии слыхали? Прошу вас о нашем разговоре ему не говорить. Работайте и дальше, как раньше. Лакшина попробуйте разговорить. Проследите его контакты. И помните — время у вас в обрез. Не получится разговорами, применим к товарищу Лакшину другие методы воздействия. Санкция получена. Не забудьте в кассе ваши тридцать рубликов получить. Вот бумажка. На втором этаже, сектор И.

В следующую среду Лакшина ждал в квартире Гривневой сюрприз. Любовница его была одета в ненавидимое им бардовое платье. Вместо приветствия сказала мрачно: Борис, есть серьезный разговор, пойдем на кухню.

Как будто трупным запахом обдала. Лакшин понял, что собачьей свадьбы не будет. Не будет красного вина, «Прощания славянки» и козьей телогрейки с бирюльками. Понял, что Гривнева знает про Израиль. И про то.

В кухне сели на табуреты, Гривнева налила крепкий чай в стаканы. Положила на стол белый хлеб, сливочное масло и любительскую колбасу. Лакшин есть не мог. Взял подстаканник и начал нервно его вертеть своими большими розовыми руками с ногтями лопатой. Читал почему-то еще и еще раз надпись на подстаканнике — «Слава покорителям космоса». Она казалась ему особенно гнусной.

...

— Откуда ты знаешь?

— Не важно.

— Выпустят?

— Нет.

— Другое знают?

— Борис, как ты мог, ты же парторг! У тебе же дети!

— Для детей и старался. Что делать?

— Иди к ним сам.

— Семью не тронут?

— Может быть, даже выпустят.

— А меня?

— Если сам все расскажешь, дадут десять, начнешь вертеться, убьют.

— Значит, не видать мне Яффы?

— Только, если станешь работать на контору.

— Время у меня есть?

— Мало.

...

Приехал Лакшин домой раньше обычного. Лика ушла за покупками. Дочки торчали у подружек. Лакшин открыл ниж-

нюю, запирающуюся на ключ, полку письменного стола, вынул оттуда тоненькую папочку с несколькими листочками и фотографиями, разорвал все в клочки и унес остатки в кухню. Положил их там в кастрюлю и неловко зажёл. Помешал пальцем пепел. Обжёгся. Пососал палец. Достал из холодильника любимый пирог с капустой. Отрезал кусок и, не торопясь, съел его, потом торжественно открыл на кухне окно и, ни секунды не колеблясь, прыгнул в пустоту, неловко растопырив руки.

Он упал прямо перед их подъездом. Как раз в тот момент, когда к двери подошла его жена Лика с двумя полными авоськами. Лике показалось, что кто-то ударил ее молотком в ухо и обрызгал. Она резко обернулась и увидела черную фигуру на асфальте. С разных сторон двора к фигуре бежали люди. Вдохнула сырой московский воздух, а выдохнуть не смогла. Смахнула зачем-то капли крови с воротника пальто. Села на грязную ступеньку. Хотела крикнуть: Помогите! Но крикнуть не получилось, тяжелая грязная улица поднялась и ударила Лику в висок.

...

К сожалению, проследить контакты покойного Лакшина мне не удалось.

Его смерть была спокойно воспринята в коллективе. На похоронах присутствовали родственники и официально уполномоченные парткома института. Кроме того на похороны пришли бывшие однокурсники Лакшина, в том числе отъявленный диссидент Бабицкий.

Бабицкий выступал на гражданской панихиде. Из его речи мне запомнились следующие пассажи — «Самый подлый и опасный миф, который вбивают нам в голову с детства, это миф о верховенстве государства. Оно провозглашается идеологами главным субъектом существования. Каждая смерть, и особенно смерть друга, доказывает ложь подобной конструкции. Государства нет. Есть только ты, я, друзья, родные... Есть человек, есть дерево, а государства нет. И каждый, кто внушает тебе, что не ты, и не твой ребенок являются главными носителями бытия, а некая антропоморфная

абстракция, — мерзавец. Утопическое государство с идеальным общественным устройством играет роль приманки, смотря на которую, бегут по жизни, как белки в колесе, люди... Мы не колесики в вашем государстве-олигофрене, не его рабы и не его клетки. Мы — единственная цель природы, носители чувства и разума. А коммунистический истукан — только прикрытия для узурпирующих власть скотов».

Я рассматриваю высказывания Бабицкого как особо злостную провокацию против нашей коммунистической идеологии и советского государства. Странно, что никто из членов парткома института не дал отпор этой диверсии. Испугались. Или сочувствуют? Надо проверить. Каждого. Персонально. У меня нет на это сил. Помогите.

...

На сороковой день после смерти Лакшина Гривнева сломалась.

Приехала вечером от матери усталая и злая. Восемь часов на работе, дорога, магазины, хлопоты у матери, еще одна дорога... Недалеко от дома к Гривневой пристал какой-то солдат. Вынырнул из подворотни, схватил за плечо, посмотрел в глаза мученически и попросил, слегка заикаясь: Пойдем со мной, тетя... Ппойдем!

Гривнева гневно посмотрела на солдата, оторвала его руку от своего жилистого плеча и выпалила: Канай отсюда, служивый, ловли нет!

Так выразаться ее научили знакомые с блатными работодателями. Солдат выпучил глаза и проямлил: Ккакие они ггордые! Ттёлки! Лладно... И исчез в темноте.

Дома ожидала одна морока. Живот почему-то схватило. Кашу пришлось варить овсяную. Гривнева долго мешала кашу, потом отвлеклась, вышла на минутку. Каша пригорела. Есть было неприятно. Индийский чай из заказа. Печенье курабье. Телевизор даже не включала, скучно, тягомотина... Решила было начать составлять донесение, но ничего важного припомнить не смогла. Только о мелочах говорили. Даже вспоминать было противно. Долго гладила белье. Поду-

мала, что зря не пошла с солдатиком. Никто никогда не хотел ее так, просто... Всех своих любовников Гривнева завоевывала сама, боролась за них, интриговала, совращала... По приказу. В памяти как кит из пучины всплыли почему-то давно забытые строки стихотворения, выученного для выпускного экзамена по литературе. «Жизни мышья беготня... Что тревожишь ты меня... Что ты значишь, скучный шепот... Укоризна или ропот... Мной утраченного дня».

Легла спать в маленькой спальне. Небольшая лежанка стояла напротив окна. Гривнева не закрывала штор, любила, лежа, смотреть на окна соседних домов. Гадала — не покажется ли в небе звездочка. В чужих окнах мелькали темные фигуры, оттуда доносились крики младенца, вопли...

Жизни мышья беготня, — подумала Гривнева и заснула.

Проснулась она от грохота в ушах.

Что-то било, звенело, грохотало. В три часа ночи. Гривнева в ужасе зажала уши руками. Разжала... Тишина. Тихо было в спальне до боли в ушах... Гривнева встала, подошла к окну и сразу поняла, что попала в какой-то другой мир. Мир одного мгновенья, затянувшегося на вечность. В окнах соседних домов — ни огонька. И на улице темно. Фонари не горят. Серый свет, как туман. Висит. Деревья застыли. Все как будто из воска вылеплено. Или из папье-маше. Асфальт в каких-то грязных струпьях. Стены домов облупились. Вот-вот обрушатся и покажут домашние внутренности... Кора на деревьях местами отслоилась и отвалилась... Небо — не бездонное пространство, а серый шатер, старый, дырявый. Через дыры просвечивает не темная голубизна со звездами, а черная зловещая пустота.

Стало Гривневой страшно. Показалось, что сердце остановилось. В ужасе стала она искать на запястье пульс — и не нашла. Решила встать под холодный душ, авось морок и пропадет. Отвернула краны, а вода полилась сухая, как песок. Ринулась в кухню. Открыла холодильник, схватила трехугольный пакет с молоком, прыснула в горло, — но ни холода, ни текущего молока не почувствовала. Молоко было как горячий воздух.

Подошла к окну. Впиалась глазами в мертвое пространство. И заметила тень. Тень от чего-то большого, от дирижабля что ли, медленно ползла по асфальту.

Мысли скакали в голове как лягушки в банке, пытались выпрыгнуть, но не доставали до краев. Тень? Какая тень, если солнца нет? Дура, вот оно солнце, как же я его раньше не увидела. Или это Луна? Нет, черное солнце. Или черная дыра? Дьявольщина. Все правильно — солнце черное, а тени серые. Где этот дирижабль? Во, во... Летит... Да это... Боженька!... Это же собака огромная. А голова у нее человеческая. И бантик на шее. Лакшин это.

Да, это был ее любовник, старший научный сотрудник Лакшин. Ее верный кобель. Даже тапочки на нем были те. Только не цветастые, а серые. И все тело было серое, с пятнами. Из резины... Надутое.

Дирижабль медленно подлетел к окну Гривневой. Лакшин постучал лапой в стекло. И вытаращил на нее свои мертвые глаза.

— Милочка, крошечка... Кр-кр... Каааак ты без меня? Корраблик воздушный построила? Без корраблика ползать придётся... Ходить-то тут нельзя. Провалиться можно. Земля не держит...

— Что это? Где мы, Борис?

— Мы в нигде... А нигде в нас... Не бойся, маленькая. Я дам тебе свой корраблик. Полетаем над Москвой. Твой барбосик тебя не укусит в носик... У-у-у-умер парторг Лакшин. Дай, дай мне лапу!

Гривнева протянула дрожащую руку прямо через стекло. Стекло мягко поддалось и пропустило. Страшный летающий пес схватил лапой руку и приказал: Тяни!

Гривнева потянула и втащила Лакшина мордой вперед в спальню. Прямо через стекло и раму. Лакшин был такой большой, что смог влезть в комнату только наполовину, задние его лапы и хвост остались на улице...

Гривнева спросила: Я сплю, ответь!

Голова ответила: Ты и не просыпалась никогда.

— Что же будет?

— Будем как дирижаблики летать... Наа воздушном океане... Беез руля и без ветрил...

— И я?

— И ты и я и Мальков. Такая разнарядка, кому по делам, кому по вере, а нам — по моррде... Меня, вишь... В команду сфинксов определили. Кр-кр-кр... Кроватку тебе надо сменить. Давно хотел сказать, но вот видишь, заигрался на лягушачьем клавесине, запомятовал.

— Скажи, скажи, что будет.

Голова разозлилась: Дальше ничего не будет! Сколько можно повторять. Девушка, не хочешь пожевать носки старичка Молотова? Они ладаном пахнут. Вот, в метро людишек полно и все носочки жуют... А старушки крашенные яички кушают. Гопца-гопца-гопца-ца! Поиграем в косточки?

Тут голова открыла страшный мертвый рот и Гривнева увидела, что под языком у нее лежит белая игральная кость. Кость эта лопнула с треском и из нее вылезла принцесса Турандот. Ее тело из светящегося нефрита, а глаза из нежной бирюзы.

Принцесса Турандот подошла к Гривневой. Положила ей руки на плечи, притянула к себе и прижалась.

...

На следующий день Гривнева объявила шефу лаборатории Шанскому, что она дочь императора Альтоума. Тот был тертый калач, начальствовал еще при Берии. Успокоил ее и скорую вызвал.

А через неделю на стол Малькова легло последнее донесение Гривневой.

Дорогие персидские принцы!

Холоден нефрит, а свет — еще холоднее нефрита. Из него можно только китайский фарфор делать. Прошу вас, красьте волосы только в облаках. Иначе у вас заведутся червячки. Я покрасила мои кудри в Москве-реке. И с тех пор меня жрет червь. Слышите, как колокольчики звенят? Это на Ленинских горах лыжники с трамплина прыгают. Меня туда

папа водил. Я думала — это белое блюдо, а папа сказал — это Москва. Там с неба падает замерзшее молоко. На земле лежат ириски. А у всех деток леденцы как воздушные шарики. На ниточках.

Говорят, на Лобное место пускают только по приглашениям. А приглашения собачка выдает. В царской башне на цепи сидит, дворняга ученая. Говорить научилась и писать. Как проснется — начинает строчить, а кузены читают и хвалят. Деловые! Славные ребята, эти кузены. С пылесосами ходят. Несмотря на то, что они коты. Красную площадь когтями исскребли! Вот шкоды. Одни булжники остались. И невесты. Там пирожные прямо с храма продают. От куполов отрезают. Там стены из красного мармелада стоят. А в могилках личинки розовые. В черной норе куколка лежит. Хотите за носик потянуть? В карманчике платочек. Зубки желтенькие оскалила, может и сопельки пустить. Лобик как лобок. А пальчики у нее из пастилы. На щечках волосики нейлоновые. А на ногах лаковые сапожки. В обувном у «Прогресса» из под прилавка продают. Берите, носите. Мне три батона и ситец на блузочку. И полкило кураги. Ну я пошла! Полетела птичка певчая. На обратной стороне Москвы гнездышко свила. Не ходите за мной, мальчики, туда трефовым королям нельзя. Там лимоны в прятки играют. И боженка на пеньке сидит, мелочь пересчитывает. Пятачки и гривеннички — в лукошко кладет, а копеечки под ноги бросает. Чтобы кукушке куковать не расхотелось.

...

О дальнейшей жизни Гривневой известно немного. Три месяца в году она проводила в больнице. Во время обходов и процедур умоляла, чтобы ее не мучили. Остальное время жила дома. Когда ей рассказали о смерти матери — даже не заплакала. Только спросила, прилетали ли желтые аисты на похороны.

К Гривневой приходила медсестра. Помогали соседи. Бывшие коллеги по институту ее не навещали. Ни работать, ни писать донесения она не могла. Не буйствовала, домаш-



нее хозяйство вела сама, покупала продукты и за собой ухаживала как умела. Сидела на своей лежанке. Смотрела в окно. Смеялась. Разговаривала с кем-то. Так и прожила почти тридцать лет. Умерла дома во сне.

Наследников у Гривневой не было. Соседи забрали книги. Остальное барахло выкинули на помойку. Не было и людей, готовых оплатить ее похороны. Невостребованный труп Гривневой пять месяцев лежал в морге люберецкой районной больницы. Тело кремировали и похоронили за казенный счет.

## УЛЯ

— Микула Селянинович — любимый герой трудолюбивых людей! Он олицетворяет наш великий русский народ. Микула — крестьянин, простой пахарь, богатырь мирного труда! — объясняла учительница русского языка и литературы Ирина Аркадьевна Зверева.

— Буранова, ответь, почему наш народ любит Микулу Селяниновича?

Уля Буранова встала нерешительно и от волнения зевнула.

— Не спи, Буранова! — попросила учительница.

Уля поправила юбку. Посмотрела вниз, на парту.

Поверхность старой парты, расписанная поколениями деревенских школьников, походила на стену неолитической пещеры. Особенно выделялось искусно вырезанное безымянным умельцем известное русское неприличное слово из шести букв начинающееся на — «п». Непонятно, было ли оно призывом или констатацией. Криком души отчаявшегося или гласом вопиющего в пустыне. В любом случае, оно давало ясный ответ на многие фундаментальные русские вопросы.

Уля жала узкие крапلاковые губки, намаженные машиной помадой и припудренные, чтобы скрыть шрамы от неудачных операций по исправлению заячьей губы, потом улыбнулась неловко, покраснела, закричала, но выдавить из себя так ничего и не смогла.

— Буранова, проснись и отвечай! — настаивала Ирина Аркадьевна.

Почему? Почему его любит народ?

Трудно отвечать на тривиальные вопросы. Беззаветно преданная методичке Зверева, в советские времена работавшая пионервожатой, хотела всего лишь, чтобы ученица повторила патриотическую нелепость из хрестоматии, но Буранова как назло забыла слово — олицетворяет.

Уля прошептала: Потому что он... Оле... Оцы... Потому что он бросил сошку за ракитов куст...

Класс заревел от удовольствия.

Ряхин, высокий олух, носящий поверх школьной формы серебряную цепочку и слывший из-за этого щёголем, сардонически посмотрел на Улю, показал ей противные заячьи уши и растянул в разные стороны верхнюю губу, покрытую белесыми волосиками. А дородный Димка Утробин изобразил всем своим большим телом бросок сошки за ракитов куст, задержав, для убедительности, отключенным задом.

Суровая Ирина Аркадьевна призвала класс к порядку, улыбнулась благосклонно и спросила своего любимца, маленького брүнета Темира Чернопятого: Темир, зачем понадобилось Микуле бросать соху за ракитов куст?

Тот ответил не задумываясь: Чтобы колхозники не сперли! Она ж у него в серебре и золоте была! Соха-то. Не оставлять же на поле... Цап-царап может произойти. Ну, кража.

...

Домой Уля возвратилась около трех. Там ее ждала баба Дуня, мать мамашиного хахаля Тимохи.

Баба Дуня никого не любила. Ни своего сына, пьяницу и уркагана, названного в честь легендарного родоначальника семьи — башкира Тимофея Ушнурцева, служившего у Пугачева в «гвардии», ноздри которого якобы вырвал раскаленными щипцами сам Потемкин, ни бочкообразную сожительницу Тимохи Полину, старшую сына на десять лет, ни внука, сына бесследно пропавшей пять лет назад снохи Зинки, семилетнего идиотика Серёжу, ни, тем более, неказистую дочку Полины — Улю.

Передние зубы бабы Дуни разошлись от времени и недостатка других зубов в разные стороны как телеграфные столбы на вечной мерзлоте. Между ними было видно розовую правильную десну, как у младенца. Постоянное недовольство жизнью и людьми выгравировало на лице нестарой еще женщины маску брюзгливости, стянуло кожу к бесцветным губам и широкому носу.

Улины подружки ввали про нее: Бегают бабка Ушнурцева с конями у реки, как лошадь ржет и траву дикую щиплет. Волосы седые распустил, сиськи за спину, вместо стоп — копыта, вместо носа — помидор. Если подойдешь — в ель оборачивается... У беременных баб печень крадет, на костре ногти от покойников жарит... Грудным молоком чёрта косматого кормит... И у тебя когда-нибудь ногти вырвет. С чертополохом сварит и съест.

Баба Дуня и впрямь любила лошадей. Забиралась в конюшни, угощала там колхозных мериноров морковью и яблоками. Расчесывала им гривы, а летом даже в ночное водила на речку Сюню, если конюхи разрешали.

Уля бабу Дуню боялась, подружкам верила и всерьез опасалась за свои, неловко покрытые дешевым красным лаком, ногти.

Расчесывала однажды баба Дуня себе волосы. Вздыхала, морщилась и косу заплетала. А Уля подглядывала. Было это у бабы Дуни в доме. Уля там ночевала, потому что у них пожар случился. Все ее комната черная была. В копоти. Шкаф сгорел и кровать. Пьяный Тимоха бычок не затушил, а в угол бросил. Вот и загорелось. Спала Уля тогда у бабы Дуни целую неделю в закутке, пока чинили-красили, а рядом полоумный Сережа спал. Слюней напустил под нос полстакана. И вонял — мыли его редко, простыни не меняли месяцами. Чмокал и фыркал во сне, как жеребенок. Иногда стонал как леший. Уля его жалела, но погладить боялась — тот мог и укусить, хорек.

Засмотрелась тогда Уля на бабу Дуню и задремала... И вот, уже не старая, изробленная жизнью деревенская бабка перед ней — а русалка-красавица. Волосами длинными шелковистыми играет и бюстами сахарными трясет. Зубы белоснежные показывает... А потом вдруг — исчезла русалка, а на ее месте появилась ведьмака жуткая. С костылем и на птичьих ногах. На голове — красный платок. Серебряной иглой проткнутый. В ушке иглы — веревка. А в руках у ведьмы — огромная вилка. Побежали тут по комнате тени-долгунцы... И стала вдруг горница в деревенской избе — как зал просторная. Стены высоченные. На верху — квадратная дыра. Звез-

ды видно — как елочные игрушки сияют. А на стенах — окна-дырки до самого верха. Оттуда музыка чудная доносится и люди какие-то странные смотрят, безголовые, вроде, с глазами на пузе... А посередине зала — черная вода в бассейне. В эту воду та ведьмака кинулась и брызги от нее — нефтяные капли — во все стороны полетели. На другой стороне бассейна черт рогатый сидит. На Улю глаза вытаращил. И рога у него везде. Даже на руках. Встал, подошел к Уле и — кинулся на нее. Вцепился зубами в верхнюю губу.

Плеснула баба Дуня в тарелку картофельного супа, заправленного рожками. Отрезала кусок серого хлеба. Бросила на стол. Буркнула что-то, оделась и ушла к себе в избу. Там ее голодный Серёжа дожидался.

...

Уля поела, убрала за собой. Села за стол уроки учить. Зверева задала сочинение на тему — «Приметы старины глубокой в былине Вольга и Микула Селянинович». Десятый раз перечитывая текст былины, Уля пыталась выявить проклятые приметы, даже указательным пальцем по строчкам водила, но ничего, кроме нескольких устаревших слов не обнаружила. Омешики, рогачик, гужики...

Все в былине ей было знакомо и понятно. Какая уж тут старина! И «кобыла соловенькая» и «сапожки зелен сафьян». Вполне современными были и поведение Вольги и ответы куражащегося своей силой Микулы. И навязчивые мужички, которые «стали грошей просить», которых потом «положил Микула до тысячи». Актуальной была и конечная цель микулиной работы «напахать ржи, наварить пива и мужичков в усмерть напоить», чтобы они его «похваляли».

Самогон-самоплас гнали в каждой второй избе их деревни. Сусло приготавливали, правда не из ржи, а из подгнившей картошки, сахара и дрожжей. Часто случались там и разборки между «молодцами-оратаями» и «дружиной птиц-соколов и серых волков» из соседних деревень. После которых — «который стоя стоит, тот сидя сидит, а который сидя сидит, тот лежа лежит. И все рыбы уходили во синии моря, улетали все птицы за оболочка, ускакали все звери во темные леса».

Пришел Тимоха. Как всегда хмурый, но трезвый, осторожный какой-то. Бросилась в глаза Уле и еще одна странность — не пошел он в кухню, где в тазу с водой стояла бутылка с самогонкой, не выпил стакан, не закусил соленым огурцом из рядом стоящего сиреневого пластикового ведерка с отбитым краем, от которого несло укропом и чесноком. Внимательно осмотрел избу, поглядел долго и тревожно в окошко, сказал: Одевайся, давай, пойдем сейчас.

— Куда пойдем, дядя Тимофей?

— В лес.

— Так мороз в лесу, снег, темно. А мне уроки делать надо...

Ушнурцев приблизил свое рябое, грубое лицо к нежному курносому личику Ули и прохрипел, не смотря ей в глаза: Пойдем, сказал. Надевай валенки, маткин ватник и ватные штаны. А не то...

И показал ей ржавый садовый нож с треснувшей зеленой рукояткой, изогнутое лезвие которого было похоже на клюв хищной птицы.

Сердце девочки сразу упало в колени. Ничего не понимая, Уля оделась. Вышла в сени, шагая торжественно, как лунатик. Ушнурцев обвязал ей шею бельевой веревкой. Другой конец продел через рукав своего ватника. Уля так ошалела от веревки, что Ушнурцеву пришлось снова показать ей нож, чтобы заставить ее выйти наконец из избы.

На улице Уля дернулась было в сторону деревянных ворот, но Ушнурцев грубо оттащил ее веревкой и повел через заснеженный садик к задней калитке. Сбил ее с петель и вывел Улю через небольшой лесок, овражек и поле к замерзшему Шибановскому болоту. У болота немного покрутился, следы на снегу еловой лапой замел, поволок оцепеневшую от страха девочку в бескрайний Кабанов лес. Снегу было по пояс, но Ушнурцев выбирал знакомые ходы, утопанные то ли человеком, то ли зверем, снежные тропки и лазы.

Через два часа ходьбы достигли они маленького охотничьего домика-землянки. Вошли. Ушнурцев зажег керосиновую лампу, растопил березовыми дровами старую потре-

скавшуюся печку, занимавшую половину единственной комнатки. Посадил Улю на грязную лавку рядом с печкой, а сам взял в руки какую-то щепочку и начал ей в зубах ковырять, задумался...

...

Следы их занесло метелью еще до того, как перепуганная насмерть Полина уговорила соседских мужиков помочь ей в поисках дочери. Искали до полуночи — на широких лыжах и с факелами, но никого не нашли и по домам разошлись. Два раза бегала Полина к бабе Дуне. Надеялась, одумается Тимоха и к матери на ночь придет. Все напрасно.

Баба Дуня урезонивала Полину: Ну что ты все ходишь, Сережу пугаешь... Окстись. Тимоха бешаный, но не какой там убойца. Потаскает девчонку и воротится. Замерзнут в чистом поле-то, али в лесу. Во, дубак какой стоит. На Кезе, говорят, лэктростанция заледенела. Как бы лошадки не померзли.

А сама тихонько посмеивалась в кулак, злыдня. Радовалось, что Полина психует. Даже гордилась сыном.

— Унял таки стервину. И девчонку ейную вовсе не жаль. Урода, волчья-пасть. Ну, полюбуется малость сын, чаго-ж, ей честь одна, четырнадцать годов, пора привыкать к мужчине. Меня вот аж в двенадцать оприходовали. Ван Петрович, пасечник. Уж как наседал.

...

Полина решила на следующий день опять в райцентр ехать, рассказать там все майору Полтинникову и с милицией дальше искать. Уснуть не смогла, всю ночь по кровати металась. Представлялось ей, что Тимофей голую Улю по снегу таскает. Туда-сюда...

Пугалась Полина неспроста. Знала, на что ее любовник в ярости способен. А ведь сама его и разозлила. Неделю назад в город сгоняла и собственноручно дежурному в отделении милиции жалобу отдала. В ней описала она подвиги сожителя — «ежедневные избиения с применением технических средств — кастрюли, ножки стула, проволоки, старой иконы без оклада, а также ногами в сапогах и алюминиевым половником».

Кроме того Буранова вменяла Ушнурцеву в вину «попытку ее смертоубийства путем удушения подушкой на супружеском ложе, распил ее на части бензопилой, для чего... он меня привязал в лесу к осине и долго угрожал пилой и плевал в лицо, называя прошмондовкой, эстонской килькой и резиновой куклой».

К тому же сожигатель грозил якобы «убить и уродку-девку и до гадины-мамаши добратсья, на куски разорвать мудаков соседей, спалить всю деревню Рыкву и зарыть бульдозером источник нашей великой реки Камы, чтобы все Приуралье превратилось в холодную пустыню Сахару!»

...

Знала Буранова, что Ушнурцев ездил сегодня на мотоцикле в райцентр в милицию. Сама же ему повестку и сунула. Потому и не выпил с утра. Только яичницу съел. А ей сказал многозначительно: Сегодня весь колхоз «Борец» поймет, что такое Тимофей Ушнурцев, потомок Пугачева и Разина!

Эти слова испугали Полину и она дала себе зарок прийти с работы до прихода дочери из школы и проследить, чтобы Тимоха и впрямь не натворил чего-нибудь. Зарок-то она дала, а вот исполнить его не смогла — повис на ней главбух как клещ, пришлось ей заново зарплату механизаторам считать.

Жалоба в милицию была неловкой попыткой избавиться от Ушнурцева.

— Пьянь одурелая, — бранилась Полина. — Жизнь он мою уел, тело изгрыз, бешеный пес, морда морковная!

Так называла Полина своего сожигателя за действительно как бы морковный цвет кожи на лице.

— На его харе баба Дуня морковь стригла, — рассказывала Полина продавщице Петровой по прозвищу «Золушка», данным ей за то, что потеряла в колхозном клубе валенок с галошей.

— От качана зачала, кочерыжку родила, — злобствовала Полина.

— Ты чего ругаешься, девушка, — увещевала подругу Золушка. — Мой вон и старый и гунявый, и в постели — бревно, а я не ругаюся.



Два года назад умер законный муж Полины, отец Ули, Пудга Буранов.

Вроде и не болел. И в больнице не лежал. Дрова пилил. А потом присел — и голову на полено уронил. Врач сказал — гумма на аорте у него была. Сифилитический аортит. Взял анализы у Полины и Ули. Дочку в покое оставил, а мать послал в клинику в Ижевск. Выписалась Полина из клиники только через полгода. Уля в это время у бабушки жила, в Башкирии.

Баба еще в соку — сорок пять лет. А мужиков свободных в деревне нету. Как на беду освободился в это время Тимоха от химии и у бабы Дуни поселился. Где его несчастный сын-инвалид Сережа жил.

Познакомилась Полина с Ушнурцевым в продмаге. Золушка и свела.

Покупала Полина тогда сардины в масле, а Тимофей — вермут и батон. Золушка шепнула Полине: Поля, не пропусти кадр!

Полина сделала незнакомому покупателю глазки. А тому приглянулась мягкотелая баба, он предложил: Если твою сардины к моему бермуду приставить, будет праздничный стол.

И запел: Килька плавает в томате...

— Ей в томате хорошо, — прошептала Полина и вышла из магазина под руку с Ушнурцевым. Пошли к нему. Бабу Дуню и слабоумного Сережу отгородили занавеской.

Пировали, пели, да вместе спать и легли. А под утро Тимоха, опохмелившись, избил свою новую возлюбленную до крови. Бил по лицу и приговаривал: Ах, ты падла, ко всем небось тут в койку прыгала, килька ты сраная!

Полина решила — руки распускает, значит любит.

...

Ушнурцев не был, как многие уркаганы, любителем малолеток. Улю он увел не для удовлетворения похоти плоти, а для того, чтобы Полину покрепче уесть. Его влекло к полненьким да кругленьким, а Уля была не в мать — худая да долгая.

— Увел-то увел, да что с ней теперь делать, — думал Тимоха, сосредоточенно ковыряя в зубах. — Тронешь ее, визжать начнет как кошка. Не весело будет.

Ушнурцев, надо отметить, когда был трезвый, любил наедине с собой поразмышлять и пофантазировать. Привычка эта появилась у него во время долгого пребывания в исправительной колонии в Лабытнангах, где он работал в «цеху по выпуску сувенирных изделий», рисовал медведей и оленей и резал из дерева орлов.

...

— Ищут, поди уже нас, колхозники. Сволочье горбатое. Полина, наверно, уже и у ментов побывала. Только зря ездила. Полтиныча раскошегарить — рублей триста в лапу дать надо. А у моей дуры денег нет, забрал я деньги. В коробке лежали. Из-под зефира. Нашла, где деньги прятать, прошмондовка. Ищут, ищут, зайца в поле. Тут они нас до весны искать будут. Необъятные места! — тешил себя Тимоха.

...

— Дядя Тимофей, мне по маленькому надо! — пропищала Уля.

Тяжело ворча, открыл Ушнурцев дверь и выпустил девочку на веревке, как собачку. Дверь не закрыл, прислушался. Уля отошла несколько шагов от охотничьего домика. Разрыла снег. Спустила штаны. Присела неловко. Снег обжог ей промежность.

Тимоха резко дернул за веревку. Уля задохнулась, схватилась за шею. Поспешила назад.

— Садись, — прохрипел Тимоха. — Да не на лавку! Сюда, садись. На овчину. Бестолочь ты зеленая.

— Раздеть разве ее, что ли, — размышлял про себя Ушнурцев. — Ну, раздену. Кожа да кости. Палку кинуть трудно. Кровь будет да сопли. А что потом? Убивать ее, тлю, вроде жалко. А не убьешь, все расскажет ментам. Опять срок мотать. Пошлют на строгача.

Тимоха вышел на двор, помочился на обмерзшую крышу землянки, напихал снега в чайник, поставил его на печурку и закурил. Уля закашлялась — бабы Дунин самосад смердел как жжёная швабра.

Ушнурцев тоже покашлял, глубоко и грубо, как старый экскаватор, бросил щепотку черного чаю в кипящую воду, снял чайник с печи и укрыл его замызганной спортивной шапкой. Подарили когда-то на районных лыжных соревнованиях.

Достал две помятые кружки и несколько сухарей. Разлил чай, подал Уле сухарь. Сказал: Размочи сухарь в чае. Зубы ломаешь...

— Дядя Тимофей, а сахарку нет?

Ушнурцев пошарил, нашел на колючей полке два грязных куска колотого сахара, почему-то не съеденных муравьями и мышами, и отдал Уле. Сам пил чай без сахара. Молча. Громко всхлипывая. Представлял себе, как Полина ругается, как таскаются по лесу, крошечно матерясь, угрюмые их соседи, как сурово молчит его злобная мать. И радуется в тайне. А перед сном дает увесистую затрещину Сереже-идиотику.

...

После чая Уля согрелась, перестала дрожать, свернулась калачиком, натянула на себя овчину и уснула на полу. Рядом лег и Тимоха.

Измученная Уля спала мертвым сном без сновидений. А Ушнурцева мучил кошмар. Будто едет он куда-то долго-долго на автобусе. Вот и приехал. Вышел на дорогу. По сторонам смотрит. С одной стороны дороги — море. Холодное, серое, унылое. Почти без волн. Только рябь от ветра по воде бежит. Насмотрелся такого моря Ушнурцев во время службы на Северном флоте досыта. А с другой стороны — наводнение как бы. Вся земля водой залита. Только холмы лесистые виднеются. Сосны вроде накренились. По холмам ползет туман. И растекается тихо так по всему ландшафту. Тошнотворно. Вот он и сосны, и дорогу, и воду, и море покрыл. И вокруг шеи закрутился. И жмет туман ему шею как удав. И задыхается Тимоха в тумане. И вроде фигура какая к нему идет. Покойный боцман Никонов. Редкий гад. Показал Тимохе деревянного орла, погрозил пальцем и...

Тут Ушнурцев проснулся и за голову схватился, быстро смекнул в чем дело. Печка была с угаром. Схватил Тимофей

бездыханную уже Улю и на мороз выбежал. На вольный воздух. Веревку обрезал садовым ножом. Разодрал одежду. Растирал, растирал снегом ей грудь, бил по щекам — та так и не очнулась.

...

Завернул Улю в овчину, затушил печку снегом и ушел.

Потащил Ушнурцев бедную Улю к Кротихе. Та недалеко от Кабанова леса жила, у просеки. Два часа шел. Стучать Тимофей не стал, просто в избу вошел. Дверь Кротиха не запира-ла. Улю в сенях на пол положил.

Позвал Кротиху. Та не отозвалась. Потому что лежала она на лиловом дырявом диване мертвецки пьяная. Тимоха искал банку с первачом. Хватанул в сердцах стакан, подождал пока уляжется, помечтал и поволок Улю в сарай, на сено...

## АЛКОНОСТ

Слесарь Володя Ширяев покончил с собой. Выстрелил в рот из самопала. В Тропаревском лесу. Недалеко от тамошнего прудика. Среди березок и осинок.

Ширяев не скрывал то, что хочет убить себя. Показывал собственноручно выточенное дуло. Тяжелое, граненое, как у старинных револьверов. Изготавливал его Ширяев почти год. Не торопясь работал. Без истерики.

Решение свое он вынашивал долго, чуть ли ни с детства. Иногда обсуждал со мной подробности. Раздражался. Как будто я виноват в том, что его жизнь не удалась. У кого она удалась?

Мечтал он уйти из жизни в тихий весенний день, когда зазеленеют первые листочки, и теплый ветерок прогонит наконец бесконечную московскую холодрыгу. Под шелест листвы и пение птиц.

Я ему не верил. Думал, дурачится. Кокетничает. А самопал мастерит просто так, из озорства. Или на продажу.

Я был тогда молод. Боялся думать о смерти, даже радовался втайне, когда умирал кто-то другой. Раз рядом ударило, то может и в следующий раз пронесет...

Когда он умер, я не обрадовался. Ширяев был единственным человеком в нашем институте, с которым можно было о живописи поболтать. Полезные советы он мне давал. Где купить бумагу, ленинградскую акварель или как положить на дерево сусальное золото.

О его смерти мне сообщил шеф наших мастерских, Козодоев. Позвонил, попросил зайти в свой кабинет. Так он называл маленькую комнатку, отделенную от зала со станками тонкой стенкой, в которой поблескивало предательское окошко с синенькой занавесочкой в белый горошек. Через

него он надзирал над своим хозяйством. Отодвигал занавесочку... Если на них не смотреть, утверждал Козодоев, потирая крупный угреватый нос, они вообще ничего делать не будут, только пить и тырить... А к вечеру передерутся. Со смертельным исходом.

Захожу к нему, спрашиваю, зачем позвал. Козодоев закашлялся. Как будто пудель залаял.

— Ты понимаешь, какая штука паршивая получилась, шут этот гороховый, художник, Володька хромой... Застрелился вчера.

Тут забросили мне в голову стальной кубик. А воздух перестал всасываться в легкие, превратился в клейкую вату.

— Ну ты че? Одурел? Утри слюни и слушай. Хромой в лесопарке застрелился. Череп ему разворотило. Самопал рядом валялся. Гоняли меня на опознанку. Бывшей жены его, Верки, телефон не нашли. Говорят, она в Питер подалась. Чтобы своего Саврасова больше не видеть... Грачи прилетели, бля! И больше никогда не улетят. Фамилию сменила. Жены нет, никого нет. Козодоев, как всегда, всех коз один доить должен. Да... Мастер он был хороший. Трудно будет замену найти. Молодые не умеют ничего. Левша. Самопал сделал — хоть в музей носи. Менты забрали. Что с ним случилось?

— Мало ли что. Все люди — темный лес. Жалко Володю. Пил по-черному. А рисовал хорошо. Душа, видно, страдала.

— Душа-душа! Нет у человека души по Марксу. Только тело да классовая борьба. Хромой что-то вроде дневника оставил. Писатель, бля... Ящик его взломали. Наши. Рабочая косточка. Еще вечером. Даже казенные напильники и надфили унесли. Банку сорокалитровую с соляркой — и ту уперли. Как узнали, не пойму. Штангеля утащили, а тетрадку не тронули, на хер она кому сдалась, душа твоя. Во, смотри. Я тут полистал, некогда мне эту белиберду читать, забирай тетрадку, выброси или сожги... Не показывай никому, а то до ментов дойдет... Или до пиджаков... Я так понимаю, хочешь стреляться — стреляйся, а других не марай, у нас жизнь тоже не малина. А то шушок пошел... Будто Володька не для себя

самопал хитил. Ты, Димыч, мне как старшему товарищу скажи, ты с Ширяевым никаких таких, особенных, дел не имел? Может, затевали что? Мне твоего слова достаточно, я людей знаю. Может, кого другого завалить хотели? Там Ленинский близко. Правительственная трасса...

Козодоев пристально посмотрел на меня своими пустыми серо-голубыми глазами. Напрягся. На его коже у висков проступила розово-голубая жабья сетка. Кто-то из наших рассказывал мне, что Козодоев был в прошлом чекистским палачом. Ходил слух, что он на расстрельном полигоне в Зотово кого-то шлепнул, из известных, чуть ли не самого генерала Джанковского, того самого, бывшего шефа отдельного корпуса жандармов, помогшего железному Феликсу организовать ВЧК. До полутысячи человек будто бы в день расстреливали. Семьями...

— Каких таких, особенных, дел? Завалить? На Ленинском? Николай Пальч, иди ты в жопу! Я с ним о живописи говорил, два раза он для меня образцы вытачивал по чертежам, по разнарядке, которую вы же и подписывали... Говорят, его жена домой не пускала.

— Не пускала? А ты слышал, что он ее костылем по роже хватанул? Чуть не прибил. Она его тогда пожалела... А сама до сих пор с косой мордой ходит. Ладно, свободен... Художники, блин.

Я сел на лабораторский диван и открыл ширяевскую тетрадку. От нее осталась только потертая выгоревшая обложка. В нее он вкладывал листочки разного формата. Хотел, видно, автобиографию оставить. Но сбился. Писал, наверно, бухой.

### **Записи Ширяева:**

Отец погиб после войны. Мать прижимала палец к губам. Шептала: Молчи, Володенька. Твой папа служил в НКВД. Его убили враги народа. При исполнении специального задания. Детей он спасал. От изуверов.

Доставала из шкафа обувную картонку, в которой лежали фотографии, сломанные часы с крохотным компасом на потертом кожаном браслете, серебряный орден Красной Звезды с отбитой рубиновой эмалью на правом верхнем луче, старая отцовская рубашка и несколько патронов от пистолета ТТ. Мать часами разглядывала фотографии, гладила орден и часы, перебирала как четки длинными пальцами патроны, а рубашку прижимала к груди. Нюхала ее и плакала...

Я глядел на патроны, на их красноватые, стальные, мягко закругленные пульки. От этих закруглений у меня чесалось под коленками. Я думал, что когда-нибудь враги народа выстрелят в меня из пистолета ТТ и убьют. И положат меня в землю. К отцу.

...

Хромать я начал еще до школы. Матери сказали, что у меня развивается болезнь Пертеса. Я это иностранное имя выговорить не мог. В больницу меня положили. На ночь специальный протез надевали. Резали два раза, чистили что-то в костях. Долго-долго лежать пришлось. О чем я только тогда не думал. Больше всего меня одна мысль мучила — почему другие ребята по двору бегают, смеются, играют, а я должен в кровати лежать. Кто так придумал, что жизнь несправедливая? Все мое тело от боли ныло, в костях злой старик сидел и маленькой пилочкой пилил. Единственная радость для меня была — порисовать. Мать мне бумагу давала. Я любил танки рисовать. И самолеты. Целые сражения разыгрывал. И старика с пилой тоже рисовал. Как его Чапаев танком давит.

В школу на два года позже других пошел. Самый низкий был в классе. От физкультуры меня освободили. Потом заросла кость. А лет в тридцать опять началось. Болит и дергает. На рентген гоняли. Асептический некроз определили. АНГБК. На фоне злоупотребления алкоголем. Резали. А через три месяца сказали — не помогла операция.



С побуревшей фотографии смотрел чубастый парень в офицерской гимнастерке — отец. Насупленный такой. Серьезный. Карманы оттопыренные, пуговицы со звездами. Кобура на поясе. Полосочки на погонах. И на рукавах. Запомнила мать эти голубые полосочки. Говорила — отец частенько с работы приходил с красными рукавами. Мать их терла, терла. Потом сушила, гладила. Не хотели канты голубенькими становиться...

...

Ах, как хрипеть хочется! Целый день старик кости пилит! Всю комнату сегодня разнес. В прах. И соседям досталось. Участковый приходил. Кононов. Страшал тюрягой. Говорил — пора тебе к уркам, они тебе очко намылят... Я только хрипел. Пена из пасти шла. Участковый дуровозку вызвал. А там доктор Левинсон. Старый знакомый. Вколол обезболивающее и уехал. Кононов обозлился. Воблий глаз.

...

Верка разревелась. Стоном стонала. Почему не женишься? Мать ее заела. Галина Вячеславовна. Старая манда. Банка с огурцами. Ведьмачья душа. Пищит-трещит. А в глазах — игла кощеева. Сталина, говорит, на вас нет. Сталина почитает. Только не молится ему. Портретик на кухне повесила. Шепчет ему что-то. Я два раза снимал и выбрасывал, а она опять покупала и вешала. Мне назло. На Курском вокзале еврей продает. Рядом с ателье. Раньше вишенками торговал. А теперь Сталиным торгует.

...

Ситыч опять подкатывался. Раскисший, дряблый. Если его не ударить, не отвяжется. Пришел, спросил, есть ли у меня олово. Я дал ему баночку с отдачей. А он заегозил — Володечка, хроменький, хочешь растаять? Как олово? Я буду твоим паяльником. Приходи к нам, к саваофу Андриюшеньке на раденье. Попрыгаем, поскачем вокруг девяти углов. Попробуешь темного мужского меду. Станешь лучиком, лучиком живым... Ситыч думает — если я не хрякнул его монтировкой по черепу — можно мне любые гадости говорить. Что

за народ. Ты не бойся, убеждал, мы нежные... Там, под срачкой, железа уебистая, кончишь быстрее Христа-Ивана. Я монтировку поднял, он ушел. Не понимаю ничего. Ситыч женат, девка у него и парень. К Андрюшеньке... Или он от скуки бесится? Или прикалывается.

Еще говорил — человек помер, а душа вытягивается из тела. Как макаронина... Отрывается и летит. А чтобы грехи на земле оставить, надо под самого Христа лечь. А оставленное тело будто к Сатане попадает. И мертвец тонет в кипящем жире. Пидоровы басни.

...

Политинформация сегодня была. Эстонец-Красный проводил. Помянем, говорил, верного ленинца, борца за то, за се, за хер знает что, Михаила Андреевича Сулова. Личная скромность этого выдающегося партийного деятеля. Да блевал я на его личную скромность. Спирохета бледная. Мне от этой его идеологии одна грязная стружка досталась. Тронешь ее рукой — без глаза останешься. Потом Маринка сливки разливала. Вот ведь вошь квадратная! В крысиной норе сыр ищет. Ситыч мне рожи строил, зазывал. А Драч встал и ушел. Его спросили — ты куда? А он громко так сказал — а поссать можно рабочему человеку?

О пружине думал. Так она в у меня в мозгу изгибалась и разгибалась, что я головой качать начал. И языком цокать. Как будто курок оттягиваю и отпускаю. А потом захрипел... Зашипели на меня. Парторг Порзов. Глаза выпучил как водолаз. Погоди, придешь ко мне в следующий раз дрель просить. Будешь яйцами в стенке ковырять.

...

Тосковал я об отце. Сочинял истории для дружков. Будто бы отец был главный советский разведчик. Вызывает его маршал Рокоссовский и говорит: Не могут наши взять Берлин, нет у них карты с военными тайнами!

Отец прилетел в Берлин. Переделался в немецкую форму. Пошел к Гитлеру... И сказал: Давай карту. Нужна для обороны от Красной армии.

Врал я, врал, и сам своему вранью верил... Даже Верке про отца-разведчика рассказывал. Загибал, что без той карты не взяли бы наши Берлин. И про то, что отец Гитлера убил. И в землю закопал. И надпись написал.

Не хотела мать калеку расстраивать. Не было ни детей, ни спецоперации. Свои отца и расстреляли. Справка о реабилитации в ее бумагах лежала.

Тяжко! Суслов-смерть кости пилит, и душу сосет. Где теперь мои друзья? Половина уже в земле. Остальные — вон, у продмага, как олени пасутся. Пятачки шибают на бутылку.

...

Верка сделала аборт. Я ее отговаривал, а сам радовался. Хриплый ноль. Как жить? Сыночек мой, прости меня. Не вини мать, она слабая. Может, Бог спас тебя от меня? Я бы измучил тебя, перегрыз бы твое белое горло. Лакал бы кровавую пену...

...

Приходил Драч. Про свою бабу рассказывал. Которая на двадцать лет его старше. С грязными ногами ходила. Не могла старуха ни мыться, ни ногти стричь на ногах. А он брезговал. Ногти в мясо впились. Умерла она два года назад. Драч говорил, умерла она ночью. А он спал. Проснулся, а рядом покойница. Рот открыт. Зубы черные. А на левом глазе таракан. Прямо на зрачке. Вроде пьет. Усами туда-сюда поводит. Драч психанул, лицо прикрыл ей, ноги развел и шишку вхреначил. Но ебать не смог. Добрая была старуха. Кормила его.

...

Со смертью матери кончилось мое спокойное житье. Квартиру нашу забрал завод. Школу бросить пришлось. Определили меня в ремеслуху, дали место в общежитии. Как сироте.

Пробовали меня там на зуб товарищи. Колобок и Слюня, два главных хулигана. Колобок спереди подходил. А Слюня сзади с фонарем подкрадывался. Колобок духарился, пары пускал. За руки хватал. Слюня сзади на спине кожу резал. Прямо через рубашку или пальто. Хорошо, у меня в руке клюка была. Получил от меня Колобок подарок — прямо в носопырку, а Слюне по уху попало. Помирились после.

Убили их потом. Не на того налетели. На Авиамоторной. Начали свой номер с одним проворачивать. Как только Слюня финарь вытащил, к ним дружки подскочили. С Синички парни. Повалили Колобка и Слюню на землю и забили ногами до смерти.

Через три года я училище закончил, по специальности слесарь-ремонтник авиационных двигателей. Всех пацанов в армию отправили. А меня не взяли. Из общаги выселяться надо. Куда идти? Ебимороз.

...

Устроился я тогда на подземный завод. Двигатели для ракет делали. В Лужниках. Тут в футбол играют, плаванье, физкультура. И не знает никто, что рядом — завод подземный. Побольше стадиона. Люди там маются, как кроты. Слепнут в темноте от неонки.

Жил, как лимита, в заводской общаге. Через пять лет уволился с завода. В мастерские меня взяли. При институте. Палыч помог.

Тут хоть окна открывают. И плана нет. А на заводе план из людей как из ковра пыль выколачивали... Чтоб они сгорели все.

...

Вот Ленин. Освободил рабочего человека от капиталистов, а крестьянина от помещика. А Усатый маленько перебрал. Хрущ вообще дурик — кукурузу за полярным кругом выращивать собрался. Жиртрест. Жирные, они завсегда вонючие и глупые. И гонористые. Напарник был у меня еще в училище — Филькин. Фамилия, вроде нормальная, русская, а на лицо хохол или румын. Как персик рожа круглая. Носище. А глазки поросычьи, недобрые. И прыщи на морде. Его ребята дразнили: Фарнос красный нос, понюхай... У свиньи под брюхом.

Ладощки потные о халат вытирал. Станок за собой никогда не чистил. Мастер меня ругал. Ты старший, ты должен на напарника воздействовать. Я воздействовал. Руку один раз ему завернул. Понюхал Фарнос и Колобка с Слюней. Пой-

мали они его в туалете. Визг стоял, как на бойне. Всю жирную его спину Слюня изрезал. Фарнос неделю в больнице лежал, а затем ушел из училища. А Слюне чуть срок не дали. Выручил его директор. Подмаслил кого надо.

И вот недавно встретил я Филькина на Кузнецком. Сразу заметил — Фарнос пиджаком заделался. Одет прилично. Фельдеперс. Узнал, поздоровались, поговорили. Сказал мне, что в МИДе работает. А я не скрыл, что слесарь. Посмотрел он на меня как на собачье говно и сплюнул. Я захрипел... Разняли нас.

...

Под землей душно. Вонь. Гнилые корни, мыши, черви и кроты. Все потеет и срет.

Там в гробу, труп матери лежит. На Кунцевском кладбище. Кости наверно остались, волосы, ногти...

Мать умерла, когда я в восьмом классе учился. Неожиданно. Не болела, не жаловалась. Приготовила обед. Кислые щи и жареную картошку. Присела на кухне на минутку отдохнуть. И больше не встала. Так и осталась сидеть на стуле. Голову уронила на руки. Врачи после сказали — разрыв аорты. Я в это время футбол по телевизору смотрел. Звал ее: Ма, иди, пенку будут пробивать! Ну иди! Галимзян Хусаинов бьет!

Мать не приходила. А я, чтобы лучше пенальти рассмотреть, глаза почти вплотную к водяной лупе приблизил, обнял наш КВН обеими руками и чуть не сбросил его с тумбочки, когда вратарь парировал... Лучи перед глазами крошились. Пошел в кухню маме рассказать, а она мертвая сидит.

...

Я вот чего понять не могу. Почему евреям можно уезжать, а нам, русским, нельзя? Почему несправедливость такая? За них все горой стоят. Парламенты. Комиссии всякие. Все только и смотрят — как бы жида не обидели. Они за золотым тельцом и в Америку и в Израиль и даже в Южную Африку, к расистам, едут. Греки едут в Грецию. Немцы в ФРГ. Паршивые корейцы в Корею. А русский Ванька что, взаперти должен сидеть? За что? И никто за него не заступится.

Почему у нас в лифте, на какую кнопку ни нажми — лифт на третий этаж едет. Сколько просили, жаловались. Ни хера, деревня...

Еврей еврея продвигает. Бабка за деду. А русский с русского три шкуры спустит. И обосрет ближнего с ног до головы. Несчастливая наша нация. Нету в нас к себе уважения. Вот, даже в космос с нашим русаком чеха запустили, Ремека. На нашу станцию. Зачем он там нужен, сучонок чешский? Я так понимаю. Если ты чех — живи у себя в Чехословакии и на своих ракетах летай, жмотина. Что они все к нам едут? Целый университет для них. Патрис Лумумба. Рассказывал недавно Драч. Пришел оттуда негр в ресторан на Ленинском. В новой высотке. За столик сел, как человек, официанта не спросил. Заказал что-то. Ему принесли. Он сожрал. Потом встал и за другой столик сел. А там русская девушка. Стал негр к ней приставать. И так и сяк. За грудь ее лапнул. Целоваться полез своими губищами. Она простая такая девочка, застеснялась, раскраснелась... Не знает, что делать. А все это американец видел. Встал, к негру подошел, и хрясть его по черной моське. Тот на пол упал. А американец ему еще по почкам врезал. И по еблищу. Чтобы не выёбывался.

...  
Ходил в музей. Пушкинский. Видел там одну картинку, душу она мне обрадовала. И ведь нет на ней ничего такого... Ни красок французских, ни красот итальянских. Так себе — пейзаж зимний. Хаты стоят, наверно голландские. Церковь простая, но не наша, из мягких форм, а как бы граненая, европейская. Речушка замерзла. На ней ребятишки на коньках востроносых гоняют. Деревья голые, одни веточки, как длинные пальчики. На них галки сидят. Или вороны. Не разобрал. В туманном небе две утки летят. Но не утки меня проняли, а тишина и покой. Мир. Ладно там все. И дома и деревья и люди — все друг с другом согласные. Зла там нет. А добро не сладкое. Морозное. Свежее.

Постоял, посмотрел. А все-таки не хватает чего-то. Русской тоски не хватает. Я люблю, чтоб картина слезу прошибала или, чтобы в пот от нее бросало. Вот Саврасов. Тот русскую душу понимал. Или Суриков. Снег-тоска.

С Веркой у нас сначала все путем было. Расписались. Выделили нам комнату как семейным. Верка там уюты развела. Телевизор купили. Слоников. Шторы повесили. А в остальной квартире срач! Двенадцать человек на сорок три квадратных метра. Людишки наши, заводские. Один был страшный. Звали его Софон Пастин. Язва. Как пьявка впи-вался. Как меня дома нет к Верке лез. Я прихожу со смены, а она заплаканная сидит. Я с ним и говорил. И бил его несколько раз. И бить-то его противно. Врежешь ему по рылу, он окровавится и на колени встает, причитает. Убей, кричит, меня, убей, Вова-свет, жить мне противно, сам я себе противен, убей, освободи мир от меня... Шестьдесят два года, старик, видишь, седой. А как увижу молодуху, кровь вспенивается... Извинялся. Пить зазывал. Надоумил меня самопал сделать. Ты, говорит, Володя, рукастый, сделай мне самопал... Отдам тебе припрятанные пятьсот рублей. Всю жизнь копил. Маланья о них не знает, дети не знают, всегда с собой ношу. Делай в тайне. А то заложат тебя как травку кирпичами... Сталь найди крепкую. Поблагодороднее. У лопа-стников попроси болванку. За двести грамм чистого они тебе весь вентилятор приволокут. В литейном можно дуру вылить. А дальше точи. Маслят на Птичьем купим. Есть кадр один. А когда сделаешь, дашь мне. Пущу себе пулю в лоб. Вот тебе крест.

Так он пел, пескарь брюхатый. А к Верке опять пристал. Избил я его после этого до полусмерти. И напился. Повязали меня. Дали год. Вторая судимость. А Верка к своей мамаше жить ушла. Я вернулся, а жены нет. И Пастина нет. Его в цеху пришибло. И вот ведь случай как сыграл — сорокакило-граммовая лопасть ему башку расклинила. Как будто кто огромным ножом резанул по кумполу и до брюха. Срыгнул кровянку дед Софон.

Верка вернулась. А после опять убежала. Какой я муж.

...

В цирк ходил. На Вернадского. Профком билет прислал. Оторвался. Принял на грудь для согреву. Не так много, чтобы

на тигров и львов броситься. Но достаточно для того, чтобы с инопланетянами разговаривать. Я и разговаривал.

Вначале жонглеры-тарелочники набежали. В красных трико с перьями-хвостами. Не люблю жонглеров. Жонглируют, жонглируют... До тошноты. Тарелки кидают. И пять и десять и черт знает сколько. Рядом сидел странный такой. С собачей головой. В лапах куриных, почему-то вилку держал. И нож. Серебряный прибор. А на коленях тарелочку. И аккуратно так с нее мормышку кушал.

Жаловался: Этот номер, кхе, кхе, сатирический. Против нас направленный. Вот мы, мол, вас как. Вы к нам прилетели, а мы вас и на шпаге крутим и на носу носим и под купол цирка легонько подбрасываем... Ты, Володя, на своем крюке тарелочки не крутишь? В свободное время...

Спросил, заплакал и опаловую слезу на тарелку уронил. А слеза эта прожгла тарелку и на пол упала. Как камешек. И за сиденья закатилась. Пытался я достать ее костылем. Пыхтел, пыхтел, ничего не вышло... Видно ее утка-подколенница склевала... Аппетит у нее в последнее время разгулялся!

Потом на манеж белые кони ворвались. И казак Запашной с хлыстом в руках вышел. В белых сапогах вышел с отворотами и золотыми коронами по самое не могу. Как же они хрустели! Как у прапорщика скулы, когда он кукурузу жрет. И пуговицы на гимнастерке мягкими пальчиками крутит.

Сапоги хрустят, кони белые по манежу мчатся, собако-головый мормышку ест... Я говорю ему: Ты, Белка-Стрелка, червя бы лучше взял, артемию жаброногую или мохнатоусого дергуна... Все лучше чем латунь и железки лузгать.

А он отвечает: Я — вегетарианец. Потомственный и почетный. ученик Шивананды. Слышал?

— А что твоя Шиговнанда говорит, к примеру, о водяре?

Ничего поганец не ответил, только залаял, хвостом залужил, лизнул меня в губы вонючим языком, и убежал...

После коней на манеж клоун вышел. С кошкой. Задавал ей вопросы о Мао Цзедуне. А она подробно так отвечала.



Жалко, говорила по-китайски. Ничего не понял. Крикнул я тут, так громко как мог: Ты, котиха жирная, по-русски давай. На хер Мао, ты расскажи нам, почему мы с острова Даманский ушли?

Тут ко мне бобры подлетели. С красными крыльями. Как бабочки. Под руки меня — и под купол цирка подняли, на трапецию поставили. Стою я там, вниз гляжу, на манеж, на людей. А вокруг меня воздушные гимнасты. Не летают, не прыгают, только воздушные поцелуи раздают. Вот, думаю, допрыгался, надо публике номер показать. Чтобы задрожали и заплакали. Надо сорвать аплодисмент...

...

Положу граненое дуло на мореное дерево. Патрон можно будет в него как в трубку вкладывать. Конструкцию упрощает. Курок с бойком оттяну большим пальцем и отпущу просто. Пружину можно в рукоятке спрятать. Никаких спусковых крючков не надо. Не очень удобно, конечно, но не для войны я самопал делаю, а для прекращения глупой моей жизни. Потренироваться, жалко, не смогу. Только четыре патрона у меня. Как бы дуло не разнесло. Надо его покороче сделать. Сантиметров восемь хватит. А вот нарезочку нелегко сотворить. Ладно, пусть будет гладкоствол. Лишь бы в височной кости пуля не застряла.

...

Приезжаю я отдыхать. В пансионат, что ли. В нем коридор длинный. Вхожу в комнату. Ух, большая. И пустая. Ни шкафа, ни койки. По всем стенам — зеркала, зеркала... Взгляд в ломаную бесконечность улетает. А на потолке много-много ангелов нарисовано. Да так ловко, не поймешь — ангелы это или картина. Церковь что ли? Слышу не то стон, не то курлыканье... Вижу — на другом конце комнаты, у окна, мальчик-инвалид лежит. Гольный. И курлычет. Подхожу к нему. Хочу по головке погладить. А он ко мне на руки тянется. Беру его. Он меня за шею обнимает. И плачет. Хочу я его куда-то нести. И случайно в зеркало поглядел. Вместо себя огромную обезьяну увидел. Испугался, сбросил мальчишку. А

он как макака, прыжками, от меня убежал. А на руках у меня вроде кровь. Жирная как нефть. Я руки об зеркало вытер. Загнал в палец стеклянную занозу.

Захожу опять в какую-то комнату. Знаю — жить тут придется. Грустно мне поэтому. Потому что коек в комнате очень много. И народу порядочно. И все слепые. С бельмами. Кричат что-то. Руками размахивают. Сажусь я на койку, а меня слепой — цап за воротник! Кричит — занято! А другой меня — по губе. А третий — ногтями грязными в глаза. Бью я слепых палкой, бью, а не попадаю. А они пинают меня то в бок, то в пах. Как пчелы налипли. Снимаю я тут огромные, с метр, наручные часы и начинаю их часами бить. Часы у меня из рук выскальзывают, на пол падают и долго-долго по кафельному полу скользят. И подпрыгивают на швах. И все слепые, как замороженные, прислушиваются. Тук-тук-тук... А заноза зудит.

Иду я по дороге в лесу. Иду, иду, дрожу. Вспоминаю мучительно, где же я живу, но вспомнить не могу. Мозги трещат. Куда идти? Кто я такой? Забыл! Все забыл, ничего не знаю.

...

Ездили мы капусту убирать. На автобусе. В можайский район. Далеко. Весь день катались. На поле часа четыре корячились. Снежком сеяло прилично. Кочаны тяжелые, скользкие. Сочная капуста уродилась. На зубах хрустит, белым соком прыскает. Наши бабы их и поднять не могли. Двадцать килограмм кочан! Намерзлись. В туалет не сходишь. Полю ни конца ни края. У меня кости разболелись. Хоть падай. В теплом автобусе жизнь раем показалась. Начали тут все курить. А я не курящий. В задок пошло. Окна открыли. Толян спирт достал. Спирт есть, капуста есть, стаканы есть и белый хлеб. Все остальное еще на поле срубали. А воды нет, спирт разбавить. У Привыкина литр молока был с собой. Налили мы молоко в трехлитровую банку и туда же литр спирта. Ну и гадня получилась — белесая, грязная. Ко-

мья вроде творога в ней плавают. Как ее пить? Белый хлеб в это поило макали и ели. И я попробовал. На втором куске проняло. Закусывали капусткой. Ядохимикат!

Где-то у Можая Сидорова песню затянула. А за ней и другие бабы. Зачем вы девушки красивых любите... Непостоянная у них любовь... А у Зои Ситыч с Перепелкиным сшиблись. Я к тому времени уже лыка не вязал. Мне сон снился про уральские горы. Будто я там камень нашел большой. Желтый, прозрачный. Проснулся я, а камня нет. Захрипел с досады. Сломал Перепелкин Ситычу передний зуб. Ситыч после фикса показывал.

...

Мозги сегодня весь день одна мыслишка сверлила. Может испытать? Участкового продырявить или Димыча. Освобожу мир от этой жопоморды. Придет он ко мне в мастерскую, скворцом зачирикает. О том, о сем. А я ему так отвечу — заткнись, жид жирный. У русского человека от одного твоего вида харкотина в глотку бежит. Так тебе в рожу плюнуть хочется. Он обомлеет. Обидится. На толстых его губках обида затрясется. А я железной рукой свой самопал из кармана вытащу и ему в его жидовский глаз и пальну.

Или, придет ко мне Ситыч. Начнет приставать. Заглядывать застенчиво. Обласкивать, обскакивать как козел. Скажу я ему — ладно Ситыч, согласный я, снимай штаны, смазывай очко. Выдрючю наперед тебя. А после и сам жопу подставлю. Обрадуется он, сразу откроет, а я ему туда семь свинцовых миллиметров захуюрю. Чтобы через все тело пуля прошла и в языке его бескостном застряла.

Или Верку найти и постращать ее, подлюгу?

Вера, Верочка, где ты, моя голубка? Тошно мне без тебя. Пропаду.

...

Было мне сегодня видение. Открыл я утром глаза. А на стуле у моего стола баба Акулина сидит. Фотографии раз-

глядывает. Из баночки леденцы таскает. Вместо того, чтобы сосать, грызет их как семечки. Посмотрела на меня и сказал: Кончай представление, внучек. Прыгай!

А я как будто опять на той трапеции стою. Ну в цирке.

Вдохнул я и прыгнул вниз головой. И вот, лежу я в ручейке. Омывает меня прохладная водичка. Кровь от меня полосочкой змеится. Сказочные деревья склонились надо мной — веточками колышут золотыми, листиками серебряными шуршат. Смотрю я на деревья сквозь мертвые глаза и радуюсь. И вижу в лучах хрустальных птицу Алконост. Спускается ко мне чудесная птица и обнимает меня нежными руками и стеклянными крыльями. Кладет головку свою мне на грудь...

## ВЕЧЕР ЛИТВИНЕНКО

Мама поучала меня: Ничего никому не обещаай. И вообще, засунь язык в задницу!

Я всю жизнь нарушал эти мудрые правила. Меня ловили на слове, позорили. Вот и сейчас — черт меня дернул обещать Б., что напишу про фильм и презентацию книги о Литвиненко на проходящем в Берлине «Международном Литературном Фестивале». И не просил он меня об этом, сам напросился... А теперь, не знаю, что писать, как писать. Книгу я не читал, только авторов видел. Никакой информации, одни эмоции. Распласталась белая страница на мониторе, как простыня. И нет на ней даже пятнышка, зацепочки, чтобы прицепиться и буквами простынку прострочить.

Тишина. Только комп вентиляторами шуршит. Работает. Он работает, вентиляторами шуршит, а я... А мы... Мы живем еще. Дышим. А Литвиненко — мертвый. И Политковская. И Щекочихин. И Старовойтова. И многие, многие другие. Все, кто хотел правду сказать. О путинской педофилии, о взрывах в Москве и рязанских учениях, о наворованных чекистами миллиардах, о Чечне, Курске, Нордосте и Беслане.

Началось это с подлого убийства отца Александра Меня в сентябре 90-о. Что-то в этом преступлении было особенное. Послышалась в нем загадочная нота нового времени. Фальшивая нота... Даже не нота, а скрип, хруст. Россия расчерчивала костями подданных новый круг смерти. Решил тогда — пора, пора сматывать. Не хочу больше вариться в этом протухшем бульоне. Не хочу быть палачом, предателем или узником. Стану лучше немцем.

...

Приснился мне в ночь перед фестивальной вечером сон. Будто еду я по аэродрому. По взлетной полосе. Ночью. Поло-

са во все стороны разбежалась. Может, всю Землю покрыла. Дождь в воздухе висит. Лужи. Еду я или мой задрипаный лирический герой или двойник или хрен-его-знает-кто почему-то в открытом джипе. В американском. Времен войны. В компании каких-то гнусных темных типов. Кто такие? Демоны? Нет, скорее гэбисты. Куда едем? Зачем? Гэбисты поют сиплыми голосами — мы едем, едем, едем, в далекие края, хорошие соседи и добрые друзья...

А мой паршивый альтер эго им подпекает.

Шутки в сторону! Я пленник и везут меня к самолету, чтобы с Родины выслать. С какой такой Родины? С той самой. А я хоть и пою, но трясусь как кролик. Неужели посадят в самолет?

Самолетов вокруг — яблоку негде упасть. Все с пропеллерами. Размером самолеты с пятитонку. Не больше. Детские как бы. И сделаны из толстой резины. Колеблются противно так... Дырки в них рваные. Из дырок марсиане смотрят. Светятся в темноте их красные глаза. Приглашают, тихо. Иди к нам! Мы тебе коржик подарим, с тыквой и яблоками, объедение!

Подъезжаем к какому-то самолету. Никак «Геркулес». Только маленький. Тоже из резины. Вылезаем из джипа. Подался я было к самолету. Остановили гэбисты. Встали вокруг меня кругом. За руки взялись и прыгать начали. Вместе. И запели медленно и тяжело — прыг-скок, прыг-скок, баба села на горох... Попробовал из круга выдраться. Отпихнули грубо. Один просипел мне — прыгай! И я начал с ними прыгать.

Попрыгали, перестали. Всучили мне большой сверток, сели в джип и уехали. А я со свертком в резиновый «Геркулес» полез. Входа не было. Только какой-то лаз в хвосте. Карабкался, карабкался... Сверток впереди себя толкал. Занял место на откидном сиденье, у незастеклённого окна. Сверток на колени положил.

Марсиане дали мне коржик. С тыквой и яблоками. И вот, жую я коржик, вкусно, но тянет меня посмотреть, что там, в свертке. В окошко поглядел — вокруг нас полоса пустая.

Только джип стоит невдалеке. Все гэбисты из него вылезли, курят, посмеиваются и в мою сторону поплевывают. Ждут чего-то. Не удержался, развернул сверток, а там голова Литвиненко. Живая. И говорит мне голова: Я — бомба, бомба, бросай меня скорее...

Мне муторно, страшно. Кидаю голову в сторону джипа. Прямо через иллюминатор. И вижу, как она катится по асфальту, касается заднего колеса машины и взрывается. Огромный огненный шар на вытянутой ножке висит над полосой...

...

Зашел перед отходом в интернет, на Грани, новости проглядел. Вот тебе и на! Правительство в отставке. Испуганный диабетчик Фрадков, лизнув напоследок плоскую задницу президента, ушел. И все правительство с ним. Ушел, но остался. В ожидании смены. Которая не замедлила появиться. И какая достойная смена! Бывший главный осеменитель свиновхоза — Питерское раздолье, первый секретарь Мухосранского Горкома КПСС, товарищ Зубков. Кремлевская кликуха — Совхознавоз. Старенький. Стало быть, поправит полгода, закашляет, заскулит, на пенсию попросится. Уйдет. И осиротеет Русь. Все заплачут. Как на Девичьем поле плакали... Тут раздадутся призывы, вначале робкие, а потом крещендо, где Вий? Позовите Вия! И он придет. Вылезет из лубянского подземелья, весь обросший иностранными денежными знаками, с железными дзержинскими веками на бесцветных глазках.

А интеллигенты всполошились, взъерошились. Поздно, котятки, царапаться. Прозевали вы свое времечко. Теперь тягомотина дооолго тянуться будет. Пока сяо-мяо не придет. И забеременеет кузнечик. И заалеет восток.

...

По дороге на фестиваль прошли мы с подругой по Фазанен-штрассе. Шик, блеск, красота. Зашли в галереи. Объясните мне, всезнайки, почему дома, фасады, машины — шик, блеск, красота, а искусство в светлых, просторных га-

лереях — гадость, ложь, подлое повторение давно, еще в шестидесятых годах, прожёванного материала. Упражнение в цинизме. Удаливость мертвых душ. Что стало с искусством? Почему художники потеряли уважение к форме, к глубине, к поверхности. Ко времени, которое скукожили, к пространству, которое сжали до мнимости. Нет больше ни мастеров, ни учеников, ни умения, ни соревнования. Кого захотели невежи-галеристы сделать гением, тот и гений. А если у тебя нет денег — извини, подвинься, никому твое мнение не интересно. Помню, кормила сестра морскую свинку и черепаху свежей белой капусткой. Так свинка все время толстым задом маленькую черепашку от капусты оттесняла. Вот так и в современном искусстве — оттеснили денежные мешки настоящих мастеров от денег, галерей, выкинули из времени и пространства и жрут, чавкая, свою черную капусту сами. А зритель на «новое искусство» и смотреть не хочет.

...

Перед кино вспоминал картинку новостей прошлого года. Литвиненко на смертном одре. Желтое измученное лицо. Глаза уже туда смотрят. Отравили полонием. Был такой придворный негодяй. Дочку-красавицу как приманку использовал. За занавеской подслушивал, сволочь.

Один грамм полония убивает миллион лошадей. А что делать, если его на твоей родине тонны? Одни полонии да розенкранцы. А лошадей больше нет. Что делать, если сам воздух твоей страны пропитан ядом раболепия и презрения к бескрылым курочкам? Ты его в легкие. А он их травит, превращает в дрожащие гнойные жабры. Вот и стали люди ершами.

...

Маленький зал в пристройке. Публика культурная. Интеллигентные женщины, страдающие мировой скорбью. Выражение лиц — знаем, слышали, понимаем и вашего, как его, Пушкиногоголя читали. Архипелаг Кулак. И фильм видели. Роль Маргариты исполняла Мадонна. Небесно!



Кроме женщин — несколько косолапых волков, сотрудников российского посольства. От этих особенным холодом веет и бесконечной наглостью. Почему Запад разрешает толочься тут всему этому сброду? Ссаными тряпками гнать нечисть назад, на Лубянку, в их гноехранилище, в волчье гнездо... Эмигранты, те хоть какое-то почтение имеют. К стране, к культуре. А эти.

Появился режиссер Андрей Некрасов. Высокий, в кудрях. Русский Д'Артаньян. Показали фильм. К сожалению, по-английски. А я английский со школьных времен ненавижу. В каждом третьем кадре выныривал сам Д'Артаньян. Во всех ракурсах. Задумчивый. Озабоченный. Глубоко сочувствующий. Еще более глубоко сочувствующий. И еще немножко глубже...

Березовского снимали крупным планом. Неприятное лицо. Старческие пятна и пятнышки, морщины, отвислости, не лицо, а шагреневая кожа. Портрет Дориана Грея, тот, последний, ужасный...

Умный еврей, обаятельный. Но гордыни в нем... Океан. Вот, что деньжищи с человеком делают. А ведь на лице уже кладбище видно. И крестики и звездочки и надгробья. Ухмылочка, еще одна, и еще одна, покруче, легкое разочарование, жалоба, опять ухмылочка. Скользкий дядя.

Показывал Некрасов и несчастную Политковскую. Красивая, печальная женщина. Единственное, что я понял из ее английской речи — никому ее работа не нужна. Не хотят русаки ничего знать про Чечню. Им так легче семечки лузгать. Казалось, она предчувствовала смерть. И, может быть, даже желала ее. Сколько можно орать в пустоту. Показывать убитых детей. Взывать к милосердию, которого нет. Их же ни в чем не убедишь, они давно уже перестали быть людьми, отупели. Воют только над своими. А на других им плевать. Зачем горло срывать? Они все равно не услышат. Будут и дальше тележвачку жевать, смоченную ядовитой путинской слюной.

Сидят напротив друг друга Некрасов и Литвиненко, тени фиолетовые на белый экран отбрасывают. Неудачная декорация.

То, что говорит Литвиненко, думающие люди моего поколения понимали шестнадцати лет отроду.

КГБ-ФСБ — организация государственных бандитов, в прошлом обслуживавшая партийных боссов, а теперь государственных начальников и всех, кто хорошо платит. Занимается слежкой, шпионажем, вымогательством, шантажом. Контролирует финансовые потоки и ресурсы, крышует экспорт в Европу наркоты... Опасность для всего человечества.

От его откровений разило наивностью неопита. Догадался. Хорошенько им послужив. Поработав в Чечне... Сколько же тебе понадобилось времени, дорогой Саша, чтобы понять очевидное.

Фильм закончился. Поплодировали Некрасову. Заслуженно, хотя фильм был серый. Задали несколько общих вопросов. На которые Некрасов также обще отвечал.

Моя подруга, английским владеющая еще хуже меня, спросила шёпотом — зачем Литвиненко отравил Березовского? Неужели для того, чтобы сделать приятное Путину на его день рождения? И что там была за женщина, вроде бы полячка? Правильно, ответил я — это полячка, Марина Мнишек.

...

После небольшой паузы приступили ко второй части.

На сцене установили стол. Вначале чтец читал книгу по-немецки. Минут сорок. Я задремал. Затем миловидная вдова отвечала на вопросы. Ясно, четко, эмоционально. Формулировки ее речи были явно отточены многократным повторением. Марина Литвиненко борется за честь и достоинство мужа. В конце выступления она заявила: Если когда-нибудь в России захотят узнать правду о том, каким был Саша, я поеду, я расскажу...

В том то и беда, что они знают, каким он был, за это и казнили.

После вдовы выступал господин Гольдфарб, похожий на уменьшенную в значении копию своего патрона Березовского. То же лицо. Те же гримасы, ухмылки, переходы от легкого презрения к доверительному тону, затем к иронии и заулированному усталому хвастовству.

Господин Березовский решил, что поддерживать оппозицию в России это выбрасывать деньги на ветер... Через меня прошли десятки миллионов долларов... Надо доказать западным странам необходимость скоординированного давления на Россию... Как Рейган на СССР.

Все вроде правильно. Но почему неприятно его слушать? Как-то слишком легко перечеркнул денежный мешок Березовский и за ним его подручный другую Россию. Оскорбив этим многих честных российских демократов. Показал им шиш. Переложил ответственность.

Говорил Гольдфарб умно, тонко, политично. Но ничего нового не сказал. Почти в каждом его тоне слышалось зевающее высокомерие богатого, хорошо устроившегося иудея. Капризная брезгливость интеллектуала. Рискуя навлечь на себя гнев сверхчувствительного читателя, заявляю — этот обаятельный гонор — главная причина ненависти к евреям во все времена. Не их деньги, не их талант, даже не мнимая богоизбранность. Масляная вкрадчивость. Трупный яд приветливости вечного жида.

А не наплевать ли тебе, дружок, на бывшего гэбэшника и его семью? По-немецки звучит твоя книжка как-то плоско, пресно. И сварганил ты ее удивительно быстро. Спринтер.

...

По дороге домой говорил сам с собой.

Ну вот, посетил ты эту презентацию, посмотрел фильм. Прояснилось что-нибудь в башке? Нет. Кто убил Литвиненко? Какой-нибудь гэбэшный генерал, на которого Литвиненко, отличавшийся хорошей памятью, компроматик завел. Или крупный чиновник. Начальник. Путинский банщик. Или резидент в Англии. А может и сам Путин. Не важно, кто приказывал, кто выполнял. Его убила Родина-Мать. Это главное.

Послала этим сигнал. Не только Березовскому, всем нам, эмигрантам, всему русскому Зарубежью. Сидите тихо, или всех траванем. Будете корчиться, бляди! А нынешние ваши хозяева нам слова не скажут.

Мы этот сигнал поняли. Другого и не ожидали. Все в порядке. Мир таков, каков он только и может быть.

В киоске у вокзала мы купили два вегетарианских дёнера с козьим сыром. Дома пили чай с медком.

Утром, за кофе, я спросил свою немку — что тебе из вчерашнего больше всего запомнилось? Она ответила — элегантные туфли господина Гольдблюма. Тебе такие не по карману...

## ШАНЕЛЬ НОМЕР ПЯТЬ

Вылетел из Шенефельда. Как будто из серой глубины поднялся, наконец, на поверхность моря. Тут царствует холодное Солнце. Плазма-голубизна. Нет земли, а есть только пустота пространства, сияние вечного дня и облачная вата.

Весь полет проболтал с двумя соседями. Импозантный торговый еврей из Одессы не мог остановиться, когда начал говорить. А начинал он всегда так: На это я вам вот что скажу...

И говорил, говорил. Сравнивал Сингапур с Шанхаем. Одессу с Киевом. Вращал коричневыми масляными зрачками. Улыбался застенчиво. Я его слушал, не прерывал — за его любезность и доброжелательность, редкую для бывшего советского человека.

Все речи среднего еврея это или замаскированная или открытая похвала самому себе. Или я несправедлив к евреям и человеческая речь вообще есть феномен самовосхваления, самоутверждения тленного тела, духа, слова в «глухонемой вселенной»?

Второй еврей был молодой, лысый, симпатичный. Убежденный киевлянин. Рассказывал о том, сколько «нас» вернулось из Израиля. Раньше модно было уезжать. Теперь — возвращаться.

— Я уехал и квартиру на Подоле продал за десять тысяч, а теперь я приехал и хочу квартиру свою назад. Покупаю. Я плачу за нее двадцать тысяч. И живу. И все довольны. А цены на недвижимость растут, — восклицал он восторженно-печально.

— А на это я вам вот что скажу... — откликнулся первый еврей и говорил двадцать минут без пауз, похлопывая меня по плечу, заглядывая в глаза и застенчиво улыбаясь.

Первое впечатление от ноябрьской Москвы — холод, вонь и грязь. Вонь от выхлопных газов и всеобщая безобразная грязь. Вонь и грязь явно доминируют и в сознании московских обитателей. На улицах суета, грубость, хамство. Высокомерие сильных — богачей, чиновников и их многочисленных холуев — шоферов, охранников.... Злоба и отчаянье бедных и слабых. Тупое смирение. Есть и милые, родные, прекрасные лица. Этих жалко. В какую еще передрыгу втравит их сумасшедшая Родина?

...

Встретил в троллейбусе таджика из Душанбе, перешедшего в православие. Внешний вид — террорист. Бородища. Верит в Христа с той же убежденностью и фанатизмом, что и его братья мусульмане в Магомета. Выражение лица как у Спаса в силах. У, бля, зашибу! Попляшете вы все у меня на раскаленной сковородке! И вечный траур.

Таджик сказал: Не слушай никого, только свое сердце!

Чтобы бы было со мной, если бы я жил по этой заповеди? Ничего бы не было. Я так и живу. Мое сердце молчит.

...

Звонил первой жене. Минут сорок болтали. Все, вроде, было хорошо. Но вот ведь странность. Расстались мы двадцать пять лет назад. Многие за это время пережили. Но по отношению друг к другу остались прежними. Соперниками. Кидаемся друг на друга как петухи. И клюем, клюем...

Люди действуют, говорят, даже чувствуют — по каким-то навязанным им жизнью схемам. Свою первую жену я люблю до сих пор. Но никогда не признаюсь ей в этом. Написать могу, а подумать — страшно. Получается, что я — не я. Вместо меня говорит кто-то другой. И живет. Кто?

И так во всем. Самих себя мы не понимаем. Проживаем чужую жизнь. Гоняемся за призраками.

...

Был у Даниловского монастыря. Видел новообретенные мощи. Новые иконы, написанные по канонам средневековья. А иногда и в пошло-реалистической манере. Современное

православие — старушечье суеверие. Действует только на кликуш и на несчастных, тоскующих по небесному хлыстовству, интеллигентов. Во дворе монастыря казаки какие-то разгуливают самопровозглашенные. Хорошо еще без шашек и газырей. В самодельных папах. Киргуду и бамбарбия.

Посетил подругу жены Соломинку. Перенесенное страдание (раковая операция) пошло ей на пользу. Говорила о других людях почти без злобы. Соломинка истово верует, но при этом отдает дань и социологическим, исключаящим влияние небесных сил, теориям.

— Элиты распоясались. Показывают сейчас всему миру, кто в доме хозяин. Кончится это плохо. Глобальным катаклизмом на шарике.

Кончается все всегда плохо. Соломинка женщина пророческая. Как многие другие жители Совка, она проектирует свою неудавшуюся жизнь на мировую историю.

Из монастыря поехал на трамвае к Павелецкому вокзалу. В трамвае сидело несколько пьяных, багровых, страшных людей. Пять остановок ехал сорок минут. Пробки. Замарал пальто.

...

Безуспешно пытался зарегистрировать мой немецкий паспорт. В приглашении написано ясно — прибыть в трехдневный срок на приглашающую фирму и зарегистрироваться. Адрес фирмы: Новинский бульвар, дом один. Приехал. Неприятно поразило — не было там дома номер один, а был — один, дробь два. Захожу в туристическое бюро.

— Простите, где тут фирма Бизнес интернешинел?

— Понятия не имею.

— А где дом один, без дроби?

— Понятия не имею.

Захожу в бюро переводов. Спрашиваю про фирму.

— Не знаем мы! Ходят тут, ходят целый день. Фирмы всякие ищут, спрашивают, работать не дают. А мы вообще не на Новинском...

Спросил и у милиционера, стоящего перед входом в банк на проклятом Новинском бульваре.

— Не из Москвы я. Что тут, как тут — не знаю. Понаставили тут фирмов!

Понимая, что жизнь абсурдна и страшна, если ожидать от нее какой-то логики, обошел все шестнадцать учреждений в доме один, дробь два. Ни один человек мне ничего внятного не сказал, ни один не скрыл раздражения. Ни один не помог. Поехал домой, на Ломоносовский. Позвонил в проклятую фирму. Оказалось, у них принтер старый, иногда не пропечатывает цифры. Настоящий адрес — Новинский 11.

На следующий день поперся снова. После получасовых блужданий нашел искомое бюро. Вся фирма — три человека. Любезная девушка объяснила мне, что, согласно новым правилам регистрации, я должен идти в милицию по месту временного пребывания. Подать там заявление от имени принимающего меня на частной квартире лица. Завизировав заявление, ехать в ОБИР и получить там регистрационный бон. Я обозлился.

Спросил: А нельзя ли без ОВИРа, без милиции и без частного лица. Лицо это живет в сейчас в Италии и участвовать в столь важной для Российской Федерации процедуре, как регистрация прибывшего в Москву на шесть дней иностранного гражданина, никак не может.

Глубоко вздохнув, девушка произнесла: Ну тогда мы сами все сделаем, зарегистрируем вас так, как будто вы в гостинице живете. С вас 1500 рублей.

Знакомая картина — туфта, обман и обдираловка. Отдал ей деньги.

— Приезжайте завтра!

Не отпускает меня Новинский бульвар.

Решил пройтись по Новому Арбату. Натолкнулся на суровую тетю, вещающую голосом диктора Левитана: Вот вы все мимо идете и не знаете, что в этом здании, в подвале, публичный дом. Там содержатся восемьдесят девушек на положении заложниц. Над ними издеваются новые русские и заграничные богатеи. Слушайте, слушайте правду! Преступный капиталистический режим олигархов и служащей им продажной



путинской власти превратил наш народ в сборище алчущих денег скотов. Без чести, без совести. В преступную банду кретинов, насильников и эксплуататоров. Все идет на продажу. Родители продают своих детей за границу. Там их насилюют и убивают...

Ушел поскорее от тети.

Зашел в Дом книги. Цены кусачие. Персонал не обучен. Девушки в униформах скучают. Компьютер не знает, есть книга в продаже или нет. Поражала широта репертуара. Кому было выгодно нас всего этого лишать? А сейчас поздно. Другое время. Хорошая книга никому не нужна. Нужно развлечение.

Купил русский орфографический словарь. Когда платил, кассирша заметила горько: Как у вас денег много! Тут работаешь, работаешь. С утра до вечера. Всю жизнь. И ничего не наработаешь! А они, вишь, приходят, у них денег — полный рукав.

Я разозлился.

Сказал ей: Тут у вас веревки крепкие, добрые. Привяжите к люстре и удавитесь!

Кассирша злобно глянула в мою сторону, искривила лицо, а потом вдруг заплакала. Тяжело и жутко. Опять я виноват. Кассиршу обидел.

...

Поймал машину. Шофер выглядел как этнический кавказец.

— Вы грузин или армянин?

— Попролам, оба.

— Значит, исходя из современной политики российского государства, надо одну вашу половину выслать в Тифлис, а вторую в Ереван.

Шофер рассмеялся и рассказал: Я закончил в семьдесят пятом геолого-разведочный. По распределению поехал в Сургут. Там до сих пор живу. Там дети. Там мой дом. Меня в Москву послали от фирмы. Зарабатываю всего пятьсот баксов. А тут однокомнатную квартиру снять — пятьсот стоит.

Вот и ишачу. Да еще и гонения на грузин начались. Вы скажите, чего он к нам привязался? Гэбэшник. Зачем оскорбил народ? Три раза меня останавливали, документы проверяли. Один раз, ни слова не говоря, в милицию отвезли и побили. Все деньги взяли, пятнадцать тысяч рублей, и выпроводили. Сказали, побежишь жаловаться, узнаем, найдем и все кости переломаем. А нам за это ничего не будет. Мы для них не люди. Они нас так и называют — звери! В Сургуте лучше.

Приехал домой. Включил телевизор. Показывали какие-то драки между солдатами. Диктор говорил сурово-ласково: Во время смотра солдаты выказали патриотизм, стойкость, готовность поразить врага в любой точке мира. Поэтому и называют наш спецназ — лучшим в мире!

Вот идиоты! Какими были, такими и остались. Все патриотизм выказывают. Сами себе мозги промывают. Это русским государственным людям также привычно как уткам и лебедям перья чистить.

...

Был сегодня на Старом Арбате. Холодно. Минус три, влажность сто процентов и ветер дует. Спасибо английскому пальто — защитило от стужи. Не выдержал, зашел в сувенирную лавку и купил палехскую шкатулку за пять тысяч рублей. Ничего с собой поделать не могу — каждый раз шкатулки покупаю. Дарю потом людям, которые их не ценят и не понимают. А эту красавицу шкатулку себе оставляю.

Рождество. Письмо чистое. Краски нежные. Бриллиант. На черном лаковом фоне горки иконные желтые, охряные и зеленые. В них — «пещеры». На заднем плане русский конфетный город. Дерево оливковое, пышное. Два ангела золотокрылых перед запеленатым младенцем преклоняются. За люлькой телец с телицей, царство животное пришло поклониться младенцу. Богородица в красном лежит, на три расцветших цветка смотрит. Три цветка — Троица, рождением младенца полноту обретшая. Иосиф — могучий как Илья Муромец — смиренно рядом сидит.

Вот она, русская идея, на ладони умещается. Светится вся, переливается. Черный фон это русская угольная жизнь. В ней чернота беспросветная, беспримесная. Жирная. Из нее цветной кристалл рождается, сказочный вертеп. Святая плазма на антраците сублимирует. Сладостный мир. Умиленность. Картиночка. Для сердца и для глаз отрада.

...

От Арбата к Манежу пошел. Вот тебе и на! Уже новый выстроили. Быстро. Два года назад только обгорелые стены стояли. А внутри, в подвале «Дом фотографии». Пиршество. Подземная галерея, зал размером с футбольное поле. Нашел там фотографии Мохорева. Вот мастер. Как Вампилов — на совковом материале милых людей показывает. Эротика мило-сердная. Редкий дар.

От фотографии — к картинам.

Парк культуры. Мост. Дом художника, огромный сарай для искусств. Тут много, много цветастых картин висит. Эти произведения бывших советских академиков ничего кроме раздражения не вызывают. Нет в них ни иконной силы, ни палехской нежности и упрямой декоративности. Нет в них и духа модерна. Так. Застряли люди в Совке. Даже не застряли, а сами себя туда поместили. Как рыбок в аквариум. И плавают там с Шишкиным и Куинджи. А об океане и не мечтают. Грустно и поучительно. У Палеха — мастерство. Мир этот, конечно, ремесленный, энтомологический, но честный. А у современных русских айвазовских нет ни мастерства Айвазовского, ни пронзительности Саврасова, а только упрямство, серая мастеровитость, не осевшая муть оптической реальности, от которой они так и не смогли оторваться.

...

Был на пятидесятилетии Второй школы. Торжественный вечер в бывшем Дворце пионеров. Так себе представление. Потом в школе тусовались.

Какая радость старых друзей повидать! Из нашего класса было всего пять человек — Жек, Апоня, Аська, Мо и Ко... Жалко, что так мало. И учителя наши не приехали. Не было ни

Германа, ни Фела, ни дяди Яши. На Шефа смотреть больно, так постарел, скукожился. Но все еще сдержан и галантен. Школьники этого больше всего в нем и боялись — сдержанности. Внутреннего спокойствия и достоинства. На этом фоне наши шалости и гадости особенно хорошо были видны. Внимательно слушал речи и выступления на вечере. Не концерт меня интересовал, а отношение — оставшихся к современному политическому режиму в России. Быстро понял — его бояться. Как всегда на Руси царя и опричников боялись, так и сейчас. Формы — и режима и страха перед ним, конечно, изменились, мутировали, но суть осталась. Не страна, а репрессивная пирамида. Только из-за этого уехал бы и сейчас. Слишком часто эта пирамида превращалась в лезвие, которое резало по живому. Не понимаю оставшихся. Особенно тех, которые могут покинуть страну. Охота им это шизофреническое пойло хлебать?

Смотрел новости. О ракетно-бомбовых ударах в Чечне рассказывают без стеснения, как будто это не Россия, а Гондурас и умирают там не граждане России, а зулусы японские.

Плохо то, что россияне привыкли к запаху смерти, коктейлю из казенных сапогов и выхлопных газов.

Сложите вместе отчаянье обнищавшего пенсионера, ужас обывателя, постоянно нарушающего закон, чтобы хоть сколько-нибудь заработать, и радость несправедливо разбогатевшего нувориша. Добавьте к этому тухлую красную рыбу, гнилые пельмени, хамство и грязь в общественном транспорте, антисанитарию в магазинах, бычьи глаза всяческих охранников, омонцовцев, полуразрушенные дома, астрономические цены на жилье, запах кошачьей мочи в подъездах, лживое высокомерное телевидение — и вы получите московскую жизнь.

Бывший друг заявил мне, что мое отношение к Москве это только рефлексии ослабевшего интеллектуала. Нет у меня рефлексий! Только констатации. Ослабел, действительно, мой кишечник в борьбе с красной рыбой и пельменями. Два дня лопал, лопал. Потом догадался, что рыбка-то, с душком, а пельмени нечисто сделаны.

И нос мой тоже ослабел от постоянного обоняния выхлопных газов. На шестом этаже шикарного дома на Ломоносовском проспекте нельзя было форточку открыть, так воняло. И вот, что странно — цена многих квартир в сталинских домах подбирается к полумиллиону долларов, а подъезды в них грязные и вонючие, зачастую и сами квартиры выглядят как трущобы.

Меня спросили — где это ты ощутил — имперскую вонь?

Я ответил — вы, господа, ко многому так привыкли, что и не замечаете вовсе, где и как живете. Вся Москва — скопление имперской вони. Посмотрите, как в ворота Кремля въезжают лимузины сатрапов, как разгоняют менты пеший народ и перекрывают дороги, отчего обычные люди должны стоять в бесконечных пробках. Улицы, стены, полы, потолки — грязные, обшарпанные. В метро душно, там воняет потом и перегаром. Владельцы не по чину шикарных мерседесов и бмв наглы и высокомерны. Про откаты, криминальное обналичивание я уже и не говорю. Про свирепствующий СПИД и тотальную наркоманию тоже. А тут еще и политические убийства начались, одно другого страшнее и гнуснее. Женщину убили красивую. И бесстрашную. Критика режима отравили в Лондоне. Это все и есть — имперская вонь. Смеются. Дурак мол, что с него взять?

...

Долго говорил с бывшим другом. Умный парень. Три часа хвалил новую Москву и самого себя. Он и профессор и гениальный писатель и успешный бизнесмен. По всему миру ездит. Хочет купить остров в тропиках. Путинским режимом доволен. Я ему посоветовал купить островок рядом с Соловками — не далеко ехать будет.

К хвастовству я отношусь спокойно и успехи друга меня радуют. В его речи проскальзывало, однако, что-то особенное, наше, русское — желание пусть косвенно, мягко, но смешать собеседника с грязью, дискредитировать его жизненную позицию. Ну что же, я ведь и сам такой. Я не отвечал, помалкивал, потому что хотел понять. Но так и не понял. Как можно быть довольным Путиным? От одной его злобной физиологии вытошнить можно. А моему другу он нравится.

Был в Кремле. На входе проверка. Все металлическое — клади на стол и шагай сквозь магнитную арку. А внутри крепостных стен иди только по дозволенной полосе. Шаг в сторону — свисток и окрик милиционера. Лагерь. Политическая структура России оставляет на всем свои отпечатки. Структурирует жизнь. Топай, где положено, а в политику не лезь.

Успенский собор. Снаружи — упрощенный до тривиальности собор святого Марка в Венеции, внутри — палехская шкатулка. Зато старые иконы это что-то настоящее. На них божественное находит материальное воплощение. Святой Георгий красный. Богородица на обороте. Проняло меня крепко. Насквозь. Странно, в Бога не верю, а пронимает. До оцепенения. Такое восхищение. Такая радость, что вот оно, чудо — смотрите, здесь, перед вами. Значит, есть еще не высохший источник в душе! Не все перегорело.

Вышел из собора на площадь и все прошло, фонтан живой воды бить перестал. Еще гаже показались лица туристов, еще злее рожи топтунов, охраняющих свою державную крысу.

— Человек это загадка — справедливо заметил защищающийся от нападков, безденежный эпилептик Достоевский. Об этом я думал, когда ехал в Измайлово, покупать еще одну палехскую шкатулку.

— Зачем тебе еще одна шкатулка? — спрашивал я себя. Тоскливо осознавая, что через десять минут приеду на дуррацкий рынок сувениров. Буду искать шкатулку, найду и куплю. Увезу ее домой, а потом не буду знать, что с ней делать. Подарить жалко. Не потому что жалко. А потому, что никто уже давно материальные предметы не ценит и не любит. Да еще — пятьсот туда, пятьсот обратно. Прав был огорченный писатель. Загадка. Спасибо еще, интересный шофер попался. Бывший военный. Воевал в Анголе, в Афганистане, в Чечне. Командир вертолетного звена. Вот, оказывается, для чего я в Измайлово еду. Чтобы по дороге одну историю проверить.

— Знаете, я тут недавно в Германии маленький рассказ опубликовал, про войну афганскую. Мне в восьмидесятых

один ваш коллега рассказывал, как там наши солдаты женщин и детей огнеметами сжигали. Я только пересказал, что слышал. А мне говорят — преувеличение. Выходит, я на мою бывшую родину клепаю. Могло такое быть? Огнеметами?

Шофер рассмеялся.

— Да запросто. Я, правда, огнеметом не работал, но ракетами мы деревни с жителями не раз сжигали. По инструкции — стрелять надо было с трехсот метров высоты. А мы с пятидесяти хреначили. Удобнее, видишь куда ракета попала, меньше вероятность, что тебе зад из автомата обжарят. После такой стрельбы все ветровое стекло у вертолета в крови. Обрывки кожи и глаза налипали. Как их внизу ракетами разнесет, так ошметки тебе прямо в рожу летят. И поди разбери, мирные это жители или душманы. Всех лупили. А глаза эти и кровь солдаты на базе водой из шлангов смывали. Каждый день. Часто попадались и детские глаза. А вы говорите — огнеметы.

Вот так всегда. Реальность еще хуже литературы.

...

Обратно ехал на такси с разговорчивым таксистом. Это был недалекий, курносый дядя с слезящимися глазами. Шестидесяти примерно лет. Говорил он всю дорогу от Измайлово до метро Университет. Я старался ему не мешать. Поощрял его вопросами.

— Да, масоны всем правят. С царских времен. Ведь тогда как было? Банкиры все евреи. Их деньги, их проценты. Но царского добра не тронь! Они царя ограбить не могли. Так революцию устроили, царя расстреляли. И вообще всем завладели. Вы думаете, Ленин кто? Бланк он. Жид. Троцкий — Бронштейн. И Горбачев и Ельцин тоже евреи. А Березовский и Гусинский сообразили — на власть стали тянуть. Ну им дали еще денег и из страны поперли. А Ходор, тот вообще президентом заделаться хотел. Его раз предупредили — не лезь, жидюга, в политику. Два предупредили. А потом, когда он уже улетать намылился — хватить за жопу. И посадили. Потому что, если вор — сиди и бабло пили, а на Путь не тяни.

Вы знаете, кто таксопарки разгромил? Лужков. Настоящая фамилия Кац. Сколько домов понастроили. А дороги только для подъезда к рынкам. Строят, строят. Москва пухнет. Черных везде толпы гуляют. А транспорт стоит. Третье кольцо, зачем оно? Для торговых центров только! Ни такси ни скорая до места добраться не могут. Скоро все в небо полетит.

Я стою сейчас на точке. В Измайлове. Мафии деньги за нее плачу. А кто хозяин точки? Опять еврей. Мильчик, козел тот еще. Носатая харя. Ух, гадкий. А раньше так было — ты выезжаешь на рейс, плати диспетчерше двадцать копеек. Ты еще ничего не заработал, а уже — плати. Я был шляповозом. По Москве мотался. — Шляп развозил. Шляпа, известно, больше двадцати копеек не даст на чай. Бывало иногда — целый день мотаешься, а привезешь пять рублей. И холостого пробега сто километров. Была тогда такая штука — две иголки вставляли умельцы в счетчик. За иголки тоже платили. Я учился только шесть классов, без образования. Всю жизнь шоферить хотел. В такси, чтобы. Люблю с пассажирами разговаривать. Один раз посадил я одну шляпу. В семидесятых годах было. То ли армян, то ли азер. Говорит, я тебе бутылку коньяку дам вместо денег. Я взял, интересно. Ну и че? Выпил на следующий день, с женой, братком и напарником Вовочкой. Жена кормила тогда сына моего младшего, Антошку. Он потом в пятнадцать лет разбился насмерть на мотоцикле. Она этот коньяк только пригубила, а я, браток мой Аркашка и сменщик выпили бутылку. И начало нас часа через три крутить. У жены менструация началась и две недели лило. У меня глаза чуть не вылезли. Аркашка блевал целый день, а сменщик мой, Володька, как бык здоровый, даже в больницу попал. Левую сторону у него парализовало. Вылечили. Только после рот у него дергался. Древесный спирт был в том коньячке. А сейчас люди вообще как черви от ядовитой водки дохнут. Льют в бутылки чего попало, этикетки фальшивые наклеивают. Известное дело. А евреи всем этим управляют. Из ложи. Есть такая всемирная ложа. В Иерусалиме. В храме ихнем со-



бираются, в убежищах атомных. Понастроили там. И управляют оттуда. И Ходор там был. И Путин. А сменщик мой, Володька, тот с лестницы упал. Дома. Сломал ребра, большой палец и нос. А накануне мне сон про него приснился. Будто он один в комнате большой. Стоит просто. Я проснулся. А он мне звонит, Коля, говорит, приезжай скорей, я с лестницы упал, мне нос начисто снесло. Я к нему поехал, а по пути аварию сделал. Меня сменщик без носа ждет. А я ментов дожидаясь, мне весь зад другое такси разбило. Так он потом без носа и жил. И рот у него дергался. Убили его в начале девяностых. Случайно. Разборка у бандитов была с ментами. Его и зацепили. Из автомата, кажись.

...

Как мне уезжать — естественно туман мертвый. Ни зги не видать. Шофер такси не видел светофоров. Я побаивался, таксист только смеялся.

— Это разве туман? Это молоко, а бывает и сметана!

Высадил меня во Внуково прямо в грязь. Я вылез, почистился, пошел на регистрацию. Зарегистрировался, прошел контроль. Перед посадкой зашел в беспошлинный магазин. Оставалась у меня одна бумажка — тысяча рублей. Смотрю, — стоят на полке коробочки Шанели. Ага, думаю, вот подарок для дочек или жены. Сам в руки просится. И за шкатулки не стыдно будет. Шанель! Черная шаль, смуглая рука в браслете, шик! Купил, спрятал в сумку.

Вышли на улицу. Туман еще гуще сделался. Зашли мы в длинный автобус. И простояли в нем полчаса. Никто нам ничего не сообщал. Водитель ушел куда-то. Туман. Никого из официальных лиц нет рядом. Что делать? Прошло еще полчаса. Немцы начали роптать. А русские ждали терпеливо. Им не в первой. Я думал: Вот оно. Иные через повешение. Другие от старости. А я, стало быть, через туман.

Почему я на родине все время о смерти думаю? Да, толстый, холестерин, неврастеник. Трус. Но тут другое. Глубоко совковое. Не верит раб, что он свободен. Как животное, которое на волю отпускают. Клетка открыта, а зверь, сидит, бед-

ный, сжавшись в комок, в грязном углу, трясется. Думает — побегу, тут-то меня и пристрелят. Охотники. Наблюдатели вечные. Они.

Ты уехал, стал гражданином свободной европейской страны. Горд как страус. Иностранец! Мечта идиота. А в душе — ты до сих пор не веришь, что родина тебя на свободу отпустила. Трепещешь и мести ждешь. Вот она мечь — туман. Не отпустит тебя Москва. И не рыпайся. А не туман, так самолет. Поломка, взрыв. Пилот неграмотный. Арабы-террористы. КГБ. Кроты. Шпионы. Или усталые, небрежные лоцманы. Тухлая рыба. На худой конец — неосторожные курильщики в туалете.

Влезли, наконец, в наш аэробус. Пилот объявил, что задержка произошла не по его вине. — Нам не давали сесть. Задали за чем-то кружиться над Москвой.

Я успокоился. Пронесло на этот раз. Достал из сумки серебряную коробочку Шанели. Полюбоваться. Представил себе, как вручу её дочке. Любовался-любовался, но что-то мешало, а что — сам не знал. Тупой. Догадался. На коробочке было написано — «лосьон употреблять после бритья». Для сухой мужской кожи.

*(2006)*

## ПОВОРОРИМ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ НАС МИРЕ

Мой интернетный приятель, не очень близкий, но и не очень далекий, прочитал несколько моих последних текстов и написал мне с нескрываемым раздражением: «Ну ты и оторвался! Куда это тебя занесло? На львовский погром? Или в империю клингонов? Поверь мне, тебя за это не похвалят. Возвращайся, пока не поздно, на землю, в наш такой-сякой, но реальный мир. А то скажут, что ты заврался, дружок... или еще хуже, с катушек слетел. Окончательно и бесповоротно. Заделался параноиком. Сбрэндил... После ковида, хи-хи».

Сбрэндил... Хи-хи... Вот ведь шелудивый пес какой!

На этот раз я не стал оправдываться. Осточертело. Даже не попытался объяснить ему, что такое на самом деле мои рассказы. Ведь для моего приятеля, также как, впрочем, и для большинства современных разномастных «литературных деятелей» — символическое воспроизведение реальности и метафизической основы жизни, изучение ее мистического спектра, парение на облаке возможностей и вариаций, трансцендентальное моделирование происходящего и прочие элементарные магические и метафорические изыски, а это именно то, чем я занимаюсь, не имеют никакого смысла. Для них все это — симптомы паранойи.

Оправдываться не стал, но для себя решил сейчас же описать окружающий меня реальный мир «в лоб», «прямо». И описал... крохотную его часть. Специально для моего приятеля.

Получилось как-то пошло и плоско. Выяснилось, что я, без моей метафизики — обычный ворчливый старик. А я-то себе вообразил...

...

Представьте себе господу, что смотрите небольшой видеофильм. Я, автор, снимаю его, скажем, с помощью смартфона, и рассказываю о своем житье-бытье в блочном районе на

северо-восточной окраине Берлина, возведенном в начале восьмидесятых на месте бывших полей орошения и фильтрации, куда кстати не только фекалии стекали, но и ядовитые отходы химических фабрик. По замысловатой системе подземных труб и канав, сохранившейся до сих пор. Специалисты-экологи утверждают, что земля в нашем районе на глубине метра отравлена тяжелыми металлами и прочими прелестями индустрии начала двадцатого века. Не удивительно, что многие окрестные жители чувствуют себя больными и не работают. Неумеренное потребление пива, кока-колы и других сладких напитков, которым отличаются живущие тут аборигены, все свободное время проводящие обычно за компьютерными играми, тоже не способствует душевному и физическому здоровью.

В ранние гэдээровские времена тут выращивали яблоки и груши. Некоторые яблочные аллеи сохранились до сих пор.

Разрешите представиться. Меня зовут...

Камера показывает мою обрюзгшую физиономию. Я стесняюсь снимать самого себя, отчего выгляжу еще хуже — похож на состарившегося и одичавшего плейбоя или расквашенного палача на пенсии. Чтобы больше не пугать публику, надеваю маску и переключаю камеру на смартфоне. Никаких селфи, я вам не молоденькая девушка в туристической поездке. Мы не на Багамах, а в Берлине, в «городе черной меланхолии» как его раньше называли дадаисты.

Выхожу из квартиры.

Вот, господа, посмотрите на нашу лестничную площадку.

Показываю стерильную немецкую лестничную площадку. Ни пятнышка, ни пылинки, как на космическом корабле. К слову, у нас не всегда так чисто, а только в первые три дня после генеральной уборки, которую проводит специальная фирма раз в две недели. Чистящие средства, которые они используют, вызывают у меня аллергическую реакцию. Насморк и кашель.

Тут лифт. Тут кладовка.

Напротив меня живет симпатичная лесбийская пара. Они занимают две квартиры — четырех— и двухкомнатную. Стар-

шая, почти квадратная лесбиянка хронически больна. Каким-то особо мучительным и трудно поддающимся лечению ревматизмом или артритом. Она самоотверженно борется с болезнью и явно не без успеха. Часами работает на цветочных клумбах перед домом, водит машину, ездит отдыхать на живописное побережье Балтийского моря, на остров Рюген, носит сумки с провизией. За последние два года умерли все три ее горячо любимые собаки. Хозяйка их долго ходила мрачная, не отвечала на приветствия. Месяц назад купила новую собачонку — беленького шпица. Холит его и лелеет. Носит на руках и покупает ему мясо перепелки. Заметно оживилась и стала отвечать на приветствия. Ее партнерша — худенькая, долговязая и с виду абсолютно лишенная собственной воли женщина неопределенного возраста. Раньше она работала на расположенной неподалеку огромной фабрике-хлебопекарне «Харри». От нее всегда чуть-чуть пахло свежими булочками. Теперь она уборщица в детском саду. Не надо вставать в четыре утра. За девять лет соседства я лишь однажды видел, как она улыбается. Ее сожительница подарила ей фартук с желто-красным узором. Декоративные утки.

В четвертой, однокомнатной квартире живет пожилая румынка. Злющая. Хромая и глухая. Я много раз описывал ее в своих рассказах, не буду повторяться. Моя догадка о том, что она ведьма, недавно подтвердилась. Я видел, как она, хищно пригнувшись, жутко гримасничая, бормоча заклинания и неправдоподобно выпучивая свои черные глаза, вылетала из окна кухни на помеле.

Последнюю фразу, господа, воспринимайте как шутку.

Иду по лестнице вниз, камера пляшет у меня в руках. Старость — не радость.

Выхожу из дома. Снимаю маску. Вдыхаю и нюхаю воздух. Для города — вовсе не плохо. Рядом с нашим подъездом соседка снизу развела целый розарий. Чайные розы. Большие и пахнут дивно. Их иногда воруют подростки из соседних подъездов, из тех, где погрязнее и победнее. У них на газонах никаких цветов нет, только окурки валяются. Сотни, тысячи окурков... посмотрите сами. Стараюсь не реагировать, иначе сойти с ума можно.

Да, господа, этот обшарпанный длиннющий одиннадцатизэтажный дом с десятью подъездами, часть колоссальной по образной конструкции, — это мой дом. Показываю перспективу снизу. Выглядит внушительно.

Построен еще при ГДР. Несколько раз отремонтирован. Тут я живу со своей немкой. В трехкомнатной квартире. В одном из трех его подъездов, где квартиры приватные, а не сдаются концерном АЛЬФА, в начале девяностых годов скупившим чуть ли не две трети берлинских квартир подешевке, не заботящимся о жильцах и их жилплощади. Посмотрите, вот, перед входом в наш подъезд валяются капсулы с крысиным ядом, не вздумайте взять их в руки, а вон там, на седьмом этаже... наш балкон. В этом году на нем немного цветов, обычно больше. Анютины глазки, бегонии, гелиотропы, маргаритки. Наша гордость, подсолнухи, выросли как на дрожжах и радостно приветствуют солнце своими желтыми мордами. Мы их даже не сажали. Соседи сверху кормят птиц семечками. Иногда они падают в наши забалконные ящики с землей. И растут там сами, как сорняки. Моя немка их не выпальвает. Добрая.

Балкон наш выходит почти на юг. Поэтому летом на нем невозможно находиться с половины двенадцатого дня и до восьми вечера. Жарко нестерпимо. Подсолнухи и петунии приходится поливать два раза.

Мы установили на балконе ванночку с водой для птиц. Из нее пьют и в ней купаются воробьи и синицы. Голубей и ворон я гоняю. Вороны воспринимают это как должное, они холодно презирают людей. А голуби обижаются. Немка ругает меня за мое отношение к птицам. А я пугаю ее птичьим гриппом.

На балкон ведет стеклянная дверь из нашей гостиной и открывается окно нашей двенадцатиметровой кухни.

Отсюда мы в последнее время часто наблюдаем демонстрации противников ограничительных мер властей против эпидемии ковида. Сторонников теорий заговора, патологических антипрививочников, правых...

Они охотно маршируют по нашей улице, названной по имени голландского художника, покончившего жизнь самоубийством на юге Франции в конце девятнадцатого века вы-

стрелом в сердце. Бешено кричат, потрясают плакатами, свистят. Иногда — едут на автомобилях, громко сигналият, орут... Демонстрации эти легальные, их защищает полиция. После того, как они наконец уходят или уезжают, наступает блаженная тишина.

Как хорошо, когда никто не орет на улице! У нас шумно и без всяких демонстраций. Пьяные орут по ночам. Дети — в детских садах орут так, как будто их порют. Собачники, выгуливающие своих питомцев, тоже орут как сумасшедшие. Сардонически хохочут, визжат. Собаки лают. Бывает, что тут и постреливают. Кто в кого стреляет — не знаю.

Район наш — считается одним из худших в Берлине. Блочные бетонные коробки. Много бедных, безработных, иностранцев. Есть и уголовники... Слава богу, они редко пако-стят там, где живут. Почти нет ресторанов, кафе, разнообразных магазинчиков и всего того, что как-то связано с культурой или удовольствиями. Нет галерей, клубов, дискотек, кинотеатров, бассейнов, теннисных кортов, борделей... Зато есть старая тюрьма Штази, превращенная ее бывшими заключенными в музей.

Но есть конечно положительные стороны и у нашего района. Улицы широкие, светлые, дома не лезут друг на друга, много зелени, воздуха... А все прелести Берлина — музеи, галереи, концертные залы и прочее — находятся в полчасе езды на эс-бане или трамвае. Так же как и центральный железнодорожный вокзал.

Я понимаю протестующих. Люди устали от пандемии и связанных с ней неудобств и страхов. Многие из них потеряли работу, другие еще как-то пострадали... не из-за болезни, а из-за противодействия ей. У третьих поехала крыша. Они уверены, что во всем виновато правительство и местные власти. Лично канцлерша Меркель. В припадке безумия они атакуют полицию, пожарников и даже скорую помощь. И еще, они убеждены, что некие таинственные силы хотят вначале лишить прививками мужчин и женщин их детородных способностей, а потом и умертвить половину человечества. Из их теорий как-то неясно следует, что этот коварный заговор организо-

ван известными всему миру преуспевшими евреями-богачами. Пресловутым «мировым правительством». В которое, по мнению профессора Соловья, истово верят и современные российские эфэбешники.

Ничто не ново под Луной. То, что авторы «Протоколов сионских мудрецов» и нацистские пропагандисты изо всех сил внушали простым немцам, то, что из их голов позже выбивали американцы в лагерях денацификации — сейчас возрождается в умах само, почти без воздействия пропаганды. Органично. И растет как подсолнухи у нас на балконе. С этим ничего нельзя поделать. Мне неприятно об этом думать. Потому что я предчувствую — рано или поздно евреям придется бежать отсюда. Всем. Не знаю, примет ли нас кто-нибудь в эти новые чудесные времена.

Недалеко от нашего дома — недавно построенное семиэтажное здание дома для престарелых. Синее и печальное, как все подобные заведения. С огромными балконами и гигантскими окнами. Многие его обитатели ходят, опираясь на свои руляторы, в расположенные напротив магазины Пенни и Реве. Покупают фрукты и сладости. Один русский старик бойко ездит в инвалидном кресле и собирает мусор на тротуаре. Длинной палочкой с гвоздем на конце. Подцепив бумажку или листок, он не кладет их в мешок, а бросает на проезжую часть улицы. Занимается он этим неблагодарным делом часами. Я раньше пытался поговорить с ним — и по-русски, и по-немецки — но он не отвечает на мои вопросы, а только сердито смотрит куда-то вбок своими безумными глазами, давно потерявшими выражение и цвет.

Из дома для престарелых до нас часто доносятся крики и стоны. И долго-долго не смолкают.

В просторных залах столовой на первом этаже синего дома раз в два или четыре года мы выбираем местных и общенемецких парламентариев. Мне и моей подруге это очень удобно — от нашего подъезда до избирательного участка — шагов шестьдесят.

Следующие выборы состоятся в конце сентября. Посмотрите, на всех столбах — выборные плакаты. Камера показы-



вает плакаты, задерживается на нескольких лицах. Все кандидаты холеные, сытые, улыбающиеся...

Беда в том, что выбирать некого. Во-первых, мы, избиратели, не знаем наших кандидатов. И, по-хорошему, и знать не хотим. Поэтому выбираем партии, а не кандидатов. Программы, впрочем, никто не читает. Макулатура.

Во-вторых, все большие партии Германии — кроме правой Альтернативы — правили какое-то время последние тридцать лет. Все обещали, обещали, а затем демонстрировали лицемерие, эгоизм, политическую импотенцию, неумение и нежелание решать реальные задачи. И нежелание работать — на заседаниях Бундестага чаще всего присутствует пятая часть депутатов. Или того меньше. А зарплату получают все. В штате у депутатов состоит немыслимое количество всяческих помощников, референтов и секретарей. И эта орава профессиональных бездельников решает судьбу Германии.

Некоторые партии сделали в последние тридцать лет много дурного. Обещаниям их не верят, ведь они имели возможность претворить в жизнь все то хорошее, что обещали в предвыборную кампанию, но не претворили.

Да, в Германии работающая демократия... но большинство избирателей выбирают по старинке. Традиционно. Не вникая глубоко. Богатые всегда за христианских и свободных демократов. Те, кто победнее — за социал-демократов. Другие — очень многие — голосуют протестно. Бывшие граждане ГДР выбирают левых... Многие бывшие советские — Альтернативу. Они надеются на то, что эти новые, озлобленные люди приостановят поток беженцев. Зря надеются. Кроме распространения в обществе ксенофобии эта партия пока ничего не добилась. Кажется, они бездарно пропустили открывшееся им было окно возможностей. Немецкие неофашисты — от умеренных, до оголтелых — ждут своего часа. Он наступит, если экономика Германии рухнет. Когда это произойдет и произойдет ли вообще — не знает никто.

Кстати о беженцах.

Давайте посмотрим на прохожих.

Вот беременная вьетнамка с коляской. В коляске — малыш. Улыбается маме, а мама улыбается и ему и нам. Дружелюбные и трудолюбивые люди эти вьетнамцы. Живут тут среди своих... женятся... говорят по-своему... и так проживают жизнь. В этническом гетто. В последнее время немецкие вьетнамцы поумнели. Поняли, что успех в жизни, это не только деньги-шмотки-еда-машина-квартира, а образование для детей. Но выйти из гетто им пока не удастся. За ними будущее.

А вот и черная семья — он, она и три симпатичные девочки с цветными бантиками. Таких семей в нашем районе все больше и больше. Так же как и сирийских, афганских, иракских, иранских... Я не расист, но мне это не нравится. А моя немка довольна. Говорит: Они разбавят нашу старую кровь.

Ну разбавят, так разбавят. И превратят милую процветающую Германию в Гарлем, Африку или восточный базар.

Да, Германия впустила сюда и меня с женой и дочкой. И еще три с половиной миллиона «этнических немцев» и тысяч двести «евреев из бывшего СССР». Понимаю. Не мне бросать камни в мигрантов, бегущих от голода и насилия. А я и не бросаю. Но закрывать глаза на очевидное — не хочу. Да, посмотрите сами. Вон там — молодой парень, скорее всего араб, взгляните в его глаза, в выражение его лица. Рядом с ним — еще двое. Стая. Возможно они не беженцы, родились тут. Но воспитали их родители-мусульмане в своих традициях. А обработали им мозги — оплаченные саудитами проповедники в мечетях. Сделали из этих молодых парней врагов западной цивилизации. Вот они и смотрят волком на все окружающее. И хорошо, если позже не примкнут к воинствующим братьям по вере и не станут террористами или не войдут в один из многотысячных криминальных кланов, которые тут организовали бывшие беженцы из Ливана и палестинцы для контроля над игорными заведениями, проституцией и продажей наркоты.

Каждый раз, когда я встречаю на улицах Берлина мусульман — стараюсь ненавязчиво заглянуть им в душу и понять, кто они. Возможно я ошибаюсь, но в каждом третьем я

замечаю откровенную враждебность. Девушки-мусульманки мягче. Часто — красавицы. Дети — почти всегда очень симпатичные.

Ладно, бог с ними, если немцы решили таким образом себя прикончить — не в моих силах что-то изменить. Что будет, то будет.

Если быть до конца честным, то должен признать, что мое неприятие мусульман происходит не столько от исходящей от них реальной угрозы, сколько просто от моей личной трусости. Да, я их боюсь. Даже нож в кармане ношу. Вот, посмотрите. Но я не опасен. В случае чего, брошу нож в сторону и быстро убегу. А если не смогу — сяду на асфальт и буду выть. Да, да, можете не усмехаться и не качать головой — сидящий на асфальте воющий человек — это и есть мое настоящее обличье, это — я, еврейский эмигрант из бывшего СССР, гражданин Германии, пенсионер и русский писатель.

Каков набор!

Для полноты картины замечу, что физиономии людей, говорящих в Берлине на моем родном наречии, раздражают меня, пожалуй, еще больше чем арабские или турецкие лица. Потому что на многих из них я замечаю нечто хорошо мне по жизни в Союзе знакомое, худшее даже, чем недоброжелательность и агрессия, — тупость, зашоренность и нахрап.

Ну что, кажется раздал всем сестрам по серьгам (так ставила ударение моя русская бабушка).

Только немцев забыл упомянуть... может и к лучшему.

Ладно, пойдем дальше... обещаю больше не брюзжать.

Расскажу вам жуткую историю, которая произошла в этом парке. Однажды утром тут нашли отрезанную человеческую ногу...

## ЛОЛИТА, ИЛИ ВАКЦИНА ОТ БЕШЕНСТВА

Захотел развлечься. Прочитал «Лолиту» (по-русски). Вчера. Неприятная книга. Удивительно многословная и навязчивая. Перенасыщенная ароматическими солями. Как вода Мертвого моря.

В каждой десятой строке — что-то по-французски. В каждой пятнадцатой — неизвестные мне имена, топонимы, цитаты. Реальные и выдуманные.

Ритм из-за этого постоянно рвется. Много уродливых слов и уродливых предложений (автор-переводчик явно подзабыл русский язык).

Право, если бы Набоков сократил эту разбухшую от половых страстей, воспаленную книгу до 60-страничной новеллы, а силу свою и гениальность показал бы не 6000 раз, а только раз двадцать-тридцать... было бы лучше. А так... в этой прозе невозможно дышать. Слишком сильно пахнет одеколоном.

Вторую часть, за исключением нескольких важных сцен, читал по диагонали. Так осточертели мне излияния препротивного Гумберта Гумберта, хамство дуры-Лолиты и гениальничание торжествующего автора, полагающего видимо, что из его словесной паутины читателю уже не вырваться. Скрытое и не скрытое презрение Гумберта Гумберта и автора к провинциальной Америке, ее городкам, отелям, мотелям, магазинам, к ее музыке — тоже книгу не улучшает. На кой черт приперся, если тебе все тут не нравится? Уматывай! Впрочем, Набоков так именно и поступил, как только заработал достаточно денег, покинул Новый свет навсегда. Лицемерно расписывая, как он полюбил Америку.

Будь я литературоведом, написал бы книгу «О бесконечном вранье Набокова». В которой акцентировал бы внимание не столько на насквозь лживые набоковские интервью, сколько на его прозе.

О прозе. «Лолита» это не роман, это дискредитация прозы как таковой. Поэтический талант автора сильно этой прозе нагадил. Устроил наводнение из духов и подтопил многие конструкции. Кое-что и отполировал и отлакировал. А проза, на мой взгляд, должна быть корявой и сухой. По возможности короткой. Без мускуса и трюфелей.

Весь этот бесконечный роман автор тащит читателя по лабиринту неинтересных подробностей. Обрушивает на него поток ненужных слов. Жадно и талантливо психоложничает.

Мне кажется этот текст не требует никакой «перекодировки». Он есть то, что он есть — рассказ от первого лица о поступках, мыслях и фантазиях Гумберта Гумберта, помешанного на нимфетках.

Самоистязания главного героя — наводят тоску. И в начале текста, и в середине, и в конце. И «прозревает» он в сцене с беременной Лолитой или нет — совершенно не важно. И запоздалые его слезы — крокодиловы (хотя, читая это место, я тоже прослезился). Комаровский из параллельного «Лолите» «Доктора» — погуще и поправдивее.

Не знаю почему, но мне всегда казалось, что «Лолита» — это что-то вроде интуитивного эмигрантского ответа на «Доктора Живаго». Понимаю, что это абсурд, сроки не сходятся. Но все же... вот, ты не уехал, остался на родине — ну что же, получай все ужасы, которые тебе эта обезумевшая страна приготовила. И Гражданскую войну, и террор, и лагеря, и бесправие, и травлю... А я... займусь нимфетками... У тебя трагедии... гибель цивилизации... ты доволен? Жри. А у меня — фирлефанц. Рапсодия в стиле блюз. Единственное убийство в романе, да и то — не настоящее. Вот... только что закончилась бойня, Вторая мировая, а я этого и не заметил. Потому что голени у моей крошки чудо как хороши. Золото... чистое золото.

Лолита — в моем восприятии — вовсе не раздваивается на реального ребенка и порождение фантазии... она, как и считала

ее мать — нормальный подросток. Довольно скучный. Нудный. А иногда и противный. Что нашел в ней Гумберт?

Что диктатор Набоков заставил его в ней найти?

Понятно. На каждой странице этого романа мелькают — как рыбки в аквариуме — «трепещущие прелести», «тугой задок», «просвечивающие кармином пальцы», «запыленные лодыжки», «золотистые голени», «ерошившиеся» или «крыжовенные» волоски, «бесстыдные невинные бедра», «огнерозовые ноздри», «бессердечные, дымчатые глаза», «бледно-фарфоровые ноги», «лилейные шеи», «атласистые отливы кожи на висках» и много чего еще.

Гумберт мечтает о «предельных судорогах» и других «мускатносладких эпизодах».

Тошно и клаустрофобично.

Действия практически нет. Бесконечный монолог, нашпигованный как изюминками всевозможными литературными красотами-индульгенциями. Анаграммами, аллитерациями и другими аллюзиями, ловушками и мудреными загадками.

Плевать я хотел и на ловушки, и на загадки. Времена изменились. Луна повернулась к нам обратной стороной.

Роман этот для меня — огромный ком окрашенной в различные тона солено-сладкой ваты. С кокаиновыми присыпками.

За комом прячется автор с сачком в руке. Попробуй ему возражи — поймает, отравит газом и на иголку насадит. Видели его колени? Голиаф.

Автор-автократ отнял в этом тексте не только свободу у собственных литературных героев, но и свободу сотворчества у читателя.

Которому остается только глотать в ритме вальса тщательно разжеванное литературное фрикасе.

Сам ложно-фаустовский бунт главного героя, бунт не столько против косного общества, преследующего любителей маленьких девочек, сколько против времени, этого конвейера старения, старения и смерти, не дающего блаженному мгно-

вению остановиться, превращающего андрогинных нимфеток в «глупых толстых баб», — так сильно парфюмирован автором-бабочковедом, так аккуратно мелодраматически смазан, что вызывает у читателя не сочувствие, а только удушье...

Цель этого ловца человек — очевидно — подсадить простака на свое наркотическое чтиво. Не дать ему выбраться живым из джунглей, состоящих из коленок, бедер, золотистых кудрей, «сумрачно льнувших» нимфеток, склоняющих свои головы «сонным, томным движением» и держащих в «неловких кулачках» — «скипетр его страсти».

Не обольщайтесь, вовсе не несчастные нимфетки то и дело хватают в этом романе читателя за уд, это делает автор. На каждой странице — по несколько раз.

И делает он это бесцеремонно, цинично, целенаправленно.

И, при этом, задыхается от чувства превосходства над всеми остальными двуногими: «...этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно более пронзительного блаженства. Тусклейший из моих к поллюции ведущих снов был в тысячу раз красочнее прелюбодеяний, которые мужественнейший гений или талантливейший импотент могли бы вообразить...»

Каков апломб! У Гумберта Гумберта? Да. И у автора, тоже. Литературный апломб, конечно.

После Пруста и Джойса и всего нашего Серебряного века? Ну, наглец...

Набоков написал книгу о страсти к нимфетке. Обгрыз и обсосал тему со всех сторон. До сыта наслаждался горестями все потерявшего по дороге в ад Гумберта Гумберта. По ходу дела нагло сметая с шахматной доски отыгравшие свои роли фигуры.

Вначале — отправил в небытие юную возлюбленную Гумберта Аннабеллу (тиф), потом — жену Валерию вместе с любовником, вторую жену, Шарлотту бросил под машину, повзрослевшую Лолиту с ее животом заставил умереть ро-

дами, промежуточную безликую Риту просто выгнал из романа, несчастную Джоану Фарло заставил отдать концы от рака, супостата-драматурга прикончил жутко, в лучших шекспировских традициях, а потом и самого «ненадежного рассказчика» Гумберта Гумберта угробил вовремя подоспевшим разрывом аорты.

Автор выиграл партию против читателя. На доске не осталось ни одной фигуры.

Нечто подобное «Лолите» Набокова сотворил в живописи и графике — французский художник Бальтюс (Бальтазар Клоссовски де Рола). Просматривая его картины с полуобнаженными девочками-нимфетками невольно вспоминаешь «Лолиту».

И непонятно, кто из них лучше отобразил образ нимфетки, художник или писатель.

И в голову даже приходит крамольная мысль — не были ли эти, чарующие образы Бальтюса одним из источников вдохновения Набокова.

Критики, как всегда ищущие и хватающиеся за все толстые и тоненькие соломинки, кивают на известный случай похищения одиннадцатилетней Салли Хорнер, которую ее похититель, пятидесятилетний автомеханик Фрэнк Лассаль возил по провинциальной Америке почти два года, наслаждаясь каждый день ее прелестями, на романы Сименона и Фолкнера, на бесстыдную «Исповедь Виктора Х», на подражание Гофману немецкого писателя Хайнца фон Лихберга, в котором главную героиню тоже зовут Лолита...

Мне было бы приятно, если бы какой-нибудь всезнайка доказал, что Набоков вдохновился на самом деле картинами, живописью... Это примирило бы его интерпретаторов, спорящих о том, что в его романе фантазия автора, что фантазия главного героя, а что его собственная реальная страсть...

Набокова и Бальтюса связывают однако не только нимфетки. Мастерски описанные в романе (и не совсем немые)



«немые сцены» подозрительно напоминают многофигурные композиции Бальтюса. Каждый персонаж — и на тех и на других — живет и действует как бы в своей монаде. Невидимой для других. В своем странном, индивидуальном пространстве существования. Если угодно, в своей «экзистенции». В своем горе. В своей радости. В своем одиночестве.

Оба воспроизводят разъятую на части почти сюрреалистическую вселенную. Атомизированное человечество.

Принято считать, что первым наброском к роману «Лолита» стал великолепный рассказ Набокова «Волшебник» (последний его текст на русском языке), написанный в октябрь-ноябре 1939 года в Париже. К этому времени живущий в Париже Бальтюс написал уже 10 картин, для которых ему позировала Тереза Бланшар (ей в то время было от десяти до двенадцати лет). Очень возможно Набоков видел тогда, в Париже, некоторые из них и оценил удивительный, магический дар этого необычного мастера. Которого — единственного художника — упоминал спустя много лет в интервью. Мастера, ему безусловно конгениального.

В рассказе «Волшебник» главный герой так описывает предмет своей страсти (процитирую только начало длинного описания):

«Оригинал: спящая девочка, масло. Ее лицо в мягком гнезде тут рассыпанных, там сбившихся кудрей, с бороздками запекшихся губ, с особенной складочкой век над едва сдавленными ресницами, сквозило рыжеватой розовостью на ближней

к свету щеке, флорентийский очерк которой был сам по себе улыбкой».

Это неуклюжее описание идеально подходит например к картине Бальтюса «Мечтающая Тереза». Другие части описания можно сравнить с другими картинами Бальтюса того времени.

Само начало описания — «масло» — указывает возможно не на маслянистость тела девочки, а на технику живописи.

Слова «флорентийский очерк» — отсылают читателя к художникам ренессанса, работы которых Бальтюс как известно копировал (Пьеро делла Франческо, Мазаччо), хотя возможно слово «флорентийский» относится к Беатриче (наряду с Лаурой, извечной тени набоковских нимфеток).

Многие описания Лолиты в романе также идеально подходят к картинам Бальтюса. Следует вероятно напомнить, что одна престижная галерея в Нью Йорке много лет показывала у себя работы Бальтюса. Возможно нью-йоркский Набоков видел их там и после Парижа.

Когда девяностодвухлетний Бальтюс, до конца своих дней упорно пишущий и рисующий полуобнаженных девочек (после него остались и сотни «скандальных» полароидных фотографий), умер — насмешники говорили: Что-то будут теперь делать лолиты без своего Гумберта.

У Бальтюса и у Набокова есть особенное сходство. Оба «сделали деньги на малолетках» (извините за низкий стиль). И это никакая не легенда, а правда.

У полунищего художника ничего не покупали. Тогда он — совершенно сознательно — написал в 1934 году единственную в своей жизни порнографическую картину — «Урок игры на гитаре». Зрелая женщина, учительница игры на гитаре, сидит в кресле. Правая грудь ее обнажена. На коленях у нее лежит ее молоденькая ученица. Юбка ее задрана, трусиков нет. Она — в обмороке или... в экстазе. Левая рука учительницы подбирается к ее вульве. Правая — держит ее за волосы. Гитара валяется на полу.

Картина эта вызвала скандал (она до сих пор провоцирует скандалы, мир узколоб и полон ханжества). Но к имени художника было привлечено внимание. Неизвестно почему, за ним утвердилась репутация «садиста и извращенца». Его приняли в свою компанию парижские сюрреалисты. Чего же более? Пожилые дамы начали заказывать у него портреты. Бальтюс писал их неохотно, но у него появились деньги.

Набоков — говорят, что по совету умной жены — написал «скандальный» роман. «Лолиту» напечатало парижское издательство с сомнительной репутацией. В некоторых странах роман запретили. Потом экранизировали. Набоков стал богачом.

Разумеется, Лолита — не порнографическая картина, а сложное художественное произведение, допускающее различные трактовки и интерпретации. Но именно этот роман сделал Набокова мировой знаменитостью. И не только из-за его достоинств, но и из-за извращенной страсти главного героя и парфюмерной красоты лодыжек нимфетки.

Гумберт Гумберт — как мне всегда казалось — мученик-валах, искусственное создание писателя-аристократа-мизантропа, существа космической надменности, полного глубокого презрения к людям. Тщательно замаскированного презрения.

Гной его мизантропии, его ярость и его гнев пробиваются однако то и дело сквозь внутренние монологи его услужливого героя на страницы книги (перечитайте «Лолиту», найдете массу примеров.).

Обстоятельства мстят герою, а не автору. Он все теряет.

В конце книги Набокову окончательно удалось сбить ищеек-критиков со следа. Обратите внимание на число 56. Автор потирает руки. Критики растерянно улыбаются.

Полагаю, Набокову была невыносима даже мысль о том, что кто-то после него осмелится писать роман. И он как мог размыл, разрыхлил, отравил саму субстанцию романа. Своей слюной. В самом деле — главный герой «Лолиты» Гумберт Гумберт практикующий педофил, гонящийся за нимфетками. Не способный жить с нормальной взрослой женщиной. Ненавидящий женщин. Его потенциальная жертва — двенадцатилетняя школьница Лолита. Жена педофила, мать Лолиты, которой он желает смерти, попадает под машину, и он два года разъезжает вместе с Лолитой по провинциальной Америке на автомобиле и наслаждается сексом с подростком. За-

тем Лолиту переманивает к себе человек, еще более гнусный, чем Гумберт, драматург Куильти, и она убегает от Гумберта. А когда она не соглашается на участие в оргиях на его ранчо — выгоняет ее как собаку на улицу. Гумберт напрасно ее ищет, он потерял ее навсегда. Через несколько лет Лолита находит себе мужа-калеку, беременеет от него и просит Гумберта о денежной помощи. Гумберт находит ее и дает ей деньги. Внезапно осознает, что без памяти любит ее. Рыдает. Три раза предлагает ей уйти с ним. Лолита не соглашается. Гумберт уезжает, находит Куильти и зверски убивает его. Лолита умирает родами. Гумберт умирает в тюрьме. От романа остались рожки да ножки. Его сожрала черная поэтическая мелодрама с извращениями.

На планете Набокова царит вечный «тусклый невралгический день».

Человечество глазами мономана Гумберта (из-за маски которого то и дело вылезают уши автора) выглядит примерно так: Старики и старухи — зловещие чудовища. Маленькие дети — несносные создания, мешающие жить. Некоторые девочки — нимфетки, они — предмет вождления, внимания, любви. Другие девочки — не нимфетки — также несносны, как и все остальное человеческое стадо. Студентки — «гробницы нимфеток из огрубелой женской плоти» с «тяжелыми отвислыми жадами, толстыми икрами и прыщавыми лбами». Взрослые женщины — невыносимые существа, «рабовладелицы», «сумасшедшие стервы», «старые ведьмы», «толстые дуры», «коровы». Их можно и нужно обманывать, использовать, давясь от отвращения, как «живые ножны»... чтобы подобраться к их несовершеннолетним дочкам. Ни для чего другого они не годны.

Мальчики возраста нимфеток — наглецы, юноши «состоят из мускулов и гонореи», взрослые мужчины — опасные и назойливые кретины, всеильные богачи — развратники, растлители, солдаты — насильники, врачи-психиатры норовят засадить Гумберта-психованного в дурдом... литераторы — бездарные паяцы, зеркала автора и Гумберта, один из

них отнимает у Гумберта его любовь, его счастье. Его можно вполне театрализованно прикончить. То ли по-настоящему, то ли понарошку.

От всех мужчин пахнет козлом. От женщин — скверными духами и потом. Лолиты пахнут медом.

Судя по тексту книги, Гумберт целый день размышляет и мечтает о нимфетках.

Он — слабак.

Строит воздушные замки, которые при столкновении с реальностью — рассыпаются. Нет смысла подчеркивать, что это не маниловские фантазии, он мечтает о совокуплении с малышками. О регулярном совокуплении.

Автор — явно оправдываясь — сообщает читателю, что его главный герой пишет по заказу издательства книгу о французской поэзии, даже вроде бы уже подготовил ее к печати (то есть на самом деле — он востребованный писатель)... но из текста «Лолиты» этого не следует. Это «отмазка» Набокова, для того, чтобы читатель не воспринимал Гумберта исключительно как зациклившегося на маленьких девочках надменного бездельника-сибарита, мономана и психопата. Набоков пытался придать вес своей бабочке, трепещущей на иголке. Игрушечному дракончику с крыльями из станиоли.

Когда я в 1989 году впервые открыл крохотную, только что напечатанную как приложение к «Иностранке» «Лолиту», я тоже, как и поколения мужчин до меня и поколения после — ожидал найти детальное описание половых сношений взрослого мужчины с двенадцатилетней девочкой (такова была слава этой книги). Полистал роман. Нашел нечто подобное где-то в середине. Прочитал. Боже, какая тягомотина! Ни рыба, ни мясо. Сколько никому не интересных подробностей, перечислений! Ну да, для копающих в своем либидо эстетов, наверное, это интересно.

Я эстетом не был. К художественной литературе уже охладел.

Позволю себе привести длинную цитату из романа. Тут описывается первое половое сношение Гумберта Гумберта и его осиротевшей падчерицы в отеле «Зачарованные охотники».

«Ты хочешь сказать, что ты никогда?» — начала она, пристально глядя на меня с гримасой отвращения и недоверия. «Ты — значит, никогда?» — начала она снова. Я воспользовался передышкой, чтобы потыкаться лицом в разные нежные места. «Перестань», гнусаво взвизгнула она, поспешно убирая коричневое плечо из-под моих губ. (Весьма курьезным образом Лолита считала — и продолжала долго считать — все прикосновения, кроме поцелуя в губы да простого полового акта, либо «слюнявой романтикой», либо «патологией».) «То есть, ты никогда», продолжала она настаивать (теперь стоя на коленях надо мой), «никогда не делал этого, когда был мальчиком?» «Никогда», ответил я с полной правдивостью. «Прекрасно», сказала Лолита, «так посмотри, как это делается». Я, однако, не стану докучать ученому читателю подробным рассказом о лолитиной самонадеянности. Достаточно будет сказать, что ни следа целомудрия не усмотрел перекошенный наблюдатель в этой хорошенькой, едва сформировавшейся, девочке, которую в конец развратили навыки современных ребят, совместное обучение, жульнические предприятия вроде герл-скаутских костров, и тому подобное. Для нее чистомеханический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым. Как поступают взрослые, чтобы иметь детей, это совершенно ее не занимало. Жезлом моей жизни Лолиточка орудовала необыкновенно энергично и деловито, как если бы это было бесчувственное приспособление, никак со мною не связанное. Ей, конечно, страшно хотелось поразить меня молодецкими ухватками малолетней шпаны, но она была не совсем готова к некоторым расхождениям между детским размером и моим. Только самолюбие не позволяло ей бросить начатое, ибо я, в диком своем положении, прикидывался безнадежным дураком и предоставлял ей самой трудиться — по крайней мере пока еще мог

выносить свое невмешательство. Но все это, собственно, не относится к делу; я не интересуюсь половыми вопросами. Всякий может сам представить себе те или иные проявления нашей животной жизни. Другой, великий подвиг манит меня: определить раз навсегда гибельное очарование нимфеток.

\* \* \*

Последнее утверждение Гумберта о том, что он не интересуется половыми вопросами, так легко приписываемое доверчивыми критиками автору, — не более чем откровенное вранье. Наоборот, можно сказать, что он только ими и интересуется. Почти все действующие лица романа — описываются Гумбертом прежде всего как носители пола, секса. Например, вот что он пишет, игриво недоговаривая, о покойном муже своей второй жены: «Меня немало позабавили некоторые необыкновенные половые причуды, свойственные почтенному Гарольду Гейзу по словам Шарлотты, которая сочла гогот мой неприличным...» И это маленькое описание — это собственно все, что читателю достоверно известно об этом человеке. Ну да, еще известно, что карманный пистолет с ореховой рукояткой был собственностью Гарольда, ну и еще один раз Гумберт сардонически предполагает, что Гарольд зачал Лолиту «в час сиэсты» (так у Набокова), «в комнате с голубыми стенами во время свадебного путешествия в Вера Круц». Это все.

А вот что сообщает давно покинутый Лолитой Гумберт о своей новой подруге, Рите, после краткого описания ее внешности: «Чувственность мою она только очень слегка бередила, но я все-таки решил сделать пробу; проба удалась, и Рита стала моей постоянной подругой. Такая она была добренькая, эта Рита, такая компанейская, что из чистого сострадания могла бы отдаться любому патетическому олицетворению природы — старому сломанному дереву или овдовевшему дикобразу».

Боюсь, царапающееся слово «дикобраз» — в этом контексте — не является чистой метафорой. Скорее это гибрид.

Своего коллегу по университету Гастона Годэна Гумберт, вечно смотрящий на других людей так, как будто он смотрит-ся в зеркало, характеризует так: «Вот, значит, перед вами он, человек совершенно бездарный; посредственный преподаватель; плохой ученый; кислый, толстый, грязный; закоренелый мужеложник, глубоко презирающий американский быт; победоносно кичащийся своим незнанием английского языка; процветающий в чопорной Новой Англии; балуемый пожилыми людьми и ласкаемый мальчишками».

Из всего того, что Гумберт пишет о Джоане Фарло, подружке Шарлотты, в памяти у читателя остается только это: «Села на белый песочек между Шарлоттой и мной. Ее длинные коричневые ноги в трусиках были для меня приблизительно столько же соблазнительными, как ноги гнедой кобылы. Она показывала десны, когда улыбалась...»

Любую особу женского пола Гумберт Гумберт (как впрочем и любой другой мужчина, еще не потерявший либидо) «примеряет на себя». Но половыми проблемами якобы не интересуется. Да все ровно наоборот! Он весь состоит из пола! Вроде как вышеупомянутый «жезл».

Гумберту вторят другие герои. Гнедая кобыла рассказала тогда следующее: «Раз, вечером я видела двух детей, мужского и женского пола, которые вот на этом месте, деятельно совокуплялись. Их тени были как гиганты. И я кажется говорила вам о Лесли Томсоне, который купается нагишом на заре. Я теперь все жду, что после черного атлета появится жирная котлета, Айвор Куильти (наш дантист), без ничего. Он, между прочим, невероятный оригинал — этот старик. Когда я у него была последний раз, он мне рассказал совершенно неприличную историю про племянника. Оказывается...»

Племянником дантиста был драматург Куильти.

Вернемся теперь к процитированному выше описанию первого совокупления Гумберта и Лолиты. Я надеюсь, у читателей не возникает желание трактовать эту сцену «символически» или как-то ее «перекодировать».



Я уверен, что Набоков показал себя тут как теоретик, чайник. Он пишет о том, что сам никогда не переживал. К чему и близко не подходил. Сцена эта кажется мне абсолютно неправдоподобной.

Разумеется, Набоков имел право писать все, что ему вздумается. А тем более волен был писать, все, что ему вздумается, его литературный герой Гумберт Гумберт.

Но и я, дорогие дамы и господа, тоже имею право писать все, что хочу.

Вы спросите меня, почему я решил, что Набоков в этой сцене (цитата моя покрывает только ее часть, позже Гумберт сознается, что сделал «это» в то прекрасное утро с нимфеткой три раза) пишет чепуху.

Охотно объясню. Хотя, возможно вызову у вас бурю презрительного негодования.

Дело в том, что я знаю, о чем говорю не понаслышке. Нет, нет, и еще раз нет — я в зрелом возрасте не имел сношений с маленькими девочками. Самой молодой было, если память не изменяет, двадцать два года. Но я видел соответствующие видео в интернете. Пару десятков коротких видео. Больше не выдержал. Да, для того, чтобы их посмотреть мне пришлось нарушить закон. Каюсь. Но я это сделал. Потому что мне было любопытно. Меня тогда носило по интернетным помойкам как ветер носит листики по помойкам настоящим...

Что же я видел? Девочкам было больно. Очень больно. Почти все они плакали, корчились. Ни одна из них даже не изображала удовольствие и не имитировала оргазм. Мужчины были — все без исключения — криминальными типами. С грубыми лицами и грязными ногтями. Девочек явно принудили к содомской любви. Полагаю, «обычное» половое сношение между зрелым мужчиной и маленькой девочкой — физически невозможно. Если конечно девочка не развита не по годам, то есть уже не нимфетка, а девушка. Настоящего садизма в этих сценах не было. Такие видео тоже попадались мне под руку, но я их сразу закрывал — говорю это без рисов-

ки и ханжества — потому что сочувствовал жертвам и знал, что если я посмотрю на подобное хотя бы минуту, оно будет возвращаться и возвращаться в памяти как синий платок Фриды и приносить страдание и чувство бессилия и стыда.

Лолита в этой сцене ведет себя как опытная проститутка. А она, по роману, только несколько раз переспала в лагере с мальчиком ее возраста. К тому же она вдруг стала «шпаной», сексуальной шпаной... В двенадцать лет? И куда делось упомянутое «гибельное очарование нимфетки»? После такой ночи, точнее, такого утра, Гумберту Гумберту следовало бы разочароваться и действительно отправить Лолиту в строгую религиозную школу, а самому поискать кого-нибудь еще. Совершенно непонятно, как у него могло сохраниться столь могучее сладострастное желание — к «шпане». Я тоже не специалист по половым вопросам, но разжигать страсть педофила должны по идее — детская невинность, наивность, чистота... Неужели Гумберта интересовали одни лодыжки да голени? Тогда ему следовало купить себе хорошую куклу. С «атлассистыми отливами».

И еще. Я сам это пережил. Секс с девочкой одиннадцати лет. И прекрасно помню подробности, которые конечно смаковать тут не буду. Потому что смаковать-то нечего. Любовь с девочкой этого возраста — как сильно недопеченый пирог или недоваренная картошка. Сгодится разве что для воробьев.

Я тоже был еще ребенком. Мне было тринадцать с половиной. Ширинка рвалась. А голова была занята черт знает чем. Астрономией! Возился по ночам с подзорной трубой на штативе. Изучал звездные карты. Заучивал названия кратеров на Луне.

Я не уговаривал малышку заняться со мной сексом. Все получилось само собой. И конечно, не было во всем этом ни насилия, ни принуждения. И любви не было. И даже влюбленности. И никакого особого восхищения друг другом мы не испытывали. Скорее между нами была легкая неприязнь, кото-

рую двуногие этого возраста испытывают обычно к другим двуногим. Мы были, как почти все подростки, погружены в особую угрюмую прострацию, своего рода кокон. Из которого только изредка вылезали.

С одной профессоршей-старой-каргой в Доме отдыха МГУ отдыхала в августе 1969 года ее страшно начитанная и умная внучка. Рассказывали, что она уже прочитала всю русскую классику и знает «всего Пушкина и Лермонтова» наизусть. Ей прочили грандиозное будущее. Имя забыл.

Ужасно худая. С огромными черными глазами и большим еврейским носом. Было ей действительно одиннадцать лет, но, как она подчеркивала — «почти двенадцать».

И вот... мы оказались одни в прилегающем к Дому отдыха саду. Наши бабушки, знакомые между собой, пошли на встречу с известным режиссером... хотели затащить и нас, но мы отчаянно сопротивлялись... и они разрешили нам поиграть в саду (Дом отдыха и его сад были отгорожены от обычного подмосковного мира трехметровым забором с острыми пиками сверху).

Поиграть... В шахматы или шашки?

Я хотел было смыться. Найти кого-нибудь из друзей. Но черноглазая неожиданно повисла у меня на руке. Прошептала: Хочешь секрет покажу?

— Покажи.

— Пойдем.

И повела меня в глубину сада.

Казалось бы, все тропинки, все укромные уголки в этом саду были мне давно и хорошо известны. Но она провела меня в самый темный и неприятный участок сада, в котором стояла котельная с широкой закопчённой трубой. Я тут никогда не был. Из котельной доносился шум — как будто в ней ехал на месте старинный паровоз. И пыхтел и скрипел.

У котельной была небольшая пристройка. Возможно в ней раньше хранился уголь. Дверь в эту пристройку была заперта. Спутница моя достала из кармана ключ и открыла

дверь. Мы вошли внутрь. Пристройка была пуста как пустой орех. Только в одном углу валялась большая куча тряпья. Старые ватники, халаты, сапоги... Тряпье воняло.

— Откуда у тебя ключ?

— Дали.

— Кто дал?

— Не скажу.

— Ты что, тут уже была?

— Нет.

— Шумно тут... и воняет.

— Зато взрослых нет. Делай, что хочешь.

— А что ты хочешь делать?

Я спросил ее просто так, без задней мысли, чтобы не молчать. Ответ ее меня вначале озадачил.

— Ну то самое.

— Что то самое?

— Что мамы с папами делают перед сном.

— А ты что, подсматривала?

— Подсматривала.

— А если кто войдет?

— Я закрою дверь. Тут есть лампочка.

Она включила свет и заперла дверь. Лампочка под потолком еле светила.

— Пойдем, сядем на тряпки.

Голос ее изменился. Что-то в нем появилось торжественное.

Мне стало не по себе. Но я послушно прошел с ней к грудке тряпья и сел.

— Ну?

— Ну что ну, раздевайся.

— Совсем?

— Совсем.

Мы разделись. В неверном свете тусклой лампочки я ее почти не разглядел. Заметил только две маленькие — сопками — припухшие грудки, сморщенный пупок и почти безвольный лобок с ровной вертикальной ложбинкой.

Первый раз обратил внимание на ее острые скулы и большой рот с непропорционально крупными передними зубами, как у актрисы Джейн Биркин.

Рот этот все время кривился, то и дело показывались зубы.

Девочка раздвинула ноги и жестом показала мне, что я должен лечь на нее.

Я лег на нее и поцеловал в сухие губы. Она на мой поцелуй не ответила.

Ее затвердевшие соски кололи меня как иголки.

Возбуждился... не осознавая этого. Попытался войти, не очень хорошо понимая, что делаю, инстинктивно. Несколько раз куда-то ткнулся.

Она застонала вовсе не эротично. Скорее зло.

Еще и еще раз ткнулся членом туда, где предполагал находится вход в рай.

Увы, у нее все там было слишком узко... и я, как ни старался, так и не смог протянуть канат сквозь игольное ушко...

Ей стало больно...

Я перестал бороться, отлепился от нее и сел рядом с ней. Обхватил руками колени.

— Он у тебя слишком толстый.

— Найди того, у кого он потоньше.

— Найду, не беспокойся.

— Попробуем последний раз?

— Давай.

— Ой, ой!

Кажется, я надавил слишком сильно.

— Ты куда-то не туда давишь.

— Откуда я знаю, куда давить. У тебя там вообще есть... ?

— Идиот!

— Сама ты идиотка.

Тут она меня укусила в руку. Да как сильно! Не от страсти, конечно.

За ужином бабушка разглядела у меня еще кровоточащий укус чуть выше локтя. Хотя я и скрывал его как мог.

— Это что такое? Кто тебя укусил?

— Собака прибежала из деревни шальная. Я хотел ее погладить, а она меня укусила.

— Пена у нее была на морде?

— Вроде была.

Не стоило мне это говорить. Бабушка заставила меня пойти вместе с ней к медсестре, и та сделала мне укол. Вколола в живот вакцину от бешенства. А через два дня — еще одну. Еще три раза мне делали уколы в нашей районной поликлинике в Москве. Каждый раз у меня от этой вакцины поднималась ночью температура и начинались галлюцинации. Мне казалось, что я — опять в той ужасной вонючей пристройке. Сажу на куче тряпья. Паровоз в котельной отчаянно свистит и скрежещет. Рядом со мной сидит собака, сука с белой пеной на морде. Открывает свою ужасную пасть. И я вижу ее огромные зубы и длинный слюнявый язык.

## СОДЕРЖАНИЕ

В городе К.....	5
Бешеный волк.....	8
Аленький цветочек.....	10
Огненный ангел.....	15
Горящая бумага.....	18
Три смерти.....	22
Пальцев.....	27
Вакханалия.....	37
В больнице.....	45
Берлин — Москва.....	55
Земляничная поляна.....	61
На Арбате.....	66
Крот.....	70
Значок.....	77
Алена.....	85
Сад наслаждений.....	88
В институте.....	95
Новый год.....	106
Псоу.....	116
Свидание.....	132
Сюрприз.....	144
Африка.....	152
Силуши.....	163
Утконос.....	172
Анапа.....	184
Перед грозой.....	203
О, Джонни.....	210
Аляска.....	224
На пляже.....	239

Волька .....	247
Записки следователя .....	258
Любовь.....	274
У Григория Егоровича.....	289
Восемь червей.....	298
Смерть Саши.....	306
Купала .....	316
На Пасху .....	326
Чингачгук .....	337
Доносчица.....	354
Уля .....	369
Алконост.....	380
Вечер Литвиненко .....	396
Шанель номер пять.....	404
Поговорим об окружающем нас мире .....	418
Лолита, или Вакцина от бешенства.....	427



Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»  
Заснована в 2023 році

Ігор Шестков  
ЗАПИСКИ  
СЛЕДОВАТЕЛЯ  
*(російською мовою)*

Макет обкладинки і верстка Друкарський двір Олега Федорова  
Формат 60x84 1/16. Наклад 150 прим. Зам. № 2793  
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 28  
Гарнітура «Cambria».  
Підписано до друку 17.01.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,  
«Друкарський двір Олега Федорова»  
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,  
e-mail: [relaks-oleg@ukr.net](mailto:relaks-oleg@ukr.net)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»  
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148  
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



**ИГОРЬ ШЕСТКОВ (Igor Heinrich Schestkow)**  
Родился (1956) и вырос в Москве. Окончил мехмат МГУ. Работал в НИИ. В восьмидесятих годах участвовал в выставках неофициального искусства в галерее Горкома графиков на Малой Грузинской улице в Москве. В 1990 году эмигрировал в Германию. Берлинец. Автор психоделических и сюрреалистических рассказов, повестей и эссе об искусстве и литературе. В книгу «Записки следователя» вошли избранные рассказы.



**ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР  
ОЛГА ФЕДОРОВА**

